



“Ранней осенью в монастыре отпевали хорошего человека. Сладкий кадильный дым, умильные слова молитв, согласное пение хора снимали скорбь, умиротворяли.

После отпевания архимандрит пригласил меня к себе и решительно сказал:

— Сколько я ещё могу отпевать? Конечно, Богу виднее, кого призывать, но Он не возбраняет нам заботиться о здоровье. А оно необходимо для трудов во славу Божию. Так? Вы согласны?

— Н-ну да, — я не понял, к чему это сказано.

— Вот что, — решительно сказал архимандрит, — и не вздумайте отказываться от моего предложения.

— Какого?

— Вы плохо выглядите. Надо вам немедленно лечь на обследование. У нашего спонсора есть договорённость с одним очень хорошим лечебным центром. За неделю ничего не изменится. Вас полностью обследуют, дадут какие-то рекомендации. Может, где-то что-то надо подвинтить, что-то убавить, а что-то прибавить. Усилить защиту против инфаркта-инсульта. Как раз сегодня арендованная спонсором отельная палата освободилась. Завтра с утра будьте готовы.

— Но...

— Вы служили в армии?

— Так точно.

— А у нас дисциплина сильнее, чем в армии. Примите как послушание. Вернулся домой — жена встречает очень радостная.

— Это же очень хорошо — обследоваться. Врач звонил, говорит, чтоб ты взял халат, пижаму и шлёпанцы...”

В ближайших номерах журнала читайте новые рассказы нашего постоянного автора Владимира Крупина.

НАШ СОВРЕМЕННОК

Журнал писателей России



№9 2018



Сердечно поздравляем с юбилеем великую актрису, выдающегося режиссёра и организатора, художественного руководителя МХАТа имени Горького, члена нашего Редакционного совета Татьяну Васильевну ДОРОНИНУ.

Фильмы с её участием до сих пор не сходят с телевизионных каналов. Её театральные работы на памяти у всех настоящих ценителей русской актёрской школы. Возглавляемый ею МХАТ и ныне один из ведущих театральных коллективов, продолжающий и обогащающий бессмертные традиции К. С. Станиславского и А. И. Немировича-Данченко.

Здоровья, сил и энергии Вам, дорогая Татьяна Васильевна!



Поздравляем с юбилеем нашего друга и многолетнего автора Веру Григорьевну ГАЛАКТИОНОВУ. Её произведения, напечатанные в “Нашем современнике”: повести “Со всеми последующими остановками”, “Спящие от печали”, роман “На острове Буяне” — стали событием в отечественной прозе. Её острое, жаркое, точное публицистическое перо служило и служит русскому слову и русскому делу.

Двухтомник избранных произведений, вышедший в издательстве “Русский мир” и удостоенный премии “За верность Слову и Отечеству”, “Серебряный Дельвиг”, — ещё одно свидетельство того, что отечественная литература живёт и здравствует посреди всех мировых катаклизмов.



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Ю. В. БОНДАРЕВ,
А. В. ВОРОНЦОВ,
Г. Я. ГОРБОВСКИЙ,
Т. В. ДОРОНИНА,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Д. Н. НИКОЛАЕВ,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
В. Д. ПОПОВ,
З. ПРИЛЕПИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
А. Ю. УБОГИЙ,
В. Г. ФОКИН,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ,
С. А. ШАРГУНОВ,
В. А. ШТЫРОВ

Проза

- Владимир БУТЕНКО
Священник и палач. *Повесть* 10
- Сергей ДОРОВСКИХ
Время весны. *Главы из романа* 59
- Юрий УБОГИЙ
Время вокзала.
Дневник писателя 110
- Александр ЩЕРБАКОВ
О чём звенел рукомыльник.
Рассказы 136
- Ким БАЛКОВ
Фельдшер и пастух. *Рассказ* 153
- Василий ЗАБЕЛЛО
Родные берега. *Рассказы* 162

Поэзия

- Елизавета МАРТЫНОВА
Мы правы тем,
что рождены на свет..... 3
- Диана КАН
Млечный мост 7
- Вадим КОРНЕЕВ
Лада хочется душе 52
- Наталья КОЖЕВНИКОВА
Когда-нибудь мы вспомним
друг о друге... 55
- Дмитрий МИЗГУЛИН
Нечаянная милость..... 107
- Владимир АНДРЕЕВ
Тех лет затаённое пламя 129
- Александр КОРОТАЕВ
Запах дыма и жилья 132
- Владимир ХОМЯКОВ
Повсюду царствовало слово 146
- Евгений СТЕПАНОВ
Я дома..... 149

Очерк и публицистика

- Валерий ХАЙРЮЗОВ
Чанчур 177
- Михаил ТАРКОВСКИЙ
Бодайбинская резиденция 181
- Николай НИКИТИН
О "русском вопросе" 184

Редакция

Приемная —
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —
зам. главного редактора —
(495) 625-01-81

Е. В. Шишкин —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47

Отдел прозы —
(495) 625-57-45

С. С. Куняев —
зав. отделом критики,
отдел поэзии —
(495) 625-02-81

С. С. Зотов —
ред. отдела публицистики —
(495) 625-30-47

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71,
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —
зав. техническим центром —
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

А. А. Жуков —
юрист —
(495) 625-57-45

Александр ВДОВИН
Борьба в сталинском
окружении за подступы
к власти в 1945–1953 годах 195

Яков АЛЕКСЕЙЧИК
Кто подкармливал
тигра со свастикой 211

Виктор СЕНЧА
Последний подвиг
Багратиона 239

Слово читателя

“С кем вы — мастера
культуры?” 256

Критика

Владимир ЕВДОКИМОВ
Прообраз треугольника из
“Анны Карениной”:
“Каренин-Анна-Вронский” 263

Валентин ОСИПОВ
Лев Толстой: “Чувствую
близость смерти,
мне хочется сказать...” 271

Татьяна ГАДОМСКАЯ
Границы и грани “Хуннских
повестей” Николая Лугинова 283

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и публикует наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией. Срок хранения рукописей один год. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Адрес редакции: **Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2** (пн.-чт. с 11 до 17 ч.)

Адрес электронной почты: **n-sovrem@yandex.ru** (рукописи по e-mail не принимаются)

Адрес сайта в интернете: **www.nash-sovremennik.ru**

Юрист редакции оказывает юридическую помощь читателям журнала

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП “ПараТайп”.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов. Оператор: Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Подписано в печать 27.08.2018. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 2483-2018. Тираж 4500 экз.

Отпечатано в АО “Красная Звезда”, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 www.redstarph.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

ЕЛИЗАВЕТА МАРТЫНОВА



МЫ ПРАВЫ ТЕМ,
ЧТО РОЖДЕНЫ НА СВЕТ...

* * *

Всё живое — трава и листва,
Небо тёплое, руки дождя,
Вы простите меня: не права
Я была, забывая себя,

Растворяясь в дневной суете
И печальюсь из-за пустяков...
Здравствуй, небо в ночной нагоде,
Шорох ливня, как песня без слов.

Колыбельная космоса — дождь,
Под неё позабыть всё легко,
Чистой правдой смывается ложь,
И земное уже далеко...

А когда клочья туч разметёт
Ветер южный с далёких полей,
Всё бывшее быльём порастёт:
Одуванчик, цикорий, пырей...

МАРТЫНОВА *Елизавета Сергеевна* родилась в Саратове в 1978 году. Окончила Саратовский госуниверситет. Кандидат филологических наук. Главный редактор журнала "Волга. XXI век". Автор книг "Письмо другу" (2001), "На окраине века" (2006). Лауреат премии Ю. П. Кузнецова (2008). Слушательница семинара А. Казинцева и С. Куняева на Форуме молодых писателей в Липках. Живет в Саратове.

* * *

Мы были музыкой когда-то,
Слагали песенки зимы,
Но мы не знали адресата,
И отклика не знали мы.

Что с этим временем сравнится,
С тем одиночеством живым,
Когда дрожат во тьме ресницы
От слёз горячих ножевых?

Сравнить ни с чем я не рискую
Ни снежный дым, ни горький взгляд,
Ни песню нежную такую,
Что на другую не глядят,

И столики в кафе, и запах
Мороза в облаке тепла...
Ничто не изменилось за год,
Вот только музыка прошла.

* * *

На воле засыпают города.
Висят огни, на воздухе мерцают,
И плоская лежит во тьме вода,
Волною перетянута до края.

В ней небо до земли отражено,
Такое же чернильно-золотое,
Качается и падает на дно,
Колечком дорогим на дно речное.

Пересекая над рекою высь,
Незримая, парит ночная птица,
Как будто звёзды для неё зажглись
На синей неразгаданной странице.

И нам не нужно слов, не нужно клятв,
Чтоб доверять любви своей, как прежде.
Серебряные буквы звёзд горят
В неопалимой, горестной надежде.

* * *

...А никто и не знает, чем закончится это
Ожидание вечности, тайна огня.
Мне осталось всего полчаса до рассвета,
До любви, обнимающей сердцем меня.

Оттого что душа — это тихая жажда,
Неизбежность ухода за грань бытия,
Ей уже ничего в этом мире не важно,
Кроме странного, смертного “я”.

* * *

Господи, постучи мне в сердце
Красной рукою кленовых листьев.
Мы с этим клёном единовёрцы,
Мы друг без друга себя не мыслим.

Мы прорастаем в синее небо,
В гнёздах колючих звёзды качаем,
Как золотую светлую небыль
С их опечаленными свечами.

Мы обнимаем молча друг друга
Лиственной вьюгой, её круговертью.
Что нам осталось? Воздух так туго,
Тихо натянут, словно бессмертен.

* * *

Большие колокольчики лесов
Дрожат и держат на весу поляну.
Они звонят не поздно и не рано,
Но в час, когда не нужно больше слов.

Ведь в них речная гладь отражена
Такой, какую видим утром белым,
В них — блеск листвы, луч солнца загорелый
И человек, восставший ото сна.

И так понятен свет их синевы,
Их перезвон скупой сиреневатый,
Поющий из таинственной травы,
Что мы уже ни в чём не виноваты.

Мы правы тем, что рождены на свет
И счастье вместе с горем мы вдохнули,
И нас других и не было, и нет
Перед лицом прозрачного июля.

* * *

Написать небесную Россию:
Облака, туманы и поля,
Сумерки её, дожди косые,
Свет, которым полнится земля.

Так, чтоб пело сердце благодатью
И страданьем, горечью живой, —
Дом родной, далёкий написать бы
Тонко над речною синевой.

Не пером, не акварельной кистью —
Только словом: осень и окно,
А за ним уже роятся листья,
Небо между звёздами темно.

Написать, как жизнь светло и просто
Смотрит в нас и не отводит взгляд,

Если от рожденья до погоста
Только прочерк — журавли летят.

Не поймашь их, не остановишь,
Только смотришь, смотришь в небеса,
Словно ждёшь томительную новость,
Слышишь дальних предков голоса.

Видишь лица за дождливой синью,
Перелётных ангелов житьё.
Напишу небесную Россию,
Горних обитателей её.

ДИАНА КАН



МЛЕЧНЫЙ МОСТ

* * *

Багрец всему — и тополям, и клёнам,
Калине, что пустили на вино.
И нам, столь непростительно влюблённым
Во всё, что смертно и обречено.

В преддверье неизбежной вечной стужи
Ни мускулом не дрогни, ни лицом,
Когда стоишь, боса и безоружна,
Лицом к лицу с кровавым багрецом.

Пойти, ревнуя к малахитам лета,
В себе попутно лучшее губя,
Он по стихам твоим и по приметам
Прицельно выждал, выследил себя.

Он не забыл, как ты, пренебрегая
Его огнём, что царственно горит,
Смеясь, простоволосая-босая
Сбежала в летний звонкий малахит.

КАН Диана Елисеевна — известная российская поэтесса, автор книг “Високосная весна”, “Подданная русских захолустий”, “Междуречье”, “Покуда говорю я о любви”, “Звёзды окликаю” и др., а также множества публикаций в центральных и региональных изданиях России. Член редколлегии литературно-художественных журналов России “Подъём” (Воронеж), “Дон” (Ростов-на-Дону), “Арина” (Нижний Новгород), “Волга-21 век” (Саратов), “Гостиный Дворг” (Оренбург), “Парус” (Москва) и т. д. Член Союза писателей России. Живёт в Оренбурге.

Ты не привыкла жить наполовину,
Помилованья, стало быть, не жди...
Любуясь кистью пламенной калины,
По ягодке с улыбкой в рот клади.

Пусть ветер-конвоир толкает в спину
Навстречу золотому багрецу...
...Кровавая окалина калины
На удивленье Родине к лицу.

ПОЭТУ АНАТОЛИЮ ПЕРЕДРЕЕВУ

Перезды. Перегоны.
Пересуды. Передреев...
Кто такой? Поэт в законе,
Чьи стихи в морозы греют.

Только ты предпочитаешь,
Мой попутчик, греться водкой.
Тольку вряд ли ты читаешь.
Толька был поэт не кроткий.

Впрочем, он тебя бы вряд ли
Осудил — был сам не промах
Горечь намахнуть до капли
Средь знакомцев незнакомых.

Дух околиц и окраин
Овекает наши лица...
Не тоскою странствий ранен,
Едет мой сосед в столицы.

Не считая километры,
В Уренгой из Оренбурга
Едет он по белу свету...
Говорит, с деньгами туго.

Выживаем, выживаем,
Но не из ума, надеюсь,
Хоть стихи воспринимаем,
Как не слыханную ересь.

Пахарь и поэт-изгнанник...
Перед небом все едины.
Что ж ты наши души ранишь,
Анатолий Константиныч?

Перемены. Передряги...
Но сердца стихами греет
Вдохновенный работяга
Анатолий Передреев.

* * *

Ох, уж эти пестравские бабушки,
Что тебя называют “желанная”.
Наколдуют такие оладушки,
Что сидишь, аки гостыюшка званая.

А ведь ты нежданно-непрощенно
Заскочила узнать, сколько времечка?
“Ешь оладьи, моя хорошая!”
И тебя поцелует в темечко.

И забыв, что зашла ты наскоро,
Наклонишься над старенькой чашкою.
И навстречу качнётся ласково
Духовитый чаёк ромашковый.

В нём степные просторы пестравские
Уместились, вовек неоглядные...
И сидишь, словно гостя заправская,
Ешь оладушки, бабушку радуя.

Угощаешься всласть смородиной.
Ищешь повод продлить гостевание.
Хоть Пестравка тебе не родина,
Разве знала ты это заранее?..

* * *

Здесь растут без всяких привилегий
Придорожной сорною травой
Россыпи приبلудных аквилегий,
Принятых Россией на постой.

Здесь в дожде купается купена,
Предвкушая солнечный потоп.
И ромашки всходят белопенно,
Обживая фронтовой окоп.

Это всё она, моя Россия!
Это я, её родная дочь!
Кашки сами в руки попросились,
Их сорвать хотела — да невмочь!

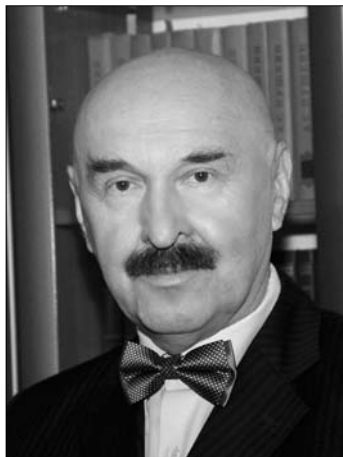
Прикорнул к плечу татарник милый,
Даже не пытаюсь уколоть...
...Эх, напрасно мама попросила
Доченьку картошку прополоть!

* * *

Здесь ещё чужая. Там уже чужая.
Полно!.. То потеря в жизни небольшая.
Ну-ка, ногу в стремя, в руки — удила.
Отродясь насильно милой не была.

Покури в сторонке, разлюбезный враг!
Бьёт копытом звонким звёздный аргамак.
И течёт дорога аж до самых звёзд
Вдоль реки Молога через млечный мост.

ВЛАДИМИР БУТЕНКО



СВЯЩЕННИК И ПАЛАЧ

ПОВЕСТЬ

Смерть грешников люта.

Псалтирь, 33

1

*“Совершенно секретно
Начальнику Особого отдела Северо-Кавказского фронта
полковнику Белкину М. И.*

Служебное донесение

В соответствии с приказом НКВД № 001683 от 18.02.1942 г. возглавляемая мной группа Особого отдела 44-й армии провела оперативно-розыскные мероприятия в полосе наступления наших войск, на освобождённой от оккупантов территории Беломечётского района Ростовской области и в пограничных населённых пунктах Краснодарского края. В ходе расследования по горячим следам были выявлены и арестованы:

Предателей — 7,

Журнальный вариант

БУТЕНКО Владимир Павлович родился на хуторе Дарьевка Родионово-Несветайского района Ростовской области в 1952 году. Окончил Ставропольский мединститут. Автор нескольких сборников стихов и прозы. Возглавляет альманах “Литературное Ставрополье”. За роман “Казачий алтарь” в 2000 г. присуждена краевая литературная премия. Награждён орденом “За возрождение казачества”. Член Союза писателей России. Живёт в Ставрополе.

Полицаев — 3,
Фашистских пособников — 18,
Дезертиров РККА — 4,
Бежавших из мест заключения уголовников — 4,
Прочих изменников Родины — 1.

Привожу список и характеристики преступных элементов, против которых применены репрессивные меры, в том числе ВМН...”

* * *

В предвоенные годы Семён Минич Гарига выделялся среди станичников тем, что на праздничных демонстрациях носил, как хоругвь, на высоком древке портрет Сталина. А в будни этот “образ”, по словам соседей, красовался в переднем углу его хаты, под узорчатым рушником. На все расспросы Гарига отвечал односложно и скупое, по привычке мешая русские слова с украинскими:

— Нема большевика мэни дорожче! Бачил Иосифа Виссарионовича в Царицыне. Отдал я ему честь, а вин кажэ: “Мы буржуев побьем и вставим нашу советскую власть”. На тачанке подвиз его в штаб дивизии, до Ворошилова.

В районном отделе милиции знали, что колхозник почём зря трезвонит о встрече с вождём. Но никто из сотрудников не решался укоротить ему язык, ибо такие действия “наверху” могли истолковать по-разному. Например, как выпад против лидера партии в угоду троцкистам.

И всё же это было весьма странно, поскольку слыл Семён Минич пустоболтом и нелюдимом, таившим душу за семью замками. Старожилы помнили, что он, отпрыск переселенцев-малороссов, вернулся с гражданской войны в будёновке. Однако однополчанин его как-то спьяну обронил, что вместе не только “давили вшу на астрицком фронте”, но и воевали в белой коннице Улагая. А спустя неделю этот болтливый казачок, метая в степи стог сена, невероятным образом напоролся на собственные вилы. Поговаривали о злонамеренном убийстве, однако свидетеля не нашлось.

До самой коллективизации жил Семён со своей бабкой и дочерью на отшибе, держал бурёнку да пару быков, разводил сад и драчливых кочетов. Когда же всё вокруг стало “общим”, попросившись с раскулаченными родителями, не растерялся: сунул “барашка в кармашке” фельдшеру и предъявил в колхоз справку, ограждающую от тяжкого труда как подорвавшего здоровье “в борьбе за счастье народа и мировую революцию”. С тех пор и обосновался он на конюшне. Дело с малолетства было понятным, знал за лошадыми уход, разбирался в породах и повадках, впрочем, особой привязанностью к дончакам не отличался.

Заполосной стаей мчались годы, но в станице по-прежнему относились к Гариге с предубеждением и всячески сторонились его. А те, кому приходилось ездить с кучером на телеге, невольно испытывали настороженность, как с человеком, готовым на любые выходки. Гуляла молва, что, решив завладеть домом отца и матери, сам же и донёс на них в ОГПУ как на “кулацкий элемент”. Да не повезло: семейное подворье сельсовет отвёл под детские ясли. С той поры и ожесточился, стал придирчив к казачатам, гонявшим табун в ночное. А пострелы, как на духу, в один голос твердили, что знается дед с колдовской силой, и кнут в его руке будто бы вырастает, становясь угрожающе длинным и хлётким. Они же и окрестили его осиным прозвищем — Шершень, — прилепившимся к чуждой для казаков фамилии.

Несмотря на почтенный возраст, Семён Минич был довольно подвижен, ступал своими раскоряченными ногами твёрдо и не утратил манеры прищуриваться на встречных, тая в глубоко посаженных глазах льдистую мглу. Седина пролилась по жёсткой щетине лица, а волосы на висках и затылке оставались всё такими же огненно-рыжими. И только лоб с большими заплешинами избородили морщины, точно время оставило на нём памятные зарубки.

С весны до инистых утренников возил Гарига доярок к заречному коровнику на утреннюю и вечернюю дойку, а в страду, погрузив на телегу бочку, ещё и снабжал водою полевые станы. Случалось, по распоряжению бригадира гнал лихих в амбулаторию, доставляя туда рожениц или тяжелобольных. Но делал это неохотно, считая, что такие наряды не касаются колхозных дел. Зимой, особенно в морозы, отсиживался дома, ссылаясь на немочь, — последствие фронтовой контузии. И напарникам — хромоногому Агафону и деду Тарасу — приходилось отдуваться на конюшне за троих. Ни с кем Гарига не дружил, в помыслах был тёмнен. И стар, и млад, помня о лютости “героя-буденовца”, загодя перебирались с дороги на обочину, как только показывалась его подвода. Иной раз (в отсутствие свидетелей) батога* доставалось не клячам, а зазевавшемуся ротоzeugу. И если пострадавший жаловался бригадире на рукоприкладство, то Шершень, отвергая клевету, выпячивал грудь и божился, что не только не трогал охальника, но даже не видел его в тот день. Вызывали не раз конюха в правление, разбирались, пугали милицией, и на том административные меры исчерпывались, и неприглядный проступок снова сходил ему с рук.

Так командовал лошадами Семён Минич до августа сорок второго, до прихода немцев. На третий день оккупации был объявлен станичный сход. С крыльца сельсовета белообрый немецкий офицер возвестил свободу от большевицкого ига и посулил достойную жизнь под крылом фюрера. Затем переводчик предложил желающим выступить. Первым сквозь толпу протолкался Гарига. Из пыльного мешка он выдернул портрет Сталина, с силой ударил о цементированную площадку и минуту топтал, будто отбивал гопака. Свиристый вид аборигена, проклятия в адрес “усатого кровопивца”, поясные поклоны “германским спасителям” убедили фельдкоменданта в том, что этот унтерменш пригодится рейху.

И наутро станицу облетела новость, показавшаяся невероятной: малограмотного конюха немцы назначили старшим полицейским, определив в подручные двух ухарей помоложе — дезертира Тимченко и кулацкого внука Костю Касторнова. Во дворах язвили: коль возвеличили фрицы “неуча, отдающего навозом”, то и власть их таковская...

Но шутка не прижилась. Как только Гарига облёкся в немецкий френч и напялил пилотку, его точно чёрт обуял: стал многословен, груб и до самодурства придирчив. Доказывая свою преданность, он передал в комендатуру список активистов и переселенцев-евреев из Ленинграда. Глубокой ночью тридцать два жителя станицы (взрослых и детей) каратели СС увезли на грузовиках в неизвестном направлении.

А через день Шершень помогал уже интендантам в изъятии скота и крылатой живности. По его наводкам загорелые румынские парни учинили на подворьях грабежи. Желая выслужиться, в порыве небывалой щедрости, обер-полицай пожертвовал для немецких солдат целую фурманку (высокобортную телегу) своих первосортных яблок.

Гаригу точно понесло. Выведав о раненом красноармейце, скрывающемся в камышах, он привёл к реке подчинённых и выслал их вперёд с волкодавом, а сам, обойдя с другой стороны, затаился в лозняке. Когда из тростниковой чащобы на тропу выбрался бородач в форменных штанах и гимнастёрке, с перебинтованной головой, Гарига подпустил его шагов на пять и сразил из карабина. Фельдкомендант Кремер поощрил аборигена за усердие наручными часами и приказал вывесить благодарственные листовки.

На это Семён Минич ответил “вечерей”, куда позвал фельдфебеля, переводчика, четырёх солдат, а также своих подчинённых и разбитных молодяков. Хотел было “ласкаво” пригласить и коменданта, да поостерёгся, — не по рангу компания.

Патефон заливался до утра, плясовой перебор сапог и чувяков, визг и запевки слышались за три улицы. Стол был щедр, потому как расторопный “Костик-Касторка” в пылу грабежа подвернул подсвинку к своему базу, выполняя волю командира. “Фройндам” веселье понравилось, в особенности

* Батог (донск.) — кнут.

мускатное вино, пирожки с печёнкой, зажаренный окорок и объятья грудастых молодух...

В Управе пировали. И никто из станичников больше не сомневался в выборе коменданта. Истина подтвердилась, что лихолетье являет миру кощунников и предателей. Разгоряченные думы уводили оказавшихся в неволе людей куда как далеко — и на фронт, где сражались родные и близкие, и в Москву, к народному заступнику Сталину. С волнением подступали мысли о Спасителе, о его милосердии и неизбежном возмездии. И ещё вспоминалась им судьба обер-полицая. Выходит, недаром до войны Господь не раз наказывал этого грешника...

2

Гарига появился на краю огорода негаданно.

— Ось ты иде, Николаич... С картохой воюешь? Бросай! — грубо приказал он, поправляя ремень карабина, висевшего на плече стволом вниз. — Пошли в хату!

Раскрасневшееся от раннего зноя, в окладе бородки лицо счетовода Меркулова, затенённое соломенной шляпой, тревожно застыло. Он вогнал лопату в затверделый грунт и, переведя дыхание, рослый и сухопарый, зашагал вдоль деланки с грустью клубней. Полицай сдёргнул с головы пилотку, суконым рукавом вытер лоб.

— Бачу, богато нарылли... А у германцев нужда в провианте.

На дворе Пелагея Никитична кизяками разжигала печуру. Статная, с зачёсанными назад седьми волосами, пожилая казачка, увидев постояльца и Шершня, вытерла ладони о край передника и нахмурилась. Ещё свежо было в памяти, как три дня назад, надев поверх кофточка казачью гимнастёрку, она с вилами в руках защищала у двери сарая козу Зорьку. Трое мародёров угрожали автоматами. (Приказ запрещал им использовать оружие против мирного казачьего населения.) Но она не дрогнула! А вот несусек в курятнике уберечь не удалось...

Поняв, что полицай направляется в курень, Пелагея Никитична первой поднялась по деревянным ступеням. Следом забухал подковками ботинок полицай. В горнице он приставил карабин к столу и плюхнулся на единственный здесь венский стул. Комната наполнилась запахами ружейного масла, пота, ваксы и лука, без которого Гарига не обходился и дня. Хозяйка застыла у посудного шкафа-горки, глядяваясь в бывшего колхозного конюха. Немецкая форма — китель мышастого цвета с накладными карманами и нашивкой в виде орла, застёгнутый на все пять пуговиц, и глубокая пилотка враждебно, до неузнаваемости изменили конюха. Его вытянутое, в щетинистой поросли лицо багрово пламенело. Он с прищуром наблюдал, как счетовод, войдя и поклонившись образам, сел на топчан.

— Зараз я от коменданта, — объявил Гарига. — Так що захватил хвюер Сталинград и досягнул аж до Кавказа! А Сталин в Америку убёг...

И помолчав, строго спросил:

— Ты, уважаемый, с якого года будешь?

— Рождён в тысяча восемьсот девяносто пятом, — ответил Меркулов, теряясь в догадках, с чем пожаловал блюстителю порядка.

— Значитс, в призывном разряде, — прикинул Гарига. — А колы поселился туточки?

— Четвёртый год у меня на постое, — встала хозяйка, глянув на Шершня с неприязнью.

— Тебя не спрашивают!

— В Беломечётскую переведён с поселения в ноябре тысяча девятьсот тридцать восьмого года, — всё той же монотонной интонацией, точно на допросе, подтвердил счетовод.

— За яку провинность в кутузку попал?

— Пятьдесят восьмая статья. Контрреволюционная деятельность.

Гарига хлопнул по коленям жилистыми, в костных шишках ладонями:

— А моих батькив* по сто седьмой! Будь воны, комиссары, прокляти! Ты, Николаич, — человек грамотный. Не стал я тэбэ в Управу звать, а сам уважил. Нехай про мэнэ брешут! А я, щоб ты знал, приходску школу с грамотой кончил и у генерала Улагая вестовым служил... За двадцать шагов с винтовки пятак срезал! Опосля взводом командовал, давал жару “краснозадым”! — Семён Минич потряс кулаком и вновь заинтересованно спросил: — А якому дилу обучен? Чем хлеб добывал?

Красивое лицо Меркулова, с разлатыми, порыжелыми от солнца бровями, оставалось, как прежде, спокойным.

— Работал в трамвайном депо. Имею аттестат об окончании курсов счетоводов. В лагере приходилось плотничать.

Гарига испытующе смотрел на счетовода. Но, видимо, так и не дождался того, чего хотел услышать.

— А ты не забыл що-небудь? — как бы удивился он и покосился в сторону хозяйки. — Чи есть в хате жива людына? Пот по морде текёт. Хочь бы ложечку воды дала!

Пелагея Никитична нехотя принесла из погреба квасу, и “гость” в один прихват выцедил кружку пенного напитка с ягодами смородины. Возвращая посудину, он распорядился:

— У вас, Пелагея, картоха уродилась. Два чувала реквизирую для германцев. Пойди и насыпь... А нам трэба по секрету побалакать.

— Мы её не для дяди растили! — вспыхнула хозяйка. — И-и... Наглючие твои гляделки, Сёмка! При старости лет — в чужие оглобли?!

— А ну, замовч! Моду взяла... А то заберу в полицию — не пикнешь!

Когда, наконец, хозяйка удалилась, обозлённый Гарига повернулся к окну. По стеклу, жужжа, семенила, приподняв палевые крылышки, оса. Коротко перелетала на другое место и ещё быстрее перебирала лапками, пытаясь выбраться на волю. Семён Минич привстал и с хрустом припечатал её большим пальцем.

— Если это для вас важно... — продолжил Меркулов разговор. — Накануне большевистского переворота я окончил Кавказскую семинарию. Через три года был рукоположен в священники.

— Ото ж! — осклабился обер-полицай. — Проверял я твою карточку в правлении, у Наташки. Так що знаю, Николаич, про твоё життя всё наскризь!

Меркулов напряжённо слушал.

— И про станичных розумию! Казаки нас, иногородних, гнобылы. Ще поквитаемось! — полицай скользнул взглядом по своим часам со свастикой на циферблате, по дощатому полу в сохлых травинках чабреца. Затем, будто игрушку, подхватил карабин и, любовно оглядев, поставил на прежнее место.

— А приказ, значит, такой! Передавай счетоводство учётице. Немцы колхоз не разорили, а своего управляющего привезли. А нам с тобой нака... — Семен Минич откашлялся и договорил с хрипотцой. — Наказано нам церкву открыть.

Меркулов вздрогнул, по лицу его точно пробежал луч. А Гарига стал чеканить ещё внушительней:

— Нашу Троицкую церкву! И тэбэ, Николаич, назначаем с немецкими властями пресвитером. Сам я к вере не дюже склонный. А леригию понимаю, як устав в полку. Нехай народ молится, абы не дураковал!.. Прикажу принести иконы, яки по хатам разибралы, и церковные причандалы. Заготовим доски и гвозди. Дедам и парубкам прикажу на ремонт выйти. Выделю тебе, як батюшке, свободную хату и кобылу с двуколкой. Вот така писня!

Гарига, зацепив ремень карабина указательным пальцем, поднялся; на коленях старые льняные штаны вздулись пузырями. Тут же встал Меркулов.

— Это великое благодеяние — открытие церкви! — заговорил он взволнованно. — Но в моём личном деле ничего нет о том, могу ли я вернуться в церковное лоно. Приставлять священнослужителя к храму имеет право только архиерей.

* Батьки (укр.) — родители.

— Всех архиереев большевики повбывали! — оборвал Гарига. — И ты, Меркулов, не вилай. Читать молитвы можно и под голым небом!

— Вы меня не слушаете... Многие, что необходимо знать иерею, не имея практики, я запоминавал, — признался Меркулов. — Но и это не основное. Я столь грешен перед Господом нашим, что... Я вседневно и всечасно молю у Спасителя прощения. Но от содеянного не избавишься... И сейчас я не готов дать вам ответ...

Разомлевший от духоты и подуставший, полицай вздёрнул карабин на плечо. У двери обернулся и с ехидцей изрёк:

— Ты, Николаич, не наче свихнулся на радостях? Ишь, кается вин... А хто будэ приказ коменданта исполнять?!

В расширенных глазах Меркулова появился влажный блеск. Он с заминкой вымолвил, точно пугаясь собственных слов:

— Послушайте! Мною нарушена заповедь Христова... Шестая заповедь!

— Не убий? Так. Ну, и дальше?

— Тогда, на гражданской, в силу обстоятельств я был заряжающим орудия. Безусловно, при артобстрелах многие преставились...

— А я що, на гармонье отам играл?! — вскипел Гарига. — Убивал комиссаров — и буду! И ты на хронте у кого палил? У самих анчихристов!.. Зараз германьска влада*, и суд короткий... Добывай, Меркулов, рясу и принимай церкву! Да за ремонтом следи... А не то отпращу с пленными в стещу траншеи рыть. Усэ понятно?!

3

В эту сентябрьскую ночь Меркулов так и не сомкнул глаз, вороша в памяти свою долгую жизнь. Только детство живо помнилось ему, а молодость и последующие годы, словно туманом, сокрыты были лагерным сроком...

Всего несколько лет назад, когда в таёжной ночи молился на нарах, случившееся с ним представлялось очистительной жертвой за прегрешения. Там, в “рукотворном аду”, где на равных с рецидивистами “перевоспитывались” люди совершенно невинные, осуждённые по лжесвидетельствам и разнарядкам, душа Меркулова пребывала в мучительной раздвоенности, предстая перед Господом и терпя кабалу дьявольских слуг.

В одинаковых условиях находились и верующие, и безбожники. Враг рода человеческого, укоренившись на православной земле, безостановочно влёл на пагубу русские души. Расстреливали за слово, за случайный жест, за шутку. А уж если ты, “враг народа”, угодил в “зону”, то сполна познаешь всю меру своей ничтожности!

Изо дня в день — бревенчатый барак одной и той же лагерной роты, одни и те же примелькавшиеся лица заключённых и надзирателей. Вселенское Зло и “советская власть” тут обрели зримое воплощение — надзиратели и конвоиры, офицеры и начальник лагеря Бугримов, от скуки стрелявший через форточку кабинета по кедровым шишкам. А ещё потешался тем, что ночами врвался в женский барак и, подняв арестанток на ноги, приказывал петь революционные песни.

В освобождение тогда не верилось, хотя лозунг над воротами барака гласил: “Советская власть не карает, а исправляет”. Измождённый и затравленный, с номером 09344 на ватнике, Меркулов научился думать о себе впрок. Жил одним днём, следуя словам святого Антония: “Вставая от сна, не будем надеяться дожить до вечера и, отходя ко сну, будем помнить, что, быть может, не доживём до утра”. Исподволь приобщал к Богу других. О том, что он “поп”, лагерники узнали от кого-то из “стукачей”. На удивленье, немало собралось желающих в беседе с ним, как на исповеди, запоздало покаяться.

Чем тяжелей ему приходилось, тем истовей взывал в молитвах к Спасителю и вспоминал слова святителя Игнатия о незлобии. Сердцем внимал он завет — испить чашу скорбей до дна — и следовал этому, и утешал сотоварищей словами Учителя: “Терпением вашим спасайте души ваши”. Безропотно

* Влада (укр.) — власть.

убирал в бараке, выносил “парашу”, стирал, ухаживал за больными. И вышло на поверку, что он, осенённый верой Христовой, оказался духом крепче большевиков. Они, лишённые власти и благ, оклеветанные своими соратниками, лишь в лагере познали истинную цену “всемирного братства и свободы”. Мир, сотворённый Господом, они вознамерились “пересотворить” на свой лад. Но вера в коммунизм, в будущий земной рай, здесь оказалась бесплодной. Наверняка не раз вспоминалась репрессированному поговорка, что птица не чувствует боли, когда ей подрезают крылья, но летать больше не может.

Сосед по нарам, седоусый Нифонтов, земекий фельдшер, угодивший под суд за вечеринку в годовщину смерти Ленина, помогал заключённым, чем мог, лечил снадобьем из хвой и ягод. Нашёлся доносчик. И старика посадили в карцер, скованный крещенским морозом. А наутро, во время переключки, его труп, привязанный за ноги к повозке, как бревно, уволокли в таёжную глухомань...

Другой однобарачник, красавец Матвей Балыкин, сдержанно сносил лагерный режим и лишь ночами нащёптывал любимую песню: “Ой да, ты, полковник мой, отпусти домой. Отпусти домой, к отцу, матушке родной...” Когда доходило дело до драк с уголовниками, очертя голову защищал своих. Меркулов сдружился с донцом, мужественным и верующим, в неполные двадцать лет водившим сотню в атаки. “Коль не выживу, ты, Антон, бесперечь навести мать. Один я у ней. Доберись в Беломечётскую станицу. Передай: жив-крепок”.

В ростепельный вечер, когда роту гнали на ужин, какой-то курносый ездовой на виду у всех вытолкал из ворот конюшни пожилую заключённую и начал бить. Впоследствии выяснилось, что она набрала в пенал овса. Матвей выбежал из строя и кулаком вразумил служивого. Конвоиры кинулись на подмогу, стали долбить казака прикладами, пока не отгеснили за барак. Прощальный крик Матвея догнал колонну уже у двери столовой...

Однако умирали чаще невольники по дороге на участок или обратно, а то и на лесоповале: падали, где придётся, застывали в случайных, вычурных позах рядом с теми, кого завтра могла постичь такая же участь...

Непостижимо, но с годами страх смерти у Меркулова притупился. Да и другие лагерники, втягиваясь в неукоснительный режим, постепенно отвыкали от мирской жизни. Горбатиться от зари до зари, терпеть произвол и холод, зуботычины, задышаться в барачной вони и сырости, ходить под прицелами стрелков на вышках и ощущать себя бесправным и голодным рабом — это окаянство было лишено всякого смысла. Так человек, плывущий в море после кораблекрушения, в отчаянии сознаёт, что тело наливается свинцовой тяжестью, а берег по-прежнему далёк...

Однако каждый раз с приходом весны, с приближеньем Христова Воскресения в нём чудодейственно восстанавливалась жажда жизни. Вспоминалось, что срок заключения стал меньше, и в душе точно пробивался родничок, и вновь обретал он силы служить Господу...

— Не спишь, Антон Николаевич? — донёсся из темноты двора голос хозяйки. В открытую дверь времянки слышались неспешные шаги. Просто-волосая, в холщовой ночной рубашке, она отодвинула занавеску и заглянула в дверь. — За книгой? Чтой-то и мне не до сна...

Меркулов, сидевший за столом перед керосинкой, обернулся, глянул поверх очков. В домике пахло припалённой тетрадной обложкой, надетой на стекло в форме абажура.

— Читаю Откровение Иоанна Богослова. Какая вы умница, что сберегли Библию.

— А когда церкву рушили, забрала... Ты скажи, с чем полицей приходил?

— Велел явиться в правление.

— Выслуживается, гад! Выдал немцам людей... Убить его мало! Жалко Нору, какая с тобой работала. Придёт за козым молоком, — и всё балагурит... Да и муж у неё культурный, на скрипке пиликает... Значится, останешься счетоводом?

— Нет. Замену нашли.

— А на что жить?

— Как раз к слову... За моё проживание колхоз рассчитывался натуроплатой. А теперь... Можно я поживу в долг?

— Нашёл об чём... Помогашь в хозяйстве, по дому. Истый хозяин. А помирать буду — курень тебе подпишу.

— Спасибо великое, — улыбнулся постоялец и, немного помолчав, удивил неожиданным вопросом:

— Скажите, вы местная... Остались в станице верующие?

— Само собой. Мы, донские, — Богу преданные.

— А если откроют храм?

— Такому не быть. Фрицы хуже комиссаров.

— Нет, вы ответьте.

— Пожилые все чисто пойдут! — рассудила станичница. — Как без Богородицы и Спасителя? А младежь... Те — не шибко. Главное, чтоб батюшка был видный, с бородой и малость пузатый. А то служил у нас один... Голосок — как бабий волосок... А надо, чтоб до души пронимал!

Лицо Меркулова, освещённое сбоку, тронула улыбка.

— Внешность имеет значение, но важней всего — слово пастыря.

— Кабыть, так, — легко согласилась казачка. — Со святым отцом не плясать...

В дверь повеяло запахами настурции и белого табака. Не смолкал в палисаде хор сверчков, заглушаемый иногда переплеском листьев. В отдалении, в кавказской стороне улавливались отголоски то ли грозы, то ли канонады.

— Пелагея Никитична, хочу повиниться, — решительно обратился Меркулов. — Вы не знаете об этом... Давно, в молодые годы, сподобил Господь меня тайне священства. Служил недолго в храме, потом полковым священником.

В ночной тишине размеренно стучали ходики. Хозяйка отёрла рукой сиденье табурета, как бы в замешательстве присела.

— Когда узнала, что Матвеюшки нет, ты мне стал навроде сына... — с укоризной проговорила она. — Вот, оказывается, откуда бралась свячёная вода...

— Простите меня! Грешен... Вы же знаете — был под надзором. Постоянно в милиции отмечался.

— А я подозревала. Как ни зайду в твою комнату, то за книгами, то у икон. Думаю себе: посты соблюдает, табака и водки чурается, блудом не антиресуется — неспроста...

— С Господом я не расставался никогда. Но в лагере, Пелагея Никитична, меня перемолотили, аки сноп. Постарел, оскудел плотью... И даже здесь, в станице, поддавался малодушному искушению. Бывало, проснусь среди ночи, встану у окна и прислушиваюсь: ветер калиткой стукнул или чекисты идут?... А теперь — ещё тяжелей... Трудно поверить: немцы собираются открыть храм. И Гарига потребовал, чтобы я принял приход.

Многое повидавшая в жизни пожилая казачка свела брови, задумалась. Она хорошо помнила последние годы, ломавшие до корней казачью жизнь, щедрые на кровь, преобразования и посулы народного счастья.

— Храм на горе, как солнышко. А зараз — бесовская пора! — проговорила она с расстановкой, взглянув на постояльца. — Только ты не верь немчуре проклятой. Это они туману нагоняют, выколашиваются, к старине пихают. Пустили слух, а до дела — нескоро, — и, спохватившись, пояснила. — Я не отговариваю. Не подумай... Вот только что будет, когда немцев выбьют? Тебя же “врагом народа” обзовут...

Меркулов перекрестился, ответил словами из Библии:

— “Положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать”. Всё в руках Господних. И ежели призывает, я должен внять. Но прежде мне нужно подготовиться, обрести “силу в деле и слово пред Богом и всем народом”.

Во времянке затаялось безмолвие. Меркулов сидел за столом, сгорбившись, сцепив ладони. Прогоревший фитиль чадил. Порывистой и громче шумел сад. Несколько раз проблеснули зарницы.

— Может, пошлёт Господь дождичка. Земля аж звенит... — посетовала Пелагея Никитична и вспомнила. — Коли храм открывать, то надобно его освятить?

— Непременно. А для этого, прежде всего, требуется антиминс.

— Знаю. Плат с Ликом Христа, какой в алтаре.

— С ним пребывает сила Божья и Святой Дух. Он освящается архиереем.

— Когда отменяли церкву, ктитор многое забрал. Он помер, а бабка Фрося на ногах... Хлопот будет много! Вам же и облачение положено! И теperича... Как подобает именовать вас?

— Как и прежде. А рукоположен отцом Антонием, — ответил Меркулов, удивившись, что хозяйка стала обращаться к нему на “вы”.

— Отец Антоний... — повторила казачка. — Жаль, с тканями туго. У соседки Махоры, помнится, есть платье черное, сатиновое. Росту вы с ней ровные. А я перешью... Ничего, поднимем народ. Одного не оставим! — обнадёжила хозяйка и скрылась за летучей тюлевой занавеской.

Надев очки, Меркулов вновь попробовал читать. Но глаза стали слезиться от усталости. Он закрыл Библию и, не выпуская её из рук, прилёг на кровать.

То ли от прикосновения Священной книги, то ли от душевного тепла казачки лагерная мгла, застывшая воспоминания, исподволь рассеялась...

4

Он родился и вырос в семье учителя гимназии, в той особой разночинской среде, которая на рубеже двух столетий воспитывала патриотов-вольнодумцев с православной душой.

Родители снимали дом в центре Ставрополя, близ Казанского кафедрального собора, и придерживались строгих религиозных правил. В дни праздников и по воскресеньям вся семья отставала службу и причащалась. Антон, внук войскового священника по материнской линии, павшего на Шипке, рано усвоил молитвы и песнопения. Своё будущее он связывал с литературой, мечтая стать таким же знаменитым писателем, как живущий по соседству Илья Сургучёв. Его рассказы печатались в столице, а пьесы ставились в театрах. Встречая на Николаевском бульваре кумира, всегда одетого франтом, Антон ощущал, как замирала душа: вот избранник богов! А начинал здесь, в губернском городе...

Последний выпускной экзамен в гимназии, выдержанный на “отлично”, и величайшая в жизни трагедия — гибель отца — роковым образом совместились в один день. И тем ужасней была эта утрата, что произошла на его глазах. Вдвоём с отцом поднимались они по улочке, усыпанной крупным гравиём, а навстречу, стоя во весь рост, мчался на пролётке выжига в красной рубахе, лохматый, с оплывшим лицом. Он стегал нагайкой вороных и по-пьяному что-то горланил. И когда экипаж поравнялся с ними, вылетевший из-под колеса булыжник ударил отца в голову...

Ночью, накануне похорон, у гроба отца испытал он неизъяснимый трепет. То, что таилось в душе подспудно, вдруг открылось с поразительной ясностью. Всего себя он должен отдать служению Господу, Его вере. Только это даст силы жить без отца. А приближаясь к Дарам Господним, он вымолит упокоение его душе, спасение душ близких...

В семинарии Антон учился самозабвенно, а бескорыстием снискал расположение святых отцов и товарищей. Мать, Наталья Михайловна, оставшаяся без всяких средств, сошлась с вдовым купцом Асмаркиным. Это не мешало относиться к матушке и сестрёнке с прежним обожанием и дорожить каждой минутой, проведённой вместе.

Мария Волобуева, дочь мельника, стала для него избранницей. Знали они друг друга с детства. Но только будучи семинаристом, решился он назначить ей первое свидание. И в безоглядной влюблённости потерял голову. Всё восхищало его в девушке: и хрупкая фигура, и волнистые светло-русые волосы, и наряды, и неизменное добродушное настроение. После гимназии

Маша училась на курсах сестёр милосердия и готовилась отправиться в Галицию или Польшу, где сражалась императорская армия. Однако на Покров, в канун большевистского переворота, состоялась свадьба. Вскоре Антон был рукоположён в диаконы, и она с улыбкой стала величать себя “диаконицей Марией”.

Следующий год, одна тысяча девятьсот восемнадцатый, выдался в Ставрополе многослѣзным и несравнимо жестоким. “Красные товарищи” грабили, насиловали и убивали любого, кого причисляли к буржуям или контре, — от гимназисток и священников до дряхлых генералов. Под руку налѣтчиков попала и чета Асмаркиных. Ограбив, расстреляли их в собственном дворе. А двенадцатилетняя Тосенька, крик которой слышали соседи, бесследно пропала. В отпевании собственной матушки участвовал и он, диакон Антоний...

В те дни, потерявши родных, мучимый сновидениями (уродцы пробежали по комнате в озарении свеч, то в образе лешего с пустыми глазницами, то в виде чѣртика, то оборачиваясь двуглавым мужиком в красной рубахе), потрясѣнный разгулом террора, он наложил на себя епитимью. И благодаря многочасовому молитвенному труду, терпению жены и милости Божьей смог утвердиться духом. Предназначение его в юдоли земной — служение Богу. В открытом бою, как дед с османами, биться с воинством Антихриста. И пройдя хиротонию, будучи поставленным в священство, он по-своему понял послание патриарха Тихона с анафемствованием большевиков: “Ныне же к вам, употребляющим власть на преследование ближних, истребление невинных, простираем мы наши слова утешения: обратитесь не к разрушению, а к устроению порядка и законности, дайте народу желанный и заслуженный им отдых от междоусобной брани. А иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, вами пролитая, и от меча погибните сами вы, взявшие меч”.

Вскоре в Ставрополь вступила Добровольческая армия. Город уже несколько раз переходил из рук в руки, и “кадеты” в отместку большевикам провели свои репрессии, а товарища Ашихина, начальника городского гарнизона, вздѣрнули на виселице. Эти казни также ранили его душу! И вот однажды Маша заговорила о том, что преступно, ничем не жертвуя, взирать на гибель России, на разгул “красных варваров”. В добровольческих войсках, как читала в газете, нехватка медицинского персонала...

Жизненным рубежом для них стал Южно-Русский Собор. Отцу Антонию пришлось участвовать в его подготовке. Несмотря на споры иерархов, в Ставрополе было создано Управление епархий, освобождѣнных от большевиков. Поддерживая соборное обращение, Деникин издал приказы об амнистии пленных красногвардейцев и восстановлении должности полковых священников.

На аудиенции у митрополита Агафодора он, молодой священник, испросил позволения служить в Христолюбивом войске. Пастырь, иссушенный немощью, был немногословен.

— Патриарх Тихон зывает к прекращению распри. Он не даёт благословения генералам Белой гвардии, ибо они также чинят беззаконие. Полковой священник Божьей волей приставляется унимать жестокосердие. Сказано Иоанном Богословом: “Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны”. По всему, недаром коронованы большевики “звездой”... Внемли гласу Божьему. Стань поводом заблудших. А моё благословение — с тобой...

Священника-добровольца и его матушку, сестру милосердия, зачислили в пехотную дивизию. С первых дней привелось вдосталь хлебнуть фронтового лиха. Вблизи какой-то воронежской деревеньки красные, внезапно ударив во фланг, смяли позиции деникинцев. Из-за нехватки солдат свирепый поручик приказал отцу Антонию подносить снаряды к орудию, а затем заменить заряжающего. Артобстрел остановил наступление красных, позволив эвакуировать лазарет. Случилось это столь поспешно, что отцу Антонию не удалось даже проститься с беременной женой. А на следующий день дошла весть, что санитарный обоз перехватили латышские стрелки. Тяжелораненых расстреляли на месте, а прочих угнали в плен. Между тем бои становились кровопролитней, и полковому батюшке приходилось поневоле толкать снаряды в жерло раскалившейся трѣхдюймовки...

Ранение в плечо оторвало его от фронта. Повезло в одном: на ноги встал он ещё до бегства Добровольческой армии к Чёрному морю. Поскитавшись по Абхазии, поселился в Пятигорске, надеясь устроиться в Бештаугорский монастырь трудником. Но святая обитель была переполнена, и настоятель отказал ему.

За неимением пристанища и службы ничего не осталось, как идти до конца. У подножья Машука, в Свято-Лазаревском храме он исповедался пред епископом Иовом, только что вернувшимся в край предков — терских казаков. Владыка, осанистый, длиннородый, помрачнел и, вероятно, хотел отлучить от священства. Но что-то остановило мудреца. Быть может, покаянная боль и чистосердечие батюшки, ради веры Христовой не жалевшего себя.

Епископ отпустил ему прегрешения и наставил:

— Тяжелейшие времена пришли на Русь. Не только безбожники, но “живоцерковники”, еретики в рясах, аки саранча, нагрянули в храмы православные. Бился я с этими отщепенцами в Саратове, ограждая от проникновения их в епархию. Настаивал на автокефалии. Но лукавый хитёр и вездесущ...

Отец Антоний надеялся, что получит место в одной из церквей Пятигорского викариата. Но к середине двадцатых на Кавказских Минеральных Водах многие приходы были захвачены именно “обновленцами”. А храмы окрест продолжали закрывать, атеистическая травля разгоралась.

Тем временем чекисты вылавливали белогвардейцев, скопившихся на юге. Суд вершили лихо, расстреливали “пачками”. Фальшивым удостоверением на имя “Василия Зубкова”, тульского пролетария, Меркулова снабдили ещё в полковом штабе, и теперь этот “документ” помог ему спастись и трудоустроиться. Без труда освоив управление трамваем, он стал вагоновожатым. Подстриженный под полубокс, без бороды и усов, с крепким развалом плеч, “Василий” выглядел подлинным комсомольцем. Звание “Ударник пятилетки” поспособствовало в получении отдельной комнаты. Дождавшись отпуска, он тайком навестил в Ставрополе могилы родителей. Попытался через третьих лиц разузнать о судьбе жены, но ничего выяснить не удалось.

Господь даровал ему покой на целых четыре года. Каждое утро, за исключением выходных, дальний пеший путь приводил в депо, где работали люди мастеровые и несчетные. Затем весь день он курсировал от железнодорожного вокзала до Провала. А вечерами, убрав трамвай в тупичок, шагал обратной дорогой. Хотя на работе и были приятели, он чурался компаний. Комсорг убеждал его вступить в ряды “коммунистической смены”, но “Василий” отговаривался недостаточной подготовленностью.

В его квартире благоухали лилии, заливался кенар, барствовал рыжий кот по кличке Туз, приученный подавать лапку. А по углам на стене, пронизав тюль занавески, алели кружевные лучи. Свистел чайник, и шумела на кухне вода, ухали напольные часы, подаренные соседом, объединяя чудесным образом все предметы и придавая комнате уют. Это отшельничество помогало общению с Господом. Он приобрёл по объявлениям несколько старинных икон. И читал пред ними Евангелие, и молился, и даже в полном объёме проводил службы. А если выходной выпадал на воскресенье, то отстаивал в храме литургию и причащался. В благой отстранённости пребывал он часами пред алтарем. Внимая песнопениям, как сладко замирала душа в сиянии свеч и лампад! Родство со всем, причастным к Господу, ощущалось Меркуловым ещё глубже. И уходил он из притвора с надеждой, что вернётся на стезю священства...

Но вот кондуктором за его трамваем закрепили комсомолку Зинаиду. Плечистая девица считала себя неотразимой и без конца заигрывала с парнями. Больше месяца обласкивала улыбочками неженатого “Васеньку”, угощала пирожками с печёной тыквой. А затем, узнав адрес, первомайским вечером заявила в гости. Он предложил ей чаю, но Зинаида, вдруг увидев на стене иконостас, а на божнице — стопу старинных церковных книг, с досадой поняла, что расчёт на замужество рухнул. Что-то невнятное буркнув в ответ, принаряженная краля обиженно ретировалась.

И вскоре на её радость подвернулся случай. Обнаружив за водительским сидением образок Богородицы, она настрочила в ОГПУ жалобу, что “вагоновожатый Зубков кажин день молится на маршруте, заставляет её и пассажиров креститься и ругает товарища Сталина, а дома открыл поповский пункт”.

Заявление кондукторши и свидетельство “сексота”, видевшего в городе белогвардейского попа, побудили следователя устроить очную ставку. Осведомитель с первого взгляда опознал священника. У Меркулова не осталось выбора, как во всём сознаться.

Он понимал, что вероятен расстрел. На суд шёл, полагаясь на волю Божию, читая мысленно девяностый псалом. Однако “тройка”, известная суровым отношением к служителям “культа”, на сей раз вдруг явила слабость, приговорив Меркулова к семилетнему “перевоспитанию” в исправительно-трудовом лагере...

5

Ещё с юности досаждал Сёмка родителям норовом и ленью, и потому Мина Фомич, женив наследника, сразу же отделил. Просторную хату поставил ему напротив своих виноградников, насаженных по левобережью Мечётки. Да и жену, благодаря свахе, подобрал работающую и видную. Но поначалу семья показалась Семёну обузой. И до самого призыва в царскую армию круглый год болтался он по окрестностям с бельгийской двустволкой, выпрошенной у отца. И надо признать, настрелял руку настолько, что на лету шибал стрижка. А вся помощь его в большом хозяйстве заключалась в том, что осенью, когда вызревал виноград, сторожил по ночам плантацию, постреливая для острастки по звёздам. И никто из станичников не позарился даже на гроздь, помня, что Сёмка с придурью, и укокошит, не задумываясь...

И поныне обитал Гарига в своей саманной хате, ошелёванной тесом. Усадьба полого клонилась к реке. В камышах прорубил Семён Минич прогалину, соорудил дощатые мостки, с которых удобно и воды зачерпнуть, и вершу забросить. Поливной огород выручал ежегодно. Хватало до весны и картошки, и огородной всячины. Выше по скату тянулся яблоневый сад. Хозяин стерёг его, как зеницу ока и, чтобы отведать воров, летом переводил туда со двора волкодава, сажая на длинную цепь. А сам спал в сеннике, приготовив ружьё и кнут.

Яблонь в саду собралось десятка два, и каждая — на особицу. Кроме обрезки ветвей, уход за ними Гарига возложил на дочь Любку. Станичники знали о причуде конюха ездить по сёлам и ярмаркам в поисках саженцев редкого сорта. Поговаривали, хотя в это мало верилось, что при удаче он не скупился, тешил свой обычай...

Так мало-помалу на береговом скате, открытом солнцу, прижились гости с ближних и дальних мест. С мая и до Покрова сад был овеян нежнейшими ароматами. Первыми подходили белый налив и мельба. В канун Спаса — донешта и бельфлёр-китайка, дивя плодами сочными и сладкими. И Семён Минич развозил их участковому милиционеру и фининспектору Гулому. Эта дань помогала избегать штрафов за надомную торговлю. Впрочем, для отвода глаз вывозил Гарига свой урожай и на базар.

Лучшие яблоки вызревали в сентябре. Всё подворье наполнялось тогда запахами ранета, апорта и антоновки. Семён Минич чаще обычного подворачивал лошадей домой и, бредя вдоль рядов, с видом полководца оглядывал деревья. Будто на рождественском карнавале, висели на ветках разноцветные шары. Одни были зеленовато-жёлтые, другие — в тёмно-вишнёвых накрапах, третьи — с густым краснобрызгом, четвёртые — как слитки золота...

— Эх, недаром Ева спокусыла Адама яблоком! Яблуня, вона... — задыхался Гарига от накотившего волнения. — Вона — царица садов в свити!

И затаивался, прислушиваясь. И, казалось, подсохшие деревья соглашались, и в ответ шелестели листвою...

Только вечерами отпускал сам хозяин. А днём торговала Люба, увечная и окривевшая на левый глаз. Её руки, источающие медвяный дух, проворно укладывали плоды в ведро, дужку которого она вздевала на крюк безмена.

— Ого! — кривилась прижимистый станичник, услышав цену.

— Я вам добавлю, — отзывалась девушка и опрокидывала в мешок ещё полведра. — Вы только отцу не сказывайте.

Покупатели дружески относились к Любаше, перешучивались, и она, который год мыкавшая одиночество, ответно оживлялась. Но стоило кому-то намекнуть, что пора завести мил-дружка для утех, хмурилась и уходила в дом...

До девятнадцати лет не было ей в округе соперницы. И статью, и красотой, и певучим голосом выдалась козырь-девка в материнскую казачью породу. Родительница, также отличаясь пригожестью, была при этом своенравна, под стать Семёну. Пока хватало сил, давала ему сдачи. А когда заиндевели до времени тёмные выющиеся волосы, враз надломилась здоровьем. После очередной стычки слегла, стала таять на глазах. И уже через месяц склонялся Семён Минич над её гробом, бормоча, однако, не слова раскаянья, а упрёки за то, что бросила их с дочкой на произвол судьбины и некому теперь “будё борща сварить”...

Этой горе не помешало после сороковин привезти из Сальска молодайку Елизавету. И она была казачкой, да иного замеса. Хлопот по дому и ухода за скотиной чуралась, всё больше белила лицо, сурьмила брови и разъезжала с новым сожителем по кумовьям и родне. Смекнув, что связался с бездельницей, Семён Минич попробовал было её поколотить, да обжётся. Неделю ездил, отворачиваясь от встречных, с подбитым глазом. Гулёна быстро сообразила, что не уживётся с постылым хрычком. И после упорных поисков найдя тайник с деньгами и золотыми царскими червонцами, в тот же день как будто уехала к матери — и прахом пропала! Гарига, обнаружив воровство, неделю разыскивал беглянку, колеся по селам и станицам. Вгорячах решил заявить в милицию. Но в последний момент одумался. А если спросят, откуда накопление? И есть ли документы? Нет, уж лучше не лезть на рожон...

Отвлекли только свадебные хлопоты. Засватали Любашу в соседний хутор, хотя надеялся, что выберет она себе пару из станичных. Приглянулся ей тракторист Петро, весельчак и балагур. Свадьбу стоворились играть в ноябре. Не на тройке, а на тракторе СТЗ пожаловал парень за невестой. Его встретила у ворот комсомольская ватага. После речи секретаря о “новой ячейке социалистического общества”, молодые направились в загс.

Накануне трое суток кряду лил дождь. Но “железный конь” ходко бороздил суглинистую дорогу. Бревенчатый мост на краю станицы был в стоячих лужах, по нему радостный молодожён уже переезжал сегодня. А в этот полуденный час Петька то и дело поглядывал на свою красавицу, не ведая, что при первом въезде сорвал брус настила. Разгоняя тяжёлую машину, парень прибавил газу, и в тот же миг её повело в сторону. Трактор, натужно ревя, сорвался с пятиметровой высоты на каменистый уступ...

Петро умер перед вечером. А Любаша, в бинтах и гипсе, пролежала в районной амбулатории до самого марта. Домой забирал её отец весенним оттепельным деньком. На дно фурманки, как рекомендовал врач, Гарига поместил щит, застланный рядном. На него и переложили с носилок пострадавшую. Тронулись к дому крайней улочкой. Оба молчали после первых минут оживлённого при погрузке разговора. И вдруг Любаша запричитала:

— И чего я не убилась сразу?! Кому я теперь, одноглазая, нужна?!

Семён Минич натянул вожжи и обернулся, не скрывая повлажневших глаз.

— Ты — моя дочка, а я — твой отец. И ты доже не сокрушайся. До всех дохтуров дойду, а поставлю на ноги!

И слова эти, на общее удивление, Гарига сдержал. Не считаясь с расходами, на поезде повёз дочку в Ставрополь, к хирургу Макарову, слава о котором разнеслась по южному краю. В день операции пытался Семён Минич даже вспоминать молитвы. Но душа как оледенела: в Бога верилось и... не верилось.

6

...На исходе ночи, сморенный бессонницей, Меркулов забылся.

И увидел вдруг за окном небывало ясный свет. Смятение охватило душу, и поспешил он во двор в предчувствии чего-то важного.

Подле крыльца стоял старец в хламиде, с котомкой за спиной. Меркулов узнал преподобного Серафима, ибо схожесть с иконным ликом была несомненной. “Ты, сыне мой, молитвенно обращался ко мне, — возгласил Святой. — Помысленья твои праведны. Но дух мятежен, и вина пред Господом не искуплена. Ведаю, ждёшь ты благословения на стезю мученичества. Засим, раб Божий, удались от мира и, пребывая в молитвах, постись до часу, когда снизойдёт Благодать”. — “Отче Серафим, — вымолвил Меркулов взволнованно. — Чужеземцы захватили страну. Зло пуще прежнего воцарилось окрест. Смогу ли я?” — “Сказано: вера без дел бесплодна есть. В Царство Небесное видит исполняющий волю Отца Его. Иди и служи Господу...”

Неизреченный бирюзовый свет стал меркнуть, воздух пред глазами задрожал, точно во дворе рассеялось водяное облачко. Следом ударил отдалённый гром...

Меркулов проснулся и ощутил в руках Библию. Учащённо билось сердце. “Всё в воле Твоей, Господи! Ты призываешь меня в храм. Я внял, Отче! А когда призвуют меня на судилище земное, — отвечу, ибо превыше всего Твой суд...”

Он встал и, поцеловав Писание, возложил на божницу. Светало. Переключка громов становилась громче. И, казалось, гулом отзывалась ей изнурённая засухой степь. Неборимое желание пойти к храму крепло поминутно...

Навстречу ему по светлеющей улице понеслись вихри, кружа жухлую листву и слепя пылью. В окнах домов — ни огонька. Дворы ещё безлюдно молчали. Лишь у реки, где жил Гарига, вспыхивали петушиные заправки.

Дорога привела его к майдану, на возвышенном краю которого в проблесках молний то возникал, то исчезал храм. И прежде стесняло грудь при виде этого порушенного строения, а сейчас, в грозových сполохах, церковь выглядела особенно сиротливо. Многие десятилетия проводились в ней литургии и молебны, а на площади казаки выбирали атаманов, давали присягу, и всякий раз освящалась станичная сотня, уходившая на войну. И с именем Господа покрыли донцы свои знамена славой, служа царю и Отечеству...

Молнии жгли всё ближе. И вслед за моросеем, с нарастающим шумом грянул ливень. Меркулов, охваченный смятением, вскинул руки:

— Господи, наставь меня на путь истины Твоей! Дай, Господи, моему недостоинству благодать разумения, чтобы распознавать приятное для Тебя, а для меня полезное...

Он вмиг вымок до нитки. Но терпеливо подставлял лицо хлёсткой водичке, крикал и смеялся, всем существом отдаваясь этому желанному и спасительному омовению в небесном Иордане. От ударов грома закладывало уши, но он стоял с поднятой головой и трижды повторил: “Сокровище благих и Подателю истины, приди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша”. И ощутил, как сила входит в его сердце...

Гроза откочевала в заречье. Над площадью лишь изредка просеивались капельки да мелькали ответы зарниц. А взгляд Меркулова был устремлён ввысь, где не прекращалось небесное таинство: тучи, прошитые первыми лучами, то наслаивались, стгущаясь, то распадались на витые космы, а то и вовсе разбегались, открывая небосвод. Невиданное доселе зрелище: синевато-серые, белёсые, фиолетовые облака, окантованные оранжевой полосой, аспидная мгла в степной дали, куда удалялся грозовой фронт, — вся панорама неба завораживала. Невольно вспомнив жития святых, он воспринял это светозарное диво как знамение...

Было уже светло, когда на площадь со стороны околицы вылетел верхоконный — чёрный на фоне алеющего востока. Он развернул каурую кобылицу и пустил напрямик к замеченному человеку. Издали, поднимая руку с нагайкой, угрожающе крикнул:

— Кто такой? Пропуск!

И, не дожидаясь ответа, с разгону грудью лошади сбил нарушителя комендантского часа.

Меркулов спиной прокатился по раскисшей дороге. Следом ожёг его удар нагайки. У самой головы замерла заляпанная грязью лошадиная нога. Опахнуло резким духом мокрой шерсти. Он с трудом поднялся, ощущая боль в ноге.

В чёрной кубанке и винцераде*, с карабином за спиной, Касторнов склонился с лошади, грубо спросил:

— Никак счетовод? Откуда взялся?

— Я к храму пришёл. Буду в нём служить.

— А комендантский час?!

Толстогобый, с широко посаженными глазами, молодой полицай, вероятно, что-то вспомнил и ухмыльнулся. Тронув лошадь, бросил через плечо:

— Какой из тебя поп?.. Так... Таблица умножения!

То ли испугавшись какого-то зверька, то ли из норова кобылица взвилась на дыбы, затем взбрыкнула и понеслась на кусты шиповника у обочины. Заваливаясь назад и натянув удила, полицай пытался её осадить, но удержать ли в запале донскую лошадь? Мощно оттолкнувшись задними ногами, она послала корпус вперёд, взвилась над сплетеньем веток в алых ягодах. Высокий полёт её был недолог, но это не спасло наездника. Он рухнул в гущину кустарника, закалившего колючки на горячих ветрах. Ядрёный мат далеко огласил околицу...

Станица наполнилась утренними хлопотами. Бестолково метался сырой, прохладный ветерок. На деревьях поблёскивали хрусталинки капель. Почти в каждом дворе пластался духовитый кизячный дым — хозяйки до выхода на работу спешили со стряпней.

Жизнь в Граде земном шла своим чередом...

7

Жаркое утро вышло лужицы. Ветер с юга спекал на дорожной колее комья, дубил поблекшие травы. Полднем направляясь в правление, Меркулов замечал на себе оценивающие взгляды станичников: то приветливые, то насмешливые, а то и откровенно враждебные. Весть об открытии храма наверняка разнеслась по дворам.

Две недели, пока длилось немецкое наступление, в правлении колхоза дислоцировался штаб танковой дивизии. И теперь повсюду угадывались следы пребывания оккупантов. Штакетник со стороны улицы был сплошь повален, а кое-где измолот гусеницами в щепу. Цветник, проутюженный гусеницами, напомнил вспаханную делянку: земля смешалась с обломками кирпича, с лепестками ноготков и разноцветок. Лишь у крыльца клумба осталась нетронутой: розы белели скрутками соцветий.

В коридоре Меркулов встретил Полину. Худенькая, с выпирающими из-под кремового платья ключицами, девушка шагнула навстречу. На её засеянном веснушками лице проблеснула улыбка.

— Здравствуйте, Антон Николаевич! Мне приказали вас дожидаться.

В бухгалтерии, где недавно вымыли полы, стоял характерный затхлый запах. Со столов исчезли счёты, а со стен — портреты вождей. Большой сейф распахнуто зиял. На полках шкафов — ни папок, ни подшивок документов. Самые ценные увезены в эвакуацию. А прочие сожжены по приказу оперуполномоченного НКВД.

Меркулов по привычке выдвинул верхний ящик стола. Но вместо нарукавников обнаружил огрызки яблок, грязный носовой платок и пустую консервную банку с надписью "Schweinefleisch". Видимо, танкисты подкрепляли боевой дух свиным мясом.

— Вас спрашивала Наталья, — сообщила девушка, открывая на столе свою потёртую балетку. — А я захватила копии. Может, пригодятся?

— Побудь здесь...

Меркулов, осторожно ступая на ушибленную ногу, двинулся в приёмную. Оттуда в распахнутую дверь доносились голоса.

— Я знала, что он поп, — короткими очередями выдавала секретарша. — Пожилой, а ни детей, ни плетей. На митинги не ходил. Сидел в бухгалтерии под портретом Калинина, а теперь...

* Винцерада (южн. диал.) — казачий плащ.

— Человек он неплохой, — вступилась уборщица Акимовна. — Ко всем с уважением. Школьников в кружке... этим... шахматам обучал. А раз должность батюшки дали, значит, знающий.

— Кино, да и только, — хихикнула Наталья. — Идёт война. Надо выживать. А религия — опиум... — и вдруг, увидев входящего Меркулова, осеклась. — Вы пришли, Антон Николаич?

Непрощеный холодок кольнул сердце при виде барышни, восседавшей на прежнем месте, в привычном синем платье с горошинами. Будто ничего в мире не произошло! И тени переживаний не было на её пухлощёком личике. Напротив, она с особым старанием завила русые волосы, чтобы понравиться новому начальнику.

— Минуточку, — чиркнула Наталья и, отстучав на печатной машинке фразу, вскочила: — Я доложу управляющему.

Секретарша выпорхнула из бывшего председательского кабинета, оставив дверь открытой. Разорённая комната, без шкафов, полок и ковровой дорожки, точно раздалась ввысь. Оттого, наверное, бритоголовый мужчина в пенсне, очень похожий на наркома Берия, показался приземистым. А тот, услышав фамилию вошедшего, в свою очередь, с любопытством оглядел посетителя в бжежом чесучовом костюме.

— Казачий есаул Чунихин. Рад познакомиться. Присаживайтесь. Надеюсь, мы с вами сможем наладить работу, вывести людей в поле, а в дальнейшем восстановим казачий уклад.

Меркулов, положив руки на спинку стула, стоял в полный рост. Слова немецкого назначенца озадачили его.

— Видимо, вас не предупредили. В станице...

— Да, я в курсе, — подхватил управляющий. — Бог вечен, а мир переходящ. Сначала займёмся земным. Уберём и свезём в амбары выращенное, чтобы станичники не околели с голоду! — двойник Берия двумя пальцами поправил пенсне. — Не стану скрывать, я не дока в хозяйственных делах. По корневой профессии — воин. Атаман Павлов представил меня, как сослуживца, оккупационным властям. У нас с ним одна цель — возрождение донского казачества. И, находясь в гуще жизни, всячески способствовать этому. Уважаемый Антон Николаевич, поработайте главбухом хотя бы месяца три. А я, как христианин, буду вам содействовать.

— Я не имею высшего образования. Учёт вёл только по полеводству. А отныне хочу посвятить жизнь Господу.

— Понимаю. А вот немцы... За отказ работать на рейх могут и... расстрелять, — глянул поверх пенсне поборник казачества и сжал ладонь, распластанную на синем сукне столешницы. — Им нужны хлеб и мясо для армейских кухонь, а не молитвы и духовное единение русского народа. Для них Православие — приноблаженная чушь.

— Вы богохульствуете, а назвались христианином.

— Прости, Господи! Но и вы поймите... В станице должен быть хозяин, который позаботится о соплеменниках.

Меркулову этот человек показался... знакомым. Наверняка он где-то видел его.

— Я объехал угодя, — с пафосом продолжал Чунихин. — Не убраны два клина яровой пшеницы, поля подсолнечника и кукурузы. Сколько это в гектарах — не знаю. Лобогрейки и молотилки повреждены. Если не отремонтируем, придётся косить вручную. А непогода — на расстоянии выстрела... В конце концов, вы можете совмещать работу со службой в храме.

— Это невозможно. Урожай всё равно присвоят немцы.

— План по заготовкам, да, установлен. Фельдкомендант требует выполнения. Но часть урожая мы могли бы оставить себе... Главное, не количество денег, а то, как их посчитаешь, — пошутил Чунихин, тая во взгляде нечто двусмысленное. — Мне нужен финансовый отчёт за полгода!

— Документы, за исключением копий... — Меркулов умолк, обнаружив на тумбочке портрет Гитлера.

— Что вас покорило? — мгновенно среагировал есаул и обернулся. — А-а... Фото? Оно не стреляет... Времена меняются, а людям нужна пища.

Сегодня одни в седле, завтра — другие. Для меня святая святых — благо народа. Мы не должны бросить братьев и сестёр Тихого Дона на произвол судьбы.

Чунихин в раздумье наморщил лоб.

— Допустим, я найду специалистов. Наберу, так сказать, для сотни вах-мистров. А дальше?

— Деятельность колхоза, прежде всего, определяется производственным планом. Он составляется по типовой форме. Также обязательна денежная приходно-расходная смета. А учёт при уборке зерновых ведётся по “Записным книжкам бригадиров”, в которых зафиксирована деятельность колхозников, — начал подробно объяснять Меркулов. — Порядок учёта и документы, оформляющие оприходование урожая, различны... Впрочем... МТС ликвидирована, и комбайнов нет.

— Антон Николаевич, голубчик, подготовьте баланс хотя бы по аграрному сектору. В райзо* вообще нет документов по нашему хозяйству.

— Бухгалтерия требует точных цифр, а не фантазий... Я попытаюсь сделать всё, что возможно.

— Явите милость. Это нужно для народа. Когда будет создано атаманское правление, оно примет активнейшее участие в жизни прихода, — Чунихин обогнул стол, поскрипывая новыми хромовыми сапогами. — Письменные принадлежности отменного немецкого качества — у Наташи. Кстати! Мы с вами уже встречались. Два года назад играли на ростовском турнире. Кажется, в миттельшпиле я пожертвовал ладью и получил “Матильду”. У вас есть шахматистики? Можно вечером подвигать.

— К сожалению, не имею возможности, — сухо отказал Меркулов и удалился в приёмную, не принимая протянутой к нему ладони.

Только на другой день, пользуясь дубликатами ведомостей и сводок, сохранившимися у Полины, толковой помощницы, удалось частично восстановить полугодовой баланс. Перед вечером в правление прибежал босоногий сорванец. Заглянув в бухгалтерию, скороговоркой выпалил, что “батюшку в церковь кличет дед Курирян, плотник”.

Меркулов попросил Полину передать отчёт управляющему, а сам засобирался. Полина со вздохом, покорно приняла от него связку ключей от сейфа и двери. Случайно внимание Меркулова привлёк лист бумаги с распластным немецким орлом на соседнем столе. Его занесла в бухгалтерию Наталья. Он взял его в руки. “Вдохновлённые призывом нашего атамана Краснова, мы, штаб Войска Донского, обращаем свой призывный клич к станицам Тихого Дона, Кубани и Терека. Слава Великой Германской Армии, слава светлейшему освободителю и вождю Европы — Адольфу Гитлеру... — скользнув взглядом ниже, он прочёл: — Прокричим казачьим “УРА” славу Германской Армии...”

— И я доверился этому лукавому лгуну, — не сдержавшись, вымолвил Меркулов.

Он с отвращением разорвал листовку на мелкие куски и выбросил в урну. Взяв со стола подготовленный документ и черновики, скрутил их в тугий жгут и положил в свой портфель.

— Передай... казачьему есаулу Чунихину, что ничего не вышло. А свои копии, пожалуйста, сожги.

— Я поняла, — кивнула Полина и смущённо спросила: — А мне в церковь можно? Я — крещеная, хотя и комсомолка.

— Церковь открыта для всех. Я буду рад увидеть тебя. Господь всеблаг. И ты это поймёшь...

8

Никто не знает определённо, кем сооружены на Дону первые православные храмы. Вероятней всего, возводились они повольниками, бежавшими сюда в конце XVI века с двинских и вятских земель после разгрома Великого

* Райзо — районный отдел земледелия.

Новгорода. Именно с приходом на Дон искусных плотников, издревле владевших этим мастерством, казаки обрели деревянные церкви, ставшие оплотом христианства. Северяне-ушкуйники строили часовни на свой манер: прямоугольный сруб-клеть, крытый двухскатной кровлей, украшала маковка с крестом. Соблюдалось деление внутреннего помещения на три части: алтарь, перед ним — мужичник, а в конце — бабник. Впоследствии московские цари и патриарх Никон поощряли строительство храмов в Черкасске, посылая деньги, грамоты и писанные лучшими богомазами иконы.

Донские часовенки, неброские каплички собирали православных вплоть до середины восемнадцатого века, когда взамен им, часто горевшим, войсковая канцелярия и местная епархия не взялись за возведение каменных церквей. Уже на новый лад ставились барочные храмы с портиками, колоннами, лестницами. Однако во второй половине XIX столетия донскому архиепископу Игнатию порекомендовал Синод ставить Божьи дома по упрощённым проектам и такой величины, чтобы прихожанам было по средствам содержать их.

Беломечётскую деревянную церковь на каменном фундаменте открыли в пору Кавказской войны, когда хутор разросся в станицу, благодаря отчуждению донскими помещиками крестьян и переселению их, наряду с казаками, на юг войсковой территории. Основали эту станицу, как ранее Егорлыкскую и Мечётинскую, с целью постоя русских войск, направлявшихся в Чечню и Дагестан или возвращавшихся после баталий.

Заново храм перестроили, обложив кирпичом, при “Николашке” (так честили донцы последнего царя). Лейб-гвардейцы по возвращении из столицы рассказывали о милостивом отношении царя к простолюдинам, однако это вызывало обратное действие. “Не амширатор, а рохля. Косоглазому япошке укороту не дал! Рази ж способно ему громадной Расеей править? — сокрушались бородачи. — Как в сказке. Имелось у Степана три барана. Был он добряк, а попросту — дурак. Пас он их пас, да напился на Спас. Очнулся рано — ни одного барана. Стал ахать да горько плакать. Ему утирку бросил волк — на поле шерсти клочок... Так и туточки! Ох, не сбережёт Расею, выхватят из рук черти...” Между тем на пожертвования казаков и коннозаводчиков украшался иконостас и убранство храма. Во многом ход жизни в Беломечётской зависел от воли и слов священника и брал начало от Троицкой церкви.

Она была ладной, небольшой, о трёх куполах, крытых жостью. Крашенные охрой, маковки виднелись с разных концов станицы, благодаря тому что храм стоял на каменном пригорке. В гражданскую не минули его святотатцы: банда матросов-анархистов “экспроприировала” дорогую утварь, а “товарищи” из пролетарской дивизии расстреляли священника, а затем — образа на иконостасе и загнали на постой кобылиц. Но и этого показалось мало. Отступая, они подожгли Царские врата. Прихожане вовремя сбили огонь...

С дороги Меркулов ещё раз осмотрел церковь, приспособленную комсомольцами под физкультурный зал. К Первомаю белёная мелом, выглядела она опрятно. Однако поржавевшая жестяная кровля нуждалась в покраске.

Он поднялся на паперть и вошёл в высокие двери, слыша размеренные удары. Вихрастый парнишка, забравшись на козлы, кувалдой сбивал настенный крюк, на котором болтался гимнастический канат. В воздухе слоилась пыль. На каменном полу валялись куски штукатурки. А у колонн, обозначающих центральный неф, лежали металлические опоры для волейбольной сетки и шведская стенка.

Увидев вошедшего, Витька опустил руку с кувалдой. Лицо его было припудрено меловой муницей. Даже брови белели, как у снеговика. Паренек поздоровался и солидно сообщил:

— Дед Куприян сомневаются, где щит под иконы ставить. Он домой уже ушёл — грыжа. А вы мне расскажите, я передам.

Меркулов указал границы алтаря. Пояснил, как нужно возвести амвон. Витька гвоздём нацарапал на полу метки и, не склонный к разговору, снова влез на свой высокий постамент.

— Уже темнеет, — сочувственно сказал Меркулов. — Может, довольно?

Парнишка по-взрослому рассудил:
— Надо ещё полупить, пока силы есть.

А дома Меркулова ожидали люди.

В глубине двора, кроме хозяйки и соседки Махоры, сидели на лавках и ступеньках крыльца ещё три старухи-казачки, молодая женщина в траурной косынке и дед Дюньдик, прозванный “Карасём”. Лица людей были задумчиво строги. С тех пор, как закрыли станичную церковь, никто из них не выдвигал священника.

Дюньдик, дюжий старик с ореолом седеньких волос на голове, заметив входящего в калитку Меркулова, взволнованно обратился:

— Благослови нас, батюшка.

Меркулов от неожиданности приостановился и осенил двор крестным знаменем.

— Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!

Женщины встали и подошли ближе. От изъятых из сундуков тирасок и оборчатых юбок припахивало нафталином и донником, отпугивающим моль.

— Мы к вам, Антон Николаич...

— Отец Антоний, — подсказала дородная баба Махора.

Тот зыркнул через плечо и поправился:

— Как вы без рясы, то растерялся... Правильно, отец Антоний... Ну вот... Прознали мы от Пелагеи. А полицаи дворы объезжали, приказали выходить на ремонт церкви. Вот мы и не стали дожидаться!

— Принесли три иконы, подвечник, ручной крест и наперсный — серебрянные, две лампы, епитрахиль, — перечисляла Пелагея Никитична, за которой, видимо, с общего согласия закрепилось старшинство. — И у бабы Фроси много чего хранится. Я забрала подрясник. Чуток шашель побила, а так чистенький. А главное, антиминос нашёлся! Как завернули в холстину, так и пролежал нетронутый!

— Тут ишо одна напасть, — сокрушённо продолжал Дюньдик. — В том году наезжал в станицу бородастый говорун, собирал нас у Марцевой Анисьи. И наставлял богомольничать на новый лад. Дескать, старая вера Христова отменяется. И все верующие должны вступить в православные сицилисты. И псалмы петь под балалайку и тому подобную гармошку... Вот мы и антересуемся: какой вы компании? За старых али за новых?

— Это раскольники, обновленцы. Они несут в мир лукавство и ересь. Православие неразделимо и вечно, как Господь наш, Иисус. И я отношусь к тем, кто за это...

— Слава Богу! — тонкоголосо воскликнула бабуся, опирающаяся на клюку. — Мы с Гавриловной в младости на клиросе завсегда стояли. Зараз, по ветхости, не всё помним. А подтянуть могём!

— Доразу зачислил нас в хор церковный! — добавила сухая и смуглая, как цыганка, Гавриловна.

Третья старушонка с палочкой, прихрамывая, вышла вперёд всех.

— А я жертвую наволочку муки для просфор и кувшин винца, — объявила она, шамкая беззубым ртом. — И хочу первой за это причаститься!

Меркулов слушал, неволью улыбаясь. Пришествие людей, радеющих о храме, тронуло сердце.

— С вами благословение Божье! Господь явил милость, дав возможность восстановить в станице приход. В храме молитвенное слово обретает особую силу. Господь слышит и видит наши щедроты.

Женщины заговорили вперевивку.

— Всех верующих поднимем!

— Вы скажите Шершню — нехай мелом обеспечит, чтоб мы внутри побелили.

— Первым делом надо кресты на купола! Хоть деревянные...

— Я в школе убирала. Там в кабинете, где опыты, паникадило видала. Надо его забрать!

Но всех громче пробасил дед Дюньдик:

— Коль собрались мы у тебя, батюшка, то доже желаем, чтоб провёл ты с нами молебствие! Одно горе вокруг...

Пелагея Никитична принесла Евангелие и крест, а затем старик поставил на припечек икону Спасителя в деревянном окладе. Вероятно, из храмового иконостаса.

— Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков! — начал Меркулов, устремив взгляд на Лик Христов, золотящийся под закатными лучами. Зарево пламенело за рекой, растекаясь по степному гребню. А само солнце, припавшее к земле, напоминало возжённую лампаду.

Женский хор сбивчиво подхватил:

— Господи, помилуй!

Он трижды осенил богомольцев поднятым крестом и, сознавая, что совершается в жизни нечто необыкновенное и долгожданное и проникается душой теплом Божьей тайны, продолжил молебен.

Меркулов слышал свой голос как бы со стороны и не мог унять охватившего душу волнения.

— Боже, во имя Твое спаси мя и в силе Твоей суди ми! — прочитал он прокимен, беря Евангелие и готовясь читать его, и чутким слухом уловил вторящие голоса прихожан. Почувствовал сердцем, что люди следуют за его молитвенными словами и приняли как пастыря...

— Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимтися, услыши и помилуй... Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молиत्व ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас!

А когда богомольцы стали подходить к кресту и он всматривался в лица, воочию заметил их благую просветлённость, точно освободились от паутины...

9

Гарига подъехал к балькинскому подворью как раз в тот момент, когда хозяйка выгоняла козу пастись. Узнав, что постоялец уехал рыбалить, возмущённо спросил:

— А в якэ место? Где шукать?

— А я почём знаю? — в тон ему, грубовато отозвалась Пелагея Никитична. — Молебен он в этом самом дворе отслужил. Люди приносят образа, утварь. Я вчера у храма была, его ремонтируют. Батюшке положено сил набраться, чтоб участь такую — священство принять... Его ж ветром качает. В чём душа держится. А тебе лишь бы... немцам пятки лизнуть.

— Ты, Пелагея, прижми язык! — обозлился Гарига. — А то плетюгов... Ишь, змея подколодная!

— Змея, а в своей шкуре. А ты в чьей? В кого превратился?

Семён Минич обложил чуму-бабу крепким словом и так стеганул вороного, впряжённого в двуколку, что на крупе вспух рубец. Гнев его был вызван тем, что фельдкомендант мог приехать в станицу, чтобы познакомиться с батюшкой. А попа и след простыл! И как он, старший полицейский, оправдается перед Кремером?

Снисходительность немца была Семёну Миничу на руку. Вместе с подручными он наворовал колхозного зерна, кукурузы, пригнал во двор тёлку. Кроме того, втихаря ограбил дома арестованных. Самое ценное причужил сам, а мелочовку пожаловал "коршунятам". Он ведь и в полицейские пошёл только затем, чтобы, служа немцам, обогатиться, попановать и поглумиться над теми, кто в грош его не ставил...

О способности Гариги находить спрятанное знали все в станице. Во время коллективизации он вместе с комсомольцами обходил дворы одиночников в поисках зерна. Точно колдун, останавливался посреди усадьбы, оглядывал её. И вдруг, ухмыльнувшись, начинал действовать: шёл к сараю, лез на чердак куреня, загонял свой металлический щуп в нарочито присыпанную мусором землю, раскидывал поленицу дров, — и на беду хозяина находил гарновку или ячмень, припасённый на зиму. А уж запугивать людей, когда нутром чуял поживу, настаивать на своём он умел, как никто другой: по-волчьи, тёмной злобой подавлял человека, лишал опоры, добывал...

Сейчас не давали ему покоя две задачи: как продать оставшиеся яблоки и где раздобыть для дочки новый глазной протез. До недавних дней Семён Минич не знал, что существуют особые линзы, точь-в-точь как человеческий глаз. Его Любаше после операции выдали вставной протез, научили, как пользоваться. Но когда дочка увидела себя в зеркале, то проревела двое суток и пользоваться вставной стекляшкой отказалась.

На вечеринке с “фройндами” Гарига заметил, что у фельдфебеля левый глаз двигается не так, как правый. Присмотревшись, нашёл между ними разницу и догадался, что к чему.

В комендатуре сошёлся он с переводчиком, черноволосям парнем, державшимся доброжелательно. Родом Стефан был с Западной Украины. Но когда обер-полицай, желая угодить ему, попытался общаться на родном языке, галичанин высокомерно оборвал:

— Не выношу, когда язык предков — нашу божественную мову! — коверкают скоты... Чтобы больше не слышал!

И задавшись целью помочь дочке, Семён Минич заговорил с переводчиком заискивающе и по возможности грамотно:

— Пан Стефан, у фельдфебеля фальшивое око. Такое же надо моей дочке. Окривела ненароком. А девка в самом соку... Расспросите, Христа ради, где он его достал? А я в долгу не останусь...

Но вскоре комендатуру немцы перевели в станицу Егорлыкскую, а полномочия передали станичному старосте. Гарига без промедления явился к нему, бывшему фининспектору Гулюму.

— С должностью, Игнат Палыч! Дюже приятно мэни, що до такой величины досягнули! Ране вы заступались за мэна, як отец, а зараз я своих кровей не пожалею!

Гульий походил на бочонок: круглобокий, лицо небольшое, ушастое, а на самой макушке лысины — бородавка, напоминающая воробьиное яичко. Глазки спрятаны в складчатые веки и буравчиками — сверлят, сверлят...

— Ты эту песенку, Минич, брось, — отмахнулся староста. — Знаю тебя, пройдоху. Докладывай лучше о порядке в станице!

Гарига стал мямлить, перескакивать с одного на другое.

— Да... Косноязычен ты, братец. Так ума и не нажил... Придётся тебя заменить.

— Як... заменить? — растерялся Семён Минич.

— А чего от тебя ждать? Чтоб партизаны мне башку открутили?

— До того не допустим! — запальчиво возразил Гарига. — Дённо и ноцно в дозорах будэмо...

Гульий, пересышая речь язвительными шуточками, долго читал нотацию, а в конце предупредил:

— Не лезь, куда не просят. Должен быть начеку. Спать с оружием! За безопасность в станице отвечаешь шкуррой... А начнёшь бузить и своевольничать — выгоню взащей!

Удручённым вышел Гарига из управы. “Эх, дурень, не отвиз ему яблочков. Вот вин и злует... Зараз заставлю Любашку, нехай мешок нарвёт. Он антоновку уважает... Грец с ним! Надо к немцам тулиться...”

И назавтра махнул в Егорлыкскую. Но и там порядки ужесточились. Фельдкомендант потребовал в отряд для поимки партизан в Азовских плавнях беломечётских полицаяв. Это не понравилось Гариге. Но получив патроны и три “лимонки”, Семён Минич взбодрился. На улице встретил Стефана. Тот разузнал, что немецкие глазные протезы изготовлены из особого криолитового стекла. Фельдфебель обзавёлся таким на родине. Но можно попытаться счастье, обратиться в немецкий госпиталь, размещённый в Ростове.

Обратной дорогой Гарига усиленно думал. Без сомнения, только поступком можно заслужить поддержку фельдкоменданта. Вспомнив, как хвалил его Кремер, когда сразил красноармейца, Семён Минич пришёл к выводу, что надо ещё кого-то убить. На фронтах его охотничий пыл странным образом переродился в пьянящее безумие. И у белых, и у красных Гарига участвовал в расстрелах. И когда от нажатия курка живой человек становился мертвецом, он испытывал какой-то ознобный восторг. Вот и сейчас, подумав

об этом, незаметно для себя ощерился, затаился. Только бы найти жертву: партизана, еврея, коммуниста, беглого солдата — не имеет значения. А уж выставить себя героем, рабом германской нации, он сумел бы не хуже артиста...

Уже у станичной околицы ощутил он усталость и отвлекся. В церкви перекликались молотки. Вспомнив, что ни староста, ни Кремер не спрашивали о храме, Гарига усомнился в нужности его, хотя станичники всё делали самостоятельно. Впрочем, у немцев семь пятниц на неделе. А вдруг фельдкомендант явится с проверкой?

Семён Минич хотел сразу порадовать Любашу. Но та, выслушав, отказалась ехать в далёкий город, к немецким врачам.

— Що ты кривишься? Не надоело в перестарках? — не на шутку рассердился отец.

— Одна стеклянная “шашка” валяется в комод. С ней я хуже циклопа, — с горечью напомнила девушка.

— Ото ж другой протез! Немецкое “око” красивше живого... Як ясочка! — Гарига прошёлся по кухне и с досадой добавил: — У всех, Люба, внуки. А тильки у мэнэ немає...

10

Война дьявольской секирой разрубила великое пространство страны. На вольной, родной стороне неколебимо жила надежда, сплотившая людей целью: “Всё — для фронта, всё — для Победы!” А на оккупированной, точно ставшей чужой территории по плану “Ост” велось уничтожение славян и евреев. В глубоком тылу, на Украине и в Белоруссии, зондеркоманды СС, борясь с партизанами, дотла выжигали деревни, десятками тысяч умерщвляли мирных жителей.

Иное дело — на Дону и Кубани. Фронт здесь был всего в сотнях километров. Надеясь на поддержку казачьего люда, испытавшего “красный террор” и недавние репрессии, оккупанты повели дальновидную политику, выказывая уважение к ратным подвигам аборигенов: им было дозволено избирать старост и атаманов, открывать храмы, носить войсковую форму. Поощрительно относились коменданты к тем, кто вступал в немецко-казачьи сотни. Впрочем, вооружали “удальцов со свастикой” абы как, а использовали, где заблагорассудится: не раз бросали с шашками в пекло артиллерийского боя.

Делая поблажки, захватчики пеклись о снабжении своих дивизий донским и кубанским зерном, провиантом, фуражом и тёплой одеждой. И как только колхозные амбары оскудели, требования “новой власти” к населению стали круче, грабежи и карательные меры — гораздо чаще. И недаром! Наступление на Кавказе застопорилось, прорваться за Волгу, обратив Сталинград в прах и пепел, не удавалось...

Протяжённый лог вдоль речной излучины с давних пор носил название Бургуста. Вероятно, калмыцкие пастухи или воины, поившие тут коней, нарекли “Вербным местом” этот уголок в задонском просторе.

Издали открывалась путнику в поднебесной дымке, — словно бы это, споря с ветром, стоял на крыльях коршун-лунь, — белёсая верхушка бугра, нисходящего к Мечётке. Ниже склона подковой гнулась луговина, облюбованная вербами и полководьем. Под исход апреля сюда стекались из станицы любители диковинного зрелища: пожара диких тюльпанов-лазориков. Рождённое вешней землёй алое пламя вперемешку с золотистыми и белыми проточинами разбегалось по берегу и застывало, сплошь укрывая землю. За версту ощущался такой тонкий медвяный запах, что у видавших виды казаков голова шла кругом, а у иной бабы и слезу вышибало. Степь будто внушала очарованным ею: “Ничто не сравнимо с моей красотой и могучей волей! Нигде нет такого манящего птиц неба и несметного богатства трав. И земля-кормилица, обласканная солнцем, отзывчива на тепло сердец и силу рук, щедра на хлебные колосья и родники. Только любите и берегите меня...”

Меркулов остановил велосипед на вершине бугра, оглядел благословенный приют. Предвечернее солнце, затянутое облаками, мягко освещало разлёт

лога. Качались под ветром вербы и порыжелые камыши, вознесшие шелковистые метёлки. Покосная деляна пестрела цветами. Две приземистые копны темнели у реки. А по склону, куда спускался просёлок, дыбился татарник, маяча пунцовыми свечками. Над цветками столь густо вились пчёлы, шмели и осы, что казалось, горячий воздух плавился, тихонько дрожал.

Он с ветерком скатился в лог, подрулил к хорошо знакомому плёсу. По привычке расположился под вербой, маячившей на ветру белёсой изнанкой листьев. Клёв сразу задался — до сумерек надёргал мелочи для ущицы.

Костёр прогорал, но по курганчику пепелища пробегали огневые струйки, раздувая жар. Поминутно доносился перекастистый шум камыша, всплески, вскрики уток и казарок. Несколько раз на мелководье заводили перекличку лягушки. Меркулов сделал ложе из сенца, отдающего шалфеем, покрыл его верблюжьим одеялом.

Скорая ночь засеяла небо звёздами. Серебристо-дымчатый Млечный Путь еле приметно поворачивался вместе с неисчислимыми планетами, галактиками и крохотными звёздочками, властно притягивая взгляд...

Там, в лагерной тайге, небо было суженным, иным, чем здесь, по-южному распахнутым. Меркулов понимал, что прежде чем будет открыта церковь, он сам должен возродиться духовно, ощутить свет Божьей благодати. В стране за четверть века утвердился атеизм, хотя и до революции истинно верующих было меньше, чем думалось. Теперь жизнь измерялась планами пятилеток, количеством продукции, трудоднями. Отвергая бессмертие души, коммунисты даже смерть восхваляли как подвиг во имя светлого будущего. Мастера на лозунги, они ратовали за построение “социалистического рая”. Поэтому учение того, кто “смертию смерть поправ”, для них было враждебным. Напротив, расстрелы и репрессии избавляли от инакомыслия. Но никому не отменить Суд Божий! “И судим был каждый по делам своим...”

“Жизнь уже на исходе, — рассуждал Меркулов, глядя на звёздную россыпь. — И остатний путь я должен пройти с честью, как мой дед, не испугавшийся турецкой сабли. Не оглядываться, смотря в бездну, а идти и вести за собой к Вратам Господним...”

Невдалеке послышались размеренные, шорохливые по траве шаги. Меркулов подобрал на уголья сушняка, и вспыхнувшее пламя выхватило из мрака фигуру мужчины. В его руке был посошок, на голове — парусиновая фуражка с длинным козырьком. К костру подвернул колхозный пчеловод Чекмарёв.

— Доброй ночи, — кивнул он, останавливаясь и кладя ладони на голову палки. — Одному не страшно?

— На всё Божья воля, Пётр Андреевич.

— Так-то оно так, ядрёна малина, да время лихое. Тоже в одиночку приходится домой ходить.

Чекмарёв достал из-за уха сигарку. Прикурил от тлеющей веточки. Жадно затягиваясь самосадным дымом, полубоьтствовал:

— Дошла молва про арестованных станичников?

— Ничего не известно.

— Известно. На моих глазах было... — скороговоркой возразил пчеловод. — Мы с Мишкой, напарником, ещё до немцев перевезли пасеку в Бирючьё балку. И вас прошу никому об том не сказывать!.. В ту ночь разбудили нас машины. Смотрим: два крытых грузовика свернули к ярам. Должно, проводник с ними был. Как ехали машины, так и остановились с включёнными фарами. Стали наших высаживать, а из другой солдаты повыпрыгивали. Потеснили фрицы невольников на край яра. Люди взбулгачились. Поняли, что к чему... — у Чекмарёва перехватило дыхание. — Тут слышим — вроде скрипка прорезалась. Да так весело жжёт, как на свадьбе... Фрицы озверели, стали бить. Дети и женщины в один голос причитают, убиваются с горя... У меня до се в ушах звон... Да... Вытолкнули первых человек десять, детиски с ними, и — всех из автоматов! Вторым заходом — остальных... А скрипка... Изверги невероятные! Наутро пригнали военнопленных. Засыпали убитых. А мы с Михаилом...

По ночной степи прокатился гул, донесшийся с восточной стороны. Край горизонта подожгло заревце.

— Никак на станции в Егорлыкской? Взрыв вроде... Должно, партизаны... — предположил Чекмарёв. — А мы крест из дрючков сбили и поставили там.

— Сообщите родственникам! Не берите грех на душу, — взволнованно попросил Меркулов.

— А вот как переберёмся с пасекой на другое место, так и расскажем, — пообещал пчеловод и, сделав паузу, усмехнулся. — Вы на самом деле из духовных? А то жена сказала...

— Можете не сомневаться.

— Чудеса, ядрёна малина... Ну, бывайте здоровы, — уже на ходу обронил Чекмарёв и, выбравшись на тропу, разгониисто зашагал в сторону станции.

II

Утром в Беломечётскую прискакали на коротконогих маштаках калмыцкие кавалеристы. Следом примчалась мотоциклетная рота жандармерии, все, как один, — рослые, мордатые, с вислыми усами. Выяснилось, что это галичане. Стефан в форме обершарфюрера СС командовал земляками и сообщил Гариге, что ночью на железнодорожном перегоне партизаны подорвали состав. Обошлось без жертв, хотя сгорела цистерна с керосином да повреждён паровоз. Спросил напрямик:

— У вас есть подозреваемые?

— Таких богато! — заверил Гарига. — Найдэмо!

И каратели двинулись в казачьи дворы, стали не только выискивать партизан, но и потрошить комоды и шкафы, будь то статуэтка физкультурника, кружевная утирка, серебряная чара или коврик, добытый прадедом в крымском походе. На произвол иноземцев отвечать станичникам было нечем, с застывшими лицами наблюдали они за грабителями. И в непокорных душах зрел гнев, зовущий час расплаты...

В курене Балибардиных за малым не дошло до беды. Мальчонка лет пяти, Васька, вместе с матерью, бледнолицей Катериной, наблюдал за дядьками, спящими по комнатам, и когда ушастый, пахнущий овчиной калмыцкий кавалерист снял со стены ходики с петушком, не сдержался:

— Вот плидёт папка с флонта, он тебе молду набьёт!

Мародёр сунул часы в вещмешок, стянул горловину узлом и обернулся:

— Что кричал? Плохо кричал? Пороть надо! — и выдернул из-за голенища нагайку с короткой ручкой.

— Ты — дулак! — выпалил казачонок.

Немецкий служака кинулся к пацану, желая проучить. Видя это, его жидкоусый сослуживец сзади обхватил хозяйку и потащил в спальенку. Упирающегося ручонками Ваську “дулак” зажал между колен, и уже было замахнулся...

Тут и случилось то, о чём долго помнили в станице. На плач внука и дочери поднялся престарелый Игнат. Больше месяца не вставал он со смертного одра, измождённый и пожелтевший, с глубоко запавшими глазами. Чёрная немочь точила казака, и мысленно он уже распрощался с этим миром.

В белой натальной рубашке, испятнанной кровавой слюной, привидением возник Игнат в проёме двери — высокий и худой, с обезумевшим взглядом. В поднятых руках его сияла иконка Николая Угодника. Вид страдальца был настолько зловец и страшен, что насильник опустил нагайку, оттолкнул мальчишку и что-то по-своему крикнул. Из спальни выбежал соплеменник.

— Изыдь, сатана! — проклял старик глухим утробным голосом и ещё выше вскинул образок.

Толкаясь и бормоча ругательства, “воины вермахта” суеверно подались из дома.

До самого вечера продолжалась облава. Гарига верхом на гнедой носился по улицам, чтобы везде поспеть, подсказать карателям. Между делом

смотался домой и зарубил несущку, велел дочке готовить борщ. Под конец прилепился к Стефану и его земляку унтер-офицеру Дуде и уговорил отвезти “гарного борщичка”.

Открытый “Опель” на виду у соседней подкатил к высокому плетню, увитому хмелем. Обер-полицай первым ступил на землю, отмахнул заднюю дверцу и стоял навтыжку, пока гости выбирались из машины.

— Пожалуйте, дружечки! — распахнув калитку, приговаривал Семён Минич. — Борщичка из кастрюли, а не из котла... Люба, ты иде? Встречай дорогих “фройндов”! Заходите в хату, паночки!

Но они стали оглядывать хату с резными птицами на фронтоне, выбеленные мелом постройки, сквозящий между ними сад. Переговаривались по-польски, криво усмехались. Гарига насторожился. И в эту минуту на пороге появилась принаряженная Любаша.

— Я всё приготовила, — предупредила она и шмыгнула за дверь.

Увидев её в профиль, — броскую красавицу, — Стефан заинтересованно вскинул брови.

— Это ваша дочь?

— Моя ридна...

Гости оживились, вошли вслед за Семёном Миничем в горницу. На середине стола, покрытого камчатой скатертью, возлежал каравай. Глубокие тарелки и рюмки на ножках были расставлены напротив стульев, на блюде — култышками вверх — золотилась варёная курица. Крупные перья лука и помидоры красовались на медном подносе. Семён Минич замаялся, следя за гостями. Они сняли фуражки и положили на покрывало кровати. Стефан вопросительно взглянул на хозяина.

— Ручки помыть? Ось туточки, — кинулся тот к подвесному умывальнику, возле которого висели полотенца.

Но переводчик поморщился.

— Я солью, — нашлась Любаша и кружкой зачерпнула воды из ведра. Стефан выставил над тазом длинные ладони. Зардевшись, она подала ему мыло и стала сливать. Затем подошёл унтер-офицер.

— Я зараз. За горячим... — осклабился Семен Минич и вышел.

Стефан причесался у настенного зеркала и, исподволь наблюдая за Любашей, уточнил:

— Это ты вышивала?

Подделки на стенах, изображающие узоры и букеты цветов, котят в лукошке, голубей, репродукцию картины “Алёнушка”, привлекали глаз умелой вязью, подбором красок и непосредственностью.

— Да, — кивнула Любаша, со щёк которой не сходил румянец. — Зимой время остаётся.

Она, стараясь смотреть в сторону и не показывать пустую глазницу, испытывала крайнее смущение наедине с мужчинами.

— У нас, в Галиции, лучшие в мире мастерицы, — похвастался Стефан. — Заведено, чтобы матери расшивали сорочки своим детям. Секреты передаются по наследству... Твой отец говорил мне. Я узнавал и постараюсь помочь.

— *Slodki kawalek*, — съязвил его приятель.

— *Nie, dobry uczynek**, — поправил Стефан.

Хлопнув дверью, Семён Минич внёс запотевший гранёный графин. Когда гости расселись, Любаша разлила по тарелкам оранжевый, благоухающий зажаркой и укропом борщ. Семён Минич наполнил рюмки самогомом.

— За Германию и ... — затынул было Гарига.

Но Стефан оборвал:

— За красивую хозяйку и её рукоделье!

И Гарига обомлел от удивления. Никак дочка приглянулась галичанину. Накатили горячие мысли: “Вот тебе и калечка... Нехай снюхаются. Дело молодое...”

* — Сладкий кусочек.

— Нет, добрый поступок (*польск.*).

Он читал зауспокойные молитвы у креста, поставленного пасечниками. Один под открытым небом, и голос его, казалось, возносился ввысь, к самому Престолу. Перед глазами вставали лица расстрелянных станичников и эвакуированных ленинградцев, и, сдерживая слёзы, он явственно представлял всё, что происходило здесь той страшной ночью...

Обратно пришлось возвращаться пешком, вести свой велосипед с проколотой шиной. Болела голова от жары и недосыпа, ход мыслей прерывали неотступные молитвенные слова: “Боже духов и всякия плоти, смерть поправай и диавола упразднивай”. Он знал за собой слабость — сердцем мерить людское горе, хотя святитель Златоуст наставлял: пребывая на Земле, сердцем живи на Небе.

Вдруг из акациевой лесопосадки выбрался на дорогу некий странный босаяк. Одни грязные кальсоны с приставшей шелухой прикрывали тощее, загоревшее до черноты тело. Голый череп, обрамлённый курчавой шевелюрой, обезумевшие глаза на длинноносом лице, приплясывающая походка придали бродяге столь дикий вид, что Меркулов не сразу узнал школьного учителя музыки.

— Стой, человече! — визгливо воскликнул Файт, тараща глаза. — Кто ты: друг или враг?!

Меркулов не успел ответить, как ленинградец с воплем скрылся за деревьями.

Весь день “астраханец” трепал камыши, гнал мутную волну. Безжизненно серело пыльное небо. В такое ненастье хорошо только уткам: они без усталости ныряли за рыбёшками, гоняли на мелководье лягушат, кружили вдоль кулиг тростника. А поклевки не было ни одной — поплавки, подергиваясь, обречённо прибивались к берегу.

Встреча с музыкантом, избежавшим расстрела, крайне взволновала Меркулова. Без одежды и пищи, таясь от людей, как выносит он голод и прохладные ночи? Возможно, ещё кто-то жив? Думая об этом, Меркулов вспомнил рассказ очевидца и понял, что немцы заставили скрипача играть, чтобы самим позабавиться, а в невольников вселить безумный страх! Разве можно это вынести, не потеряв рассудок? И всё-таки надежда, что несчастный явится, не покидала Меркулова, и он то и дело осматривал лог, задерживал взгляд на речной излуке.

А Файт вышел перед закатом на вершину бугра. Он долго озирался, пошатываясь под напором ветра. Затем обогнул заросли колочек и на скованных ногах, словно на ходулях, спустился к берегу. И так же остановившись вдалеке, с надрывом прокричал:

— Кто ты, путник?! Я — Долик Файт... Я очень голоден, слышишь?!

— Подходи, Адольф Ильич, — отозвался Меркулов. — Будем ужинать!

— Сударь, у меня нет ни гроша! — с трагическим видом предупредил учитель. — Но я могу сыграть вам в счёт оплаты. Конечно, можно подождать, когда придет симфонический оркестр. Впрочем, всё равно солировать мне...

— Буду рад послушать.

Файт, крадучись, подошёл. Положил на подломленную высокую полынью скрипичный футляр.

Он съел всё, что было: ломоть хлеба с целой головкой чеснока, пышку, желтобокий огурец, вяленого подлещика и грушу. Бедняга был так худ, что на коже костистых рук и ног чётко обозначались синие веточки вен и пучки сухожилий. Ребра выступали наружу, как у Коцея. Кровяная жилка пульсировала на тонкой шее. Ступни были изодраны царапинами и темнели запёкшимися ранками.

Насытившись и выпив корчажку воды, Файт осоловел и притих, к нему проблесками стало возвращаться сознание. Меркулов набросил на плечи скрипача одеяло.

— Покорно благодарю за угощение, — бормотал он вполголоса. — Я ел много лет. С той ночи, когда нас с женой привезли к чёрту на кулички...

— Адольф Ильич, как вам удалось спастись? — спросил Меркулов.

— Я — гений, и поэтому бессмертен... — высокомерно заявил музыкант и усмехнулся. — Когда нас высадили в степи, немецкий офицер увидел в моих руках футляр и попросил исполнить “Чардаш” Монти. Меня, конечно, знает вся Европа... И я дал концерт! А немцы поубивали тех, кто мешал слушать, и стали мне аплодировать... А когда офицер, сущий невежда, спросил: “Тебя действительно зовут так же, как фюрера?” Я подтвердил, и он ударил меня, прогнал... Болван, он даже не подозревает, кто я...

Смеркалось. Пора было разжигать костёр. Меркулов, слушая, принялся неторопливо ломать сушняк. Музыкант с возмущением спросил:

— Что вы собираетесь делать? Зажигать огонь? Это опасно!

— Заварим на ужин чаю и запечём картошку, — успокоил Меркулов.

Несчастный заговорил, повышая голос и вскрикивая, точно в бреду:

— Меня ищут! Агенты всего мира могут схватить меня... Так и быть, я признаюсь... Вы поверили, сударь, что я Долик Файт? Вы ошиблись... Я — сверхчеловек, я одновременно и Ленин, и Гитлер... По имени-отчеству могли бы сами догадаться... Что, удивлены? Не ожидали?! Это я руководил революцией... Потом стал фюрером... А Гитлер в Берлине — мой двойник, — Файт самодовольно хихикнул. — Завтра я прикажу войскам вернуться! Они весь день каркали мне об этом... Послушайте, вы не видели Нору? Я ищу жену и не могу найти. Помнится, мы ели макароны, когда за нами приехали. Они же могут пропасть! — музыкант умолк и задрожавшим голосом попросил: — Разожгите костёр, разожгите поскорей... Я обожаю смотреть на огонь! Он отпугивает ворон...

Подкрепившись ещё раз, Файт не смог противиться сну. Он забылся как-то сразу и крепко, и Меркулов тихонько подложил ему под голову свою подушку и накрыл тощей телю одеялом.

Утром музыкант исчез. Не оказалось на месте и велосипеда.

Не объявился он ни в этот день, ни на следующий.

И бабье лето, по всему, гостило последние деньки. Жара спала. Обложная синяя тишина нежилась в степи. Тонкие паутинки проблёскивали в воздухе, парусили на ветру. Простор распахивался все шире, сквозь редящие кроны верб и акаций завиднелись заречные кособоры, щетинистое жнивье полей.

Была пятница, и Меркулов, по обыкновению постясь, читал Библию. Останавливаясь, обдумывал страницы и обращался мысленно к предстоящей службе. Он перебирал в памяти пастырей, оставивших след в его судьбе. Все они были едины в утверждении веры Христовой. Но вместе с тем, каждый из святых отцов прошёл свой особенный путь, помня слова Писания: “Проклят, кто дело Господне делает небрежно”. И в последние дни, проведённые в отрыве от тщеты, он будто приблизился к Граду Небесному, осознав, сколь необходима народу духовная поддержка. Земной мир, погрязший в прегрешениях и беззакониях, катится к гибели. В геенне огненной половина Европы. Жизнь человеческая ничего не стоит, и день ото дня скорби множатся, значит, надлежит ему в свете лица Божия вести верующих к покаянному спасению. Пусть впереди трудности. Они преодолимы в долготерпении и радении о пастве. Благодаря молитвенному труду и чтению Библии, душа его исполнялась света, становясь причастной глубинам веры Святой.

Сегодня по-новому открылся ему смысл, почему из пустыни начал Спаситель свой крестный путь. Оказывается, закон праведности заключается не в случайном, а в осознанном преодолении искушений и тягот. Дух Святой, приведя Иисуса в пустыню, оставил Его наедине с искусителем затем, чтобы мог Он измерить в испытаниях свою волю и веру. “И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: “не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих”. Эти строки были и священным пророчеством, и наставлением для всякого пастыря, ибо единственное его орудие есть Слово...

Последняя ночь на Бургусте выдалась довольно прохладной. Перед зарёй затуманилось, и с восходом солнца на подсвечниках цикория, на лопушистом репейнике заискрились крупные капли росы. Утро снова овеяло дали теплынью, а края неба окольцевало лёгкими лебяжьими облачками. На берегу устоялся терпкий дух пижмы и полыни.

Меркулов набрал во фляжку родниковой воды, приготовил рюкзак. С утренним клёвом опять повезло. Бесперервно бралась отборная плотва и окуни. Увлечённый ловом, он не сразу обратил внимание на тихий мелодичный звук, рождённый скрипкой. Повернув голову, он с удивлением увидел в отдалении спускающегося по склону Файта. Донельзя измождённый, словно закопченный от загара, он играл на ходу, ступая размеренно, точно под метроном. Протяжная красивая мелодия отозвалась в сердце Меркулова щемящей болью. Вместе со скрипкой будто бы плакала и степь, и небо, и весь мир...

Учитель приблизился к плёсу на повороте реки. Водная гладь его была зеркальной, в белых разводах облаков и синевы. Невысокое солнце скрывали камыши противоположного берега, лишь в прогалину между ними пробился одинокий луч. Скрипач был так поглощён игрой, что, видимо, не сознавая своих действий, побрёл по мелководью.

Недоброе предчувствие побудило Меркулова бросить удочки и поспешно зашагать по тропе, хотя между ними было не меньше километра. Он наблюдал, как учитель, окончив сложный пассаж, решительно двинулся дальше, к середине реки. Издали показалось, что не в реку он входит, а в ясную глубину неба. Музыка над водой стала громче и напряжённой. Файт двигался по лучу, как по огненной дорожке. Вот он погрузился уже по пояс, ещё шаг, другой, — скрипка, теряя голос, захлебнулась, — и Файт с головой ушёл под воду...

Когда Меркулов добежал до плёса, на поверхности не осталось даже пузырьрей. И лишь вдалеке, на стрежне, где бурлил водоворот, на мгновенье всплыла знакомая оранжевая скрипка. Она корабликом мелькнула под солнцем и — навеки пропала.

А велосипед нашёлся неожиданно, когда Меркулов, надев на спину рюкзак и взяв в руки удочки, поднимался по склону бугра. Неподалёку от дороги, где был примят репейник, его взгляд привлёк яркий блеск никелированного руля. Возле заднего колеса лежал открытый футляр, зеленая бархатом. А на нём сидела крупная, невиданная прежде бабочка с узорчатыми белыми крыльями...

13

Из служебного донесения начальнику Особого отдела Северо-Кавказского фронта полковнику М. И. Белкину.

“7. Меркулов Антон Николаевич. 1895 г. р. Уроженец Ворошиловска (Ставрополя). Из разночинцев. Окончил Кавказскую духовную семинарию. Белогвардеец. Служил в деникинских войсках священником. По сфабрикованным документам скрывался в Пятигорске, где был выявлен и осуждён за контрреволюционную деятельность. Семь лет отбывал в ИТЛ. Выбрав местом поселения станицу Беломечётскую, Меркулов не посещал общественные мероприятия, вёл скрытую религиозную пропаганду.

С момента оккупации района сотрудничал с оккупационными властями. По его ходатайству было приспособлено для отправления культа здание бывшей церкви. Опираясь на поддержку лиц преклонного возраста, ежедневно совершал церковные службы, читал так называемые часы. Одурманивая массы, проводил ритуалы: причащение, крещение, отпевание и т. п. В проповедях призывал к терпению и молитвам. Факты восхваления им немецкой армии или Гитлера не установлены.

В октябре партизанский штаб внедрил в станицу бойца И. Чаусова, местного жителя. Поступив в церковь на должность пономаря и по совместительству истопника, он за короткое время создал подпольную группу. Комсомольцы обстреляли вражеский мотоциклетный патруль и подожгли здание правления колхоза. А в ночь на 7 ноября, в честь 25-й годовщины Великой

Октябрьской социалистической революции, вывесили советский красный флаг и расклеили листовки...”

* * *

До самого ноября полицаи были заняты преимущественно тем, что следили за явкой колхозников на работы. Тех, кто отлынивал, находили и нагайками, угрозами выгоняли в бригады. Перезрелую пшеницу и рожь с горем пополам скосили лобогрейками и обыкновенными косами, в снопах свезли на ток. По причине неисправности паровой молотилки очищали зерно по старинке — ручными цепами и каменными катками на лошадиной тяге. Дожди затянули уборку капусты и кукурузных початков на отдалённом суглинистом угодье. В оставленном без присмотра саду с утра сходились старожилы не столько в поисках яблок и груш, сколько для душевительных разговоров.

Несмотря на осенние работы, в церкви, освящённой на Покров Пресвятой Богородицы, как раз в день войскового праздника казаков, отец Антоний вёл службы, сколько бы прихожан ни собралось. И по воскресеньям стали приезжать богомольцы не только из ближних хуторов, но даже из Сальска, чтобы отбыть литургию, послушать проповедь священника, отличающегося разборчивым произношением. Людской ручеек день ото дня ширился. Пелагея Никитична приняла на себя труд и пекаря, и казначея, и церковной старосты. Не за горами была зима, и по её совету батюшка взял себе в помощники её родственника, покладистого юношу, согласившегося также отапливать храм.

Чутьё и на этот раз не подвело Гаригу.

В ночь накануне большевицкого праздника он устроил засаду в центре станицы из двух полицейских, а новопризванным молодцам приказал заседать лошадей и патрулировать улицы. Сам же, надев рваную ушанку и полшубок колхозного сторожа, начал пеший обход станицы.

После ненастья третий день не унимался бахмач*, а этой ночью даже подмораживало. Уличная тропа была вязкой, но Гарига отмеривал шаг за шагом, приглядываясь и прислушиваясь. Время от времени запускал руку в глубокий карман тулупа, тискал рукоятку “вальтера”. Подарил пистолет ему Стефан. И то, что дочка мало уделяла внимания зачистившему гостю, сердило не только красавца, но и его самого. Ведь недаром гуцул забрал для образца старый протез и пообещал привезти взамен немецкий, самый лучший...

За полночь небо обнажилось. Иней выбелил деревья и землю. Над полями свесился рыжий стручок месяца. То за ветром, то встречь ему плёлся Гарига вдоль домов. Поравнявшись с подворьем Дюньдика, разглядел на крыльце силуэт старика. Ветер донёс надсадный кашель, мимолётно плеснул дымком самосада. “Должно, Тайка курить на двор выгнала. Она у него хвора́я”, — догадался Семён Минич и, вздохнув, потащился дальше. Из трубы балыкинского куреня поднимался дым, сбиваемый ветром, и он ощутил запах свежеепеченного хлеба: видимо, Пелагея готовила просфоры. Гарига прислонился к плетню, с неприязнью подумал, что не его, облечённого властью полицейского, почитают ныне в станице, а новоявленного попа. Даже Любаша наладилась ходить в церковь с богомолкой Марфой. До позднего вечера просиживала у неё за чтением Библии. И ради чего он тогда себя не жалеет? Где людская благодарность? Вот сейчас мёрзнет на улице, охраняя всех от партизан, а поп, небось, дрыхнет или крестит лоб в натопленной комнатушке... Душу залило обидой, и только мелькнувшая мысль, что немцы увеличили штат полицейских, призвав ещё троих, отвлекла и малость успокоила...

Замкнув круг, Гарига вышел к площади. В затишке, за церковью, ветра почти не ощущалось. Он отёр рукавом оледенелое бревно, устало сел.

* Бахмач (донск.) — северный ветер.

И снизу посмотрев на высокую стену храма, точно впервые заметил, сколь он огромен. “А ежели на самом деле Бог есть?” — негаданно кольнуло сомнение. И Семён Минич почувствовал озноб, как от снежка, брошенного за ворот. Третий месяц служил он у немцев, и то, что поначалу дурманило, наполняло тщеславием и придавало сил, стало уже надоедать. Война затягивалась. Он немолод, и гробить себя, прозябать, как пёс, долго не сможет — не железный! Вставить бы дочке “глаз”, отдать замуж за гуцула или немца, а самому — на покой. Награбил он изрядно: дорогих украшений, посуды, отрезов и одежды, запаса карабином и патронами. Поднакошил денег. Можно сказать, разбогател! Хватит тянуть жилы. До тошноты обрыдли и немцы, и станичники со своими жалобами, воровством и скандалами. И что это за жизнь, когда запросто могут убить партизаны? Как ни храбрился он перед подчинёнными, а подставлять башку под пули не хотелось...

Вкрадчивые шаги по затвердевшему насту стали слышней. Семён Минич встал, заполошно выглянул из-за угла. В мерклом свете месяца напротив побелевших кустарников чётко выделялись два идущих к храму человека. Он выхватил из кармана пистолет и подбежал к кусту жасмина, растущего у церковного крыльца, присел. В ноздри ударил крепкий запах прели. Боялся шевельнуться, весь обратился в слух. Вот шаги гулко отдались по каменным ступеням, замерли у церковных дверей.

— Здесь тебя искать не станут. А после утрени отвезу в Егорлыкскую, — прозвенел высокий юношеский голос, и Гарига с удивлением сразу же узнал его. — Отец Антоний разрешил взять линейку.

— Листовки передай Любе, дочке полица.

— Да, она надёжный товарищ.

— Мы вывесили на школе флаг Родины. Значит, в станице советская власть!

Заскрипела дужка большого амбарного замка.

Гарига, поднимаясь, зацепился головой за ветку, и она больно хлестнула его по глазам, сбила шапку. Вгорячах он пальнул в небо, зашёлся в крике:

— Стоять! Руки вверх!

Тот, кто был поодаль, в тёмном пальто и картузе, сорвался с паперти и успел прошмыгнуть в ворота каменной ограды прежде, чем вдогон полетела пуля. Гарига наставил пистолет на пономаря.

— Попался, сучонок?

Держа на прицеле Ванюшку, который не раз приносил дочери церковные книжки, Семён Минич поднялся на паперть. Ненависть душила его — уж никак не мог заподозрить он в тщедушном парубке, Божьем угоднике, лютото врага. Догадка, что это его Любашка заодно с партизанами, осенила и повергла Гаригу в оцепенение. И он доверился наитию, сменил гнев на милость.

— Ты не бойсь, Ваня, — вдруг ободрил Гарига. — Я шутоквал... Приятеля твоего отпустил. Бахнул для блезиру... А про вас знаю. Мэни дочка казала.

Иван, оторопев от неожиданности, упрямо молчал.

— Али не веришь? А хто полицейских в засады отвёл? Иначе как бы вы флаг повесили? — убеждал Гарига, а сам думал: “На самом деле промахнулся я, рохоба*... Надо было самому патрули водить...”

— Не бойсь, я отпущу. Чи трэба обыскивать? Ты тильки кажи, с тобой есть що-небудь, улика яка... Ну? А то “орлы” мои наскочат... — увещевал Семён Минич, а мысли лихорадочно путались: “Вин знае про Любку... Запытают в геставе и — развяжет язык... И Любке лагерь, и на мэна подозревание падэ...”

Иван, наконец, осмелился:

— Немного листовок. Клейстер замёрз.

Гарига облегчённо перевёл дыхание и приказал:

— Давай их мэни, а я — Любке.

* Рохоба (донск.) — растяпа, неудачник.

Иван рывком достал из-за пазухи газетный свёрток. Гарига сунул его в карман тулупа. В пролёт крайней улицы донёся перебор скачущих лошадей — подчинённые услышали выстрел. От фуфайки священнослужителя приятно пахло воском и ещё каким-то сладковатым духом. Но пульсировала в голове жгучая мысль: “Сгубит усих нас...”

— Ховайся в церковь! — поторопил Семён Минич и, едва тот повернулся спиной, дважды нажал тугой курок. Паренёк схватился рукой за дверную ручку, всхлипнул и упал ничком. Обезумевший от запаха пороха, Гарига пнул бездыханное тело носком сапога, пробормотал:

— Оце гарно... У Бога теплийше...

Тут же с гиканьем подлетели конные полицаи, спешили. Поднялись на паперть, к своему командиру. А тот, рассказав, как выследил партизан, и дав приметы одного из них, сбежавшего, распорядился начать облаву. А самого младшего, тонкошеего подростка, оставил у церкви и приказал:

— Сторожи и никого не подпускай. Стреляй без предупреждения!

...Он ворвался в собственный дом, матерной бранью разбудил дочку. Любаша, с расплетёнными волосами, векинула, села с ногами на кровати, со страхом натянула на себя одеяло. Небывалая озлобленность сделала его зрячим даже в темноте. Он стегал кнутом укрывающуюся подушкой и одеялом дочку до тех пор, пока не выбился из сил. Любаша сначала кричала, молила о пощаде, а после терпела со сжатыми зубами...

Опомнился Гарига только на полпути к управе, когда по непокрытой голове стала хлестать льдистая крупка. Он обнаружил в окаменевшей ладони кнут и остановился, по привычке намотал плетёнку на дубовый черенок. За много лет впервые испытывал он неприкаянность, точно лишился привязки к жизни. Родная дочка связалась с его врагами! Обида палила грудь.

— Лучше б мэни партизаны убыли! — плаксиво вырвалось у Семёна Минича, и глаза на самом деле подёрнули слёзы. А следом пронизал его острый ужас: замутнённый взгляд различил у здания не акацию, качающую на ветру свои ветки, а большой скелет, простирающий костистые руки...

14

Поиски длились до утра, — верхоконные полицаи прочесали улицы и проулки, домчались до станицы Егорлыкской, куда мог направиться беглец. А уж затем Касторный и Тимченко арестовали отца Антония как раз в тот момент, когда он подходил к церкви. Ничего не зная о ночном происшествии, тот посчитал привод в полицию недоразумением и уверенно вошёл в кабинет Гарига, захламливаемый седлами и амуницией.

— Что случилось? Вы помешали провести мне службу, — с укоризной сказал отец Антоний.

— Опосля узнаешь, — с ухмылкой отозвался Гарига.

— Люди пришли к заутрени...

— Сидай! Успеют лбы окрестить.

Отец Антоний, в пальто поверх чёрной суконной рясы, в тёплой скуфье, по-прежнему стоял, испытующе глядя на Гаригу.

— Погано дило, святой отец... Накрыл я партизанскую шайку. А в ней — твой пономарь Ванька. Ночью развешивал листовки, — и Семён Минич, взяв со стола, потрепал стопкой бумаг.

Отец Антоний свёл разлётые брови. Слова полицейского он воспринял с недоверием.

— Мне об этом ничего не ведомо. Я хотел бы поговорить с прислужником.

— Цього неможно. Хто к Ваньке приходил? С кем вин якшался?

— Чаше других, помнится, с ним общалась ваша дочь.

“И вин знает про Любашку, — насторожилась Семён Минич. — Ще свидетель... Надо его в гестапо, в Егорлыкскую...” — а вслух попенял:

— Ото ж, соседка сманила. Небось, поливала мэни Любка на исповедах?

Отец Антоний настойчиво напомнил:

— Мне нужно в храм!

— Там службы бильше нэ будэ! Повезём тэбэ, Меркулов, в немецкую комендатуру.

— Вы чините беззаконие, — сурово сказал отец Антоний. — Ни о каких партизанах я не знаю. Не берите грех на душу!

— А нехай до кучи! У мэни их три тележки, две арбы... Тимченко! — позвал Гарига, и когда невысокий, юркий и злой, как хорь, полицейай вошёл, приказал: — Напои вороную пару и дай кукурузы! Днём тебе наряд в Егорлыкскую...

Женский слёзный крик раздался на дворе. К нему присоединился ещё один голос, и через минуту в кабинет заглянул прыщавый подросток, недавно призванный в полицию Алёшка Брыкало:

— Господин начальник! Там это... пришли за убитым. Бабка Ваньки и тётка.

— Скажи, завтра! — грубо распорядился Гарига.

Отец Антоний, потрясённый услышанным, побледнел. В его расширенных глазах тяжеледа скорбь.

— Пономарь Иоанн... погиб?

— Так точно.

Отец Антоний шатнулся, не сразу обрел самообладание.

— За свои деяния каждый ответит пред Господом. Вы — человек крепённый, господин Гарига... Вы должны отпустить меня, чтобы содеял чин отпевания новопреставленного раба Божьего...

— Цьего неможно! — непримиримо отрезал Гарига. — Вин есть враг! А зараз мэни надо совещанье проводить... Брыкало, отвести в арестантскую!

И тот же подневольный новобранец отвёл и запер отца Антония в дальней комнате с зарешёченным окном на первом этаже. В ней, пахнувшей камфарой, стояла одна кушетка. Вероятно, раньше тут размещался медпункт. Отец Антоний снял пальто и начал молиться...

А Гарига, посидев в одиночестве, преклонил голову на фашистское знамя, стоявшее в тумбе у стены, и задремал. Сновиденье было нехорошим, зловещим. Всё виделось галки, и слышались заунывные стенания... Разбудил его бас Тимченко. Оказалось, старшего полицейского повторно потребовал к себе станичный староста, хотя о том, что случилось ночью, ему было доложено.

Семён Минич, борясь с зевотой, поднялся по лестнице на второй этаж. Казалось, сон продолжался, — слух ловил голоса певчих. Гулый, страдающий одышкой, часто носил грудью. Он метнул возмущённый взгляд на полицейского и, вскочив, жестом пригласил к окну:

— Полюбуйся...

На площади, перед входом в здание, теснилась толпа, пестрящая хорутвями. По всему, прихожане (в большинстве, женщины) совершили крестный ход, и теперь устроили молебствие с песнопениями перед управой. Впереди с иконой Спасителя в руках стояла Пелагея Никитична Балыкина. Нестройный хор богомольцев то затихал, то начинал звучать с торжественно-горестным раскатом.

— Доигрался, копыто стоеросовое? — гримасничая, съязвил Гулый. — То, что партизаны повесили флаг у тебя под носом, доложил, а то, что арестовал священника, забыл. Главное, зачем это?

— Як зачем? Вин и есть главный бандит партизанский, — угнув голову, исподлобья зыркнул Гарига. — Це вин командовал ими...

— Одного ты убил. А где другие? И какие доказательства против отца Антония? Значит, надо было, оглобля дубовая, не трогать его, а взять под наблюдение...

Гарига спросонья соображал туго, но будучи абсолютно уверен, что прав, попытался возразить. Староста затрясся от гнева:

— Какой из батюшки партизан? Ты в своём уме?! Немцы открыли церковь, а ты, жук навозный, закрыл? Может, пора самого тебя закрыть?! — староста стукнул кулаком по подоконнику. — Вот что, Идиот Иванович... Ступай, извинись и освободи священника!

Но Гарига, молча снося оскорбления, наливался упрямой обидой и потому неожиданно для самого себя явил дерзость:

— Немае у мэни попа. Отправил подводой в комендатуру.

— Пошли верхоконного, чтоб перенял... Живо!

Но обер-полицай, отчеканив “Есть!” — всё-таки пошёл старосте наперекор. Строжайше приказав подчинённым молчать, держал отца Антония в арестантской до следующего вечера. Смилоствовался только после похорон прислужника. Из управы отец Антоний сразу направился в церковь...

Гарига и сам точно не знал, за что возненавидел священника. С одной стороны, поп, конечно, не связан с партизанами, для которых является антисоветским элементом, а с другой — баламутит и всё больше привлекает в церковь народу, в проповедях призывает к долготерпению и надежде на спасение. Чуял Гарига нутром: не немцам помогает он, а “Советам”, и потому решил выжить попа из станицы, подстроить так, чтоб никто в комендатуре не сомневался, что он — вражина...

15

После Рождества немецкие войска начали широкомасштабное отступление с Кавказа. Вначале передвижение танков и полевых формирований по бывшему Тифлисскому тракту было упорядоченным, но с каждым днём ускорялось, становилось неуправляемым и попросту превратилось в бегство. Обратной дорогой к Ростову катились танки фон Клейста, автомашины и самоходки мотопехоты, артиллерийские тягачи с орудиями. Вперемежку удирали с фронта кавалерийские части и конная жандармерия. Такого скопища оккупантов южные донские селения никогда не видывали!

Отец Антоний после утренней службы крестил в храме внуков деда Дюньдика. Сам старик и супружница его Таисия, приодетые, с угрюмо-напряжёнными лицами, держали свечки в вытянутых руках и строго наблюдали за тем, как дочка и её подруга Ольга, будущая крёстная мать, уговаривали Толика и Петьку не баловаться и слушаться священника, который согласился стать их восприемником. Возле них крутилась девчонка постарше, их подруга, прибывшая к соседке Вере. Известно было только, что она круглая сирота и жила прежде в городе.

В белой ризе, епитрахили и поручнях отец Антоний располагал к себе приветливостью лица и той мягкой степенностью, которая побуждает людей доверяться. Совершая таинство Крещения, он всякий раз испытывал особое, ни с чем не сравнимое блаженное состояние. И сегодня в сумеречной малолюдной церкви, украшенной сосновыми ветками, с иконой Спасителя на аналое, всем сердцем ощущал благодатное присутствие Святого Духа...

После молитвенных обращений к Господу, приняв изустное отречение от дьявола восприемницы, он подошёл к большой медной купели. Оканчивая молитву, отгоняющую от крестильни лукавого, отец Антоний опустил руку и трижды сделал в воде знамение креста. Затем таким же образом освятил купель елеем.

В храме было довольно прохладно, и отец Антоний, хотя помощница и подогрела воду, хотел ограничиться омовением лиц. Но казачата по команде деда стацили с ног валенки, сбросили на руки матери кацавейки и рубашки и гольшом подбежали к купели. Смуглотелые, вихрастые, оба вопрошительно-серьёзно смотрели священнику в глаза. Отец Антоний, подхватив младшего из них, лет двух с половиной, опустил в воду.

— Крещается раб Божий Пётр во имя Отца, аминь...

Окунув во второй раз:

— И Сына, аминь...

И в третий:

— И Святаго Духа, аминь!

Он надел на шею малыша нательный крестик и передал восприемнице, приготовившей полотенце. А затем, когда вытерли и облекли Петьку в белую рубашонку, миропомазал его, повторяя:

— Печать дара Духа Святого.

И как только священник обернулся, ожидавший своей очереди Толька схватился цепкими ладошками за край купели и перевалился в неё, окатив священника брызгами. Троекратное погружение в воду воспринял он как забаву и постоянно улыбался, хотя дрожал, и на коже простушили цыпки...

Во время хождения вокруг купели с детьми и их крёстной матерью, державшими в руках возжжённые свечи, в церковь ввалились гурьбой странные немцы в кубанках. Они обнажили головы и по-православному перекрестились. Выжидающе стояли, пока не завершился обряд. На рукавах их мундиров чернели нашивки с черепом и костями. Наконец, усатый немолодой вояка прогремел сапогами по каменному полу, подходя к батюшке, и отчеканил с лихостью, присущей казакам:

— Здравия желаю, святой отец! Унтер-офицер Кильпа второго эскадрона полка Юнгшульца! Герр подполковник приказал стать на постой в церкви, так как хаты в станице заняты другими частями под завязку. В нашей роте — кубанцы, люди верующие, шкодить не будем, — и тут же поправился. — На всякий случай, соблаговолите замкнуть алтарь и уберите ценные иконы и тому подобное... Ждать нам некогда. Сутки с коней не слезали. Надеюсь, за полчас освободите помещение?

Отец Антоний силится постигнуть сказанное кубанцем в форме вермахта, и — молчал, поражённый злоумышлением. Это было невысказано и сопоставимо с нашествием бесов. И тем кощунственней представилось грядущее святотатство, что в душе его пребывало ещё умиление от совершённого несколько минут назад таинства. Он встряхнулся и заговорил решительно, подчёркивая слова:

— Мы только отпраздновали Рождество Христово. Идёт святочная неделя. В мир пришёл Спаситель. В молитвах восславляется Пресвятая Богородица... А вы вознамерились осквернить Божью обитель? Господь через пророка Иезекииля свидетельствовал: в неправде своей, юже сотвори, в той умрёт.

— Мы долго не задержимся, — перебил унтер-офицер. — Дня два, а то и меньше...

— Я не пушу вас в храм.

— Почтенный, выполняйте приказ! — громко прикрикнул унтер-офицер и, крутнувшись на каблучке, шагнул к выходу, увозя за собой подчинённых.

Дед Дюньдик, Пелагея Никитична и прислужница Лидия слушали разговор, стоя у амвона, и когда церковь опустела, стали возмущенно советовать обратиться к Гулому. Но батюшка покачал головой и повторил слова апостола Павла:

— Беды приемлем на всяк час. Староста безвластен над воинством. Поэтому милостиво прошу вас разойтись по домам.

— А вы? — спросила Пелагея Никитична.

— Буду молить Господа отвести поругание...

— Тогда мы тоже с вами, — вызвалась бесстрашная казачка, и её поддерживали остальные.

— Нет. Эту ношу я понесу сам...

Когда отец Антоний остался в храме один, он запер изнутри входные двери на три железных засова, выкованных давным-давно в станичной кузне, и вошёл в алтарь. Он возжёт лампадки высокого семисвечника и подождет, пока лепестки огня поднялись и затрепетали на сквознячке. Потом встал в горнем месте на колени у запрестольного креста и начал молиться. И с первых слов обращения к Иисусу Христу, Господу нашему, в душе замерцал тот чудесный молитвенный луч, который с каждой минутой обретал накал и таинственным образом помогал перестроиться и чувствам, и мыслям, и пребывать в свете Лица Божия. Отец Антоний воздавал благодарение Спасителю и Богородице и покаянно просил очистить грехи и простить беззакония, и не допустить вхождение нечестивых в храм...

Тяжёлые размеренные удары в дверь быстро слились в сплошной грохот. Отец Антоний молился, не поддаваясь страху. Когда же услышал позади себя детский плач, встревоженно оглянулся и вдруг заметил стоящую у полукрытых северных врат ту самую девочку в клетчатом платке и большой

телогрейке, достающей до пола, которую видел сегодня во время крещения. Он поднялся и, выйдя из алтаря, ласково успокоил:

— Не плачь, милая. Я с тобой. И Господь с нами.

Глазастая девчонка, всхлипывая, стала умолкать.

— Как ты здесь оказалась?

— А я... я хотела, чтоб и меня... окрестили... Тётя Вера послала. И сказала, чтоб дождалась, когда вы будете одни, и попросила вас... Вот я и ждала... За кучей дров... А теперь мне страшно... — и егоза вновь залилась слезами. — Это... это немцы хотят нас убить?

Отец Антоний руками поманил её к себе. Она подбежала, обхватила его ручонками за пояс и, прижавшись, затихла. И, как ни странно, в эту минуту грохот пошёл на убыль. Снаружи стали слышней разъярённые крики и брань. Похоже, рвущиеся в церковь немецкие казаки спорили, что делать дальше. Убедившись, что выломать дубовые створки на мощных петлях невозможно, они поняли: войти в храм можно было только одним способом — выбить двери взрывом.

— Как тебя зовут, голубушка? — спросил отец Антоний, по-отечески тронутый теплом, исходящим от ребёнка.

— Люська. А мама звала Милой...

— Вот и я буду звать тебя так же.

— Нет, лучше Люськой, — возразила девочка, и в дрогнувшем её голосе послышалась боль, ограждающая самое сокровенное, что хранилось в душе — память о матери. И уловив это, отец Антоний прослезился.

Тишина росла. Она становилась звенящей. Тянулись минуты.

Отец Антоний повёл девочку в подсобную комнатку, где обычно трапезничал, зажгёт свечу и дал ей кусок печёной тыквы и полпышки. Наблюдая, как уплетает Люська за обе щеки еду, он мысленно благодарил Господа за чудесное избавление от осквернителей, за собственное спасение, а появление в храме ребёнка отнёс к благому знаку свыше...

Ранним утром Пелагее Никитичне удалось-таки достучаться, и когда отец Антоний впустил свою хозяйку в храм, она с радостью рассказала, что в станции “супостатов” уже немного, — они драпают на запад, а Гаригу снял староста с должности за то, что не впустил в свой дом ночевать казаков. Те пожаловались, и теперь бывший обер-полицай угодил собственной персоной в арестантскую...

— А я вам нашёл новую квартирантку, — с улыбкой сказал отец Антоний, вопросительно глядя на хозяйку. — Девочку-сиротку. Спряталась в храме и была со мной это время... Отец у неё погиб на фронте, а мать — под бомбежкой, когда шли в беженской колонне. Приотилась пока у какой-то теёньки.

— А сколько ж ей лет? — поинтересовалась Пелагея Никитична, ища глазами девочку.

— Должна учиться в первом классе.

— Как отказать... Раз считаете, что нужно взять, значит, возьмём, — махнула рукой казачка и приободрилась, тоже посветлела лицом. — Ну, иде она? Показывайте свою находку... Чтой-то вы бледный. Часом, не захворали?

— Немного морозит... Ничего, не обращайтесь внимания. Господь отвёл от напасти, и это великое чудо...

Но оптимизм отца Антония оказался поспешным. В тот же вечер слёг он с высокой температурой. И как ни старалась хозяйка и её неумолимая помощница Люська поскорей вылечить батюшку, готовя травяные и ягодные отвары, ставя банки, читая молитвы об исцелении, побороть простуду удалось только через две недели. Начал подниматься отец Антоний уже после Крещения...

16

Новый обер-полицай Касторнов продержал в арестантской Гаригу трое суток. Даже староста, взбешённый своеволием Семёна Минича, удивился столь строгой мере. Ещё вчера был Костя правой рукой обер-полицая, беспрекословно выполнял приказы, стараясь угодить и заслужить похвалу, а нынче

превратился в девятнадцатилетнего Константина Ивановича. Широкие плечи, скуластое лицо с обрезанным подбородком стали как бы выразительней и заметней, придав всему облику суровость, да и походка изменилась, обретя стремительный напор. При его появлении сразу возникла мысль: вот идёт командир. И этот командир, посадив своего бывшего командира на галеты и воду, нарочито вызвал Гаригу среди ночи, желая поглумиться. Вошёл тот понурый, по-стариковски шаркая сапогами.

— Ну, выспался, Минич? Отдохнул? — с мрачной иронией спросил кулацкий внук. — Думаю, пусть сил наберётся. Кобылы на конюшне заждались.

— Жестокий ты чоловик, Костя! Принёсила дочка харчи, а ты и на порог не пустил...

— Не Костя! А господин начальник полиции! Ты меня гонял почём зря, а теперь я рудю. Понял?

Гарига подавленно сторбился и молчал. Он предполагал, что снисхождения от коварного помощника ждать нечего, однако такая встреча смутила даже его.

— О чём ты, Минич, думал, когда наставлял винтовку на военных? Это ж полк Юнгшюльца! На их месте я бы расстрелял тебя без суда и следствия. А они с уважением... Больше тысячи человек, — сила! С красной кавалерией на Ставрополье рублись, фронтовики. А ты кто?

— А я такой же, как и ты, — огрызнулся Семён Минич.

— Поговори у меня! Посажу ещё на недельку, прочухаешься... — от гнева у Кости затрепетали ноздри, и весь он напрягся, навалился грудью на стол. — Мне с тобой шутки шутить некогда. Отпускаю домой, чтоб переоделся и сейчас же принёс свою форму. И сапоги сдашь. Да не забудь, Минич, уворованный карабин и ящик патронов... Я о них не забыл, не надейся... Понял?

Гул автомашин не умолкал за станицей, на ростовской дороге. Временами доносился трескучий рёв танкеток и самоходок, двигающихся по улицам. Святки в этом году выдались неровными, крепкие морозы чередовались с тяжёлыми оттепелями. Этой ночью веяло с юга сырым теплом, тянуло бензиновой гарью, смешанной с горечью полыни и пресным духом размокшего чернозёма. Как только Гарига оказался на улице, былая воинственность сполна вернулась к нему, несмотря на ощущение голода. За время, проведённое под арестом, он всё хорошо обдумал. Красная армия гонит немцев вспять. И если попадётся он чекистам, то суд будет коротким. Делать в станице больше нечего! Слишком много врагов и завистников нажил он за три месяца. Опять же — в немилость попал к старосте и немцам. Надежда на гуцула Стефана не оправдалась. Неизбежно пришлось бы проситься опять в конюхи, навоз ворочать... Но этому не бывать, — недаром глотнул он приворотного зелья власти, поднявшего над другими и отравившего гордыней, и теперь ничто не могло заставить его стать прежним, подневольным. Решение Гариги было твёрдое и бесповоротное: уехать с дочкой подальше, в Краснодар или Таганрог, где никто их не знает. Золотых украшений с камнями и денег у него хватит, чтобы купить приличный дом (благо теперь много пустующих) и жить там втихаря, не высовываясь и не привлекая к себе внимание. Глядишь, в городе и Любаша скорей пару найдёт... И скрыться, покинуть станицу необходимо сей же час, чтобы не хватились его бывшие подчинённые. Первым делом — дать команду дочке собираться, затем на конюшне запрячь в бедарку Кугута, которого не всякий верхоконный догонит. Если спроворить до зари, то к полудню можно далеко домчаться...

Пока шёл по улице, до звона в голове наслушался капли и надыхался запахом талой воды. Ноги сами несли его к дому, и думалось о перемене жизни, о скорой весне. На пустыре белел снежок по сохлому спорышу, и ночь как будто посветлела.

С недоумением увидел Семён Минич в своём дворе подводу. А лошадей, видимо, коноводы увели в другое место. Он минул брошенную кем-то нараспашку калитку. Поверх сена в телеге лежал армейский брезент. “Оце так... Сами хозяйниуют!” — опалила догадка, и ненависть затуманила голову. Обогнув крыльцо, он достал из тайника в сарае карабин, быстро зарядил.

Прислушался: в хате немела тишина, хотя окна горницы были озарены керосинкой.

Входная дверь была незапертой. Гарига вошёл в коридор. Из передней слышался звук, похожий на гуденье закипающего самовара. Оружие было снято с предохранителя, и он был готов на всё.

Рывком толкнув внутреннюю дверь, Семён Минич ступил в горницу. И оторопь пригвоздила его на месте. У стола, заставленного пустыми бутылками и тарелками с остатками пицци, развалившись на стуле, храпел лысый немолодой кавалерист со спущенными до колен штанами. А его сослуживец, черноусый верзила, спал на топчане кровати, вытянув ноги в грязных сапогах. В комнате было угарно, и стояла едкая сивушная вонь.

— Любка! — отрывисто позвал Семён Минич и, не получив ответа, повысил голос. — Люба!

Успокоившись, что дочери в хате нет, и проклятые чужаки пили одни, Гарига всё же прошёл в зал, заглянул в спальню и обмер: кровать темнела голой сеткой, а перина валялась на полу. Дрожащими руками он достал из кармана штанов зажигалку. И увидел страшное: перину пятнали капли крови, а ночная сорочка дочери, расплосованная вдоль, висела на краю кровати спинки.

— Сильничали... — выдохнул Гарига, не слыша собственного голоса. — Издевались...

Шифоньер с дочкиными вещами зиял открытой дверкой, и он даже заглянул вовнутрь, уловил запах духов “Красная Москва”, которыми Любаша пользовалась и очень берегла. Снова оказавшись в горнице, Семён Минич хотел сразу убить обоих, но страх за дочку пересилил. Запальчиво дыша, он выбежал на крыльцо, лихорадочно соображая, где она могла спрятаться. И вдруг осенило: она наверняка у богомолки Марфы! И, может, не над ней надругались, а над другой бабой?

Семён Минич долго стучался в ставню соседского дома. Наконец, из-за закрытой двери Марфа тревожно и скрипуче выкрикнула:

— Кто там? На постой не беру, и еды — крохи нетути...

— Это я, Минич. У тэбэ Любаша?

Дверь приоткрылась. В образовавшуюся щель старуха проворчала:

— Какого лешего будишь? Нетути её у меня. Второй день не приходи-ла, как на постой у вас анчутки стали...

Гарига прибежал домой, не обращая внимания на боль в сердце. Карabin тяжелил руку, и он приставил его к крыльцу. И решил не медлить с расправой! Он зашёл за хату, где был дровяник, и удивился тому, что ворота его открыты. Значит, и здесь побывали чужаки, топя печь. Он наклонился, нащупывая в темноте топор, и вдруг головой задел за что-то. Вскинул глаза и у самого лица увидел голые ступни, поплывшие от него в сторону... Дико закричав, Семён Минич сел на землю. Не веря, что *это может быть*, содрогаясь всем телом, он смог достать и щёлкнуть своей немецкой зажигалкой. У стены кособочилась лестница, а на потолочной перекладине, захлестнув белевую верёвку, висела дочка в жёлтом, недавно сшитом платье...

Обезумев, он срезал верёвку, на руках занёс Любашу в зал, положил на чистую кровать. И, глядя девичьи коченеющие руки, твердил одно и то же:

— Ще тэплэньки... Ще тэплэньки...

Вдруг из горницы донеслось пьяное бормотание. Гарига как будто очнулся! Ему больше не стоит бояться пролитой крови в собственной хате. Всё равно больше здесь не жить... И старым кухонным ножом он с ожесточением прикончил тех, кто забрал у него дочь...

После этого Гарига точно бы отрезвел. Уложив в вещмешок шкатулку с украшениями, деньги, патроны, две пары запасных шерстяных носков, немецкий штык-нож, нитки с иглой и пожелтевшую семейную фотографию, на которой были он с женой и маленькая дочка, Семён Минич вынес его во двор и повесил на стоянок калитки. Затем из канистры облил бензином горницу, на минуту задержался в зале, прощаясь с Любашей. Горе гнуло его к земле, когда выходил он в последний раз из своей хаты сбивчивой походкой, воспринимая всё это, как бы во сне...

Пламя, подхваченное сквозняком, побежало с крыльца в открытую дверь, гулко объяло горницу, промелькивая языками в окнах. Гарига забросил карабин за плечо и разгониho зашагал через сад к речке. Несмотря на оттепель, лёд на Мечётке был прочным, и он быстро оказался на левобережье, где были когда-то отцовские виноградники. Путь лежал на запад, и он торопился как можно дальше уйти от станицы. А за спиной вставало, разрасталось зарево пожара. Но Гарига ни разу не оглянулся...

17

Утром тридцатого января Люська прибежала домой с возбуждённым криком:

— Наши пришли! Наши солдатики... Дяди красноармейцы на танке примчались... Ура-а!

Пелагея Никитична, всплеснув руками, бросилась к образам, шепча благодарственные слова молитвы всем святым. И отец Антоний, встав с кровати, перекрестился и произнёс:

— Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

Однако осунувшееся после болезни лицо его осталось невозмутимо-здумчивым. Он жалел о потерянных днях, которые отняла у него болезнь, о несостоявшейся крещенской литургии, о несовершенных требах и проповедях, о непрочитанных часах. Душа рвалась в храм, к прихожанам. Но это стало уже несбыточным. Господь не впустил в храм одних безбожников, теперь пожаловали другие. Он испытывал двойкие чувства: и радость от изгнания оккупантов, и печаль от неизбежного закрытия храма.

Оказалось, не он один думал об этом. Пелагея Никитична вошла в его комнату с решительным видом. Опустилась на стул возле письменного стола.

— Может, поднять людей и всё из церкви перевезти к нам? Иначе разграбят или сничтожат.

— Офицерам Красной армии не до этого. Нам скажут, когда освободить здание.

— Ой ли? В искушение легко впасть. Я советую забрать.

— Ну, хорошо. Убедили.

И часа через три отец Антоний расслышал понукание и увидел в окно, как к воротам подъехала гружёная подвода. Шёл снег, и белыми от него были гривы лошадей, и одежда кучера Агафона. Следом дошагали дед Дюньдик, тот самый Витька, который отличился при ремонте церкви, и хозяйка. Старик съёрнул с воза дерюжку и на пару с подростком стал носить иконы, подсвечники, облачение батюшки, священные сосуды, хорутви и разную мелкую церковную утварь во времянку. Под конец подняли со дна фурманки огромную купель и даже аналой. Отдельно внесли в курень в двух чистых мешках убранство алтаря — предметы с Престола и жертвенника, за престольный крест и семисвечник.

Дюньдик разговорился с батюшкой. Узнав, что дело пошло на поправку, простодушно обрадовался и посулил прислать внучонка Тольку со щукой, которую забил острогой. Напоследок поделился новостями.

— Набилося в станицу танков, а мост взорванный. А по всему этому берегу, по низине, мины расставлены. Саперы туда-сюда, а как под снегом отыщешь? По колено лег. Да... Слыхал, будто Гаригу поймали.

Вечером при свете жирника Люська играла в горнице с тряпичной куклой, а отец Антоний и Пелагея Никитична сумерничали в зале. Разговор вязался обрывистый. Оба скрывали непреходящую тревогу, тягостное ожидание ареста.

— Так я притянулась к церковной жизни... Аж не верится, что — всё... — вздохнула Пелагея Никитична. — Только стали люди приучаться... И нехай бы церковь была! Кому мешает?

— Всё же мне немного удалось, — с грустью признался отец Антоний. — Старался вести службу и проповедовать так, чтобы храм каждый день был заполнен. Веру Божью надо открывать людям просто и радостно, не устранием Суда Небесного. Давать её в руки, как детям дают на Благовещение птиц.

Чтобы ощущали трепет в душе и помнили, что потерять её, спасительницу, можно безвозвратно... А я не смог справиться.

— Какое там! По воскресеньям негде было стать. Со всех концов района приезжали. Аж из Сальска! — возмущилась хозяйка. — Скольким людям надежду вернули, утешение дали! Одной церковью и жила станица в эту темень военную. А на кого надеяться, когда фашисты кругом? Только на Спасителя. А кто к нему путь укажет? Вы! И нечего на себя наговаривать...

— Меня принимали в храме как пастыря. А когда заболел, пришли проведать только трое. Вот насколько велика сила веры Христовой и сколь несовершенен наш мир. Он погряз в грехах и в лукавстве, и священнослужители приставлены спасти его. А нам не позволяют! Отгоняют нас от людей бичами и запретами...

— Вот это правильно. Одни люди благодарные, другие — завистливые и корыстные. Кто по заповедям живёт, а кому Христово учение без надобности. Но про вас худого словечка я не слыхала!

— Православная душа у вас, Пелагея Никитична. Без края.

— Тоже скажешь...

— Что бы я делал без вашей поддержки? Даже из полиции помогли выйти! Если бы у меня была возможность выбирать крёстную мать, то я указал бы на вас...

Через день за отцом Антонием пришли двое особистов: конвойный солдат и младший лейтенант с орлиным носом и сросшимися бровями. Они без стука вломались в курень, хмурые и злые, фуражками напоминая синеголовых павлинов.

— Тут живёт священник? Это вы? Собирайтесь! — на одном дыхании выпалил лейтенант.

— Он ещё хворает, две недели с кровати не вставал, — пыталась защищать Пелагея Никитична. — Дайте сил набраться хотя бы до завтра.

— Мамаша, болезнь устав не отменяет. Незнание закона не освобождает от ответственности, — щегольнул красноречием парень и, желая выбить почву из-под ног, прикрикнул: — Поживей, Меркулов!

Люська потрясённо смотрела то на красноармейцев, то на бабушку Полю. Её детский разум не мог постичь, почему дяденьки, которые прогнали немцев, забирают батюшку, такого замечательного и доброго человека...

Штаб дивизии разместился в школе, два смежных класса были отведены под Особый отдел. Священника больше часа допрашивал сам начальник отдела майор Веденский. Вопросы были разные, в основном провокационно-глупые, и, отвечая на них, отец Антоний с трудом сдерживал раздражение. Услышав “Увести!”, он понял, куда...

Тюремным помещением оказался подвал, приспособленный под плотницкую. Свёда по ступеням, конвойный подтолкнул попа в рясе в отомкнутую дверь. В холодной темнице с маленьким оконцем ощущался запах лака и сырости. На земляном полу курчавилась мелкая стружка, валялись опилки досок. На одном из двух верстаков, подстелив чёрный тулуп, сидел сгорбленный мужчина.

— Оце так! И тэбэ, Николаич, захомуталы? Ласкаво просымо! — со злорадством встретил Гарига. — Вдвох будэ веселійше.

Отец Антоний, неприятно удивлённый встречей, промолчал.

— Оце твоя лежанка, — показал Семён Минич на соседний верстак. — Занимай зараз, а то приведут ще кого-сь.

Не дождавшись ответа, он лёг, поджав к груди колени, чтобы согреться. И через минуту захрапел во всю ивановскую. От его сапог отдавало тинной и навозом. И Меркулову ничего не оставалось, как снять пальто и, подстелив его, тоже прилечь на доски, чуть пахнувшие сосною. Оправив рясу и наперсный крест, он положил руки под голову и закрыл глаза. Вот и случилось то, о чём знал заранее. И приближается час земного судилища. Его он, в сущности, не боится, ибо сознательно шёл к этому дню всю жизнь, пребывая в свете Лица Божия. Только бы не поддаться унынию, не растратить смиренного терпения и принимать всё безропотно, с благодарностью Господу...

Семён Минич проснулся, откашлялся и сбросил ноги с верстака.

— Колы ж вони исты принесут? — пробубнил он сердито. — Сутки голодом мордюют...

Полдень заметно посветлел. Но позёмка по-прежнему с шорохом бросала в оконце мелкий снежок. Солнце прочертило узкую синюю тень от здания по просторному двору.

— Чи живой, Николаич? — окликнул Гарига. — Давай балакать. А то больше нэ придётся. Ты кажи мэни, як так, що ты, божья людына, вместе со мной в заточень? Иде ж твой Иисус? Чому не помог?

— Он и сейчас мне помогает, — отозвался отец Антоний и тоже поднялся, стал на землю. — И я знаю, что Господь видит меня.

Гарига нехорошо засмеялся.

— Мы с тобой, як два чёбота. У тэбэ ни семьи, ни детей немає, и я — круглый бобыль... — он вдруг всхлипнул. — Дочки лишился... Прокляти казачи... Ото ж... Ты при Советах и при германской владыке сидел...

— По вашей милости, — уточнил отец Антоний. — Хотя знали, что вины моей нет.

— Знав, а припугнуть надо було... И я при тех же властях в пленники попадал. Так що мы — одинаковые с тобой. Вот и ряди! Я жив, як хотел, вольно. Баб имел, водку пил, грабил, командовал полициями, богачество наживал. А сколько рабов Божьих на тот свет отправил? Усих не упомяну! Хозяином жизни був! А ты? То рясу носил, в церквах пропадал да молитвами забавлялся, то в лагере срок тянул, хуже пса на цепи, то на счётах костяшки перекидывал. И що? Оце життя?

— Вы заблуждаетесь в том, что живём мы только на земле. Душа бессмертна, она даётся Господом и забирается им. Вы же согласны, что у вас есть душа?

— А що це такэ? — ёрнически спросил Гарига.

— То, что заставило вас сейчас заплакать. Она в тенётах грехов, в дьявольской мгле... Но действительно есть! И после успенья предстанет на Суд Божий... Вы усомнились в том, что я выбрал счастливую судьбу... Послушайте, с юности мне не надо было иного, как жить по заповедям Христовым. Но лукавый много раз искушал, и я грешник, каюсь и отмаливаю грехи... И скажу вам первому, что всю жизнь пытался добром заслужить оправдание перед Господом. Праведность и оправдание не только созвучные слова, но и неразделимые понятия...

— Якщо Бога немає? — перебил Семён Минич уже неуверенно, без прежней насмешливости.

— Есть. И он рядом...

Гарига зябко передёрнул плечами.

— Ну, мэни зараз каяться поздно... Козырей перед божинькой не запас...

И вдруг услышав скрежет замка, испуганно повернул голову, с дрожью бормотнул:

— За кем?

Из-за приоткрытой двери сурово выкрикнули:

— Гарига, на выход!

Семён Минич стал торопливо натягивать свой чёрный, без знаков отличия полицейский китель, скороговоркой пытаясь отвлечься.

— Я до хутора Кавалерского уже дошёл... Взял вдоль берега, щоб не побачили. А там снега по колено, в копань провалился. Глубокая копань. Попал, як кур во щи. А то убог бы, и никто сроду бы не арестовал...

— Кому говорят?!

Семён Минич неузнаваемой походкой, еле передвигая ноги, поднялся по ступеням и круто оглянулся, выдохнул:

— Прости мэна, Николаич... — и в его глазах темнел покаянный страх.

— Бог простит, — успел ответить священник.

Отрывистые команды во дворе вскоре заставили отца Антония подойти к окну. С первого взгляда он всё понял. Отделение солдат было построено в шеренгу. А трое конвойных вели к ней Семёна Минича со связанными за спиной руками. Он валко ступал по снежной пелене, опустив голову. И вдруг

упал на колени, начал переступать ими, оставляя борозды, моля о пощаде того самого лейтенантика, со сросшимися на переносице бровями. Двое конвойных подхватили Гаригу под мышки, поволокли к означенному месту.

Отец Антоний отошёл от окна. Раскатистый на морозе залп заставил его вздрогнуть и перекреститься, и прочесть заукоиную молитву о новопредставленном рабе Божьем Симеоне. Потом он стал ходить по подвалу. Вскользь подумалось: расстреливают, как правило, всех разом...

Спустя несколько минут пришли и за ним. Отец Антоний не стал надевать пальто. Незачем...

Снова он оказался перед Веденским. Но на этот раз майор, невысокий, широкоплечий мужчина, смуглым лицом напоминающий Файта, сменил манеру общения.

— Вас положительно характеризуют многие люди. В том числе бывший председатель колхоза, орденоседец Ершов, — и, достав папиросу, постучал мундштуком по крышке портсигара, неторопливо чиркнул спичкой, прикуривая. — Принципиально не пользуюсь зажигалками...

И эта простая фраза как бы располагала к доверительности.

— Честно говоря, я хочу сохранить вам жизнь. Товарищ Сталин встречался с православными иерархами. У нас с вами общий враг — гитлеровская Германия... Но как же вы, образованный, интеллигентный человек, осуждённый за контрреволюционную деятельность, отбыв заключение в лагере, решились служить немцам?

— Я служил в храме Богу, а не немцам.

— Погодите... Церковь открыта по распоряжению немецких властей. Так? Вы получали денежное вознаграждение...

— Нет. Я не взял ни копейки, хотя предлагали.

— Вот я и говорю, что вы добровольно изволили принять церковный приход. Фактически стали в административную зависимость от немецкого старосты... И это тянет на несколько статей, в том числе и на 58-ю. Вы уже осуждались по ней, и второй раз, уверяю, применят высшую меру наказания. ВМН, как пишется в протоколах.

Веденский сильными затылками докурил папиросу и замаял в стакане, уже полном окурков.

— Мы — не немцы. Вашего полицая, матёрого убийцу, следовало принародно повесить. А мы пожалели людей — и так натерпелись жестокости... — сплетал свою речь майор из угроз и участливых фраз, стараясь сломать психологическую устойчивость арестованного. — Если вы поможете нам, я гарантирую вам свободу. Более того, дам выписку из протокола, что вы выполнили специальное задание Особого отдела. Думаю, у следственных органов к вам вопросов больше не возникнет.

— Что мне нужно сделать? — спокойно спросил отец Антоний.

— Помочь Красной армии. Немцы взорвали мост и заминировали берег. Толстый слой снега и ямы мешают сапёрам. Танки стоят. А рота дивизионной разведки кукует на улице. Нужно найти проход...

— Я должен пройти на противоположный берег?

— Вы поняли меня правильно.

Отец Антоний несуетно поднялся.

— Я готов.

— А почему вы без пальто?

Священник не отозвался.

Его привезли в кабине полторки к реке. Осиянный солнцем, цепенел морозный день. Глазурная снежная пелена вокруг, скаты сугробов и намётов в заречье слепили до стеклянных мушек в глазах. Следом подъехал на трофейном "Опеле" майор Веденский. Появление батюшки в расположении роты удивило небритого зеленоглазого командира в белом маскировочном халате. Его отозвал в сторону особист. Совещались они недолго, и Веденский представил сослуживца:

— Капитан Акименко. Он объяснит вам задачу.

Зеленоглазый, видимо, смущаясь тем, что впервые в жизни давал приказ священнику, отчеканил низким голосом:

— Задача простая. Хоть напрямик, хоть наискосок выйти на левый берег. — И, подумав, добавил: — Старайтесь ступать отвесно.

Отец Антоний, щурясь, огляделся. Станица под толстым снежным покровом была неузнаваема, празднична. Вездесущая детвора на пригорке неподалёку каталась на санках. По-бальному были нарядны и пушисты заснеженные вишни вдоль плетней. И среди этой белизны выделялась высокая фигура священника в чёрной суконной рясе и скуфье, с отблескивающим на груди большим серебряным крестом. Бойцы, сойдясь у танкетки, говорили приглушённо, с любопытством рассматривая станичного батюшку и не ведая ещё, зачем он здесь.

Отец Антоний прочёл про себя “Отче наш” и “Царю Небесный”, и продолжая читать молитвы, двинулся по спуску, проваливаясь в снег выше голенищ. До выбранной им цели на другом берегу, геодезического курганчика, было не более версты, но идти оказалось трудней, чем он предполагал. Несмотря на подмотанные портянки и толстую кирзу сапог, ступни быстро околоченели. Лицо жгуче опахивал ветер. Ступать так, как советовал командир разведчиков, не получалось — болели колени. Сквозь молитвенные слова стал вдруг слышаться ему непонятный, как будто струнный звук. И отец Антоний почему-то вспомнил о Файте, о его прощальной музыке. И решил, что близок миг откровения — исхода души из земной юдоли. Он и страшил немного, и притягивал тайной неизвестностью: как войдёт душа в Царствие Небесное...

Между тем, меряя шаги, он дошёл до середины луга. И заметил странную закономерность: неотступный звук то усиливался, то стихал, как только вилял он в сторону. И стал старательно внимать ему, ведущему вперёд, словно невидимая нить.

Однако силы таяли. Всё больше думал отец Антоний не о себе, а о том, что подведёт зеленоглазого командира. Судя по открытому лицу, это был хороший человек. С Божьей помощью он должен дойти! Разведчики и танки нужны на фронте, под Ростовом. И, копя энергию, стал чаще останавливаться, пережидать одышку...

На полдороге, когда уже ступил на речной лёд, его догнал девичий крик: — Ба-а-тю-юшка!

Он оглянулся и метрах в ста увидел догоняющую его Люську. Неугомонная девочка не бежала, а скакала, принаравливаясь к его следам.

— Стой! — попытался остановить её отец Антоний. — Марш назад! Кто тебе разрешал идти за мной?!

Люська замедлила шаги.

— Кому я говорю! Сейчас же иди домой!

— А я вам часы принесла, — звонким и упрямым голосом откликнулась своевольница. — Вы их забыли...

— Немедленно домой! Иначе жить у нас не будешь, — использовал отец Антоний последний аргумент, хотя ни за что бы не расстался с дорогим, потянувшимся к нему ребёнком.

Девочка отстала, но уходить и не собиралась.

И только когда отец Антоний с трудом вскарабкался по глинистому крутояру на берег и взошёл на курганчик, где была треногая вышка, она смело направилась к нему.

Отец Антоний ничего ей больше не сказал. И выглядел он постаревшим: бороду то ли припоросило, то ли, на самом деле, побелела за полчаса, пока проходил минную полосу. Он, что-то шепча и улыбаясь, смотрел на станичный берег, с которого цепочкой стали сходить красноармейцы. Молчала и Люська, размахивая голубым, как небушко, платком, сдёрнутым с головы и слушая, как в ладони отца Антония тикают принесённые ею часы...

ВАДИМ КОРНЕЕВ



ЛАДА ХОЧЕТСЯ ДУШЕ

ЭСТРАДА

Эх, в искусстве всё неладно! —
Видно нам, среди прочих бед
Пишущим совсем бесплатно
Вот уж три десятка лет.

Композитор и художник,
Как бы творчески ни рос,
Невнимания заложник,
Если пишет он всерьёз.

Но зато, вниманью рада,
С поощрения верхов
Разжиревшая эстрада
Охмуряет дураков.

Был Свиридов, Шостакович,
Был Твардовский — ясный свет,
А теперь любая сволочь —
Композитор и поэт.

И какие миллиарды
В этом крутятся аду!
Все эстрадники и барды,
Видно, с дьяволом в ладу.

КОРНЕЕВ Вадим Николаевич родился в 1948 году. Автор шести поэтических сборников, изданных в Курске, Воронеже и в Москве. Член Союза писателей России. Лауреат Всероссийской литературной премии "Прохоровское поле". Живёт в Курске.

Пусть пока хороводят,
Охмурают наш народ.
Говорится “всё проходит...”
Это, верю я, пройдёт.

ЛАДА ХОЧЕТСЯ ДУШЕ

Признаюсь — давно уже
Ничего душе не надо,
Кроме лада, только лада,
Лада хочется душе.

Лада захотелось мне
Одному себе в угоду?
Лада всей моей стране,
Лада моему народу.

Неужель, скажу, скорбя,
Люд по городам и весям
Без предела на себя
Электронику навесит?

Станет умным и дурак —
Это страшно, это вредно,
Станет сильным и слабак...
А богатым станет бедный?

В той неправедной стране
Станет сытым ли голодный,
Чем согрется холодный?
Кто ответит вам и мне?..

Вот идёт — причёска “веер”,
Всё при нём — мобильник, плеер
И “цифровка” на груди.
Что он видит впереди?

Он ведь смотрит в ноутбук —
Без него он как без рук,
А вернее, без мозгов.
Разве человек таков?

С болью думаю сейчас —
Очень многие у нас
Полуроботы уже...
Лада хочется душе!

БЬЮТ

Сердце ничему уже не радо,
Ни к чему покой мне и уют,
Коль “тайфуны”, “ураганы”, “грады”
По земле, родной мне с детства, бьют.

По всему, что дорого на свете,
Нагло, кровожадно и вразнос —
Бьют по старикам, по малым детям,
По всему, во что я сердцем врос.

Дни и ночи эти изуверы
Бьют, былую родину круша,
По заветам Гитлера, Бандеры,
По приказу сумасбродных США.

Мы сегодня осознали остро,
Хоть в России бед невпроворот:
Бьют по нашим братьям, нашим сёстрам,
Истребляют общий наш народ.

Вот такие тягостные были...
Словно слышу неумолчный глас:
“Мы ж вчера одним народом были!”
И остались. Значит — бьют и нас.

РОССИЯ — РОДИНА МОЯ!

Россия — стужа, прялка, пряжа
И песни жалобная нить...
Россия — шапка Мономаха...
В России так непросто жить.

Россия — кровь, и пот, и нервы,
Великий князь, мужик простой,
И чудо Покрова на Нерли,
И Грозный — грешный и святой.

И русское святое слово,
Горящее, как уголь во рту.
Нигде не слыхивал такого —
Шепнёшь, а слышно за версту!

Россия — удаль, бой кулачный,
Навзрыд поющие слепцы,
Россия — голод... Вкус калачный,
Колокола и бубенцы.

Россия — лапотки за гробом,
Кромешный мат, рублёвский Спас,
Сплав рьяный Азии с Европой,
Бунтующий в крови у нас.

Россия — древняя обитель,
Молитва, скорбный свет свечи.
И сталинский победный китель,
И звёзд рубиновых лучи.

Ракиты, грязь и бездорожье...
Луг, роща, песня соловья —
Всё отозвалось в сердце дрожью,
Всё это — Родина моя!

.....

Дорогой друг!

Поздравляем тебя с почтенным юбилеем. Многие десятилетия ты, один из известных поэтов нашего поколения, честно служил Русскому слову и продолжал великие традиции отечественной поэзии, традиции, завещанные нам Александром Твардовским, Михаилом Исаковским, Николаем Рубцовым и другими подвижниками русской литературы. Желаем тебе доброго здоровья, вдохновения и любви наших читателей!

Редакция

НАТАЛЬЯ КОЖЕВНИКОВА



КОГДА-НИБУДЬ
МЫ ВСПОМНИМ ДРУГ О ДРУГЕ...

* * *

Полдень клонит голову ко сну,
Мы с тобой устали целоваться.
Солнце зацепилось за сосну
И никак не может оторваться.

Я своей печали не таю,
Словно даль зелёная, морская,
Степь стоит у бора на краю,
Маревом серебряным сверкая.

Машет белым облаком, грозит
Засухой, пожаром, расставаньем.
А потом до дрожи просквозит
И разбудит только утром ранним.

Ветер бьёт, беззвучен и жесток,
Марлевым крылом о подоконник.
Он, наверно, мне швырнул цветок —
Жёлтый, опалённый зноем донник...

КОЖЕВНИКОВА Наталья Юрьевна — автор трёх поэтических книг, живёт и работает в Оренбурге. С 2008 года является главным редактором альманаха “Гостинный Двор”, член СП России, лауреат нескольких литературных премий — пушкинской премии “Капитанская дочка”, Аксаковской премии, премии им. Д. Мамина-Сибиряка и др.

* * *

Не называй меня хорошей —
Заворожу дождём косым
И на ветру дрожащей рощей
Обеспокоенных осин.
А на свидании заплачу
И от смущенья нагрублю.
Я, не надеясь на удачу,
Свою печаль в тебе люблю.
Не называй меня красивой —
В тяжёлом облаке волос
Я окажусь плакучей ивой
С корой, морщинистой от слёз,
От обжигающего ветра,
От ожидания звонка...
Качнётся высохшая ветка,
Вздохнёт усталая река.
Не называй меня любимой,
Своею женщиной из снов —
Осеребрённую рябиной
Я онемею на Покров.
Тогда, горячий и влюблённый,
Иную радость обретя,
Меня ты вспомнишь удивлённо...
Десятилетия спустя.

* * *

На миг мелькнуло небо грозное,
Но замер гром — ни шороха во тьме.
На белом свете мы остались двое
С цветущей тишиной наедине.

Пусть прахом обратятся все проклятья!
Сюда, в неверный сумрак голубой,
Вошла я, сбросив траурное платье,
Из времени меж прошлым и тобой.

Моя душа устала от печали
И от чужого зябкого огня.
Что грезится в конце ей и в начале,
В неярком свете гаснущего дня?

Вкус яблока и терпкий запах сада —
Зачем мне столько?! И, печаль тая,
Заплачу вскользь: мне ничего не надо,
Ты — небо, я — звезда на нём твоя.

* * *

Любимый мой, бреду я наугад
С душой смятенной: где мой дом отныне?
Зачем крыжовник — русский виноград —
Венок колючий мне плетёт в унынье
И тень огня соседствует с листвою?
Любимый мой, прости мне нетерпенье.
Ещё в душе лелею образ твой,

Ещё я слышу ангельское пенье.
Но время умирает за спиной,
Как звёзды в перевёрнутом бинокле.
А впереди — небес пустынный зной,
И сон без сна, и чей-то слабый оклик.
Завоет ветер, ветки теребя,
В моём саду, и я без слёз заплачу...
Как лодка на безводье, без тебя
Я в мире этом ничего не значу...

* * *

Когда-нибудь мы вспомним друг о друге,
Золу костров угасших вороша.
Когда-нибудь — на предпоследнем круге,
Дела земные к сроку заверша.

Когда-нибудь во влажной летней рани
Иль в сумерках у тихого огня
Переберём свиданья, ссоры, раны —
Приметы нами пройденного дня.

Как милость, ту оставшуюся малость
Мы примем, приголубив у плеча.
Когда-нибудь придёт к порогу старость,
Кленовым звонким бадиком стуча.

И ночью обезноженной, в испуге
Поймём любви и ненависти суть.
Когда-нибудь мы вспомним друг о друге.
Когда-нибудь...

* * *

Не стану, не стану сегодня стыдиться
Внезапных, как дождь, всепрощающих слёз.
Растаять, как дым, как туман раствориться
В молчании млечных по пояс берёз,
В озоне, где, зноем с утра опалимы,
Молчат соловьи и скворчат вертела,
Где медленно плавает пух тополиный
И женщины белые носят тела,
Где жимолость прячет развалины рая
И тени теней изначально длинны,
Где жизнь моя длится, вершится, сгорая...
И вновь воскресает — как куст купины.

ПЛАЧ

Шалью пуховой закроюсь до пят,
Ветры метельные в поле вопят.
Гляну в окошко — ни света, ни зги,
Мечутся в воздухе вихри пурги.
Нежитью белой дома замело
Очи затмило и руки свело.

Все наши клятвы на майском крыльце
Спрятаны в памяти, словно в ларце.
Жизнь пролетела, как летняя ночь,
Кудри развились и выросла дочь.
В печке, смирясь, догорают дрова,
Дым восвоеси уносит слова.

Женское счастье, что алый вьюнок.
Вспыхнет, вплетённый в венчальный венок.
Брошенный после неловкой рукой,
Вниз поплывёт серебристой рекой.
В ряби речной изомнутся уста,
Белая роща до дрожи пуста...

* * *

Печально сегодня мне в доме моём,
Нет в печке тепла, не скрипят половицы,
В открытый ветрами оконный проём
Осенний простуженный воздух струится.

И слышу, и знаю: летят воробьи
В рябинник, где бледное солнце гуляет,
Где тихо и мирно по нашей любви
Прехитрая осень поминки справляет.

Одна-одинокa на этом пиру —
Не каюсь, не плачу, а с верой внимаю
Гусиному крику на синем ветру,
Сумятице листьев, далёкому маю...

СЕРГЕЙ ДОРОВСКИХ



ВРЕМЯ ВЕСНЫ

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

*Памяти моего дяди
Геннадия Ивановича Елфимова*

1

Самый неповторимый, долгожданный момент — когда сбывается мечта. Почему-то многие грезят о недоступном. Для кого-то заветный и желанный день радости — это переехать от тесноты и проблем в свой дом, желательно на Лазурном берегу, подальше от нашей “правды жизни”. Ещё нужны счёт в банке, дорогие машины, прекрасные женщины. Несбыточно и банально, конечно, но и люди в массе своей предсказуемы, и даже в мечтах скучны до зевоты. Романтиков мало, да и они так же сходят с ума в поисках гармонии, настоящей любви и прочих химер... Я как-то вывел простую формулу, что мечты и есть первопричина внутренней пустоты, тоски и одиночества. Бывает, люди разменивают четвёртый или пятый десяток, а всё доверчиво чего-то ждут от завтрашнего дня, не понимая, что мир предсказуем с тех пор, как был создан. В любом случае, решил я, уж если заложена в человеке “функция мечты”, так надо верить и ждать того, что может стать реальностью. С простой и внятной мечтой есть шанс ощутить сладость обретения желаемого, и тогда живёшь, чувствуя, что взял за руку хорошее настроение и постепенно ведёшь его в своё завтра.

ДОРОВСКИХ Сергей Владимирович родился в 1986 году в Тамбове. Окончил Тамбовский государственный технический университет. С 2004 года работает в журналистике. Лауреат областной журналистской премии им. И. И. Овсянникова. Главный редактор художественно-публицистического и краеведческого журнала “Литературный Тамбов”. Автор книг “Единственный выход”, “Ересь”, “Патриот, хранимый судьбой”. Живет в Тамбове.

Потому и захотелось мне не заоблачного счастья или богатства, а просто... своей дачи на берегу “воронежского моря”, недалеко от санатория имени Горького. Больше пяти лет откладывал деньги, долго просматривал объявления, лишь бы найти то, что нужно. И вот сбылось!

Кто знает это место, рассмеётся: и это... мечта? Невзрачные, выцветшие домики-скворечники стоят один к одному, их поджигают новостройки “успешных” воронежцев, одним словом — яблоку упасть негде. Нет ни участков, ни простора, никакой возможности побыть без посторонних глаз. Да и шумные электрички, что проносятся днём и ночью, — разве это отдых?

Ну и пусть! Мне участок ни к чему. Моё детство пришлось на девяностые годы, когда люди месяцами не видели денег от государства. Отец работал на шинном заводе, и зарплату выдавали покрывками, которые он с трудом продавал на трассе, чтобы купить нам молока и хлеба. Потом родители приобрели дом-развалюху с огромным заросшим участком в глухой деревне, решили выращивать на продажу овощи. И я каждое лето помогал отвоёвывать у канадского клёна сотку за соткой, а затем торговал картошкой на Невском рынке. У моих тогдашних друзей были летние каникулы, долгие и праздные, а у меня — посадка, прополка, уборка, базар. Так что в деревню меня теперь не заманишь.

Есть и ещё одна причина покупки домика в этом районе, хотя о ней можно сказать: “Ну, это уже лирика!” Да, пусть лирика. Именно здесь была дача дяди Гены, и все годы, сколько помню себя, я любил приезжать к нему. Когда на душе скопилась муть, надоела компания или расстался с очередной подругой, на сердце и в голове пусто, тошно и не хочется ничего... в такие минуты общение с мудрым дядей стало отдушиной. Я приезжал вечером, мы снимали цепь с лодки, выплывали и рыбачили, а потом до темноты сидели в уютной беседке, обвитой необычайно раскидистым, но редко дававшим урожай виноградом, пили его “авторскую” настойку — совсем немного, закусывали окрошкой, и говорили, говорили. Вернее, больше слушал я. Дядя, сводный брат моего отца, родился в тридцать восьмом и пережил войну ребёнком. Помню его рассказы, как в деревню пришли немцы и венгры, как убивали людей... Говорил он и о себе, делился переживаниями о жизни, иногда — о своих детях, особенно о сыне, — да, в общем-то, о многом. Но даже не смысл слов, а только его спокойный, хриплый от многолетнего курения голос уже помогал мне, будто вымывал из меня суету и глухость. Слушая его и откидываясь на скамье, я смотрел, как долетает очередной день, и хвалил себя — как же прав, что приехал сюда, побыл с дядей, а не с пафосными сверстниками. К сожалению, мне всегда не везло с друзьями. И дядя Гена был единственным моим настоящим другом.

Глядя, как он сидит, — седой, в старенькой выцветшей “гавайской” рубашке с пальмами, — как говорит не спеша, иногда слегка помахивая пустой ложкой, я понимал: хочу быть похожим на него, мне нужно научиться жить вот так, размеренно и мудро. Не завтра научиться, не к его годам, а именно сейчас. Но понимал, что у меня вряд ли получится.

Не забыть мне и предрассветных минут, когда дядя будил меня излюбленной фразой: “Вставай, сэр!” В сумерках, не завтракая, а лишь хлебнув кофе, мы шли к лодке, укладывали снасти. Я налегал на вёсла, глядя, как над водохранилищем медленно рассеивается туман, и в дымке едва различимы стоящие на воде столбы электропередач, далёкий пляж, храм, левобережные высотки. Дядя Гена знал ориентиры, указывал мне, каким веслом сильнее загребать, а потом командовал остановиться. Рыбалка была для него таинством, он пусть без излишней строгости, но всё же требовал соблюдать правила — нельзя было не только шуметь, но и разговаривать, приподниматься. Он выбирал неглубокие места, и потому каждое колебание могло спугнуть крупную рыбу. А ловил дядя очень хороших карасей, таких, что и поверить нельзя: в нашей огромной воронежской “луже” водятся такие красавцы! Но в последние годы он слабел и даже не брал своих удочек, а только сопровождал меня, молча курил, с какой-то особенной, щемящей грустью встречая холодные рассветы сентября.

Теперь я всё чаще вспоминаю эти дни. Дядя Гена умер в затяжную, дождливую ноябрьскую ночь. Перед этим его долго и медленно съедала болезнь, а я, как это обычно и бывает, всё время был занят и никак не мог заехать, поговорить, проститься с ним — некогда, дела, задания. Не верилось, что он умрёт. Думал, вот на новогодние каникулы у меня наконец-то будет возможность, мы спокойно посидим с дядей. Какие посиделки! Ничего уже быть не могло, надо было спешить, ехать, побыть у кровати, и потому не нахожу себе оправдания. Помню только последний телефонный разговор. “Ну, ты как?” — спросил его. “Иду ко дну”, — ответил старый рыбак.

С уходом дяди Гены для меня осиротело это место на берегу. Я приехал в середине марта на его дачу и, сидя в обвитой сухими стеблями продуваемой беседке, почему-то ждал, что вот-вот он выйдет из домика, на ходу застёгивая молнию, или, может, поднимется с другой стороны, захрустит ногами по жухлой траве и скажет: “Ну, здравствуй, сэр”. Его не было. Ни с одного пути, ни с другого. И не было никого в эти дни рядом...

Домик дяди Гены продал его сын, и, казалось бы, времена, проведённые здесь, навсегда стали прошлым, и мне закрыт к ним путь. Нет! Это место — часть меня. Тогда и закралось в сердце желание — скопить деньги на дачу.

И вот я купил домик! Его продал мужчина лет сорока пяти, молчаливый, с лысым и широким лбом. Мне почему-то показалось, что он — инженер-технар. Обычный такой, увидишь лицо — и забудешь сразу. Я решил, он чем-то опечален или раздражён, но вовсе не тем, что расстанется с домиком. Может быть, эта продажа стала для него вынужденной — я мог выстраивать сколько угодно версий, но говорить со мной о чём-либо, кроме дела, он не собирался. Претензий к домику-“скворечнику” у меня не было — узкий, двухэтажный, со старой мебелью, что я ещё мог желать за свои деньги? Оформление бумаг тоже стало для хозяина наказанием, но мы выдержали очередь и расстались, почему-то не пожав рук. Вернее, он быстро растаял, как только мы поставили подписи, завершив сделку. Но я на всякий случай сохранил в памяти телефона его номер и имя — Михаил Звягинцев. Уже в день покупки я быстро забыл о нём — поехал на работу, были встречи, пресс-конференции, открытие выставки, митинг дольщиков и прочая ерунда. А вечером меня ждал...

Свой дом, пусть дачный, неказистый, с покатою шиферной крышей, но свой! Я оставил машину там же, на парковке у железной дороги, как если бы приехал к дяде. Открыл простенький замок и стал внимательнее изучать своё “наследие”. Конечно, в основном это был хлам, и я представил, что около месяца буду вывозить на свалку огрызки чужой жизни. Ворохи пожелтевших газет — в основном наша “Коммуна”, ламповый телевизор, неработающий магнитофон и гора пиратских кассет с “хитами 90-х”, прочий нафталин. Сначала я обрадовался: много книг, но быстро понял, что в основном осталась идеологическая макулатура. Не знаю — почему, но я обратил внимание на большую распухшую тетрадь. Мне подумалось, что кто-то из прежних хозяев завёл её, чтобы записывать расходы или иную бытовую мелочь, и решил сегодня же с её помощью разжечь мангал.

В мелких, неспешных заботах, которые меня только радовали, я так и не заметил, как наступил вечер. Я вынес на веранду и включил старый торшер, достал столик, развернул вместо скатерти “Коммуну”, поставил пакет вина и плавленый сыр, собрал купленный накануне мангал, готовясь пожарить шашлык и впервые поесть за день.

Ах да, тетрадь. Я сходил за ней. Прежде чем разорвать и бросить на растопку измятые листки, я всё же решил пролистать страницы. Нет, это были не бытовые записи. И совсем не пустые — я это понял, обрывочно выхватывая мысли из разных мест. Впрочем, налив вина, я быстро забыл про мангал, и стал читать с самой первой страницы.

Автор воспоминаний — Николай Звягинцев, с первых страниц обращая к Михаилу, и я понял, что держу в руках записи настоящего хозяина домика. Видимо, он умер, и теперь внук продал дачу. Из тетради я понял, что он родился в двадцатом году в Воронеже. Его отцом был радиоинженер, в начале тридцатых годов занявший пост на заводе “Электросигнал”.

“Воронеж рос стремительно, в годы индустриализации буквально за одну пятилетку население выросло почти в три раза. Многие переезжали из деревень и жили в бараках на левом берегу, который только осваивался. Но я мало интересовался этим. Когда отец стал руководителем высокого звена, мне было шестнадцать лет, а в такие годы редко кто думает об общественной жизни”, — читал я.

Особой страстью отца Николая были старинные предметы, мебель девятнадцатого века, книги, редкие технические издания. Его библиотеке завидовали друзья — общался он в основном с партийными сотрудниками, руководителями различных ведомств.

“Меня часто просили сыграть что-нибудь на баяне, и дядя Жёня — самый близкий друг отца, майор НКВД, — улыбался и даже иногда хлопал в ладоши, когда я исполнял “Мы красные кавалеристы”, “Варшавянку” и другие песни времён гражданской войны. Мама никому, даже секретарям райкомов партии, не разрешала курить в гостиной, и люди выходили на балкон, дымили папиросами и трубками, смеялись. Тогда Плехановская шумела не так, как теперь. Лишь редкие полуторки и гужевые повозки проезжали, подпрыгивая на ухабах: в то время не было асфальта, ямы и даже канавы пересекали улицу. Среди гостей были видные учёные, они много тогда говорили о науке, о прогрессе, и я прислушивался, невольно заражаясь страстью к познанию устройства мира, не зная граней, не понимая, куда может привести любознательность... Когда вечерело, и гости один за другим разбирали в прихожей пальто и шляпы, благодарили хозяев, я выходил на балкон и долго вглядывался в тёмно-сизое небо, мечтал. Уже тогда, в шестнадцать лет, я чувствовал всё величие, многообразие и... одиночество вселенной. И я тоже был одинок, как холодно мерцающие звёзды”, — прочёл я.

Оказалось, что Николай Звягинцев, как и я, тоже был журналистом. Он писал о главном редакторе газете — Степане Гейко, человеке прямом и жёстком. Под грозными портретами Ленина и Сталина он и объяснял молодому сотруднику задачу — освещать роль политпросвещения для комсомольцев.

“Всё изменилось в весенний вечер сорокового года, когда, прогуливаясь недалеко от дома, я познакомился с удивительным человеком, который навсегда перевернул мою жизнь”, — на этих словах я отложил тетрадь.

2

В полумраке домика я на ощупь отыскивал ворох газет, и, порвав их, легко разжёл ветки в мангале. Насекомые от едкого дыма быстро отстали, но сбились и жужжали рядом, словно ругали меня. Я дул на огонь, языки плясали, слегка обжигая лицо.

Я подумал: так кто же занят настоящей журналистикой — автор этих воспоминаний или я, корреспондент нового века, работающий на сайте новостей? Он пишет о своём времени, где были стройки, люди, труд, вера, но хватало и привычной, как сегодня, дурости, лени — да чего угодно. Чем занят я? Ежедневно освещаю какие-то пресс-конференции, встречи, на которых с деловым видом люди в пиджаках что-то заявляют, и это что-то чаще всего либо имеет мало общего с реальностью, либо забывается на другой день. Я давно заметил: прочитав новостную ленту, уже спустя час-другой я совершенно не помню, о чём шла речь. Потом убедился, что это не моя особенность, все живут в таком ритме, хватают и пережёвывают на ходу новости, как безвкусную жвачку. Я часто бываю на открытии очередных магазинов, офисов, фондов и хвалю их хозяев, понимая, что делаю это только ради заработка, не верю и, главное, не хочу верить их словам и тому, что пишу. Так что же в итоге? В советские годы власть пыталась с помощью печатного слова изменить человека, сделать его целеустремлённым и послушным трудягой. А сегодня... да в принципе то же самое, но разница в том, что в те годы систему создавали для сверхцелей государства, а сейчас — для определённых структур. Даже социальные акции, помощь детским домам, открытие благотворительных фондов сегодня служат одной цели: оправдать систему, показать “человеческое лицо” людей капитала.

Я отвлёкся от костра и посмотрел на тетрадь. Да, мне становился интересен, близок человек, оставивший когда-то эти записи. Хорошо, что не сжёг, а ведь мог запросто. Только читать тяжело, почерк плоховат. Мне бы хотелось, чтобы разбухшая тетрадь вдруг расплылась перед глазами, слегка приподнялась со стула, увеличилась, преобразилась и стала тем человеком, что заполнил её текстом. Чтобы не малоразборчивые буквы старого человека были перед глазами, а он сам сел рядом, выпил вина, неспешно рассказывал дальше свою историю. Читая воспоминания, на первых страницах я испытывал неловкость, ведь слова обращены не мне, а внуку...

Я сказал себе, пускай некрасиво заглядывать без приглашения в чужую жизнь, у меня нет морального права на это, но я уже не смогу остановиться. Вино и сыр немного отогнали чувство голода. Огонь разгорался, комары окончательно отступили в синюю звенящую темень, и я, положив в мангал крупные брёвна, вновь сел под тускло-жёлтый свет старого торшера.

Николай Звягинцев писал, что встретил весенним вечером старика, он представился Карлом Леоновичем Эрдманом. Рядом на асфальте лежала вязанка потрёпанных книг, и он попросил донести эти “сокровища” до дома. Старик жил в тёмной каморке, заставленной книгами и приборами. На вопрос, кто же он такой, не учёный ли, немец ответил, что много лет в одиночку разрабатывает теорию образования космоса.

Оказалось, его измышления не сложны для понимания. Он объяснил Звягинцеву, что у любого материального тела есть прародитель. И планеты, в том числе Земля, тоже когда-то появились на свет. Потратив всю жизнь, Карл Эрдман пришёл к выводу, что планеты рождаются звёздами! Появление планет находится в связи с циклическим характером ядерного синтеза в недрах звёзд, они формируются так же, как дети в лоне матери, и затем отторгаются. Каждая планета уходит на свою орбиту, но не отрывается от матери, а зависима от неё. Эти роды немец назвал Временем Весны. На Солнце Время Весны становится главной эпохой, и длится не три месяца, как принято мерить на земле, а миллионы лет. С приходом галактической весны в каждой звезде просыпается Великая Мать, и постепенно она вынашивает малышей, отдаёт всю себя им... И потом до самых последних дней она заботится о них, живёт только ими и ради них, отдавая всё своё тепло. И Солнце понимает, что, если оно умрёт, — не станет и её детей.

Выслушав теорию, Николай ответил, что вряд ли Карл Эрдман найдёт сочувствие в кругах учёных, но принял его слова как истину. Постепенно они сдружились. Не посоветовавшись с Карлом Леоновичем, Николай решил написать небольшой очерк — о нём и его идеях.

“Строчки сами выливались, и я шумно отстукивал на портативной машинке очерк с громким названием “Воронежский Коперник”, — прочёл я.

Однако редактор Гейко принял статью в штыки, сказав, что бессмертие — это миф, буржуазная ненаучная метафизика. Он посоветовал Николаю порвать все связи с подозрительным немцем. Тот не внял предостережениям, и опять пришёл к Карлу Леоновичу. При этом не забыл о просьбе — принёс пишущую машинку, чтобы набрать все рукописи учёного-мечтателя... Затем Николай Звягинцев как сын сотрудника “Электроприбора” добыл для него современный радиоприёмник, и вместе они стали слушать зарубежные волны, чтобы узнать, что происходит в мире науки.

Однажды Николай пришёл к Эрдману и застал его в задумчивости. Тот, подавленный и уставший, слушал речь Гитлера.

“Нет, миру именно сейчас нужны мои знания! — сказал он Звягинцеву. — Они помогут осознать происходящее и даже прекратить эту ужасную войну. Если мир узнает о реальном устройстве космоса, о его законах, то все побросают оружие, покаются и начнут не рушить, а созидать! Нельзя оставаться равнодушным к этому”.

3

Я поднял глаза — фруктовые брёвна прогорели, угли ярко пульсировали тёмно-красными огоньками, но так почему-то не хотелось вставать, нанизывать шашлык и жарить... Не скажу, чтобы меня сильно захватила история, но всё же было в записках нечто особенное.

Я поднялся и занялся шашлыком. Пока жарил, переворачивая шампуры с ароматными, шипящими кусочками, думал... о дяде Гене и о себе. Мне казалось очевидным, что рассказчик и странноватый немец непременно подружатся на следующих страницах, иначе не описывал бы он в таких красках эту встречу. И снова между мной и Николаем Звягинцевым, истинным хозяином этой дачи, оставившим внуку воспоминания, пробежала искра. Так получилось, что и я сблизился с человеком намного старше меня, нашёл общий язык, причём получилось это тоже словно само собой, нечаянно.

Ночью город словно и не спешил засыпать. Стучала, постепенно удаляясь, очередная электричка, где-то в соседних домиках слышались негромкие разговоры, далеко, в летнем кафе выбивали однообразный ритм колонки... Я вновь сел на крыльце, закрыл глаза, вытянув ноги, стараясь различить в этом разнообразии звуков самую лучшую, но приглушаемую музыку — стрекотание сверчков. Минуты текли, я дышал глубоко, сам не понимая, почему улыбаюсь. Становилось легко, спокойно, а потом меня словно подхватили мягкие руки и подняли в небо. Я стал птицей, взлетел над предрассветным спящим городом. Я парил, то опускаясь, то вновь набирая высоту, едва угадывая ландшафты, картины, понимая, что лечу над иным, незнакомым мне Воронежем. Не стало однообразных, как столбы, высотных домов, супермаркетов, заполненных машинами-букашками автостоянок. Пропал искусственный блеск и мельтешение огней, растворились кричащие рекламные вывески. Я с трудом узнавал места — Воронеж ужасался, обустроенные пригороды превратились в пустыри и редкие деревеньки, сосновые лесочки, и мой орлиный взор различал далёкие низенькие лачужки, стога сена, вытянутые прямоугольники коровников. Город же подо мной в дымке казался серым, его разделяла неширокая, бегущая неровно, словно змейка, река. Местами по бокам её сжимали пристани с рядами деревянных лодок. Я опустился к воде, к белоснежному юркому паруснику, но ветер отбросил меня к левому берегу. Тут были редкие домики барачного типа, в небольших дворах сушилось на верёвках бельё. Но, поднимаясь выше, я различал стройки, длинные, как шрамы, траншеи, полные кирпича грузовики, глинистые котлованы, насыпи идеально жёлтого песка, горы чёрного шлака. В нос ударил запах гудрона, несмотря на ранний час, уже слышались окрики, шум моторов. Я парю, лечу в иную сторону, кружусь над парком, вижу фигурки спортсменов, лестницу, памятник Сталину — вождь прижимает руку к груди, словно защищает сердце. Перед железными воротами — вывеска: “Спасибо любимому Сталину за счастливое детство!” Я лечу всё быстрее, поднимаюсь — с высоты кажется, что правый берег весь утопает в зелени, по железным путям в Берёзовой роще движется, то появляясь, то скрываясь от глаз, первый утренний трамвай. Я петляю, пересекаю улицы, вижу шпалы, рядом с которыми — насыпи разномастных камней. Постепенно разгорается день, проносятся глазастые полуторки с деревянными бортами, редкие, похожие на красно-белые огородные бочки автобусы, мелькают люди. Большинство зданий я вижу впервые, рядом со многими хочется замереть, покружиться, рассмотреть колонны, лепнину. Я, наконец, понимаю, что лечу над довоенным Воронежем, его трудно узнать и уже никогда не вернуть: почти весь город уничтожат немцы, не уцелеет и десятой части всех этих строений. Меня относит к Чернавскому мосту — я угадываю его лишь потому, что он — средний, но совершенно не похож на современный. Затем опускаюсь к деревьям какого-то сквера, сначала не узнаю его, но мои крылья выносят к Ротонде — не к её руинам, я вижу её совершенно целой, не тронутой войной. Она прилькает к стене вытянутого четырёхэтажного здания клинической больницы. Поднимаюсь вверх, словно ракета, лечу на космической скорости к солнцу, и оно зовёт, зовёт, но невыносимо слепит...

Я открыл глаза — торшер светил мне прямо в лицо. Тетрадь лежала на груди, я так и уснул с ней. Стало холодно, и я, выключив свет, покачиваясь, побрёл на второй этаж, но уснуть не смог. Скоро рассвет, и я решил отправиться на рыбалку.

Лодка моего дяди — широкая, рассчитанная человек на шесть, стала моим единственным наследием (она оказалась никому не нужна), и я, умывшись и напившись из рукотойника, быстро собрал немудрёные снасти, вёдра, прикормку с наживками. Положив всё это у кормы, снял цепь и поднажал на вёсла. Я положил тетрадь на соседнее место в лодке, и она плыла со мной, словно компаньон по рыбалке. Я выгреб к мосту — здесь проходили электрички, и, хотя заплывать далеко не хотелось, мне уже порядком надоел их шум, и я поплыл дальше, в сторону острова Рыбачьего. Всё же для того, чтобы отдохнуть спокойно на городском водохранилище в выходной день, надо постараться, найти тихое место. Постоянно то по одной, то по другой от борта стороне мимо меня проносились водные мотоциклы, поднимающая тёмно-зелёную тучу водорослей, плавали шумные, звенящие хитами сезона катера, так что я в своей лодке казался архаичным стариком из повести Хемингуэя.

И всё же удачное место я, наконец, нашёл. Прикормил, забросил удочку и стал ждать. Припекало, и я вспомнил излюбленный метод дяди Гены охладиться — снял кепку, и, набрав её полную воды, надел на голову. Что ж, совсем хорошо, но сколько ждать клёва? Ладно, подумал я, всё равно лучшее время я проспал, так что просто посижу, буду болтаться тихонько на воде, а заодно и почитаю...

Николай Звягинцев писал, что целый год длилась их дружба с Карлом Эрдманом, пока весной сорок первого года он не пришёл в каморку и застал её... опечатанной. Вернувшись домой, он был удивлён: там его ждали сотрудники НКВД, они устроили ему допрос. Оказалось, что немец попытался передать на Запад свои работы, и ему это, конечно же, не удалось. Майор Пряхин словно забыл, что он — близкий друг отца Звягинцева, теперь он стал жёстким и непрístupным. Он настаивал, что все “труды” немца — это шифровка для фашистов, и работал Эрдман не один, а с целой группой немцев, которые завербовали и использовали молодого парня.

В кармане завибрировал телефон. Я посмотрел на поплавки, на дальний берег и только затем отложил тетрадь. Подумалось почему-то, что меня разыскивает бывший хозяин дачи, внук автора воспоминаний. Я уже готовился рассказать Михаилу, какую уникальную тетрадь случайно отыскал в домике, но на дисплее высветилось “Папа”.

— Привет, привет! — говорил я, одновременно проверяя удочки — за время чтения кто-то откусил кончик червя на одной удочке и полностью снял мякиш хлеба с другой. — Да, купил! Уже ночевал, ага. Нет, на рыбалку ещё нет, — я помолчал, сам не понимая, зачем вру. — Точнее, вот, только выплыл, но не ловить, так, на разведку. Конечно, приезжай. Отлично. Ну да, как к дяде Гене ехать, там же ставь машину, а я к тебе сам выйду.

Я подбросил смятую в шары прикормку и смотрел, как заплясали от их удара о воду поплавки. Стало душно, и я вспомнил примету дяди Гены — если клёв резко прекращается, стоит ждать затяжного ненастья. Я поднял садок — около десятка плотвиц бились, играя на солнце серебряной чешуей. Ну что ж, вы будете первыми счастливицами, кого я завялю к пиву. Отец обещал быть часам к пяти-шести, и неважно, какой будет погода к вечеру, нужно запомнить это местечко, бросить много прикормки, чтобы собрать рыбу на вечернюю зорьку. Вдвоём-то мы уж наверняка найдём подход к крупным, похожим на тёмно-золотистых поросят карасям. Я сложил удочки, поднял груз и погрёб в сторону дома.

Защёлкнув замок на цепи, я подумал и решил оставить весь скарб на дне — всё равно скоро плыть, а из местных, думаю, вряд ли кто покусится на мои скромные снасти. Так что, взяв подмышку тетрадь и отцепив садок, я выпрыгнул и стал подниматься по узкой дорожке.

Я прочёл, что после допроса Николая Звягинцева доставили в дом НКВД на Володарского. Через несколько дней испытаний он всё же признался, что был невольным участником некой прогерманской группы, о которой на самом деле он не имел представления. Он решил, что сознательность и помощь следствию помогут ему...

Уже можно было идти встречать отца, и я медленно зашагал в сторону дороги. На стоянке оказалось свободное место рядом с моей машиной, так что отец точно не ошибётся, когда приедет. Я решил прогуляться вдоль забора, закрывающего доступ посторонним в дачный кооператив. Положив руки в карманы, я смотрел на высокую железнодорожную насыпь — именно здесь и пронеслись с гулом электрички. Вверх, закрывая широкими листьями щёбёнку, плотной массой тянулись какие-то лианы — может быть, хмель. Да, странно устроен мир — весь, не только человеческое общество. Вот эти растения с головками-хоботками всё время стремятся куда-то, растут, в слепоте своей пытаются ощутить пространство впереди. Их главная цель — тянуться к теплу и солнцу. Если и есть в корнях, теле и этой головке зачатки разума, то он подчиняет себе растение, требуя ежечасного стремления к высоте. Нужно опередить других, если получится, запутать их, обмануть, увести с правильной дороги, помешать. Впереди — солнце! Но, когда лиана растянется вдоль высокой насыпи и поднимется на неё, её здесь ждёт не солнце, а рельсы. Может быть, она от несовершенства своего примет блеск стали за луч и положит свою чемпионскую, достигшую наивысшей цели, голову... Bravo, хмель, или как там тебя зовут — неважно! Ты первый! Но смотри, уже с рёвом несётся кто-то. Он промчится по тебе, ничего не почувствовав: ему, такому огромному, нет дела до тебя и твоей маленькой души. Палач убьёт походя, даже и не заметив тебя. И не тронет тех, кого ты обманул, кого оплёл и сбил на долгом пути своём к мнимому солнцу...

За спиной посигналили, я обернулся. Отец припарковался, подал знак из окна. Я помахал в ответ и побежал навстречу. Именно побежал, хотя не было никакой необходимости. Это привычка, традиция, хотя... Ни одно приходящее на ум слово не подходило. Я помню себя примерно с трёх лет, и детство для меня — это ожидание возвращения папы с работы. Зная примерное время, когда он должен приехать, я садился у окна и ждал, никакие игры и даже мультики не могли меня отвлечь — я томился и грустил, если он задерживался. И хотя я вырос, и самому давно бы пора иметь детей, я бегу к отцу, когда давно его не видел, не могу просто идти.

Выходя из машины, отец бурчал:

— Наверное, развалюху взял! Нет, чтобы со мной посоветоваться! Веди уж, показывая хоромы, — он вручил мне два пакета, в одном что-то душевно позвякивало.

— Ну, и что же, если бы я с тобой стал дом смотреть? Думаешь, если бы он тебе не понравился, я бы не стал его покупать?

— Вот вечно ты ершишься!

— Нет, это ты вечно! Нормальный дом, сейчас сам увидишь.

— А Генин вон тот ведь был?

— Конечно, а ты уже забыть успел? Мой совсем близко. Если б дядя Гена был жив, мы бы теперь стали соседями.

Папа придирчиво обошёл мою дачу, поднялся на второй этаж, постукивал по стенам, что-то бормотал. Хотя он проработал всю жизнь на “шинном”, но дни отпуска проводил на подработках, в основном, на разных стройках. Судя по тому, что, спустившись, он ничего не сказал, дача получила удовлетворительную оценку.

Мы сели в лодку, и отец занял место у кормы, закурил, собрал спиннинг. Пока мы не отплыли на глубину, он задумчиво смотрел на высотки левого берега, храм вдалеке, думал о чём-то. Мне хотелось разогнать негу и полусон, и я стал быстро грести.

— Давай не так шибко, я на “дорожку” хочу попробовать, — сказал отец, и сел ко мне спиной.

Ветра почти не было, небольшие пенистые волны бились о борта, и я плавно работал вёслами, словно занимался на тренажёре, смотрел на сутулую фигуру отца, седой затылок, жилистую руку и жёлтый от курения палец, замерший на старомодной ленинградской катушке.

Напротив сидел самый близкий мне человек, на которого я был так сильно похож и внешне, и душой.

Если и есть во мне что-то хорошее, то взял я это у него. Разве мы не конфликтовали? Ещё как! До дыма и дрожки! И дело не в извечном споре “отцов и детей”, о котором говорят и пишут все, кому не лень, — от старика Тургенева до нынешних коуч-тренеров по семейной психологии и других аферистов. Конфликт — противоборство интересов и взглядов, это нормальное явление. Я знал семьи, и немало, где споров почти не возникало — только потому, что люди жили под одной крышей, наплевав друг на друга.

Бойкий тёмно-зелёный окушок, зажав во рту тройник блесны, пролетел мимо моего носа, несколько капель слетели мне на лоб с его подвижного хвостика.

— Ну, ты и подсекаешь, — засмеялся я. — Чуть в лицо мне рыбой не ударил.

— А ты не расслабляйся! — папа снял рыбёшку и отпустил за борт.

— Зря. Ещё таких с десяточек поймать, и знатная получилась бы уха.

— Жарко сейчас для супа.

— Вечером самое то!

Эх, папа! Я стал жить самостоятельно для того, чтобы сберечь наши отношения. Если бы я тогда сдался под твоим натиском, остался с вами послушным домашним мальчиком, то, поверь, от этого потеряли бы всё. Не сразу, но ты смирился, стал помогать мне во всём и обижался, если я что-то делал, не посоветовавшись с тобой. Извини, уж таков я. Говорят, точная копия тебя самого. Обо всём этом мы ни разу не говорили и никогда не будем, понимая всё без слов. Я знаю, ты помнишь обо мне каждую минуту. Любишь без слов — а иначе и нельзя, любовь не говорлива. Я, как сын, стараюсь быть достойным тебя не стыдить нашу фамилию. Спасибо, что приехал и сейчас со мной.

Поверь: ты для меня — самая лучшая компания.

Мы с тобой люди разных взглядов, и багаж, который за плечами у каждого, несравним. Я складывал пластмассовые разноцветные буквы и считал палочки, когда ты на снежном ветру торговал этими проклятыми покрывками, что выдавали вместо зарплат. Помню, как ты приехал и привёз мне кожаный ранец. Я обрадовался, но ведь не знал, каких трудов он тебе стоил. А также форма, тетрадки, хлеб на нашем столе. Ельцинская власть под лозунгами свободы рынка унижала тебя, но ты выстоял достойно, без ропота. Со смирением ты вытягивал баржу нашей семьи. Ради чего ты так напрягался? Ради меня и матери. Ты — советский человек по восприятию мира, честный, и остаёшься таким, но ты при этом — подлинный христианин... И вот сидишь ты ко мне спиной, куришь, смотришь на кончик сделанной ещё при Горбачёве, а может, и раньше, снасти, и ничего тебе от жизни больше не нужно. Для счастья то есть... Молодец ты, не то, что я...

Сменился строй, ход времени, иными стали люди... разными, в большинстве своём, конечно, неглубокими, как эта отмель, что мы проплываем сейчас, — все гниловатые водоросли до самого дна видно. Ни ты, ни дядя Гена не приняли новый мир и его порядки, и, может быть, вы правы по-своему. Я и сам порой чувствую себя чужим в этом обществе, где большинство, увидев тонущего, начнут снимать его на камеру телефона и выкладывать в интернет, а не спасать. Ты живёшь по старым правилам — и в плохом, и в хорошем смысле. Меня ты, конечно, осуждаешь за покупку дачи. Раз я скопил деньги, то лучше бы потратил с умом, сберёг на “чёрный день”. Но я не собираюсь готовиться к плохому “завтра”, даже если от будущего стоит ждать только бед. Я хочу, чтобы и мне, и тебе было хорошо здесь и сейчас.

— Долго ещё? Ты что, ловить собрался в тундре? — видимо, отец заскучал, ведь больше на его заветную снасть никто из подводных обитателей не искутился.

— Считай, уже на месте.

После того, как мы опустили груз и забросили снасти, время замедлило бег. Мы, два человека, похожих и разных одновременно, молча смотрели, как пляшут на фоне светло-зеленоватой воды поплавки, как ярко играют на

солнце обрадованные очередной порцией прикормки рыбки-верховки. Временами я затевался спросить что-то, мне хотелось разговора, причём совершенно неважно какого, самого пустяшного. Но слова обрывались, не хотели идти, словно боялись нарушить тишину и гармонию. Мои утренние старания оправдались — карасик подошёл, но клевал только у папы. Отец посмеивался надо мной, когда я, сосредоточенно подсекая, вытаскивал очередную уклейку — такую маленькую, что на солнце просвечивался скелетик.

— Ну что, сынок, это твой размерчик. Вот лучше поучись у меня, а то помру, не у кого будет учиться.

За вечер я так ничего и не поймал, но несколько не расстроился, считая себя матёрым егерем, цель которого — подготовить успешную рыбалку.

Наступил вечер, наполненный странной, звенящей тишиной. Казалось, если крикнуть — то голос долетит до левого берега и станет там самым громким звуком.

— Ох, даже голова немного отпустила, — сказал, потягиваясь, отец, когда мы плыли обратно. Он опять забросил спиннинг, блесна играла за счёт движения лодки.

— А что, болела?

— Да так, не так чтобы. Забудь.

Я знал, что он никогда не будет жаловаться, даже если отнимут ногу.

— Да так, сынок, ерунда какая-то бывает. Это, наверное, потому что воздухом дышу мало.

— А ты чаще ко мне приезжай, с мамой. Считай, что дача наша, общая.

— А помнишь дом-пятистенок в деревне, как латали его с тобой? Подпорки ставили, вычищали от хлама? И как пахали?

— Ещё бы, такое забудешь... Лучше не напоминай.

— А я о том времени часто вспоминаю, — он достал сигарету и задумчиво закурил.

Нет, отец, даже не буду спорить! Я знаю, ты с теплотой вспоминаешь девяностые, хоть они и стали испытанием, которое не всякий бы выдержал. Ты любишь то время... потому что был моложе тогда. Не болела голова, не ломила спина, не ныли колени. Но зачем я стану говорить про это? Нет. Я спросил:

— Мама сказала, ты компьютер хорошо освоил, который я тебе подарил, ноутбук маленький?

— Да, но я цель имел, не просто так. Собрать информацию обо всех родственниках и односельчанах, кто где воевал и как погиб на войне. Недавно все-все архивы выложили в интернет, а также и награды, причём с прикреплением сопроводительных документов, за какие заслуги орден или медаль.

— Да, это интересно.

— Ещё бы. Я даже думаю книгу написать о фронтовиках нашей деревни.

— Дядя Гена много знал, он рассказывал. А вот знаешь, какой я дурак.

— Знаю, какой ты дурак.

— Да подожди, я о другом. Вот работаю, считай, каждый день кого-то записываю на диктофон. И в основном тех, кто говорит чушь, — записал и стёр. А дядю ни разу так и не записал. А ведь какая бы ценность была!

— И не говори.

— Нет, всё же дядя Гена родился до войны, оккупацию помнил, — я помолчал, слушая предвечернюю тишину и глядя на слабый отсвет солнца, пляшущий на воде, как восторженный шаман. Высоко в небе крикнула и умолкла птица, словно прочла короткую поминальную молитву. — И по маминой линии многие тоже ведь воевали? Деда-то я помню, хотя мне пять лет было, когда он умер.

— Да, он тебя на колени любил посадить, нянчить.

— А я медальками его позвякивал, как погремушкой, мне нравилось. Сам-то не помню, мама рассказывала.

— С помощью сайтов тоже я многое о нём нашёл. Он же ничего не рассказывал... А почитай сопроводительные бумаги к его орденам! Рембо, или как там его, из боевиков. Только настоящий! Один, с пулемётом и гранатами восемнадцать немцев положил!

— Да, боевой у тебя был тесть.

— Хороший мужик, да. Жаль, из-за ран мало прожил. Сестра его старшая, Татьяна, погибла на фронте, санитаркой была. И двоюродный брат его тоже, интересный персонаж. Я про него как раз сейчас ищу подробности.

Мимо нас промчался катер, нетрезвые пассажиры махали нам руками.

— Вот чёрт, сейчас раскачает, — отец выплюнул окурок. — А звали его...

— Кого?

— Брата деда! Ты меня слушаешь?

— Конечно! — грести обратно было тяжело, я немного устал, но просить отца подменить меня на вёслах не хотел.

— Евгений Максимович Пряхин.

Я замер, подняв весла — капли падали вниз.

— Он был майор госбезопасности, участвовал в ликвидации Елецкой группы противника в бригаде войск НКВД. Погиб в начале июля сорок второго года. Посмертно награждён орденом за успешную борьбу с вражеской агентурой и диверсантами. Выдающийся, видимо, был человек, а сведения о нём такие скудные.

Отец даже не заметил моего изумления или не придал ему значения — он не мог знать того, что известно мне о... Пряхине. Ведь это был он, вряд ли однофамилец... такого ранга.

— Что с тобой, отдыхаешь? — спросил он.

Жёсткий офицер из воспоминаний Звягинцева, сталинский палач и мерзавец — мой родственник? Пусть не прямой, конечно, но всё же... Я снова взялся за весла, грёб машинально и молчал, несколько раз порываясь рассказать отцу о дачной находке и удивительной истории, в ней записанной. Но папа снова пересел ко мне спиной и забросил блесну, и я решил, что лучше пока помолчать.

Налетел ветерок, он принёс запах сырости, чистоты. Я поднял глаза — с левобережной стороны шли тяжёлые тучи, они заволокли небо и нависли тяжёлыми свинцовыми подушками над городом, который с исчезновением солнца побледнел, стал мрачным, сероватым. На миг опять всё притихло, и только вёсла били по воде, поднимались и опускались вниз, словно плывущие дельфины. Глухота обволакивала нашу лодку, но гром и молния вспороли её. Они всколыхнули водохранилище, будто подняли бурю в огромной ванной.

— Да, чудеса, — сказал отец, сматывая спиннинг. Он обернулся ко мне, думая, как бы помочь мне ускорить ход лодки. Вариантов не было. — Вот какая перемена. Сейчас накроет.

Волны стали бить по бортам, словно бросали в нас камни.

— А я знал, что так будет, — прошептал я, налегая все сильнее.

— И я знал.

— Странно даже, что у тебя клевало.

— Ну, так это же у меня.

Отец по-прежнему сидел спиной, и я видел, как дождь, начавшись тихо и резко усилившись, стучал по голове каплями, и волосы его с сильной проседью вдруг стали чернее, словно благодаря ливню он стал молодеть на фоне равномерного стеклянного звона.

Поёживаясь от холода, я не переставал грести. Когда причалили, оба мы промокли и замёрзли. Я вспомнил, что и раньше, когда с отцом рыбачил в деревне, мы часто попадали в грозу и возвращались, словно мокрые псы. “Ну и рыбачки!” — говорила в таких случаях мама.

Прибывшись к берегу, мы зацепили лодку, побросав в ней всё снаряжение, и бежали, спотыкаясь, по размытой дорожке, ноги с чавканьем вминали траву-повитель.

В домике мы вытерлись старой занавеской — ничего более подходящего под рукой не нашлось. Глядя на нас со стороны, можно было смеяться, а мама, видимо, причитала бы и бранила за то, что засиделись долго, что сами виноваты и теперь можем заболеть.

Гроза стихла, дождь стучал равномерно, тихо, словно шептал, звал ко сну.

— Это теперь надолго он зарядил, — сказал папа. Обсохнув, мы сидели на втором этаже, и капли стучали по крыше. — Надо бы за садком сходить.

— Надо, — ответил я. — Ты пойдёшь?

— Нет, неохота.

— Вот и мне тоже.

Рыбалка — странное занятие, и многие вполне обоснованно не могут понять её логику. Если мы тратим время и силы ради поимки рыбы, то почему она... совсем не важна в итоге?

Я выключил торшер, и мы лежали с отцом в полной темноте на одной кровати, укрывшись одеялами.

— Спишь? — спросил я.

— Нет...

— А вот скажи, как думаешь, почему бывает, что дети и родители друг друга не понимают?

Папа помолчал, я слушал его хриплое от курения дыхание.

— Всё относительно, сынок, — сказал он. — И от времени зависит. Бывает так, что дети не понимают родителей, или наоборот. Когда ребёнок маленький, он не понимает родителей по одной причине, повзрослеет — находит другие.

— Ну, а в общем?

— А в общем всё это идёт к запоздалому раскаянию. Моего отца нет уже тридцать лет, и знаешь, я во многом, если не во всём, если смог бы повторить, вёл бы себя с ним иначе. Это не значит, что у нас были конфликты, совсем даже наоборот. Просто сейчас уже понимаю... а сделать, поменять ничего нельзя.

— Странная штука, — сказал я. — Ладно, давай спать, а то завтра мне на работу ехать.

— Спокойной ночи.

Папа заснул быстро, словно ребёнок, а я ещё долго смотрел в потолок, слушал дождь, равномерный храп и хриплое посвистывание отца, и думал...

Почему мы все постоянно совершаем какие-то ошибки, большие и малые, словно обречены на них? Вот и религии учат, что человек в силу своего несовершенства ежеминутно грешит. Христианство предлагает покаяние как выход, но ведь это не избавляет от повтора глупостей. В любом случае получается так, что жизнь — всегда неудача?.. Я повернулся лицом к стене и стал прокручивать в голове те или иные события из своего прошлого, и понял, что всё, до последней минуты, в том числе покупка дома, сегодняшняя рыбалка, чтение чужих записей, содержит в разной мере элемент ошибки. Но тогда что же, стоит просто об этом не думать и всё?

Я поднялся и, включив на первом этаже свет, стал собирать книги по истории КПСС, кассеты, обрывки и прочий хлам в коробку из-под телевизора. Я подумал — зачем нужно вообще... хранить на даче, в гаражах коробки от телевизора и других приборов, а не выбрасывать их сразу же после покупки? На всякий случай, а мало ли. Так и во всём мы поступаем, а потом жалеем, что жизнь наша наполнена сотнями ненужных связей, предметов, людей...

Закончив с уборкой, я взял в руки тетрадь... Случайно уцелевшая достойная вещь в море ненужного барахла. Тетрадь, а теперь ещё и отец поведали мне удивительную историю. Выходит, что я потомок палача, сломавшего судьбу хозяина этой дачи. Если бы я не раскрыл тебя, тетрадь, то и не узнал бы об этом. Прочесть тебя было ошибкой, равно как и не открывать вовсе.

Эта мысль вновь и вновь приходила ко мне, словно надоедливый, жадный до крови комар в комнате, злиться на которого и отгонять, в общем-то, было лишено смысла.

— Завтра на работу надо, — сказал я, но понял, что вряд ли усну. А раз так, лучше почитать, чем мучиться в темноте от бессвязных философских мыслей. Тем более, осталось и не так много страниц, так что я успею дочитать воспоминания Звягинцева до рассвета. В тетради я прочёл, что Звягинцев в “сером доме” НКВД содержался в одиночной камере. После того, как

под давлением он соглашается подписать бумагу, тем самым обрекая на смерть неизвестных ему людей, его вновь вызывают на допрос к Пряхину. Тот сказал, что Николай ни в чём не виноват, а стал невольным соучастником группы. Но его обследует врач, и вместо свободы Звягинцева направляют на принудительное лечение в Орловскую психиатрическую больницу. На этом тетрадь заканчивается, но Звягинцев пишет, что есть и вторая, красного цвета.

5

— Почему встал так рано? Не спалось? — голос отца отвлёк меня. В тетради осталось не более пяти листов.

— Да я и не ложился, пап.

— Что так? А я спал, как убитый.

— Рад, что ты отдохнул. Завтракать будешь? Я сейчас что-нибудь соберу.

— Ты куда планируешь ехать? — спросил отца, когда ели шипящую на сковородке яичницу.

— Собираюсь в гараж.

— Отлично. Сможешь тогда мусор с собой взять и выбросить? Я целую коробку хлама собрал.

— А что сам-то не можешь?

— Боюсь, не успею, дел очень много.

— Вечно у тебя отговорки. Ладно, помогу.

Мы положили в его багажник короб — он оказался так тяжёл, что один я бы не справился. Пожав руки, расстались, я провозжал взглядом машину отца, положив руки в карманы, пока она не скрылась за поворотом.

Уже через полчаса я ехал по песчаной дороге, с завистью глядя на вечных дачников — пенсионеров в плавках и панамах, с тёмно-коричневыми от загара плечами, они неспешно бродили по участкам, поливали цветы и грядки. Но и они остались позади, я вырулил с улицы Горького на развилку Северного моста и скоро стал одной из множества песчинок огромного, ревущего моторами города. Я спешил к событиям нового дня, чтобы рассказать о них читателям.

К полудню, посетив выставку и встретившись с каким-то депутатом, устав от разговоров, вечных пробок и жары, я поехал в редакцию на Московский проспект. Рабочий день, казалось бы, только начался, но я уже устал и мечтал скорее вернуться на берег, развалиться в кресле и, конечно же, ничего не делать.

— Серёж, к нам пришёл интересный гость, можешь побеседовать? — Я повернулся. Редактор нашего портала Юля — худенькая, как всегда, излишне накрашенная, — улыбалась. За её спиной стояла женщина в летнем платье.

— Познакомься, это — Ольга Фадеевна, краевед, — сказала редактор. — Думаю, нам стоит подготовить несколько репортажей. Тебе надо будет сходить на экскурсии “Воронеж пешком”, Ольга Фадеевна тебе всё расскажет.

“Ну вот, хоть что-то интересное”, — подумал я.

Я подвинул от соседнего стола кресло для посетителя и предложил чаю, при этом успев включить диктофон. Сам иногда поражаюсь, насколько мои действия доведены до автоматике. Ольга Фадеевна отвечала на вопросы, рассказывая о недавних экскурсиях — “Воронеж театральный”, “Древний город Воронеж”. Из папки она доставала фотографии, распечатки прежних публикаций.

— А вы слышали что-нибудь об истории дома номер семьдесят на Володарского, в котором жили чекисты? — вдруг спросил я.

Краевед молчала, с интересом глядя на меня. Лёгкая улыбка говорила, что я задел какую-то особую тему:

— Ещё бы, не просто слышала, я некоторое время жила в этом доме.

Я невольно выпрямился, подвинул диктофон поближе к собеседнику.

— Это здание — часть целого комплекса, построенного в начале двадцатого века для работников спецслужб, — я слушал её рассказ. — Сотрудники ОГПУ закрепились в историческом центре Воронежа ещё во времена гражданской войны. Для удобства в работе они выбрали лучший дом, когда-то принадлежавший купцам Нечаевым, сейчас там памятник Бунину. А для жилья им определили несколько домов “врагов народа” неподалёку — купцов Бухонова и Трубецкого. Затем в тридцатые годы на нынешней улице Володарского стали строить здание для НКВД, сейчас это театр юного зрителя. Сад “Аквариум”, что был неподалёку, превратился в парк имени Дзержинского, а ближайшие улицы Покровская и Воскресенская получили имена Дзержинского и Орджоникидзе. Так что работники НКВД получили для себя лучшие места в центре города. Семидесятый дом был автономным, и попасть туда было нелегко.

Ольга Фадеевна в подробностях рассказала мне то, что я уже знал из воспоминаний Звягинцева, в том числе и про тюрьму:

— Даже сейчас в подвале одного из подъездов есть дверь с глазком и тюремным засовом. Видимо, в то время, когда после войны сносили тюрьму, кто-то решил занять себе такую крепкую дверь. То, что она связана с горем и людскими бедами, видимо, не смущало, тогда люди были другие.

— Да, жутковато как-то, я бы ни за что себе такую дверь не поставил, — сказал я.

— Люди мыслили иначе, они пережили страшное время и были закалены. Старожилы уверяют, что между “семидесяткой” и обкомом партии на площади Ленина был подземный ход. Лично я в этом не сомневаюсь. О нём не раз шла молва, да и в целом это в духе того времени. Потом, после смерти Сталина, сотрудники КГБ его замуровали.

Затем Ольга Фадеевна рассказала, что в годы войны судьба посмеялась над жильцами “дома чекистов”. Во время оккупации семидесятый дом сильно пострадал, как и в целом Воронеж, который фашисты разрушили практически полностью. Вернувшиеся в разрушенный город сотрудники спецслужбы вынуждены были жить с семьями... в той самой тюрьме, где когда-то содержались заключённые. А “семидесятку” уже потом восстанавливали пленные немцы. По воспоминаниям старожилов, при ремонте находили арки, проёмы, трубы между квартирами, видимо, они были для связи. Когда работы завершились, тюрьму за ненадобностью снесли.

— В истории этого дома не обошлось без мистики, — на этих словах я оглянулся и понял, что коллеги отвлеклись от мониторов и слушали наш разговор. Даже редактор Юля смотрела на Ольгу Фадеевну, не обращая внимания на то, что на её столе вибрировал телефон. — С ним связано много странностей, есть и то, что смело можно назвать судьбой, роком. Практически все дети — потомки сотрудников НКВД — трагически ушли из жизни. Хорошие, образованные люди, которым только жить и жить, гибли в автокатастрофах, тонули, заболели, почему-то спивались. При этом их ровесников, переехавших в “семидесятку” и не имевших кровных родственников из органов, несчастья обходили стороной. Это замечали все, пугаясь очевидной мистики событий.

Помолчав, она добавила:

— Этот дом — свидетель многих трагедий. Он не просто памятник, а самое настоящее напоминание о том, что всё на земле, любой шаг, поступок имеют цену и последствия.

Никогда в нашей редакции не было так тихо.

— Об этом обязательно, — сказала Юля, — просто обязательно надо написать.

“Ага, — подумал язвительно я, — а не про твои любимые убийства, прорывы канализации и капремонты”.

— Чтобы рассказывать людям об этом, мы и создали наше сообщество, — улыбнулась Ольга Фадеевна. — Мы каждый день проходим, проезжаем мимо зданий, строений, не зная, не замечая того, что почти каждое из них — как открытая книга. Нужно только потрудиться, обратить внимание, научиться читать — и мы узнаем так много о прошлом, о людях, живших

в нашем городе! Иногда маленький невзрачный домик, в котором жила всего одна семья, может рассказать больше, чем огромная девятиэтажка. Там была своя жизнь, трагедии, радости. Когда мы рушим прошлое, мы не домов лишаемся, а выхолащиваем ценности, опустошаем себя. Как сквозняк выносит тепло из дома, так и мы выносим суть, смыслы, лишаемся исторических корней. Человек, который не относится бережно к вещам в своём доме, никогда не будет беречь и всё остальное. Пустые люди оставляют после себя пустое место. Ведь раньше, когда хотели сплести, говорили: “Чтобы пусто тебе было!”

Ольга Фадеевна вздохнула:

— Если вы всё же захотите написать о доме на Володарского, я могу на время дать вам мою работу, посвящённую этой теме. Только это рукопись, я всё собираюсь, но не успеваю перевести в электронный вид.

— Спасибо! — сказал я, удивляясь, как сама История нашла меня. Как-то несколько дней назад я и не задумывался об этом, но вот дом — большой, серый, — он будто сам громко постучался ко мне, поведал о себе, добавив как бы между прочим, что и мой родственник жил в нём, занимая далеко не последнее место...

Вспомнились слова о незавидной судьбе потомков чекистов, и я невольно поёжился. И верно: вспомнилось, что двоюродная сестра моей мамы умерла от рака, долго страдала, перенесла несколько сложных операций. И ещё я слышал историю про дядю Сашу — он пьяный разбился на мотоцикле, кажется, в семидесятые годы, задолго до моего рождения. Осталось только помолиться и попросить, если возможно, замкнуть эту цепочку.

— Вам позвонит наш активист, Тania Лукьянова, она передаст мою рукопись о доме, — сказала Ольга Фадеевна. — Я вам доверяю, но очень прошу, сохраните её, она всего в одном экземпляре.

— Конечно-конечно, — ответил я. — Более того, обещать не буду, но постараюсь если не всю работу, то хотя бы часть её набрать на компьютере.

— Это будет здорово! Я буду вам так благодарна, я просто не успеваю.

Я поблагодарил краеведа и проводил. Подниматься обратно не хотелось, решил подышать. Было душно, тянуло побыть в тишине, но даже в нашем проулке не удавалось спрятаться от городского шума, урчания сотен моторов, проносившихся по проспекту. Мой коллега, Витя Малуха, спустился, слегка покачиваясь, закурил. Мы с ним были единственные корреспонденты мужского пола в большом коллективе редакции, журналистика из-за невысоких зарплат давно стала “женской профессией”.

Я попросил сигарету, думая, как быстро опять втянусь в эту привычку. Я бросаю и начинаю курить постоянно с четырнадцати лет, с перерывами порой на полгода и больше. Но всё равно берусь за старое, вот и теперь.

— Классно она рассказывала! — сказал Малуха, давая мне прикурить. — Вот кто делом реальным занят, не то что мы.

Я кивнул. С этим сложно спорить. Сочиняя каждый день по десятку коротких новостей в сухом “форматном” стиле, выдавая интервью разной степени скучности, мы были самыми настоящими бездельниками. Журналисты — трудно сказать, по собственной воле или нет — давно отказались от служения высоким целям и потому стали лишними людьми в обществе. Люди, интересующаясь новостями, совсем не брали в расчёт автора и его мнение, да и нас вынуждали доносить информацию, а не оценивать её. Так что мы стали роботами. Скоро компьютеры сами начнут формировать новостные заметки, брать интервью, и тогда от нас совсем откажутся. Я уверен, что с задачами, которые сейчас ставят перед нами, машины справятся не хуже.

Я молча стоял, а Витя просто смотрел на меня и, кажется, ловил мои невесёлые мысли.

— Краеведы, бессребреники, чудаками кажутся, — сказал он. — А ведь это просто люди увлечённые, со своей целью и миссией, каждый из них в глубине души убеждён, что занят важным делом. Собственно, это и есть их стержень, ради него они вкладывают силы и даже средства. А мы — нет. Мы не верим в то, что делаем, даже на поверхности души не верим.

Он потушил окурок. Я знал, почему Малуха так говорил, что его раздражает. Юлия отчитала его за то, что он взял с какого-то сайта новость и хотел поставить её почти один в один, заменив всего пару слов. И поступил он так не потому, что думал украсть чужие мысли, — там их просто не было. Даже не в лени дело. Он больше не любил профессию. Перегорел, устав от нестыковки реальности и собственных ожиданий.

Эх, Витя, вот стоишь ты, закурив вторую сигарету, небритый, сутулый, с ошутимым даже на улице шлейфом ночного подпития, и глаза твои мутны. А ведь я знаю тебя давно, и учились вместе, только ты — на два курса старше. Тебя же сам заведующий кафедрой всем в пример ставил! Старик — либерал и идеалист, — он на тебя просто молился! Ценил твой слог. Кому он нужен теперь, да? У тебя над кроватью тогда висел портрет Василия Пескова, и ты говорил, что добьёшься своего, обязательно проедешь по стране и станешь автором лучших очерков о природе и людях. Ты видел себя мастером, представлял на вершине и мечтал, конечно, не о том, что имеешь теперь. Если бы тебе, тогдашнему студенту, открыть правду и показать тебя нынешнего, ты бы плюнул и не поверил, да. Журналисты сейчас — самые лишние люди. Это уже не творческая профессия, в ней может преуспеть разве что амбициозный халтурщик. А ты не смог стать таким.

— Молодец эта Ольга Фадеевна, краевед, — наконец произнёс он. — А Юлька — дура. Ненавижу её. Псевдоредактор. Сама бы в жизни хоть что-то написала. Администратор от журналистики, смех один.

Рабочий день, как всегда, очень медленно подходил к концу. Я спускался вниз, на ходу позвякивая ключами и думая, что скоро окажусь на даче. В этот момент завибрировал телефон, и, достав его, я увидел знакомый номер.

— Здравствуйте! Сергей?

— Да, слушаю.

— Меня зовут Таня Лукьянова, я звоню по просьбе Ольги Фадеевны, она просила передать рукопись.

“Как быстро!” — подумал я. Да, Витя прав, краеведы — настоящие фанаты, если бы их нанимали на работу и платили за краеведческий труд, все бы они получали премии за усердие. Среди них, конечно, есть люди одержимые и не всегда адекватные, даже откровенно сумасшедшие, но не бывает унылых и пассивных.

— Где мы можем встретиться?

— Я сейчас в центре, в районе “Утюжка”. Но иду в сторону Петровского сквера. Давайте встретимся у “Петровского пассажа”, хорошо?

Я обещал Татьяне, что буду через двадцать минут, но негде было припарковаться, и я проехал до улицы Коммунаров. В последнее время, даже если я опаздывал на важное мероприятие, то никогда не переживал по этому поводу и тем более не бежал. Пусть бегают мальчишки-корреспонденты и особенно — девочки, раз их развелось так много. Но сейчас, хотя и повод особенным не назовёшь, да и смысла нет, но я почему-то шагал всё быстрее и быстрее, а затем вовсе бросился со всех ног, огибая прохожих.

У входа в “Петровский пассаж” стояла девушка. Она улыбнулась:

— За вами гнались?

— Нет, это я так к вам спешил, — честно ответил я.

На мгновение наши глаза встретились. У Татьяны они были чёрные, глубокие, и трудно было понять, то ли смеются они, то ли плачут. И странная мысль поразила меня — неужели я вот так загляну в них только сейчас, на миг, и всё? Девушка передаст мне папку, мы поблагодарим друг друга, и разойдёмся...

Я каким-то особым, наверное, звериным чутьём почувствовал, принял и распознал всю её, словно знал Татьяну всю жизнь, искал и стремился к ней. У неё был какой-то особый, родной запах. Нет, не духов вовсе, а какая-то иная, далёкая и близкая одновременно нота, которая слегка тронула что-то во мне, и душа зазвенела, словно сотня маленьких колокольчиков.

Кто она? Татьяна младше меня лет на семь-восемь, а может быть, и больше, хотя этот взгляд... такой умный, осознанный, взрослый. У девушек слегка за двадцать обычно не такие глаза. Да и что со мной случилось вдруг, не пойму.

Я долго молчал. Она протянула папку, и мы сжали пальцы, каждый со своего уголка, и смотрели друг на друга. Татьяна улыбнулась и сказала:

— Понедельник — трудный день, вы, наверное, устали сегодня?

— Почему же, нет. Хотя вы правы.

— Я так подумала, потому что у вас очень усталый взгляд, немного грустный. И ещё вы не расслышали мой вопрос про Ольгу Фадеевну...

— А вы спросили?

— Конечно.

— Ах да, Ольга Фадеевна, — и я глупо повторял эту фразу, — вы знаете, Татьяна...

— Таня, лучше просто Таня.

Что же сказать? Чёрт меня возьми, что же? Я был не готов к этой встрече, терялся, а на языке вращались, как весёлые мысли-кружочки, какие-то лишние, неуместные слова.

— Я обязательно сохранию рукопись, изучу всё и верну быстро. С ней ничего не случится.

— Не сомневаюсь, — она продолжала улыбаться, и мне казалось, как-то участливо, тепло, очень тепло... И добавила:

— Мне пора, сейчас уже начинается встреча с Николаем Белкиным здесь, в книжном магазине. Он писатель и краевед, вы наверняка о нём слышали?

Я кивнул. С Николаем Сергеевичем мы были не просто знакомы, а подготовили не одну статью для журналов, газет и сайтов. Я работал во многих его проектах и считал своим старшим другом.

— Он скоро отправляется из Воронежа на Север и хочет проехать на машине до Магадана. Сегодня расскажет об этой экспедиции, — говорила она. — Страшно интересно, вы простите, но я так боюсь опоздать.

Мои мысли прояснились:

— Таня, так ведь и я тоже приехал сюда послушать, здорово, что у нас так всё совпало, — если душа способна дышать, подумал я, то сейчас она у меня выдохнула с радостью и облегчением.

— Ну что же, пойдёмте! — сказала она, и мне было радостно проходить с нею через стеклянные двери, видеть её плечи, волосы, слышать — да, теперь именно слышать — её запахи. Я шёл за ней и был рад этому. Как-то странно и неожиданно для себя я ощущал, что жизнь моя, моё время движется, будто дорога, которая вьётся змеей, порой делая резкие повороты. Вот и сейчас она словно сменила направление. Ведь я мог бы просто попрощаться и уехать на дачу. Ничего особенного. Несколько минут назад я вовсе и не знал Таню, её в моей жизни не было. Не было тридцати с хвостиком лет, которые я прожил. И вот секунды, секунды, да, какие-то секунды! А я уже верю, будто что-то пошло иначе. Она казалась мне маленькой, аккуратной, похожей на куклу, но в самом хорошем смысле — обычно я называю куклами пустых девушек. А Таня была иной.

Я хорошо знал книжный клуб в “Петровском пассаже” — там создали уютную обстановку, и собирались люди особого склада и интересов. Здесь постоянно проходили каких-то встречи, часто именно здесь презентовали книги крупные российские писатели.

Встреча ещё не началась. Вокруг Николая Белкина собралась группа, и он им что-то рассказывал. Мы поздоровались, и путешественник отвлёкся, спросил меня о чём-то, я отвечал. Боялся, что потеряю Таню, что она растает здесь, среди стеллажей и полок, станет невидимой и уйдёт, словно и не бывала. Превратится в образ, пейзаж на стене, и будет так же улыбаться мне, но уже из далёкого мира, словно я лишь придумал её.

Но Таня, конечно, была здесь, она села в уголке и листала какой-то журнал. Я решил устроиться с противоположной стороны, так, чтобы не показаться ей назойливым, но и во время встречи видеть её. Вернее, смотреть всё это время только на неё.

— Во время отпуска большинство стремится к морю. А вот я решил отправиться на Север, — рассказывал герой вечера. Таня что-то записывала, положив ногу на ногу. — За тринадцать лет я побывал в Воркуте, Норильске,

Нарьян-Маре, Владивостоке и других городах Севера и Сибири, а в первую экспедицию отправился с группой единомышленников в тридцать лет.

— Путешествовать по России дорого, в Европу было бы съездить дешевле, — бросил реплику кто-то.

— Конечно, это так, — ответил Николай Белкин. — Я бывал и в Европе, и в Латинской Америке. Но вот тянет меня лучше узнать не далёкие берега, а родную страну. В России отдых интеллектуальный, потому что в процессе познаёшь свою Родину. Часть маршрута по Северу и Сибири можно преодолеть на машине, автобусе, самолёте, а где-то приходится лететь на вертолёте или плыть на катере, пробираться на вездеходах и снегоходах. Территории на Русском Севере огромные, хорошие дороги между населёнными пунктами — редкость. Поэтому мы поедem на грузовиках.

Таня, слушая рассказчика, несколько раз взглянула на меня и быстро отвела глаза. Я, видимо, обжигал её своим интересом, и она это чувствовала. Тогда и я невольно отводил взор, смотрел на длинный ряд каких-то толстых энциклопедий.

После встречи ко мне подошёл Николай Белкин, мы договорились, что после экспедиции я первым возьму у него интервью. Не знаю — почему, но я сам затянул этот разговор и понял, что упустил Таню. Люди расходились, и её в книжном клубе уже не было. Попрошавшись с путешественником, я суетливо побежал.

Было уже около девяти, вечер падал на город мягким июльским покрывалом, пары прогуливались, кто-то фотографировался у памятника Петру Первому. Тани нигде не было. Я бросился к остановке, хотя и не мог знать, в какую сторону она пошла. Вот же дурачина, ругал я себя, так глупо, без всяких причин упустил её. Конечно же, не навсегда — сегодня найти человека, если ты этого по-настоящему хочешь, нетрудно, это можно сделать даже с помощью компьютера. Только, потеряв её на этот вечер, отчего-то был уверен я, уже ничего не удастся исправить. И я бежал, не думая, правильное ли у меня направление, кто-то вёл меня тайным и твёрдым голосом.

И она... действительно была на остановке и уже хотела запрыгнуть в автобус, но на мгновение замерла, обернувшись ко мне. Посмотрела на меня и спросила:

— Сергей, простите... А где папка? Вы её не потеряли?

Я ударил себя по лбу: ведь сам же обещал, что внимательно отнесусь к рукописи Ольги Фадеевны...

— Чёрт возьми, то есть, простите, нет, конечно. Я сейчас, не уезжайте! Я мигом! — крикнул я и опять побежал в магазин. Щёки мои покраснелись так, что хотелось хотя бы на миг остановиться и умыть лицо в фонтане. Даже в двадцать лет, наверное, я не выглядел так глупо, как сейчас.

Работники книжного магазина уже собирались уходить, но ради меня открыли дверь.

“Как мальчишка”, — думал я, когда бежал обратно с папкой. И казалось, что не было всех этих лет, и я вновь тот же, каким был в день ухода от родителей, когда впервые влюбился и был уверен, что встретил свою судьбу и стоит начинать новую жизнь. Словно круг времени совершил оборот и вернулся к прежней точке, и теперь пойдёт заново, захватив меня с собой. И пробежит иначе, на этот раз — правильно.

Таня не уехала. Она стояла одна на остановке.

— Вы хотели мне что-то сказать? — спросила она и посмотрела на меня, взъерошенного, задыхающегося от непривычности бега так спокойно и по-доброму, что прыгающее в груди сердце стало замирать, а пульсирующая кровь в висках успокаиваться, как горная река, постепенно спускающаяся на равнину.

— Может быть, мы прогуляемся, хороший вечер, — сказал я.

— С удовольствием бы, но мне нужно попасть домой как можно быстрее, — ответила она. — Я снимаю комнату, а хозяйка ложится спать рано и не любит, если я задерживаюсь.

— А вы не из Воронежа?

— Нет, я приехала из посёлка Добринка, может, слышали, это рядом, в Липецкой области.

— Слышал, но не бывал.

— У меня там живут мама и две сестры. Мама настояла, чтобы я окончила техникум и стала швейей, как она, но потом я поняла, что это — не моё. И этим летом я решила поступить в ВГУ, у меня очень скоро начинаются экзамены.

— Таня, тогда что же мы стоим? Раз у вас такая злая хозяйка, — я рассмеялся, но ей моя шутка не понравилась. — В общем, давайте я вас подвезу, я на машине.

— Не надо, не надо! Мне надо на левый берег.

— И мне туда же, — соврал я.

— В район “Машмет”?

— Конечно!

Пока мы шли до машины, Таня рассказала, что хотела бы стать историком или культурологом, но всё-таки будет пытаться поступить на маркетинг. Я удивился.

— История, особенно история искусства — это то, что мне по-настоящему интересно, — ответила она. — Я поэтому и пошла на экскурсии “Воронеж пешком” — чтобы познакомиться с интересными, творческими людьми, и мы быстро сдружились с Ольгой Фадеевой, она мне очень помогает, — Таня помолчала. — Но мне, как говорится, не шестнадцать лет, и я понимаю, что в современном мире с гуманитарным дипломом далеко не уедешь, так что культуру с историей придётся оставить просто как развлечение.

— А маркетинг? Неужели вам и правда интересны реклама, продвижение товаров и тому подобное? Я боюсь, что это — полная противоположность культуре, двигатель вещиизма и потребительства.

— Возможно. Но маркетологи сегодня востребованы.

Я помог Тане сесть в машину, а сам думал о совершенно кривом и ничтожном устройстве нашего общества. Для того нам и нужны различные институты власти, управления и министерства, где люди получают зарплаты мешками, чтобы отрегулировать общественные отношения и сделать так, чтобы каждый смог найти себе применение, согласно своим интересам и навыкам. Похоже, что страной по-прежнему, как и в начале необузданных девяностых, управлял злой, не контролируемый никем рынок. Безликий и беспощадный.

По проспекту Революции ехали молча, почему-то не решаясь продолжить разговор. И лишь когда выехали на Вогрэсовский мост и увидели искрящуюся на закате воду, я спросил:

— Таня, интересно, а у вас есть главное увлечение в жизни, настоящее?

Я невольно отвлёкся от дороги, глядя на неё. Видимо, вопрос я задал особенный, и она решала, стоит ли говорить об этом со мной.

— Я очень люблю... — Таня снова замолчала, а потом подняла веки, и её черные глаза блеснули, как две пуговки. Мне показалось, что в ней проснулся ребёнок, который готов открыться, сказать что-то, но боится, что его обидят. — Я люблю куклы, особенно старинные. Я ищу их так же, как некоторые коллекционеры заняты поиском икон. Когда ещё училась в техникуме, мне случайно попала старая кукла, девятнадцатого века, и я сама её отреставрировала, сшила для неё одежду. Ольга Фадеевна меня в этом поддерживает, иногда подсказывая, к кому в Воронеже и в области можно обратиться, кто также интересуется куклами. Ольга Фадеевна — увлечённый человек, который всегда готов помочь. Вот и вам, Сергей...

— О, нет! — перебил я. — Раз вы сказали мне, что вы — просто Таня, тогда и меня не называйте полным именем. Я это тоже не люблю. Есть имена, которые и полные звучат непринуждённо, но при обращении “Сергей” я чувствую какую-то... официальность, что ли.

— Вот и я так же реагирую на имя Татьяна.

— Вот и здорово. Так что я Серёжа.

— Но к Серёже так не идёт обращение на “вы”, уж очень мило и близко оно звучит, как-то по-есенински.

— Тогда перейдём на “ты”. Антикварные куклы — это, наверное, и правда интересно, я бы, по крайней мере, хотел бы на них посмотреть.

Даже в музеях они встречаются не так часто. Ну, а если надо в чём-то помочь, я готов.

— Спасибо, — ответила она и посмотрела в окно.

— Таня, так где твой дом?

— Рядом с парком на Ростовской улице, я покажу.

Мы свернули во двор — весьма мрачный, окружённый серыми, совершенно одинаковыми пятиэтажками. Недаром всё-таки этот район считают неблагополучным, подумал я. Большинство воронежцев отличаются тем, что посещают одни и те же места, связанные с работой или иными обязанностями и нуждами, при этом никогда не бывая в других частях города. Вообще никогда. Я бы и сам не поехал бы на “Машмет” и не согласился бы здесь жить. И хотя экологическая и криминальная обстановка со времён девяностых годов здесь немного поменялись, в целом и сейчас тут было как-то серо и неуютно, особенно с наступлением сумерек. Даже летом, не говоря уже о мрачных однотонных днях поздней осени и холодной зимы. Задавать Тане глупый вопрос, нравится ли ей место, где она снимает комнату, я не стал.

Я проводил Таню до двери и дождался, когда заскрипел замок и в узкой щели появилось худощавое старушечье лицо. Женщина, похоже, вовсе не заметила меня или не хотела замечать, а только что-то бурчала под нос. Таня протянула руку, я пожал и ещё раз на прощание заглянул в её глаза:

— Всё-таки не стоило меня провожать, — тихо сказала она. — Серёжа, вы, то есть ты совсем не умеешь врать. Это сразу видно. Тебе совсем не нужно было в этот район. Ведь правда?

Я был рад её прямолинейности, улыбке, каждому слову, было в её речи что-то теплое, хорошее. Особенно в этом её обращении на “ты”, которого я добился, — в нём уже звучала близость.

— Надеюсь, мы ещё увидимся, Таня?

— Конечно, почему бы и нет. Приходите на наши экскурсии!

Приехав следующим вечером на дачу, до трёх часов ночи, включив свет на двух этажах и вооружившись мощным рыбацким фонарём, который когда-то подарил мне дядя Гена, я искал красную тетрадь с продолжением истории. Искал с остервенением, как, быть может, пьяница разыскивает спрятанную бутылку. В ту ночь я был так же неадекватен, как любой зависимый. Мне нужно было во что бы то ни стало именно сейчас узнать продолжение истории, погрузиться в неё, читать и читать, пока не придёт рассвет.

Но красной тетради нигде не было. Пот выступил на лбу, и мне стоило бы остановиться, задуматься и понять, что этой тетради в домике просто нет. Да и вообще, кто знает, Звягинцев обещал начать новые записи, но на деле его закружили стариковские дела, вот эти все бесконечные рецепты, звёзды и блюда из капусты, и он так и не начал писать новую тетрадь. Или не успел завершить, а может, и написал, а потом сжёг. Впрочем, если сжигать, так обе тетради, одна-то уцелела и теперь лежала рядом с торшером.

Я нервничал, понимая, что продолжения этой истории мне просто не узнать. Его нет. Как, скорее всего, нет и никакого будущего между мной и Таней. Всё устроено так, как устроено. Не мы придумали, не нам менять. Это в книгах каждая история имеет начало и конец. В книгах случаются странные совпадения, люди влюбляются внезапно, дрожат от страсти друг к другу. А в жизни мы сидим в темноте, одни в ожидании рассвета и нового дня. И верим, что этот день будет лучшим и что-то обязательно принесёт. Да, именно так. Мы воспринимаем новый день, как послушную собачку, нашу служку, обязанную принести нам счастье, как тапочки в зубах, и обижаемся, видя и понимая, что это вовсе не так.

Второй, этой самой красной тетради не было. Не было, и всё.

Я не смог уснуть, и хотя бы в этом нашёл утешение. Есть что-то особенное, чарующее в июльских ночах, особенно между тремя и пятью часами. Это — самое неповторимое время. Оно такое же хорошее, как и в начале лета, о чём писал Звягинцев. Но всё же середка лета иная. Другие запахи, природа. Я стоял и курил, глядя на дымку, что поднималась над Воронежским водохранилищем. И впервые ощутил, будто я не один. Показалось, где-то там, на самой середине воды, сидит одинокий старый человек в лодке.

Да, это он, дядя Гена... будто и не умирал. Каждое утро он в туманной дымке по-прежнему выплывает на рыбалку и сидит там, в тиши и холоде, ловит карасей и линей, и едва можно различить золотой блеск чешуи. Дядя Гена отправляется туда каждое утро с тех пор, как ушёл в вечность, и чтобы увидеть его, надо или не ложиться, или встать очень рано, настроив сердце и душу на особую волну. И я различил, как дядя Гена, забросив в лодку увесистый садок и убрав снасти, грёб навстречу мне. Работал вёслами крепко и уверенно, то исчезал, то появлялся опять...

Я докурил, загушив окурок о землю, и распрямился.

Что будет дальше, что имею теперь? Господи, спасибо за то, что есть. За то, что прошёл и увидел. Много глупостей совершил, да. Но, может, впереди будет дано пережить что-то настолько важное, что удастся забыть плохое и всё исправить.

Я покинул домик, который казался душным. Улыбался и шёл вдоль туманного берега водохранилища. В белесой дымке я видел тень рыбака в соломенной шляпе, он правил лодкой и пел старые, неведомые мне песни о вере, жизни и любви...

6

Лето, как и всегда это бывает, устремляло бег, уследить за которым было так трудно. Сначала оно летело вперёд и смеялось, но потом, будто достигнув вершины огромной радуги, стремглав понеслось вниз. Это было особенно заметно мне как человеку, который после покупки дачи хоть немного, но приблизился к природе.

В один из таких дней я наконец-то, отказавшись от других дел, поехал на экскурсию "Воронеж пешком", хотя и понимал, что в такую непогоду послушать о прошлом нашего города, скорее всего, соберутся немногие. Я удивился, увидев перед кукольным театром группу человек из двадцати — в основном, молодых людей, возможно, студентов. В стороне от них курил оператор телевидения. Я бегло заглядывал в лица стоящих под зонтами людей и, конечно же, искал среди них Таню. С момента той встречи мы пересекались несколько раз, но эти недолгие минуты нельзя было назвать общением. Собственно, понимание того, что я могу вообще потерять с ней контакты, мысль, что девушка забудет меня, и привели меня в этот день сюда, а вовсе не интерес к краеведению.

— Большую Дворянскую, которая сейчас называется проспект Революции, гости нашего города недаром сравнивают с Невским проспектом Петербурга, — Ольга Фадеевна общалась с журналистами. — Сегодня мы по-новому посмотрим на наш город. Он уникальный. Достаточно просто ходить по Воронежу, рассказывать о том, что видим, и будет интересно. У нас очень красивый город, просто мы в череде будней как-то не замечаем этого. Наши экскурсии иногда называют неформальными, и это абсолютно верно. Я считаю, что надо дать как можно меньше цифр и как можно больше впечатлений, самой истории, её тайн, неожиданностей.

Девушка-репортёр держала перед лицом Ольги Фадеевны мохнатый микрофон, который уже порядком набух от дождя и напоминал мокрого ёжика. Я подумал: и почему все тележурналистки так любят кивать в такт словам, будто китайские болванчики?

— С Большой Дворянской раскрывается дверь в прошлое, здесь есть немало порталов, благодаря которым можно окунуться на сто и более лет назад, — продолжала краевед. — Я думаю, что историю можно понять не столько через какие-либо масштабные события, а просто внимательно разглядывая бытовые мелочи, отдельные судьбы. К сожалению, многое исчезло из-за войны или погребено под новой застройкой, но мы стараемся оживить прошлое. Кстати!

Ольга Фадеевна улыбнулась, оглянувшись на группу молодых людей. Желających послушать об истории Воронежа прибавлялось, погода никого не пугала:

— На наших экскурсиях люди часто находят новых знакомых, единомышленников, а иногда даже вторые половинки. Многие потом начинают серьёзно увлекаться краеведением.

“Находят — молодцы, — подумал я. — Только Тани как не было, так и нет”.

Кто-то осторожно, едва заметно тронул меня, будто маленькая птичка села на плечо и тут же вспорхнула к дождливому небу. Я вздрогнул и обернулся. Таня улыбалась, её губы напоминали алый полумесяц, и я вновь столкнулся с её тёмными, похожими на бусинки глазами. Её волосы сильно намokли.

— Так спешила, боялась опоздать, что про зонтик не вспомнила, — зазвенел ручей её голоса. — Недаром мама меня всегда называет Танюшка-копущка.

Мне захотелось обнять её, но я удержался. Я не смог скрыть радости, что она здесь, и Таня это поняла, немного засмутившись моего взгляда. Мы смотрели друг на друга, и я не знал, что стоит сказать, и нужно ли вообще говорить.

Тележурналисты, как всегда, “отстрелялись” довольно быстро и, снимав любителей краеведения с разных ракурсов, уехали. Мы стояли плотной группой, словно на митинге, прижавшись плечами, и те, у кого не было зонта, жалась к тем, у кого был, причём большинство друг друга не знали. Что-то объединяло всех нас, и это не просто чувствовалось, а выглядело просто и естественно. Я снял куртку и укрыл Танины плечи, она отказывалась, говоря, что в одной рубашке я быстро простужусь, и мне ничего не оставалось, как отшучиваться и заверять, что на свете нет более закалённого человека, чем я. Мы двинулись в сторону памятника Никитину.

— Наш город сильно пострадал в годы войны, и, на мой взгляд, этому есть объяснение, — рассказывала Ольга Фадеевна. — В Москве не ожидали нападения Гитлера на Воронеж. Сталин полагал, что враг пойдёт или на столицу, или в южном направлении — к нефти. Поэтому город оказался просто не готов к вторжению. Именно здесь, где мы находимся, произошла трагедия. Территория рядом с гостиницей “Бристоль” после революции стала Садам пионеров — здесь появились фонтаны, лавочки. В июне после окончания школ лучших детей Воронежа собрали именно здесь. Планировалось награждение, пришло и много взрослых порадоваться за успехи своих чад. Я не знаю, каким словом можно назвать ответственных лиц того времени, организаторов, но именно в тот день немцы стали бомбить город. И сюда попали бомбы. Я не буду подробно об этом рассказывать, любой фильм-катастрофа по сравнению с тем, что здесь было, — просто нелепая выдумка. Теперь на этом месте каждый год в день трагедии собираются люди, и приходит одна старушка... у неё нет половины лица. Она вместе с сестрёнкой бежала сюда на праздник.

Затем Ольга Фадеевна рассказывала, как менялись границы Кольцовского сквера, о памятниках-“путешественниках” в центре города — оказывается, монументальный поэт Иван Никитин не всегда привычно “сидел” в своей сосредоточенной позе на одном месте, а не раз перемещался. Таня спряталась под зонтом экскурсовода, и, стараясь укрыть от капель большую папку, слегка дрожащими пальцами доставала из неё старые фото и репродукции. Девушка напоминала маленького воробушка, доброго, нахохленного и немного смешного. Видя, что дождь не утихает, Ольга Фадеевна предложила перейти в летнее кафе, а заодно и согреться горячим чаем. Она продолжила рассказ о самом сложном времени для Воронежа, о том, как немцы устраивали захоронения в городских садах, добавив, что после войны останки как врагов, так и советских людей откопали и вывезли на кладбища. Одну тему сменяла другая, и каждое новое слово звало в прошлое, заставляя задуматься, насколько правильно мы живём, сохраняем ли наследие.

Во время экскурсии я не отрывал глаз от Тани, боясь, что она уйдёт раньше, растворится, исчезнет среди людей. И потому, как только встреча завершилась, я предложил подвезти её до дома.

— Мне так неудобно просить вас, — сказала она.

— Таня, ты забыла, мы же перешли на “ты”, — сказал я и подумал, что нет ничего чище и прекрасней, чем общение с такой девушкой на “вы”. И всё же это “вы”, хотя и отдавало романтикой прошлых веков, совсем не помогало сближению. — Таня, я и правда боюсь, что ты заболеешь, поэтому никаких отговорок. Едем. К тому же мне...

— Очень надо в мой район, — засмеялась она. — Не говори глупостей, я же вижу, ты совсем не умеешь врать.

“Ах, если бы так”, — подумал я и улыбнулся.

Воронеж из-за дождя стоял в пробках, и я увидел в этом прекрасный повод полюбить их. Быть с девушкой, слушающая тихий шум дождя, смотреть, как плавно бегают из стороны в сторону “дворники”... сидеть почти плечом к плечу, видеть, как от её дыхания запотевают окна, и она что-то пишет на стекле или рисует, тут же стирая, чтобы не мог увидеть я... Да это же настоящее свидание, близкое, интимное, хотя сразу понять это и нельзя. Вот он — огромный шумный город, люди бегут, укрываясь кто чем может, жмутся друг к другу на автобусных остановках, создавая там небольшие, случайные, быстро исчезающие микромиры. Незнакомые люди не чувствуют стеснения, ругают погоду, спрашивают друг у друга, давно ли был автобус. Они там, в стихии городского дождя, тоже едины по-своему. А мы — в прогретом салоне, сидим, словно у камина, отстранённые от всего этого, и есть только я и она. На время, конечно. Наше единство так же быстротечно, как ручеёк, что стекает с журчанием по наклону улицы. Но этот скромный мирок двух людей тонок, уютен и тем дорог, что скоро будет потерян.

Я посмотрел на Таню и был рад, что в этот миг она отвернулась и не видела, а лишь чувствовала моё внимание. Черты её лица расплывчато отражались в стекле, и белые волосы напоминали воск. Хотелось протянуть руку, слегка тронув её подбородок, мягко позвать к себе и поцеловать. Никогда и ничего раньше мне не хотелось сильнее этого. Хотя, если бы я правда так поступил, то миг нашей близости и моего счастья продлился бы всего долю секунды. Но в это мгновение над вереницей серых мокрых машин взошла бы радуга, и наш автомобиль засиял бы в пробке, будто маленькая жемчужина среди холодных камней. Но я знал, что плата за этот шаг может быть, а вернее, обязательно станет слишком высокой. Она вскрикнет, затем откроет дверь, спасаясь от моей внезапной и потому пугающей нежности, и выбежит туда, где ветер и дождь, оставив меня навсегда в этой тёплой пустоте салона, которая быстро утратит память о ней, упустит запах её духов. Даже если и я тоже выбегу за ней, оставив машину прямо посреди дороги, не обращая внимания на сигналы и крики, брошусь вслед, это ничего не изменит.

Потому я только молчал. Моя страсть тонула, шла на дно в океане нерешительности. Но я знал, что поступил правильно, погасив эту страсть, потому что именно здесь, именно с этой девушкой я не мог себе позволить такой риск. Что будет, если она не поймёт, отвернется от меня, навсегда закрыв путь к душе?.. Тогда и весь мой мирок, который я выстраивал годами, все мои рыбалки, дача, мысли о творчестве померкнут, превратятся в гору хлама, который будет меня лишь тяготить. Я не мог объяснить, почему случилось так, но именно эта беленькая Таня, которая была младше меня, сумела, совершенно ничего не делая, стать главной для меня в этом мире. Даже и не подозревая того, Таня вошла в ядро моего сердца, и если она уйдёт, рухнет всё. Я удивился тому, что это так, и принял навсегда как истину.

Да, вот же чёрт, усмехнулся я. Хочешь поцеловать девушку, а даже и не знаешь ничего о ней. Нужно было о чём-то поговорить, мне просто хотелось услышать её голос. Она спросила:

— Серёжа, а не кажется ли тебе странным, что мы едем сейчас, хотя могли бы и совсем быть незнакомы...

— Я как раз думал об этом.

— Честно? — она посмотрела на меня, но пробка тронулась, и я вынужден был отвести глаза на дорогу.

Она помолчала:

— Год какой-то интересный у меня, столько событий, встреч, людей. А у тебя в этом году было ли что-то необычное?

Хотелось сказать: “Да, например, встретил тебя!” Но опять задушил порыв. Эх, какая-то сила учила меня не спешить.

— Хочу рассказать тебе интересную историю, — сказал я. — Весной я купил дачу и нашёл там любопытную тетрадь.

Я пересказал Тани воспоминания Звягинцева.

— А дальше, что же дальше? — кажется, я даже взволновал её.

— А ничего, Таня, совсем ничего.

Она удивилась:

— Как же так?

— Николай Звягинцев написал, что есть тетрадь с продолжением, и даже указал, что она красного цвета. Но я её так и не нашёл. Всё, абсолютно всё в домике перевернул с ног на уши, и на чердаке смотрел, даже под половицами — нигде нет.

— Так не бывает, — сказала она грустно. — Где же справедливость? Это же целая история.

“Бывает, Таня, очень даже бывает, — подумал я, не сказав это вслух. — Жизнь — это не сюжет кинофильма, где всё завершено, логично, и так красиво, что не веришь, хотя всё равно продолжаешь смотреть на экран. А на деле вся жизнь — это сплошной клубок незавершённости, недосказанности и, конечно же, несправедливости”.

Мы выбрались из плотного потока машин, впереди показался Вогрэсовский мост, и заторов впереди не было. Я подумал, как мало времени нам осталось быть вдвоём. Хотя ведь мы совсем и не общались, почти не знакомы, но меня тянет неведомая сила, которая вовсе не опирается на разум. Ведь не краеведческие походы и интерес к прошлому могут нас объединить. Я могу их разве что использовать для того, чтобы быть рядом с ней. И ничего больше не надо.

Мы быстро добрались до её дома. Из-за огромных луж Таня с трудом вышла, а точнее, выпрыгнула из машины, стараясь не замочить ног. Но она обернулась и вновь вернулась, словно что-то забыла.

— Серёжа, я хотела попросить, — её щеки покраснели. — Только мне так неудобно. Просто в Воронеже у меня совсем никого нет...

Помочь в чём-то — это самое лучшее и нужное, что она может только предложить. Будто сама судьба выводила нас на новую дорогу в отношениях.

— Да всё, что угодно, Таня, я всегда готов.

— Дело в том, — начала она и замолчала, потупив взор. — Я говорила, что люблю старинные куклы, они для меня... не просто увлечение, а значат гораздо больше.

— Я понимаю.

— Только не смейся, ладно?

— Где ты видишь, чтобы я смеялся?

Она улыбнулась:

— Купить антикварную куклу непросто, тем более мне. Ведь я даже ещё не студентка, нигде не работаю, да и снимать комнату мне помогают родители, пока я не поступлю и не переберусь в общежитие. Но я постоянно ищу, слежу за сайтами и объявлениями, и вот мне попала случайно одна замечательная дореволюционная кукла. Правда, она в плохом состоянии, но это ничего не значит. Я знаю, что смогу её восстановить сама.

— Я помогу тебе её купить.

— Нет-нет, дело не в этом, деньги у меня есть. Но Богучар, где она находится, так далеко отсюда. Я смотрела по карте, это самый край области, и поехать туда одной на автобусе мне не то что неудобно, а как-то даже... страшновато.

— И не надо на автобусе, что за глупости. У тебя же есть ответственный персональный водитель, пусть на простой, но исправной машине, — я улыбался.

— Брось шутить. Ты правда сможешь?

— Конечно!

— Ой, я так рада! — слова слетали с губ, как мягкие нежные перья. — Я оплачу бензин, если мы поедем.

— Не бери в голову. У меня много бензина.
— Нет, но всё же...
— Оставим тему горючего. Когда надо ехать?
— Да когда будет удобно.
— Можно подумать о субботе, туда и обратно всё-таки нужен день, и лучше бы выбрать ясный, без дождя.
— Конечно! Я уже посмотрела прогноз погоды — в выходные будет тепло и солнечно.

— Да, ты хорошо подготовилась.
— Ещё бы. Для меня эта кукла не просто важна. Я даже боюсь, что кто-то опередит меня и купит её.

— Не волнуйся, всё будет хорошо.
— Я уже звонила, хозяйка куклы обещала, что не продаст, но только при условии, что я приеду как можно скорее.

“Вряд ли в Воронежской области есть ажиотаж на старинные потрёпанные куклы”, — подумал, но не сказал я, боясь её обидеть.

— Таня, можешь во всём на меня рассчитывать, во всём.

— Спасибо! — она была так рада и, кажется, захотела меня обнять, но помешала неловкость ситуации.

— Беги домой и суши вещи, грей ноги! А то, не дай бог, заболешь, и твоя кукла будет по тебе плакать.

— Ни за что! — засмеялась Таня и слегка сжала мою руку на прощание. Я проводил её взглядом, пока она не скрылась в подъезде. Чудесная девушка! Может, подумалось, я и правда сделал в жизни что-то хорошее, раз судьба послала мне её.

Дождь стих, дороги в городе обдул тёплый ветер, так что от непогоды не осталось и следа. Я ехал, думая, чем заняться, и не сразу услышал телефон. Может, Таня забыла ещё что-то сказать?

Звонила мама.

— Слушай, ты на машине? Можешь сегодня съездить в гараж? — попросила она. — Там погреб надо почистить, достать и выбросить старую картошку.

Я удивился — подобными делами всегда занимался отец, и не хотел никого обременять. Гараж был его любимым местом, куда он никого не пускал.

— Ты знаешь, я вообще не хотела говорить по телефону, — голос мамы насторожил. Я ехал, продолжая говорить, но на этих словах припарковался у остановки. — Отец жалуется на головокружение и боли. И говорит, что они стали постоянными. Недавно он был в гараже и чуть с лестницы не упал в погреб, представляешь! Потому он его и не почистил. И сейчас хочет ехать снова, а я его отговариваю.

— Mam, не пускай его! Я прямо сейчас заеду за ключами.

Отец ушёл в магазин, мама была дома одна, сильно расстроенная.

— Нужно в больницу идти, провести обследование, с этим не шутят! — сказал я. Она кивала, но говорила, что он не хочет.

— Дело серьёзное, надо всё-таки настоять, — убеждал я.

— Вот вернётся, я с ним ещё раз, конечно, поговорю.

Я доехал до гаража. Очистка заняла около получаса, и, выбравшись на свет, я увидел, как сильно испачкал в картофельной гнили джинсы. У меня, как у порядочного холостяка, это были единственные штаны на все случаи жизни, так что вечером меня ждала ещё и стирка. Я закурил, облокотившись на верстак. Щёлкнув зажигалкой, на мгновение различил в дальнем углу картонную коробку, показавшуюся мне знакомой. Хотя мало ли бывает на свете коробок, бог с ней, пусть стоит, думал я. Мне вспомнился тот день, один из самых, наверное, лучших в уходящем лете, и как мы с отцом ловили рыбу. Со временем я, скорее всего, вообще забуду всё это лето, но какие-то крошечные, самые милые и дорогие сердцу детали обязательно возьму с собой.

Да, коробка... Я застыл... А не та ли эта, которая была с мусором, книгами... Точно, она. С томами по истории КПСС, про Брежнева и всё такое. Я же сам попросил тогда отца выбросить её. А он, старый куркуль, решил сохранить, видимо, для розжига.

А может быть?..

Я выбросил окурок, и, подняв коробку, вышел с ней из гаража. Бегло просмотрев, я не нашёл ничего, кроме книг с красными звездами и гротескными портретами вождей разных лет. Я выкладывал эти книги прямо на влажную траву, и маленькая искорка надежды таяла, чем ближе я приближался ко дну большой коробки. Нет, здесь не оказалось второй тетради Звягинцева. Да он, может, и вовсе не успел или не захотел за неё браться.

Нет, только потрёпанные идейные книги. Ничего больше. Я стал их складывать обратно, бросая как попало и думая, что отцу их хватит на растопку не одного мангала. Особенно вот этого тома. Хотя стоп! Эта книга хорошая — большая энциклопедия “Вторая мировая война. Итоги и уроки”. Её следует оставить.

Перевернув книгу боком, я увидел, что в середине между страниц зажато что-то. Открыв её, я обнаружил там красную тетрадь на восемьдесят листов! Поверить было трудно, но разбухший том об истории войны вот так, чудесно и необычно сохранил ещё одну интересную историю о том времени. Обложка, несмотря на прошедшие годы, не выцвела, сохраняя яркий алый цвет, словно костёр, который так долго горел в одиночестве и, наконец, увидел случайного, но такого долгожданного путника. Я невольно вскрикнул и поцеловал яркую обложку.

Но вдруг... это вовсе и не она? Что-то иное? Не может же быть такой удачи! Я отошёл к берёзам, увидев там широкий пенёк и открыл первую страницу.

Да, это было продолжение воспоминаний Звягинцева. И речь там шла о том, как он попал в Орловскую психиатрическую больницу. Он подробно описывал “коллег по несчастью”. Его попытки доказать, что он здоров, закончились тем, что ему назначили курс инсулиношоковой терапии, под воздействием которой он постепенно утрачивал волю.

7

Вечер опустился на землю, и гаражи в сумерках казались огромными мёртвыми коробками, в тишине их железного мира стало неуютно. Я пошёл закрывать гараж. Большой рыжий кот сидел у входа и смотрел наглыми и одновременно требовательными глазами. Покормить его мне было нечем, и он, сам быстро поняв это, убежал. Когда закрывал дверь, в кармане завибрировал телефон, и я подумал, что это мама хочет узнать, всё ли в порядке. Но на экране высветилось “Витя Малуха”. Я удивился: мы созванивались редко, даже не помню, когда в последний раз. Вспомнилось, как недавно курили, без слов понимая друг друга. Мы и потом виделись каждый день в редакции, только он стал таким молчаливым и замкнутым, что я его не замечал.

— Серёг, привет, — прохрипел он в трубку. — Это я, узнал? Как дела?

— Да всё в порядке. А у тебя?

— Старик, можешь выручить?

— Что такое?

— Да понимаешь, ситуация... Позарез нужны две тысячи рублей, а лучше три. Срочно, кровь из носу нужно достать. Я бы никогда не стал обращаться, мне неудобно, но понимаешь — надо. Я очень скоро отдам, с аванса.

Я не любил таких просьб. Если бы мы были друзьями, иное дело.

— Витя, извини, нет, никак не могу выручить. У самого знаешь, тоже, — я что-то ещё добавил о каких-то проблемах.

— Понял, пока, что ж теперь, — ответил он. — Я завтра не смогу быть в редакции, Юльке тогда передай.

— Ладно, передам, — сказал я, подумав, почему бы ему самому ей не позвонить.

Я уехал на дачу. Приготовив что-то поесть, замочил джинсы, намешав туда мыльной пены — порошка не было. Занять себя было нечем, но и читать тетрадь, которую так хотел найти, почему-то пока не хотелось. Раздетый, я прилёг на кровать, взяв тетрадку. В эту минуту я думал о Тане и нашем разговоре, о предстоящей в выходные поездке. Таня, кстати, говорила,

что будет несправедливо, если тетрадь не отыщется. Будто знала, а точнее, верила, считая её находку чем-то правильным, неизбежным и справедливым. Твоя правда победила, Танюша, умная хорошая девушка. Я нашёл страницу, на которой закончил чтение.

Я прочёл, как Николай Звягинцев, находясь в психиатрической клинике, узнаёт о начале войны с Германией и не придаёт этому большого значения. Он по-прежнему подавлен лекарствами...

8

Признаться честно, я ждал дня, когда нам предстояло ехать с Таней в Богучар. Я подумал, что она, при всей внешней скромности и милостивости, всё же бесстрашная девушка. Или, может, просто без опыта. Вряд ли бы её родители обрадовались, узнав, что дочь едет на самый край Воронежской области, почти за три сотни километров ради какой-то старой куклы, да ещё с человеком, которого едва знает. Мало ли что может прийти в мою голову по дороге?

Конечно, она мне доверяла, а это значило многое. Очень многое... для меня. Я слышал такую восточную поговорку, что двух людей разделяют десять шагов. И, чтобы им сблизиться, каждый должен сделать свои пять. И если ты их прошёл, а человек остался на месте, значит, не стоит терять времени. Это не твоя судьба. Так вот, не знаю, сколько шагов уже успел сделать я, но Таня, как представлялось, доверившись мне, первый сделала точно.

Я обещал заехать именно в восемь, но, оставив попытки уснуть, завёл машину намного раньше. Заправив у Северного моста полный бак, я плавно ехал на левый берег, открыв форточку, прохладный ветерок пел о чём-то. Воздух даже в городе в ранний час, когда солнце только поднимается, казался особенным, чистым.

Ждал у подъезда, и, наконец, появилась Таня — в джинсах и лёгкой кофточке без рукавов. До машины она шла всего пару шагов, но по белым плечикам уже бежали мурашки, она ёжилась:

— Вечно вы, молодёжь, модничаете, — сказал я Тане.

Садясь в салон, она рассмеялась:

— Днём жарко будет.

— А это что у тебя там такое? — я указал на туристическую сумку. — Чехол для куколки такой?

— Да брось ты! — ей не нравились, видимо, любые шутки о куклах. — Там бутерброды, чай в дорогу для нас с тобой. Ты же, наверное, ничего не взял.

— Нет.

— Вот видишь. Вечно на вас, мужчин, рассчитывать не приходится.

— Так ты и на меня бутербродов взяла?

— Ну, конечно!

— Значит, на меня рассчитала! — я дотронулся до её плеча, пока перекладывал сумку на заднее сидение. — Вот так и в будущем. Всегда, когда что делаешь, на мою долю тоже рассчитывай!

Утром в субботу машин не так много, как в будни, поэтому мы уже через полчаса выехали на трассу. Замелькали пригородные посёлки, заправки, киоски, позже — деревеньки и длинные полоски огородов с картофелем. Их сменяли берёзовые посадки, желтеющая пшеница, стоящие в рост, как солдаты, подсолнечник с кукурузой. Мы долго молчали. Таня, как мне показалось, даже задремала. Может, она тоже не могла уснуть, представляя нашу поездку, и думала, мечтала о чём-то таком... похожем и на мои мечты. Так пусть поспит, улыбнулся, подумав, я. Лишь бы мне самому не уйти в дрему на скорости.

Я крепче взялся за руль.

— Серёж, ты хорошо себя чувствуешь? — спросила Таня. Нет, она не спала, и, похоже, умела чувствовать, понимать мои мысли.

— Нет, всё отлично!

— Мне показалось просто, что ты не выспался.

— Я поспал. А вообще, когда мы с отцом ездим на рыбалку, то всегда рассказываем друг другу разные истории, чтобы не было дремы. Может быть, ты расскажешь, почему так любишь куклы?

— Тебе это интересно, или чтобы не уснуть?

— Нет, ты не так меня поняла.

— Да всё в порядке, — её смех прозвучал тихим ручейком. Я понял, что люблю слушать его больше, чем слова. — Куклы я собираю давно. Именно собираю, слово “коллекционирую” я очень не люблю. Оно, это слово, какое-то неживое, а куклы имеют душу, понимаешь? Их можно только собирать, как родственников на праздник. Я, когда возвращаюсь и смотрю на своих кукол у себя дома в Добринке, так и говорю: ну что ж, вся семья, наконец-то, в сборе. Искать куклы — это такая же страсть, как охота, рыбалка у мужчин, я так думаю. Но сравнивать вообще трудно, ведь мир кукол особенный. Даже такое понятие есть в учёных кругах — плангонология. Это и есть собирание кукол.

— Плангонология, — произнёс я по буквам, подумал, что звучит как наука о болезнях глотки, вызванная курением наркотиков. Но, конечно, своим первым впечатлением от слова не поделился.

— Ну же, продолжай, — сказал я, — мне правда интересно.

— Так вот, у меня с детства было много кукол, и для них всех я всегда была самой хорошей мамой, любила и заботилась обо всех с одинаковой преданностью. Шила для них одежду, шляпки, и у каждой куколочки был свой гардероб, — она снова засмеялась именно так, как мне особенно нравилось. — Я портила мамины отрезы ради этого, но она никогда не ругалась, хотя я даже тогда знала, как она ценила эти материалы в то непростое время. У каждой моей куклы есть имя, — она помолчала. — Но все они остались там, дома, в посёлке, и я по ним сильно скучаю. Будто там осталась вместе с ними какая-то очень большая и значимая часть меня, самая лучшая и светлая, наверное, часть... Вот и сегодня мне почему-то приснилась кукла Вера, только она была живой девочкой, она смотрела на меня как-то грустно, расчёсывала мне волосы и о чём-то пела. Это особая кукла семидесятых годов, её выпускали на московской фабрике “8 Марта”. Кукла Вера будто хотела мне что-то сказать.

— Наверное, чтобы ты была внимательнее в поездке, — засмеялся я.

— Может быть.

— Давай-ка ещё расскажи что-нибудь.

— Про куклы?

— Можно и про них.

— Ну, чтобы ещё такое рассказать... Знаешь, иногда думаю, что со временем я напишу книгу о куклах. И в ней расскажу всё, что знаю и что чувствую. Ведь подумай, кукла — это, скорее всего, один из самых древних предметов, который появился у человека. Думаю, первобытные люди создали первых куколок тогда же, когда освоили палку и камень. И для них куклы были не игрушками, а предметами культовыми, магическими.

— Да, куклы вуду, например.

— И это тоже, хотя я не люблю о них говорить. Ещё я терпеть не могу фильмы ужасов, где показывают страшных кукол, которые представлены в крови, в злости, как убийцы.

— Сейчас вспомню фильм моего детства... кукла Чаки, вот. Знатный такой садюга с ножичком. Целая серия ужастиков.

— Серёж, правда, давай не будем об этом, я очень не люблю!

— Конечно, извини, это я так. Продолжай.

— Это всё чушь, бездарная и вредная. Я видела много-много кукол, посещала выставки и поняла, что у каждой из них своя особая, весёлая или грустная история, судьба. Но у всех у них, вне зависимости от прошлого и пройденных испытаний, добрые души. Куклы — самые открытые существа на свете. Но и у них есть характер, порой твёрдый, своенравный. Я заметила, что не каждая кукла хочет быть купленной. Мне об этом рассказывали собиратели кукол, да я и сама замечала, что порой по самым нелепым причинам мне не удавалось купить куклу. Или я застревала, или автобус ломался, или ещё что-то.

— А вот об этом даже говорить не стоит, я тоже суеверный. Мало ли, может, эта твоя кукла в Богучаре покупаться не хочет и теперь насылает на нашу машину чары.

И вдруг, сразу после моих слов, автомобиль стало поддёргивать. Обычно такое бывает, если залить плохой бензин, но я вроде бы заправлялся в проверенном месте, где и всегда.

— Попроси мысленно свою куклу, чтобы она проявила милость, — сказал я. Машина вроде бы пошла ровно. — Кстати, а что это за кукла?

— На сайте объявлений снимок не очень хорошего качества, но видно, что она старая, точно дореволюционная. Мне кажется, что хозяйка её не понимает, какая настоящая цена этой куклы. Намного выше указанной. Наверное, с этой куклой играло не одно поколение детей, но потом она попала на чердак, и о ней надолго забыли. Я так чувствую. Она заброшена, но раньше её любили.

— Тебе надо пробовать себя в литературе, Таня. Ты, имея неизвестный предмет, умеешь придумать для него красивую историю, легенду. Нет, я не смеюсь, это на самом деле здорово.

— Спасибо. Может, ты прав. Я и правда с самого детства оживляю кукол в воображении, они наполняют мой внутренний мир, привнося то, чего мне так не хватает.

“Любви, чёрт возьми”, — почему-то захотел сказать, но не сказал я.

— Куклы легко могут сгладить чувство одиночества, помочь заполнить мир вокруг смыслами в минуту, когда кажется, что он пустой и ничтожный.

— У тебя часто бывает ощущение... одиночества? — спросил я.

— Серёж, лучше не спрашивай! У тебя разве нет?

Я кивнул.

— Вот видишь. Каждый человек по-своему одинок, поэтому ищет способы, как преодолеть трудности, тревоги. Мне в этом помогают мои куклы.

— Я тебя понял, честно, — ответил я. — Но если так, почему ты сказала, что из родного дома в посёлке ты не взяла в Воронеж ни одной куклы? Ведь они тебе так дороги и так помогают.

Кажется, мой вопрос озадачил её. Ответа долго не было:

— Наверно, потому... Знаешь, — она повторяла эти слова несколько раз. — Решение уехать я приняла далеко не сразу и не просто, и родные меня в этом совсем не поддерживали. И этот шаг стал для меня важным. Моё прошлое осталось там. Чтобы оно не звало меня назад, не рвало бессмысленно душу, я и не стала брать из дома ничего, что люблю. Особенно кукол. Мне легче приехать домой на денёк, ведь Добринка не так и далеко от Воронежа, повидаться, а потом с лёгкой душой уехать назад, к новой жизни, к проблемам, задачам, надеждам, наконец. Я ведь и уехала ради этой самой надежды. Потому что у нас в посёлке её просто нет. Я получила профобразование, и всё, на что могла рассчитывать — проработать простой швейей всю жизнь.

— Понимаю, — ответил я. — Ты решила покорить столицу Черноземья, а заодно собрать новую коллекцию кукол.

— Коллекция — плохое слово, — снова напомнила она. Я заметил, что за разговорами быстро прошло время, поднялось солнце, и мы миновали развилку с поворотом на город Бобров. — Но есть и ещё одна причина. Воронеж — город большой, здесь столько творческих, увлечённых людей. И я подумала, что можно находить антикварные куклы в плохом состоянии, реставрировать, а затем продавать.

— О, коммерция, коммерция! Наконец-то я услышал о коммерции, а не о душе, и так рад этому! — я ликовал, видя, как краснеют щёки и даже уши Тани, она меняется в лице. — Я говорил тебе, что можешь во всём на меня рассчитывать, так что я в деле. Твой надёжный компаньон. Колесим по региону, а лучше по всему Черноземью, ищем куклы, шьём и вяжем, деньги делим. Я буду водителем. Нет, не звучит. Менеджером по логистике, вот!

— Ну вот, смеёшься, — сказала она. — А мне не смешно. Мама мне не может материально помогать, я же говорила, сейчас за съём комнаты она платит, пока не поступлю. Я просто думаю, как заработать. Но это не значит совсем, что куколку, за которой мы едем, я хочу перепродать. Ты неправильно меня понял.

— Нет, я всё понял. У меня вот друг есть, картины рисует. Вот он долго сопротивлялся, в облаках витал, что его творчество не для продажи, что реальность настоящая — в его воображении, а что мы видим вокруг — лишь продолжение. Что-то такое любил повторять заумное. Так он с возрастом поумнел, стал другим, картины успешно продаёт.

— А творчество?

— В смысле?

— От того, что он смирился с миром и принял его законы, стал другим, он потерял связь с настоящим творчеством? С теми образами, которые были у него раньше на картинах?

— А, вовсе нет, глупости. Он и когда философствовал, рисовал плохо, и потом тоже. Сейчас его маэстро в основном покупают для дач и кухонь, что тоже неплохо.

— Печально как-то.

— Да это жизнь, Таня. И поверь, мой друг сегодня умиротворён и по-своему счастлив, — сказал я и вновь, как и прежде, почувствовал разницу в возрасте между нами. Она не мешала, но напоминала о себе, будто вонзилась где-то между нами тупой иглой.

Я сказал после паузы:

— Так что, Таня, поверь, если ты найдёшь куклу, восстановишь и продашь её с выгодой, от этого все будут только счастливы.

Она засмеялась:

— Так уж и все, да ещё и счастливы.

— Ну, если ты мне найдёшь хоть одного опечаленного этим фактом купли-продажи, клянусь покинуть наш с тобой кооператив и уйти в монастырь грехи замаливать.

Странно, но при этих словах из-за крутого взгорка, на который мы так долго взбирались, показались по правую руку вдалеке за речкой кресты какого-то монастыря или храма. Я решил свернуть:

— Делаем пит-стоп, пора попробовать твои бутерброды с чаем.

Уже через пять минут мы сидели на большой лужайке, поджав ноги. Незамысловатые бутерброды с колбасой и листьями салата здесь, на свежем воздухе, казались особенно вкусными, ароматным был и чай с лимоном. Мы сидели с Таней, почти прижимаясь плечами, и, вытянув ноги, молча смотрели, как солнце играет в куполах храма. Я аккуратно сорвал веточку зверобоя — цветки уже почти отцвели, превратившись в плотные коробочки, но часть тёмно-оранжевых лепестков ещё держалась. Я поднёс веточку к носу Тани, сказал, что её волосы чем-то схожи по тонам красок с лепестком зверобоя в августе.

— Неправда, мои волосы совсем другие. Ты дальтоник, что ли?

— Нет, просто мне виднее, чем тебе, — ответил я. — Согласись, ведь мне проще рассмотреть твои волосы, чем тебе самой, потому что я могу взглянуть под разными углами, в том числе увидеть, как в них переливается солнце.

“Или отражается луна, если повезёт увидеть”, — сама по себе вкралась мысль.

— Ну что ж, зверобой, пусть будет зверобой, — после паузы сказала она, слегка наклонив голову ко мне. Я не мог отвести глаз от её белых, как молоко, с разбросанными пятнышками родинок плеч, смотрел на короткие, но красивые ноги, обутые в лёгкие мокасины.

— Нам пора ехать, — сказала она.

Почти до самого Богучара мы молчали. Небольшой, словно разбросанный по долине городок, который вырос перед нами, издали показался совершенно белым, словно все дома выточены из чистейшего мела. Мы без труда нашли дом, я вышел первым и постучал в окно. Таня оставалась в машине, будто стеснялась идти и узнавать про куклу. Мне подумалось, что я сейчас сам быстро куплю за свои деньги, принесу долгожданную игрушку, и мы поедem обратно. Но когда захрустел замок, девушка открыла дверь и побежала по узкой, поросшей подорожником тропинке.

Из двери потянуло жильём — я не знаю, как лучше назвать этот запах, для себя я определил его как “старушечий”. Нет, это был не противный

и сжатый воздух, а какой-то другой, деревенский, такой всегда бывает в сельских домах пожилых одиноких женщин.

— А, сынок, дочка, проходите, проходите! — раздался голос из сенцов. Я прошёл первым и увидел прялку, бочку и другую рухлядь, которую не успел рассмотреть — мы быстро прошли в просторную светлую комнату. Первой в глаза бросилась небольшая белая печь, затем — накрытый ручной работы скатертью круглый стол, божница и зажжённая лампада в углу. Мы стояли в дверях на разноцветном домотканом половичке. Я лучше рассмотрел хозяйку — низенькая и плотная, в большом сером платке и белой кофточке она напоминала гриб-боровик. Удивился, посмотрев на Таню, ведь она говорила, что нашла объявление в интернете. Неужели одинокая бабушка такая продвинутая, или мы просто ошиблись адресом?

— Садитесь, садитесь, вы ведь с дороги, сейчас чай будем пить! — суетилась бабушка.

— Да нам бы куклу увидеть, и мы поедem, — сказал я, но старушка будто и не услышала.

— Меня баба Шура зовут, а вас как? — Мы назвали имена. — Вот и молодцы, садитесь.

За чаем баба Шура взялась рассказывать нам про свою жизнь, порой надолго замолкая, будто и не помнила, что у неё гости. Она вздохнула, переходя к самой печальной, как мне показалось, для неё странице — приходу в Богучар фашистов. При этом она часто меняла тему, и от войны переходила к голодному времени конца сороковых, работе в колхозе, говорила о гибели старшего сына и многом другом. Я стал догадываться, что мы попали вовсе не по адресу, что бабушка долго была одна и потому хочет выговориться, и я аккуратно трогал Таню, пытаюсь подать знак, что нам надо искать способ попрощаться и уйти.

Бабушка говорила тихо, её влажные глаза казались прозрачными. Она сгорбилась напротив нас, оперев на морщинистую руку круглую голову:

— Что до войны было, так точно и не упомяну. Я с тридцать пятого году. Родилась тут, отец плотником был, в первые дни на фронт ушёл, так и пропал, ни одной весточки не получили, где он и как запропал, до сих пор не знаю. И много таких у нас в Богучаре было, ой, много. Они же все сплошь мужики, работать умели, пахать, сеять, точить-чинить — что угодно, только не воевать. Немцы-то к нам пришли, они все сплошь пристреленные, наученные, там-то, у себя, навоевались. Да и у нас, пока до Воронежа шли, ещё больше заматерели убивать да грабить.

Она помолчала. Тикали ходики, кот спрыгнул с подоконника и юркнул под стол, тёрся о мои ноги пушистым хвостом.

— Страшное было время, ох страшное, — продолжала она. — Помню, до прихода немцев у нас в Богучаре солдаты стояли, и самолёты были, орудия какие-то тоже. Мама моя строила со всеми оборону, меня с собой брала на окопы. У неё большая лопата, а у меня махонькая детская, отец мне до войны сделал снег огребать. Хоть небольшая от меня, а всё равно польза, наберу в ведёрко земли, мать поднимет, ссыпет. С ребятами железо по дворам собирали, всё перерыли, чтобы сдать на танки. Потом-то шесть танков за наш труд построить смогли, вот ведь, значит, хватило как нашего железа. Они в колонне “Воронежский колхозник” были, наши танки эти.

Мне показалось, будто хлопнула калитка. Я прислушался — кто-то ходил по двору.

— Немцы, помню, пришли в июле. Сначала нас бомбили, в мост им нужно было попасть и в нефтебазу. Помню, как мама выбежала с криком из дома, а я за ней тоже рыдала в голос. А нам говорят, мол, собирайте как можно быстрее, что есть ценного, и бегом! Мать пакует, плачет, соль последней всю на пол просыпала, стала совочком сгребать. А я что могу сделать, мне всего седьмой годок тогда шёл, я, как умела, помогла, а с собой взяла самое ценное и дорогое — куколку мою. Её, куклу эту, я Галей звала. Она старая уже тогда была, сделана ещё при царе. С ней ещё бабушка моя, по рассказам, играла. Вот Галя и стала моей ценностью, мама кое-как нахватала чего-то в сидорок, а я куклу взяла, с тем и ушли.

Я посмотрел на Таню — она достала платок и тихонько утирала слёзы. — Так и шли мы все, много нас было, баб да детей, в той толпе. Пушки гудели, шум, взрывы вдали, земля аж тряслась. Я только потом узнала, что это наши солдаты насмерть с врагом дрались в неравном бою и легли все, чтобы мы успели уйти, переправиться на другой берег Дона. Вся рота погибла, до единого ради нас.

Баба Шура перекрестилась. Мне показалось, что в окне промелькнула фигура. С улицы послышалось, будто к дому подъехал грузовик. Двигатель заглохли, но слышались голоса. Старушка же ничего не замечала. Она будто была далеко:

— Переплыли мы Дон, а там дальше ещё тяжелее, ещё горше, слёзы одни. Шли мы долго, продукты скоро вышли, и всю войну только и помню, как сильно хотелось кушать. А когда Богучар наши освободили, вернулись мы и не нашли родного дома. Порухил всё немец. Так и жили в бараке. Мать я почти и не видела, уходила она засветло, а возвращалась, когда мне уж спать пора было. Да я как-то быстро повзрослела, всё сама училась делать. Помню, соберу ей ужинать, и жду, жду, когда придёт. Так и засыпала за столом, а просыпалась почему-то уже на сундуке — кровати не было, я на старом сундуке спала. Она меня туда относила. Потом мама болела, руки у неё высохли, поднять уж ничего не могла. Быстро она на тот свет после войны преставилась, так я и осталась одна на белом свете...

Старушка забылась, словно уснула. Мы боялись что-то сказать. И тут она вздрогнула:

— Да что ж я, старая, всё болтаю и болтаю. Вы чай-то пейте, с жамочками вот, с печеницами, почто же я вас умаяла совсем? Не с кем мне поведоминать, вот я и... Я уж год поди из дома не показываюсь, да и ко мне редко кто заходит, разве что соседка да почтальонша.

Голоса раздавались уже в сенцах, там чем-то гремели, будто спешно хотели навести порядок. Что-то грохнуло, словно обвалилась полка с банками.

— Трудно мы жили, — вновь начала бабушка. — В школу я поздно пошла, с девяти лет только, а всё война. Семилетку окончила уже невестой. Хотя какая я невеста — сирота безродная. Работала счетоводом, из шинели скроила себе курточку, кофточка была из полотна — всё приданое на мне. За труд дали два метра жилья, я тому счастлива была. Вышла замуж, паренька бог послал совестливого, доброго. Васечка. Всю жизнь прожили, всё делили, и вот уж год, как схоронила его. Трёх деток подняли, один погиб....

Дверь скрипнула. Вбежала женщина, посмотрела на нас так, будто просчитывала в голове, кем мы можем быть. Улыбнулась, но взгляд показался тяжёлым, отталкивающим.

— А вот и Лидочка моя, доченька, приехала наконец! А это вот детишки, за куколкой приехали.

— Ах да, да, — сказала женщина, отыскивая что-то у печи. Потом она отдала куклу Тане, сказав шёпотом:

— Вы бабушку особенно не слушайте, она так может до самой ночи рассказывать и рассказывать.

— Ничего-ничего, — ответил я.

Таня положила куклу на колени, гладила её маленькую круглую головку, словно ласкала позабытого обиженного ребёнка. Платице на кукле было рваное, словно её нашли на помойке.

— А я вот в Воронеж теперь перебираюсь, буду у дочки жить, — продолжала баба Шура. — Дом уж продала, да и всё, что есть, тоже быстро распродаём. Я ведь хотела всё с собой взять, а Лидочка говорит, не надо, там, в городе, всё есть, да и хранить моё добро негде. И молодец, быстро всё продаёт. Говорят, в этих телефонах сейчас покупателей сразу находят.

— А как же вы, баба Шура, — впервые подала голос Таня, — с куклой такой расстаетесь? Она же, получается, единственная память, всю войну вы вместе прошли...

— Да брось, дочка, мне ли на старости лет с куклой возиться? — засмеялась она. — Да я про неё и позабыла вовсе, а Лида, хлам разбирая, нашла. Я ей говорю, мол, отдай какой-нибудь девочке тут, в Богучаре, много

их тут бегают и по нашей улице, а та отвечает, что кукла старинная и цену имеет. Ну, раз так, что ж. Да вот и вы приехали, значит, права дочка-то.

— Выходит, вам она не нужна? — вновь спросила Таня, будто искала твёрдое оправдание, почему она может стать новой хозяйкой куклы Гали.

— Да не смейся ты, дочка! Бери себе. А детки у вас родятся, — бабушка, видно, приняла нас за молодую пару. У меня внутри что-то дрогнуло, а Таня покраснела, потупив взор. — Вот и они тоже поиграют. Сколько поколений хороших людей эту куклу держали, пускай их тепло и дальше передаётся, — она помолчала. — А знаете что, детки мои...

Бабушка привстала и наклонилась к нам:

— Сейчас тут такой шум-гам начнётся, диваны и мебель понесут. Так что вы лучше поезжайте-ка, милые, побыстрее домой, да и путь вам неблизкий. И куколку мою, Гальку, берите. А денежек мне за неё не надоть.

Таня резко закачала головой, стала искать кошелек, быстро нашла пяти тысячную купюру.

— Убери, не обижай старуху, — сказала баба Шура и пошла к иконам. Долго крестилась, глядя то ли на образа, то ли на семейный портрет с мужем, на фото сына, которое висело рядом. Она то ли плакала, то ли что-то шептала или пела. Я видел лишь сторбленную спину да огонёк лампадки. Да, звук больше напоминал именно старинную духовную песню, где наверняка были самые заветные слова благодарности Богу за прожитые годы, воспоминания о земле, о людях, о бедах и радостях. И пела будто не бабушка, а её душа, которая прощалась с домом, смиренно принимая то, что умереть придётся далеко от родных мест.

Дочь ругалась с грузчиками во дворе и теперь вбежала в дом. Двое нетрезвых мужиков стали примеряться к дивану, матерясь вполголоса. Дочь подошла к матери, обняла за плечи:

— Ну, что ты, что ты плачешь? — шептала она. — Мама, мы же обо всём договорились, и ты сама согласилась, что так будет намного лучше! Не дай бог случись что, кто тебе тут поможет? Ты же одна? А у нас тебе хорошо будет. Ну, если заскучаешь, мы тебя в любой день в Богучар свозим, к папе и Владике на могилки.

Баба Шура будто её и не слышала. Тогда дочь подошла к нам:

— Ну что, ребята, всё хорошо, нравится кукла?

Таня кивнула.

— Значит, всё устраивает?

— Лидочка, они денежку мне уже отдали, — подала голос, не оборачиваясь, баба Шура.

— Ну, раз так, — дочь перешла на шёпот. — Извините, что пришлось задержаться, бабушку выслушать, вы понимаете. Спасибо вам, хорошей дороги! Извините вот, у нас переезд.

— Конечно-конечно, мы едем, — я взял за руку Таню и вывел из дома. На пороге Таня обернулась, её взволнованные глаза бегали, и, прижав к груди куклу, она опять полезла за кошельком. Видимо, хотела сказать, что возникло недоразумение и отдать деньги дочери, но моя решимость не дала сказать ей и слова. Лишь когда мы оказались в машине, Таня вдруг разревелась, шепча:

— Ну почему?

Я завёл двигатель, пытаюсь быть твёрдым и рассудительным, но заметил, что и у самого дрожат руки:

— Выходит я что, украла её, да? Украла!

— Так, не говори глупости! Баба Шура подарила тебе её, она добрый человек. И отдала тебе эту куклу с лёгким сердцем, а ты вот плачешь.

— Я плачу, потому что мне жалко бабу Шуру.

Нет, подумал я, и Таня сердцем всё точно понимает. Милая девушка. Мы долго молчали. Я ехал, не сводя глаз с дороги. И когда показались купола какой-то церкви, сказал:

— А знаешь, что мы с тобой можем сделать для бабы Шуры?

— Что? — она уже не плакала, но была задумчива.

— Молиться за неё. Просить для неё спокойных дней, здоровья. Она сделала для тебя добро, сделай и ты. Проси об этом силы, что выше нас.

Я не знаю, почему решил сказать так, но самому от этих слов стало как-то тихо на душе. Таня поглаживала куклу. Никого другого я не захочу видеть рядом, только её, подумалось мне. Ты безгрешна, чиста, как первый снег. Я давно разуверился, что в наше время встречаются такие очаровательные люди, как ты. Как же ты похожа на белокурого ангела с этой куклой! Сколько всего плохого ты можешь встретить впереди, того, что попытается коснуться тебя грязными лапами, испортить, забрать эту небесную искорку. Может, для того и дан тебе я, чтобы уберечь от этого? Да, я, конечно, не подарок. И ты дана мне, чтобы я очистился, изменился, стал лучше, забыл всё плохое и просто начал жить по-новому.

Когда мы проехали Павловск, машину дёрнуло. Ещё на выезде из Богучара я почувал неладное, но, находясь в своих мыслях, не обратил внимания. Я подумал, что двигатель давно “прочихался”, однако он взялся за старое. Так мы проехали ещё километров тридцать, и странное поведение автомобиля заметила уже и Таня.

Впереди показалась заправка:

— Ничего, — сказал я как можно бодрее, — сейчас мы самого лучшего бензина зальём, гадость эту в баке разбавим и нормально пойдём, движок отдышится. У меня сто раз так бывало.

Таня всё равно оставалась напряжена.

Когда остановились, она опять полезла в сумочку, протянула уже измятую кушорку:

— Хватит уже, так ты и хочешь с ней расстаться.

— Серёж, да мне и правда неловко очень! Заправься из этих, чтобы мне полегчало на сердце, правда, прошу тебя!

— Ну, только если так.

В кассе я заплатил из своих, купил шоколадку и вернул ей деньги. Она удивилась. Я соврал:

— Извини, у них с пяти тысяч сдачи не было.

Мы тронулись в путь, я успокоился: машина теперь вела себя смиренно.

— Ну, вот видишь, а ты боялась! — пошутил я через полчаса, и на этих словах двигатель заглох прямо на ходу. Я прижался к обочине, несколько раз пытался завести. Не помогло. Перед нами по правую руку был вытянутый, точно змея, пруд. Мимо проносились машины, большегрузы, и я решил столкнуть на нейтральной скорости автомобиль вниз с насыпи, ведущей к плотине.

— Лучше тут посмотрим, — сказал я, и полез в капот, понимая, что влип — я почти ничего не понимал в устройстве машины, только самое основное. Внешне всё было в порядке. Я долго возился без всякой цели, боясь вернуться в салон и признаться Тане, что понятия не имею, как быть дальше. Нигде не искрило, не дымило, всё вроде бы в норме, одно “но” — не заводится.

Таня молчала, сидя с куклой в прежней задумчивой позе. Хорошо, что она пока не паникует. Видя мою сосредоточенность, она лишь спросила:

— Можно, я пока пройдусь?

Она бродила по берегу и казалась большой девочкой с игрушкой на фоне красно-жёлтого неба и воды.

Я думал: звонить отцу? Не стоит, хотя о нём вспомнил в первую очередь. Он, конечно, бросится на помощь сразу, ночью дотянет меня на тросе, если не разберётся в поломке. Но... нет. И тут вспомнился один дружок, Коля Редин. Конечно, кто же ещё? Он работал в МЧС спасателем и при этом был отличным механиком. Коля внимательно меня выслушал, попросил подойти к капоту, описать, что я вижу, куда-то заглянуть, пощупать.

— Ну, похоже, что вся твоя история с бензином и то, что случилось, никак не связаны, — вынес он, как доктор, вердикт. — Порвался ремень ГРМ.

— И что, как мне теперь исправить?

— Да никак.

— Спасибо, утешил, старик.

— Так ты где вообще?

— Я ехал из Богучара...

— Жаль, не из Мадрида. Вот тебя занесло на твоей колымаге. Край планеты, считай.

— Да вот. Нет, я уже много проехал, и от Воронежа стою не так, чтобы далеко. Сейчас посмотрю на навигаторе... Хотя и так помню, дорожный указатель был. Кажется, Хренищи.

— Классное название, очень подходит! — Коля смеялся.

— И не говори, тебе-то весело, не ты в каких-то Хренищах заглох, — ответил я серьёзно. — Прямо за этим указателем пруд вытянутый, на трассе, тут я и стою. Так что, выручишь?

— Извини, Серёжка, сегодня никак. Если б знал заранее, что ты в каких-то Хренищах поломаешься. Я просто уже выпил немного после смены.

— Ах ты предатель! А мне то что делать?

— Ночуй там, ночь уж близко. Удочки в багажнике есть? Развернись там и получай себе удовольствие! Я бы и сам сейчас на каком-нибудь прудке не прочь бы отдохнуть. А я утром приеду, ремень новый привезу, всё на месте и сделаем. А если не в нём дело, то дотащу тебя, — он помолчал, отхлёбывая что-то. — Так ты один там?

— С девушкой, — ответил я, глядя, как Таня собирает в букет какие-то травинки.

— Вот, ещё лучше, да тебе вообще считай, брат, подфартило!

— Ладно, Коль, раз так, ничего не поделаешь. Только прошу — приезжай как можно раньше!

— Часов в восемь меня тогда жди. Спи спокойно, а я на карте гляну, где эти твои Хренищи.

Я пошёл к Тане. Она держала куклу, букет и улыбалась. И казалась такой спокойной, безучастной, что на её вопрос: “Что?” — я ответил: “Ничего”.

Мы прошлись по берегу пруда, и я не сразу, но рассказал о нашем положении. Её лицо при этом не изменилось:

— Никак иначе, Таня, прости. Хороший друг рано-рано приедет, и мы тронемся.

— Утром так утром, — выдохнула она. — Надеюсь, ночью будет не очень холодно.

Об этом я не подумал, но ответил:

— Что-нибудь придумаем.

Порывшись в машине, я нашёл вещь, о которой давно забыл, — брезентовую плащ-палатку, а также упаковку спичек, потемневшую и твёрдую, как камень, пачку соли, а также топорик.

— Мы будем спать в палатке? — спросила Таня.

— Нет, мы разложим брезент, пока будем греться у костра, а потом ты пойдешь спать в машину и укроешься им. У меня уже был подобный случай, когда без подготовки пришлось спать на природе — плотный брезент сохраняет тепло не хуже одеяла. Я сто раз так делал.

— Да, и сто раз чинил машину тем, что заправлял хороший бензин, — сказала она без злобы, и я понял, что язык у девушки бывает весьма острым. Милый ангел, которому палец в рот лучше не класть.

— Пойдём-ка лучше в посадки, — предложил я.

— Зачем?

Я хотел ответить: “Увидишь!” — но понял, что в такой ситуации меня можно понять неправильно:

— Дров поищем и грибочков, может быть, на ужин немного соберём.

— А ты в грибочках хорошо разбираешься, Серёж?

— Конечно!

— Надеюсь, лучше, чем в работе мотора?

Я окончательно убедился, что Таня только внешне казалась тихоней. Ей, скорее всего, не нравилось наше положение, но вместо слёз, причитаний, крика она реагировала спокойно и со злой иронией. Может быть, она даже боялась меня, страшилась предстоящей ночи рядом с трассой и с человеком, которого мало знала. Ещё немного, подумалось мне, и она сможет меня обидеть.

В посадках я нашёл много подберёзовиков — недавние дожди дали урожай, и червь ещё не успел тронуть этих крепких, на высоких кремевых

ножках красавцев. Валежника тоже было столько, что можно жечь костры остаток лета и всю осень напролёт. Таня подняла сухую палку. Иногда она склонялась над каким-нибудь грибом и спрашивала о его названии.

— Вот свинушка, это зелёная сыроежка, а это — розовая, — рассказывал я, про себя гордясь тем, что познания в грибах у меня всё-таки есть. — Только они нам совсем не нужны, когда так много подберёзовиков. Это гриб благородный, его можно сразу на костре зажарить, а вот эти все лучше сначала отваривать.

И всё-таки настроение моё несколько не упало. Мы брели по посадкам, и я думал о том, что в любом случае сегодняшний день я запомню если не навсегда, то надолго. Наша память очень выборочна, а большинство дней серы и унылы. И это легко проверить. Попробуйте на Новый год, стоя с бокалом шампанского, вспомнить яркие моменты уходящего года. Вряд ли вы восстановите в памяти хотя бы два десятка из трехсот шестидесяти пяти прожитых дней. Так вот, я знал, что этот августовский денёк точно сохранится во всех подробностях.

— Ты прости меня, я, наверное, тебя обидела.

— Нет, с чего ты взяла, брось, — я не договорил, она положила мне палец на губы и посмотрела в глаза.

— Пойдём обратно, Серёж. Ты молодец.

Эти слова стали как музыка, как высшая награда и радость. Ради них можно что угодно бросить к ногам такой девушки. Но всё, что я пока мог бросить к её ногам, — это ворох сухих веток. Я разложил брезент, и она села, поджав ноги, и стала раскладывать бутерброды. Таня не зря взяла большую спортивную сумку и набрала в неё так много припасов, будто готовилась к такому исходу. Куклу она посадила рядом на брезент, будто, как девочка, собиралась её кормить.

— Еды у меня хватит, — сказала она.

— Отлично. А как всё съедим, будем собирать дары природы, — посмеялся я. Солнце уже почти село.

— А ты знаешь, — сказала она, приподнявшись и положив голову себе на колени. Она смотрела задумчиво куда-то в сторону. Я в это время сложил “шалашик” из сучков и собирался разжечь костёр, — я, когда была маленькой, мечтала отправиться пешком на край света, дойти до Африки. Там ведь бананов много, а мне так их хотелось. Африку я представляла как страну счастья, постоянного лета. Мы тогда жили так бедно, что помню, как с сёстрами один банан на троих делили.

— Подожди, ты прямо про моё детство рассказываешь, оно как раз на девяностые годы пришлось. У меня примерно такая же история была.

— Правильно, я вспоминаю девяносто восьмой, мне тогда как раз лет пять было. Это, кажется, был “чёрный вторник” так называемый. Тогда мы потеряли все сбережения, а мой папа... повесился.

— Извини, Тань, — произнёс я, замерев. Мне хотелось её обнять.

— Прости, я не о том, — она привсталась, протянула ладони к разгорающемуся костру, — я же ведь тебе про поход в Африку начала рассказывать, как мечтала. Вот и думала я, что буду идти туда, идти, в далёкую страну тепла и солнца, останавливаться у речек разных, грибки жарить, картошку печь... И постепенно по дороге будут встречаться друзья. Сначала зайка и лисёнок, потом волчонок и мишка, а потом уж пойдут обезьянки, слоники, панды... И теперь, вот здесь, мне об этом вдруг вспомнилось.

— Ты жалеешь, что поехала?

— А ты?

— Нет, Таня, отвечать вопросом на вопрос — это...

— Нет, не жалею, Серёж.

Я пожарил грибы. Таня села ближе ко мне:

— Там, дома, в Добринке, меня ничто не держит, разве что...

Она не продолжала, и я, снимая грибы и готовяся насадить свежие, ждал, не зная, о чём она будет рассказывать.

— У меня там остался друг детства, Димка. Вот с того возраста, как я в Африку хотела уйти, мы с ним примерно и дружили. Вместе на его

педальной машинке катались... Представляешь, нас всегда женихом и невестой называли, а он, даже мальчонкой, к этому спокойно относился, и любые издёвки, даже от друзей-одногодков, принимал по-мужски. И меня всегда защищал. Он для меня стал как брат, и я не знаю даже, остался ли он в нашем посёлке или уехал... Хотя о чём я говорю таком, прости...

— Нет, нет, я слушаю, — ответил я как можно равнодушнее, но знал, что Таня говорит о важном человеке, которого я невольно воспринимал как врага, как самую лишнюю и противную личность, которая могла бы возникнуть, вломиться к нам, нарушив покой и гармонию тихого вечера.

— Димочка был единственный, кому было не наплевать, что я уезжаю в Воронеж, — продолжила она. — Знаешь, он то злился, то смешно чего-то требовал, а потом падал и клялся в любви.

Я был безучастен, хотя она тихо смеялась.

— Он мне говорил, что лучше остаться, что он постарается найти мне в посёлке достойную работу, а когда понял моё настроение, даже порывался ехать со мной...

Сверчки запели. Я жарил грибы и думал, как можно аккуратно сменить тему.

— А потом он, когда понял, что я не шучу и решила уехать, знаешь, что предложил мне? Жениться.

— Представляю, чего уж там, — ответил я еле слышно, сжав зубы. Она прижалась ко мне, рассказывая эту историю. Её колени были так близко, но меня не тянуло их погладить, словно кто-то, юный и дерзкий, встал смеющейся тенью между нами. Что-то оборвалось во мне после упоминания об этом Диме, и понял я: не станет девушка, находясь рядом с человеком, которой ей интересен, вот так, в лицо поминать другого. Но, с иной стороны, а ты что хотел, разве важно ей, о чём ты мечтал всё это время? Возьми-ка лучше эти мечты в кулак и спрячь поглубже. Девочке посочувствуй. Жареными грибами угости. Выслушай. И постарайся понять.

Таня словно угадала моё смятение:

— Знаешь, я думаю, прошлое всё же не стоит тянуть за собой, оно, как тяжёлый багаж, который уже не пригодится и только мешает. И хотя там, во вчерашнем дне, много яркого и дорогого, от него лучше уйти. Я об этом много думала и приняла решение уехать в Воронеж и поступать в университет.

— Всё правильно, — ответил я и протянул Тане тёмные, немного обугленные грибы.

— А он звонит? — зачем-то спросил я.

— Кто?

— Друг твой.

— Так, изредка. А что?

— Ничего.

Совсем стемнело, стало холодно, я укрыл плечи Тани плащ-палаткой и снова сел рядом. На небе, словно веснушки, постепенно выступали звёзды. Огромное ночное небо будто улыбалось, глядя на нас.

— Не помню, говорил ли тебе, а я ведь нашёл вторую тетрадь с продолжением воспоминаний, совсем случайно.

— Вот видишь, а сам ведь не верил.

— Да, не верил. Там уже совсем другая история началась. Но я сейчас о другом подумаю. Чтобы понять теорию Карла Эрדмана о Времени Весны и единстве космоса, даже не нужно вдаваться в какие-то мудрствования. Достаточно просто посмотреть на небо летней ночью, увидеть его порядок и совершенство. Поняв его, расхочется совершать дурные поступки. В космосе нет ничего лишнего, и всё в нём живо, подчинено общей цели. Звёзды — это огненные матери, а планеты — их дети. Управляет ими закон любви, и именно любовь дарит жизнь.

Таня положила мне голову на плечо и слушала:

— Космос учит нас законам любви, вниманию друг к другу, жертвенности. Когда на звезде, то есть на одном из тысяч вселенских солнц, наступает долгожданное Время Весны, она отдаёт свои силы, чтобы родить планеты. И точно так же должны жить и мы.

В кармане завибрировал телефон. Кто бы ни звонил, я готов был проклясть этого человека на всех языках. Таня поднялась, а затем скрылась в темноте. Моё лицо стало красным от злости, когда я увидел, что звонит редактор Юля. В выходной день, да ещё в половине десятого вечера! Хочешь дать задание? Сейчас услышишь, что я об этом думаю, хорошо, что Таня отошла и не узнает, как крепко я умею ругаться.

— Слушаю! — выдал я.

— Серёжа, привет, прости, что так поздно! Ты можешь говорить? — Юля волновалась.

— Могу, что случилось?

— Серёжа, представляешь, какая беда! — она помолчала, я подумал, прервалась связь. — Аллю, ты слышишь?

— Да!

— Витя Малуха погиб. Из окна выбросился, два часа назад примерно. Как он мог, почему...

“Позарез нужны две тысячи рублей, а лучше три. Срочно, кровь из носу, старик”, — в моей памяти далёким эхом прозвучали слова нашего последнего разговора с ним.

— Родители в шоке, они ничего понять не могут, я была сейчас там, видела их, — продолжала Юля. — И никто ничего объяснить не может. У него ни девушки, ни друзей ведь не было, жил скрытно. Ты в редакции с ним больше других общался, может быть, замечал какие-то странности?

— Нет, — ответил я. Мне хотелось кричать — так было горько, страшно и стыдно.

— Завтра нам нужно всем собраться в редакции, всё обсудить, — сказала Юля. — Лучше утром.

Я объяснил, почему не смогу попасть.

— Будь осторожней, береги себя, — сказала она. — Я в редакции весь день буду, наверное, хоть и воскресенье. Так что заезжай в любое время, поговорим.

— Хорошо, — ответил я и попрощался.

Таня вернулась:

— Что-то случилось?

Я еле-еле кивнул и опустил голову, сжав кулаки. Видя моё состояние, она сказала:

— Я, наверное, пойду в машину, спать хочется.

— Конечно, иди, — я свернул плащ-палатку и протянул ей. Таня ушла, включила свет в салоне, и я видел, как она, укутываясь в брезент, взяла куклу. Я лёг у костра прямо на траву, смотрел на огонь и не мог сдержать слёз.

— Негодяй, — хрипел я. — Какой же я всё-таки... А ещё девчонке вот заливал про космос и взаимопомощь, жертвенность, а сам поступил с человеком, как последний гад.

Не сразу, но я впал в затяжной липкий сон, мелькали какие-то дороги, тропинки, лица, куклы и иной бред. Позже я увидел Витю, из его ушей сочилась кровь, и он стонал, корчась в неестественной позе на асфальте. Потом я увидел его живым, он будто подошёл к костру с другой стороны и стал дуть на огонь. Я смотрел на него, тяжело дыша, и даже во сне хотел показаться спящим — всё от стыда перед ним. Витя подложил дров, потом отвернулся, и на фоне синевы пруда и блеска луны он расправил бирюзовые, усыпанные звёздами крылья. Малуха повернул ко мне голову, слегка улыбнулся и подмигнул. Он улетел в вечность, так ничего и не сказав.

Я очнулся на заре, ёжась от холода. Ныло всё тело, особенно болела голова. Костёр давно прогорел, над прудом поднялась дымка. Вода будто закипала, как в большом котле. Я подошёл к машине — окна покрылись плотной белой плёнкой, и я подумал, холодно ли было спать Тане, не заболит ли? Про себя не хотел и думать, я заслужил за свою чёрствость и лицемерие надолго слечь в постель. Подбросив дров, я стал смотреть, как медленно восходит солнце, и ждать друга.

Коля не задержался — его большой чёрный “универсал”, похожий на похоронную машину, свернул с дороги и спустился к моей машине. Таня ещё

не проснулась. Редин, как всегда, был слегка небрит и весел. Поздоровавшись, он сразу стал хохмить про меня и поломку, по-разному склоняя Хренищи. Больше всего, похоже, он хотел увидеть мою “спящую красавицу”. Я не мог разделить его радости, голова стала болеть ещё сильнее, но я искренне был благодарен ему — Коля не подвёл, и это стало самой хорошей новостью начинающегося дня.

Я деликатно разбудил Таню, постучав в окно. Она напоминала помятого медвежонка, и в другой ситуации я бы посмеялся, сказав ей что-нибудь весёлое. Девушка, положив куклу на скомканный брезент, поздоровалась с Колей, не глядя на него, и пошла к реке умываться.

Мой друг оказался прав — даже на расстоянии он поставил верный “диагноз”, так что за какие-то полчаса, поставив машину на домкрат, он доказал своё право называться королём автомобилей. Завершив дело, он улыбнулся, сказав:

— Пробуй, заводи!

Его щетина стала слегка чёрной. Я подумал, что он и не чинит даже — машины просто от его прикосновения становятся послушными и соглашаются работать.

— Теперь можешь ехать со своей красавицей куда угодно, хоть в Африку, — он вытирал руки. — А она и правда так, ничего себе.

Коля уехал раньше нас. Я обещал заехать к нему на днях и отблагодарить, он махнул рукой. Мы ещё долго собирались, точнее, я просто сидел на сырой от росы траве, скрестив ноги, и смотрел на пруд. Понимал, что надо ехать, но боялся с такими тяжёлыми мыслями садиться за руль. Таня не подходила ко мне, тоже грустила о чём-то в машине, будто понимая и разделяя мои мысли.

— Не обращай внимания, Таня, просто у меня кое-что случилось... хорошее, — сказал я, садясь за руль.

— Не стоит объяснять, Серёж, — ответила она.

Дорогой мы молчали, когда вдали показался Воронеж, оба вздохнули легко, будто поняли, что, наконец, возвращаемся из долгого и опасного плавания. Весь путь перед глазами стоял образ Вити, вспоминались какие-то наши давние разговоры, которым я раньше не придавал значения. Если бы я был внимательнее к нему, то давно бы заметил нависшую опасность. Боже, всё, что он говорил и делал в последнее время, было красным сигналом, что Витю надо спасать. Будь я добрее и лучше, оказался бы с ним в нужную минуту. Но я не то что не смог спасти его душу, а даже без угрызений совести отказался дать взаймы. Наверное, моё лицо было грубым, страшным, поэтому Таня даже не смотрела на меня. Но когда мы добрались до “Машмета” и вырулили к её дому, я ощутил её губы рядом, почувствовал дыхание. Она поцеловала меня в щёку:

— Серёж, спасибо тебе большое! Пожалуйста, не грусти, я верю, что всё будет хорошо. Ты очень хороший человек, и ты помог мне по-настоящему! Пожалуйста, не переживай, мне больно видеть твою грусть. Я всегда готова тебе помочь.

Я поцеловал Танину ладонь, и на душе стало легче. Если бы не гибель Вити, я бы сиял от её слов.

— Спасибо, Таня, поверь, ты мне и так очень помогла!

— Так я пойду? — спросила она, будто я не отпускал её.

— Конечно. Скоро увидимся!

— Да! — она прижала к груди куклу и выбежала. Я почти тронулся, когда она взмахнула рукой. Может, хочет ещё что-то особенное мне сказать?

— Прости, сумку с термосом забыла.

Я грустно кивнул.

От Тани я поехал в банк, полностью обналечил карточку, затем поспешил в редакцию. Там собрались почти все. Я поздоровался, никто не ответил. Все слушали Юлю:

— Витю хоронить будут завтра, на левобережном кладбище. В закрытом гробу. Страшно разбился, страшно. Я сама не видела, но...

Я, словно тень, подошёл к Юле, отдал ей деньги:

— Сможешь родным передать?

— Конечно, я к ним скоро поеду. Но тут так мно...

Я ответил:

— Прости, я уже поеду, всю ночь не спал. И на похороны не попаду, пойми, не выдержу я всего этого.

Юля кивнула, остальные молчали.

Я подошёл к Витиному столу. Всё так же стоял компьютер, большая гильза времён войны с карандашами, статуэтка Будды, грамота от губернатора. Монитор зачем-то закрыли платком, поставили рядом свечу, портрет Малухи в чёрной рамке. Он улыбался, глядя на меня, и я отвернулся.

“Вот так вот, старичок”, — будто говорил он.

Я снова остался один, и это одиночество напирало со всех сторон. Мне стали понятны до холода в груди мотивы, руководившие Витей в ту роковую минуту. Вся боль, тяжесть и уныние его легли на меня и давили мне на плечи.

На даче я попытался уснуть, но не получалось. Читать воспоминания Звягинцева тоже не хотелось — там были нелёгкие страницы о психиатрической лечебнице. От них можно и самому тронуться, и главное, никто сразу ничего не заметит. Но всё же я взял тетрадь подмышку, вышел к водохранилищу, а, отцепив лодку, выгреб подальше. Сидя между двух берегов, стал читать, и в печальном небе то едва загоралось, то пряталось за тучи солнце августа.

9

Я вздохнул, отвлекшись от тетради. Лодка с опущенными, а точнее — попросту брошенными веслами, без груза отнесла меня далеко, я даже не узнавал мест. Было в этом что-то новое, необычное. Я был совершенно один среди лёгких ветров и свежего дыхания воды. Никаких удочек, никаких целей — только я и огромное пространство воды.

Решил лечь на дно лодки, сложив руки за головой, и просто смотрел на небо. Мне нравилось, что плыву без цели и ориентиров. Я понимал, что теперь мне не нужно никуда спешить. Смотрел и смотрел в синеву, слушал удары волн, меня качало тихо и хорошо, словно я укрылся в колыбели. И тут я поднялся и увидел, что Витя Малуха идёт ко мне по воде. Тихо перешагивая по волнам, он прикладывал руку к глазам, пытаясь среди влажных брызг и стопа воды различить, где же затерялась моя лодка. Я застыл, глядя на него и надеясь, что он пройдёт мимо. Он звал меня. Начинался сильный дождь, и под его шум Малуха сумел найти путь и пошёл точно на меня. Я поджал ноги, когда он переступил борт и сел у кормы. Грустно смотрел, скрестив руки на груди.

— Витя, прости меня за всё, ведь я же ничего не знал, не думал, что так может всё обернуться.

Он ничего не ответил, а пересел ближе, взялся за весла. Я смотрел, как красиво играют мышцы его рук. Мы набирали скорость так стремительно, что казалось, лодка вот-вот поднимется и, сделав в небе несколько кругов над дождливым Воронежем, унесётся далеко к звёздам.

— Прости, — снова сказал я.

— Да брось ты, — ответил он. — Я звонил тогда, потому что выпить нужно было на что-то. И правильно ты сделал, что ничего мне не дал. Забудь. Знаешь, как сильно меня к стакану тянуло! А теперь вот совсем нет. Я свободен, совсем свободен.

Он поднял руки, которые опять стали крыльями, усыпанными блестящими звёздами. Они были красивы, но так огромны, что я невольно сжался и задрожал. Не знаю — почему, но сказал:

— Витя, а я вот плыл без всякой цели и думал до того, как ты пришёл, что и я тоже свободен.

Он засмеялся, подставил ладони под дождь. Вода быстро набиралась, и он шёл её с рук. Потом отдышался, вздохнул и сказал:

— Серёжа, так храни всегда в сердце это внутреннее ощущение свободы. И не убивайся так ни по поводу моей смерти, ни вообще. Вот видишь,

как мне хорошо теперь стало. Но пойми правильно — за эту черту, которую я перешёл, ты не спеши, не всё так просто. Мне за прыжок предстоит заплатить по полной, и недолго мне дали, чтобы побродить ещё здесь, повидаться с людьми. Сейчас я свободен, по-настоящему, как никогда, но скоро я отправлюсь в тёмные дали, где долго буду одинок. А виной тому мой поступок. Так что ты не спеши. Если бы я не спешил, как дурак, то был бы свободен вечно. Разве что... спеши любить.

Он помолчал, любуясь своими крыльями.

— Конечно, жизнь — это постоянная неудача, проигрыш, потеря. Я это понял, но сделал неправильный выбор. А ты пойми и поступи по-другому. В мире живых всё обратимо и всё исправимо, это главное. Знаешь, как я вчера вечером после падения, видя себя со стороны на асфальте, обратно просился? А всё, дело сделано, ничего не изменишь. На меня только строго смотрели неизвестные существа с крыльями, как у меня, и молчали. Потом вот гулять отпустили, объяснив, что будет дальше. Ты живи, братец, живи себе, и ни о чём не печалься понапрасну. Видимся мы с тобой в последний раз, старичок. Даже после того, как ты завершишь свой путь здесь, мы вряд ли снова сможем говорить. Цени жизнь, цени тех, кто рядом. И главное — скажу ещё раз — спеши любить. Мне пора. Прощай, Серёжа!

Он взлетел в небо, расправив крылья.

Я открыл глаза — дождь равномерно бил мне по лицу, словно постукивал пальцами. Раздался сильный гудок. Я резко поднялся, схватившись за весла. Неведомая сила вовремя вывела меня из сна — рядом проплывал огромный катер, и, если бы я не проснулся, мы бы столкнулись, что стало бы для меня почти равносильным тяжёлой аварии на дороге. По крайней мере, я бы точно не выжил и улетел бы следом за Малухой, если бы в том мире мне это позволили.

Вот же угораздило меня, думал я, налегая на вёсла и пытаюсь узнать места, куда меня вынесло, чтобы добраться до дачи. Короткий сон, несмотря на его яркие краски и переживания, вернул мне силы. Я чувствовал себя маленькой точкой в океане. Казалось бы, вот оно — одиночество. Но с обеих сторон был город, в котором проживал миллион человек, и получалось так, что я находился в самом ядре этого мира. Да и что нужно для того, чтобы прогнать чувство одиночества? Просто... достать телефон и набрать номер.

Нащупал в кармане мобильный. Ждал с улыбкой, когда же услышу голос Тани, глядя на песчаную косу пляжа далёкого левого берега.

— Да, привет, — сказала она заспанным голосом. Ну, конечно же, она отдыхала после поездки, как я не подумал об этом! — Нет-нет, всё в порядке. Я и сама хотела тебе позвонить, чтобы ещё раз сказать за всё спасибо! Мы вот спим вдвоём с Галей.

Я ступешался, не понимая, о ком идёт речь, а потом вспомнил, что у куклы есть имя.

— Завтра же, наверное, займусь ею, буду шить-кроить, — сказала она.

— Таня, знаешь, а ведь я позвонил сказать тебе... — я замолчал.

Вот сейчас я должен произнести что-то особенное, раз уж начал. И я, закрыв глаза, улыбнулся. Но, понимая, что такие вещи не произносятся по телефону, и она наверняка меня не поймёт, прошептал:

— Давай встретимся как можно скорее, это ведь возможно? Ты и сама сказала, помню...

— Серёж, конечно, только не в ближайшие дни, хорошо? — перебила она. — У меня вот-вот начнутся экзамены, поэтому я буду только готовиться.

— Хорошо, договорились. Но как только все твои экзамены завершатся, ты мне обещаешь встречу?

— Да.

— Вот и отлично. Удачи тебе, Танюша.

— И тебе.

Я услышал гудки и вздохнул. Странно как-то всё и глупо устроено.

На работу я решил взять тетрадь Звягинцева. В ней осталось не так много страниц, так что финал истории близок. Сегодня Юля, скорее всего, не будет ходить за нашими спинами, суетиться и требовать новых материалов. А значит, у меня появится время. Мне хотелось побыстрее дочитать историю и сразу же позвонить внуку Звягинцева Михаилу, чтобы передать тетради. Я и так слишком затянул с этим, да и от моего небрежного отношения записи сильно потрепались. С другой стороны, благодаря мне эти воспоминания сохранились, и я собрал обе тетради вместе. Теперь, как только дойду до конца, я с чистой совестью передам эти сокровища настоящему их наследнику. Пусть тоже читает, вдумывается. Может быть, он многое поймёт и станет по-иному ценить жизнь, близких людей.

В редакции всё было именно так, как я и предполагал. Все были молчаливы, никто не шутил. Самая молоденькая наша сотрудница Саша старалась что-то написать, но всё время всхлипывала. И я подумал, что слёзы вызваны не сожалением о человеке, а испугом от неожиданности его кончины. Сашу поразило то, что Малуха исчез внезапно, осознание, что и с ней может произойти подобное, устрасало её. Если бы Витя уволился, скатился бы на дно и там тихо и незаметно ушёл из жизни в угаре, не было бы слёз вообще.

Грустная Юля, плачущая Саша, девушки... Да, теперь я осознал, что с уходом Вити остался единственным мужчиной в редакции. И я понимал, что время бьёт в глаза своей правдой, что все мы просто стоим на очереди у смерти, одни уйдут рано и внезапно, другие позже. Впрочем, я скомкал эти мысли и выбросил, как ненужную грязную бумажку. Не стоит об этом вообще думать.

Жаль, что урок с уходом Вити Малухи ничему не научит, в том числе и меня. Честно, я вообще не замечал, чтобы у людей происходил серьёзный сдвиг в характере, поведении под влиянием чего бы то ни было. Людей трудно менять. Глупцы не умнеют, негодяи не добреют. Это только в книгах люди преображаются, враньё всё. Девочки поплачут, успокоятся, обо всём забудут. И я — тоже. И Юля очень скоро перестанет быть тихой и грустной, а станет обычной крикливой стервой. Ну и что ж...

Ближе к полудню, когда я совсем убедился, что в редакции понедельник пройдёт тихо, я отыскал страничку Тани в социальных сетях. Написал ей, спросив, как дела, но она не отвечала. Я подготовил несколько новостных заметок и, вновь заглянув на её страницу, не увидел ответа. Наверное, на самом деле плотно готовится к экзаменам. Или кукле платье шьёт. Мысленно пожелав ей удачи, я достал из сумки тетрадь и стал читать.

11

Прошло ещё несколько дней, и я, наконец, получил ответ от Тани.

“Привет. У меня всё хорошо. Экзамены уже сдала, теперь остаётся ждать — зачислят или нет. Как ты?”

“Конечно зачислят, ты так готовилась и старалась! Теперь-то у нас получится встретиться?” — написал я.

Наступила пауза. Тانيا не отвечала, хотя я видел, что она “онлайн”. Может, отвлеклась на что-то или решает, как ответить. Если задумалась, хорошего вряд ли стоит ждать.

“Извини, в ближайшие дни не смогу. Буду занята”.

Ну что ж, к этому и добавить нечего, решил я. И написал:

“Предложение о встрече в силе. Готов, если надо, помочь в делах, побыть ещё раз твоим шофёром. Обещаю без поломок”.

“Хорошо”, — ответила она и прислала милую картинку с улыбкой.

Позвонила мама. Она спросила, сильно ли я занят, смогу ли отвезти её в гипермаркет за город. Я, конечно, не отказал, но просьба насторожила. Что-то не так: мама никогда о подобном не просила, всегда с отцом они ездили по выходным за покупками вместе. Уже в магазине, когда подходили к длинному ряду тележек, я почему-то в эту минуту, не думая, выпалил:

— Мам, а что с отцом?

Она на миг остановилась и открыла рот, будто бы я спросил её о чём-то неожиданным и неприятном, вроде того, а не забыла ли она кошелек дома, или не осталась ли включённым утюг? Её глаза бегали, словно мама пыталась вспомнить о чём-то и не могла. Но, придя в себя, сказала:

— Так, Серёж, давай об этом не сейчас поговорим, хорошо?

Я кивнул. Ситуация мне не нравилась, и это было лучшее, что я мог сделать.

Я подумал, а не купить ли мне лёгкую куртку на осень, и уже идя к рядам с мужской одеждой, я увидел со спины Таню. Она шла с такой же, как у меня, пустой тележкой, моё сердце забилося при виде её узких плеч и волос. Я всегда не любил подобные встречи со знакомыми в магазинах, они мне казались нелепыми, так что и сказать нечего — глупо спрашивать про жизнь и дела, заглядывая ненароком, что набрал в тележку знакомый. Но Таня! Это была удача! Если придётся, даже здесь, в мире торговли и скидок, объясню ей то, что есть на сердце, раз не сумел сделать это на фоне берёз, костра и тихого пруда. Ну и, раз я серьёзный парень, то и с мамой познакомлю, вместе доедем домой, чаю попьём. Отец тоже будет, представлял я, и окажется, что я глупостей придумал много, и с ним всё хорошо. И папа, и мама ей понравятся, и она им тоже. А дальше — уж что там говорить...

Подбежав, я положил руку на плечо, слегка сжав, улыбался, словно поймал её, как рыбку, наконец. Белые волосы взметнулись нервно, и я увидел чужое и недоброе лицо незнакомки. Накрашенные губы скривились вниз, как подкова, раздался визг, люди от нас отшатнулись. Извинившись, я потупил взор, услышал о себе и моём грубом жесте несколько слов, перемешанных с матом. Мурашки пробежали по коже, никогда грубые слова, произнесённые девичьим голосом, пусть даже и таким хриловато-прокурренным, так не задевали меня. Я склонился над тележкой, повис, так что передние колеса слегка приподнялись. Боялся, что меня затрясёт и, чёрт возьми, я завою от злости и досады, но был рад, что никому из тех, что пробегает мимо меня с такими же тележками, ни до моего состояния, ни, тем более, чувств не было дела.

Я снова набрал Таню. Неживой и холодный, хотя и знакомый по предыдущим таким ситуациям женский голос отчеканил: “Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети”. Мысли, как тяжёлые камни, стучали в голове, словно на меня обрушилась лавина, и только появление мамы, её задумчивое спокойствие привели меня в чувство:

— Так тебе ничего разве не надо? — спросила она.

— Здесь — совсем ничего, — ответил я.

На кассе я, хоть и думал о своём, всё же увидел, что купила мама. Помимо бытовых продуктов, там хватало каких-то пакетиков, баночек, витаминов. И хотя я её впервые сопровождал в торговый центр, всё равно был уверен, что ничего подобного раньше она не покупала, и это, конечно, связано с отцом.

После оплаты я подхватил сумки, и мы пошли к машине. Мама шла рядом и рассматривала длинный, спускающийся к её широкому ремню на летнем платье чек. То ли искала подвох и проверяла, то ли старалась показать, что сейчас ей не до разговора со мной. А я шёл, и почему-то навязчивая мысль не отпускала меня, и я думал, что вот-вот рядом с дурацкой машиной, где торгуют варёной кукурузой, или у прозрачного входа в бутик окажется Таня. Настоящая. Спокойная, задумчивая, и она улыбнётся, заметив меня. Но ни в этом грубом мире торговли, ни в бесконечно доступном для всех, как считается, виртуальном пространстве интернета нельзя было найти теперь точки для нашей встречи.

И снова дятел забил в виске, сообщая, что сентябрь наступит то ли через день, то ли через два-три, и, если я не совсем отстал от жизни, то Танины экзамены давным-давно сданы, и то, что она недоступна, что-то да значит...

Я положил мамины сумки в багажник, и мы ехали до дома молча. Маме было что сказать, но я теперь почему-то и не смел спрашивать. У подъезда

я сказал маме, что помогу поднять сумки, а она вдруг стушевдалась, ответив, что не надо, вполне может справиться и сама, и я могу уже ехать...

— Отец, наверное, спит-отдыхает сейчас, и я бы хотела тихонько войти, его не разбудить, — нашла она последний аргумент.

— Ну что ж, войдём тихо вдвоём, — ответил тут же я.

Железная дверь, что поёт мелодией домофона, открылась и захлопнулась.

— Что с ним? — вновь спросил я, сжимая тянущие ручки сумок, когда мы стояли лицом к лицу в лифте.

— Серёж... Он прошёл обследование. У него опухоль мозга, — на этих словах железные дверцы со скрипом разошлись, и я увидел папу, его улыбку. Он встречал нас радостно в коридоре, но мне стало так плохо, что я пошатнулся.

Разувшись, я прошёл в зал и рухнул на диван:

— Что с тобой? — спросил отец.

— Ты мне лучше ответь, что с тобой, пап.

— Ты рассказала? — он обернулся к матери.

— А что, не надо было, что ли? — резко вставил я. — Неужели ты думаешь, что от меня стоит такое скрывать?!

Ему нечего было ответить.

Мама бросила сумки в прихожей, и мы теперь сидели на диване. Я подумал, что вот так, втроём, плечом к плечу, мы не были давно.

— Что врачи говорят? — спросил я.

— Нужна операция, — отвечала мама, отец лишь потупил взор и вздыхал тяжело.

— Когда будут проводить? Есть хоть какая-то конкретика?

— Есть, — сказал отец, и ушёл на кухню.

— Сынок, беда, — зашептала мама, — на операцию деньги нужны, большие. Там всё серьёзно, у нас в наших клиниках такие не проводят, нужно ехать за рубеж.

— И сколько? — спросил я.

Мама назвала сумму, добавив:

— Не знаю, наверное, квартиру продадим, что нам ещё остаётся.

Я промолчал, не зная, как всё это уложить в голове — новость упала на меня, прижав тяжёлым чёрным комком.

— Почему же вы мне не сказали сразу? — спросил я, пытаюсь заглянуть матери в глаза, но она не смотрела на меня. — Неужели тогда, в тот день, когда я ушёл из дома и стал жить отдельно, мы... стали настолько чужими, что вы решили от меня скрыть!

Я вскочил.

— Сынок! — крикнула мать, но я махнул рукой и пошёл на кухню. Отец стоял спиной, у него тряслись руки, и он безуспешно пытался зажечь огонь под чайником.

— Серёж, не надо! — сказал он. — Не говори больше ничего. И так видишь, нам тяжело.

И вновь я смотрел на спину отца, как тогда, в лодке, и все мысли, чувства, что были тогда, вернулись ко мне. И я... просто обнял его. Мы долго стояли, ничего не говоря, папа старался, чтобы я не заметил его слёз.

— Садись, — наконец сказал я, — давай помогу с чайником.

Наступил вечер, больше к теме болезни и операции мы не возвращались, будто её и не было.

— Наверное, я у вас сегодня останусь ночевать, — сказал я, и папа с мамой обрадовались.

Мне разложили диван в зале, и мы лежали с отцом, смотрели программу по кабельному каналу о рыбалке:

— А хорошо мы с тобой тогда порыбачили-то, на лодке, — сказал он.

— Да, — ответил я. — И ещё порыбачим.

Мне почему-то представилось, что мы сидим в лодке втроём — я с папой и дядей Геней. Молча держим удочки, а над дымкой поднимается рассвет, становится видным город, купола. И невольно сжались кулаки — неужели

возможно такое, что и папа отправиться скоро в тот, иной мир, где нет суеты, вранья и предательства... Дядя Гена ведь давно уже там, сидит, спокойно глядя на водную гладь. Но нам с тобой, папа, туда ещё рано.

И я рассказал отцу всё-всё про Таню. Сейчас, как никогда, мне нужен был его совет:

— В жизни, сынок, главное, не упустить шанс. Знаешь, как легко его упустить, — после долгой паузы сказал он. — Раз встретил девушку, так... спешి её любить, иначе будет просто поздно. В общем, не будь тюфяком. Когда я встретил твою маму, я ухаживал за ней, но был момент, когда между нами оказался третий, и тогда я понял, что могу её потерять. Тогда я просто рассказал ей о том, что чувствую, как она мне дорога. И она обняла, поцеловала, сказав, что я придумал много глупостей насчёт того, третьего, и что ей дорог и нужен только я. Вот, — он помолчал. — А если бы я затянул тот разговор, признание, кто знает, как бы оно всё обернулось. Так что решай, как теперь быть. Зачем тянуть, ходить из стороны в сторону, если сам для себя, внутри, уже решил, что этот человек нужен тебе и дорог. И если эта Таня — твоя судьба, так действуй.

— Боюсь, поздно, я её потерял совсем.

— Никогда не поздно, если любишь.

И я уснул, размышляя над его словами.

Утром я встал засветло, попрощался с родителями:

— Куда это ты, неужели так рано на работу ходишь?

— Да нет, хочу на дачу ещё заехать.

— Ох, и любишь ты эту свою дачу, прям сердцем к ней прикипел, — посмеялся отец.

— Да, люблю, — ответил я с грустью. — Ты держись, маму береги. Всё будет хорошо.

— Конечно. И ты не волнуйся. Мы за тебя очень переживаем.

Они проводили меня, стоя у лифта.

Когда я подъехал к берегу, разгорался тихий рассвет. Вот он, холодок, первенец сентября. И солнце светит уже по-другому, не так, как летом. Краски его даже утром — тёмно-бордовые, печальные, словно прощальный огонь. Я обошёл свой домик и сделал несколько фотографий на телефон с разных сторон. Получилось здорово. Нужно будет потом распечатать эти снимки.

На память.

Объявление о срочной продаже дачи я разместил на сайте всего за пару минут. Цену я поставил ниже, чем купил — понимал, что желающих приобрести дачный дом не в сезон намного меньше, а мне нужно спешить. Да, спешить во всём. До начала рабочего дня было ещё несколько часов, и, включив торшер, свет которого мне тоже показался родным и немного печальным, я взял тетрадь, чтобы дочитать воспоминания Звягинцева до конца.

В Орловской психиатрической больнице Николай Звягинцев пробыл до конца июня сорок второго года. Майор Пряхин, находясь на фронте, направил письмо в больницу с внезапным распоряжением прекратить лечение Звягинцева. Николай начинает понимать, что Пряхин — не такой уж плохой человек, он действовал, исходя из ситуации, и по сути спас его от лагерей. Николай идёт из больницы напрямик в городской комитет обороны, где формируется ополчение. Человек в форме НКВД, видя письмо от Прыхина, рвёт справку Николая из психиатрической лечебницы, и говорит, чтобы он забыл о своём пребывании там. Немцы уже на подходе к Воронежу. Звягинцев участвует в диверсионной группе народного ополчения и в боях за Чижовский плацдарм получает серьёзное ранение. После долгого лечения в госпитале он узнает, что немцы убили всех пациентов и врачей в Орловке...

“В первой тетради я написал, как выходил утром на крылечко и видел людей — всех тех, о ком шла речь, — прочёл я. — Они стояли в дымке над водой и звали меня, махали руками. Да, мне уже скоро к ним. Я остался ведь совсем один. Один... и на дачах вот тоже никого нет. Только я, да мой старенький баян тешит душу. Вот поставлю последнюю точку, сыграю себе

что-нибудь, может, развеется хоть немного тоска. Я хочу, Миша, чтобы ты вырос хорошим человеком. Может быть, мои тетради объяснят тебе, что главное в жизни. Надо беречь людей, любить их. Только потеряв, ты начинаешь понимать, как они дороги. Я молюсь за тебя, родной. Молюсь, как умею”.

12

Выйдя на крыльцо, я дышал сентябрьским воздухом. Было почти девять, а я не выехал на работу. Зазвонил телефон, я вернулся в дом:

— Здравствуйте, это по объявлению, — услышал голос.

“Надо же, как быстро! — подумал я. — Разместил ведь в семь утра, и вот”.

— Поймите только, я продаю срочно, — сказал я.

— Да, мы можем приехать посмотреть дачу в любое время, хоть сейчас. Мы давно с мужем мечтали о таком домике, но варианта всё не могли найти подходящего. А тут заглянули, и надо же!

— Тогда приезжайте хоть сейчас.

— А можно?

— Конечно, жду вас, — и я объяснил путь ко мне.

Я позвонил Юле, попросив о выходном.

— У тебя всё в порядке? — спросила она.

— Да, просто есть несколько дел неотложных.

— Конечно, Серёж, занимайся. Если что надо — звони.

Вот же, подумал я. Юля... зря всё-таки и Витя Малуха, да и я, к тебе относились так предвзято. Нормальная ты девчонка.

Мне предстояло сделать главный звонок — Михаилу Звягинцеву. Конечно, утро понедельника не лучшее время, но позже уже нельзя. Я слушал долгие гудки, сердце отчего-то забилось сильнее.

— Михаил, здравствуйте! Это Сергей, я покупал у вас дачу весной, помните? Нет, всё в порядке, я по другому поводу. Представляете, я нашёл тетради вашего дедушки Николая, в них он рассказывает о прошлом, — я начал было углубляться, но тот перебил:

— Сергей, извините меня, мне некогда.

— Я понимаю. Давайте я привезу вам эти тетради, куда скажете. Мне нетрудно.

— Спасибо, не стоит, — ответил он.

— Нет, поймите, — я говорил взволнованно, не понимая его настроения, — эти воспоминания адресованы вам лично, дедушка всё время обращается к вам, простите, что я невольно всё это прочитал, но...

— Сергей, повторяю ещё раз: мне действительно некогда. Если тетради интересные, оставьте у себя или отдайте куда-нибудь в музей боевой славы.

— Как?

— Всё, извините, я за рулём, — послышались короткие гудки.

Я долго стоял и не мог понять — неужели всё так нелепо...

Вот две тетради, измятые, пухлые. Что же мне с вами делать? Первая мысль была — набрать их и отнести в редакцию какого-нибудь журнала, в “Подъём”, например, но... Имею ли я право публиковать эту исповедь, ведь она написана только для одного человека. Которому нет до неё дела.

“Я верю, Мишенька, что ты прочтёшь, и наша семейная нить не прервётся”...

Взяв тетради, я положил их на полку. Вы останетесь здесь, в этом домике, где и были, решил я. Ведь я не имел права читать вас, так пусть будет так, словно я вас и не видел. Меня... меня вы изменили и сильно помогли. Но я ничего, совсем ничего не могу изменить. И помочь вам. Простите. Я обращался к воспоминаниям Звягинцева, как к живому существу, которому сострадал.

Приехала семейная пара, дружелюбные хорошие люди. Много вопросов не задавали. Мужчина радовался, а хозяйка уже примерялась:

— Теперь понимаешь, что я была права!

— Что?

— Да насчёт трюмо, что выбрасывать его не надо. Здесь вот поставим. Какое счастье, что мы увидели ваше объявление, — обратилась она ко мне. — Кто рано встаёт, тому бог подает! Просто какое-то знамение, что ли.

Я кивнул. Мы договорились, что в ближайшие дни займёмся оформлением бумаг.

Когда они уехали, я поднялся на второй этаж. Слева был шкаф, в который я ни разу не заглядывал, а теперь почему-то решил... Открыв его, увидел большой чёрный футляр, весь в пыли. Поставив его на кровать, щёлкнул медными замками. Белые клавиши баяна сверкнули от лучей, падающих через окно.

— Вот тебя я и заберу, на память, — сказал я. — И научусь играть, чтобы... не было одиноко.

Я положил футляр в багажник, укрыв плащ-палаткой, на которой так недавно сидела Таня. Завёл автомобиль и поехал на левый берег, в тот самый дом, где снимала комнату она. Звонить было бесполезно. Поднявшись, постучал. Никто не открывал. Может, эта старушка ушла по делам или вообще съехала? Но замок скрипнул, и сердце моё забилося:

— Здравствуйте, простите, — сказал я. — У вас девушка комнату снимала, Таней звали. Не подскажете, где она?

Старуха недоверчиво посмотрела на меня:

— Плохая эта ваша девушка Таня, — ответила она. — За последний месяц так и не заплатила, всё охала, что денег нет, и позже вышлет.

— Так где же она, скажите? Что с ней?

— Да ничего с ней. Умотала домой в свою эту Добринку. Экзамены провалила, плакала. Ещё говорила, с Димой её каким-то проблемы. Да так и убралась с концами. До свидания, молодой человек, — и она захлопнула дверь, не дожидаясь моих реплик.

Я вышел к машине. Старушки смотрели на меня с интересом, я прошёл мимо лавочек. Зазвонил телефон. Высветился номер Николая Белкина — того самого путешественника, который рассказывал о поездке в Магадан на встрече, где мы были с Таней.

— Сергей, я вернулся, и звоню, как обещал. Право первого интервью за тобой, готов встретиться и всё рассказать. Отличный материал дам.

— Николай Сергеевич, не смогу никак.

— Что-то случилось?

— Да вот, — не знаю почему, я решил сказать, как есть. — У моего папы опухоль обнаружили, требуется операция. Сейчас продажей дачи занимаюсь, ещё деньги нужны.

— Тем более приезжай завтра, обсудим.

— А что, есть какие-то варианты помочь?

— Да мир не без добрых людей, подумаем. Если беда приходит, надо её вместе решать.

— Спасибо вам, — ответил я.

— Не переживай. Всё будет хорошо. Но про Магадан всё равно право первого интервью за тобой.

— Буду завтра у вас!

— Любо!

Я набрал маме и сказал, чтобы она ни в коем случае пока не продавала квартиру.

— Но как же? — спросила она взволнованно.

— Решим, — ответил я.

Сентябрьский день был тихим, солнечным. Я завёл мотор и нашёл навигатор в телефоне. Вспомнил, как с его помощью искали адрес в Богучаре. Надеюсь, сегодня он мудрить не будет. Нет, вот она, эта Добринка, каких-то полтора часа пути, всё понятно. Главное, до самого посёлка добраться.

“Когда я встретил твою маму, я ухаживал за ней, но был момент, когда между нами оказался третий, и тогда я понял, что могу её потерять, — вспомнились недавние слова отца. — Тогда я просто рассказал ей о том, что

чувствую, как она мне дорога. И она обняла, поцеловала, сказав, что я придумал много глупостей насчёт того, третьего, и что ей дорог и нужен только я”.

Еду в Добринку, решил я. А там уж, как говорят, язык до Киева доведёт, наверняка люди знают, где живёт Танечка Лукьянова. Разыщу, всё-всё, что думаю, чувствую, как есть — расскажу и отдам. А там будь что будет.

На сердце стало легко и спокойно. Я представлял, как она приглашает меня в свою комнату, а там — много-много кукол, а Галя, за которой мы ездили в Богучар, сидит и блестит стеклянными глазками на самом лучшем месте, у окна...

Воронеж — большой, сильный, мой город-победитель, который я по-новому и крепко полюбил, остался позади. Навигатор отсчитывал километры, сообщая, насколько ближе я к цели. По обе стороны дороги белели, как невесты в золотом наряде, берёзы, и жёлтый лист упал на лобовое стекло.

Я улыбался, представляя, что сегодня, именно сегодня я наверстаю то, что упустил. Да, нужно спешить любить. И я успею.

ДМИТРИЙ МИЗГУЛИН



НЕЧАЯННАЯ МИЛОСТЬ

* * *

Жизнь моя от края и до края
Расплескалось в мареве огней.
Я живу и больше не считаю
Сентябрей своих и октябрей.

Словно кто покрасил эти клёны,
На берёзах золото и медь.
Я старею так непринуждённо,
Что совсем не страшно мне стареть.

Сложные решаются задачи,
И непредсказуем путь светил.
И, конечно, выглядят иначе
Женщины, которых я любил.

Уповаю я на Божью милость
И смиряюсь на закате дня.
Но совсем никак не изменились
Женщины, любившие меня.

МИЗГУЛИН Дмитрий Александрович родился в 1961 году в г. Мурманске. Автор пятнадцати поэтических книг. Член Союза писателей России. Академик Петровской академии наук и искусств, Российской академии естественных наук. Кавалер ордена Преподобного Серафима Саровского РПЦ и различных литературных премий. Сопредседатель Попечительского совета альманаха "День поэзии — XXI век". Лауреат премии Правительства Российской Федерации 2013 года в области культуры. Живет в Ханты-Мансийске.

Отчего такое — сам не знаю.
Восхищаясь — на тебя смотрю.
Догораю тихо, догораю,
Возвращаясь в молодость свою.

* * *

Над немymi далями чужбины
Прочертил пространство самолёт.
Подо мною горы и долины,
Бесконечность океанских вод.

Я лечу опять над миром сонным
По волнам небесным бытия.
По квартирам съёмным и подённым
Расплескалась молодость моя.

Был и я весёлым и упёртым,
Делал всё, что можно и нельзя.
По вокзалам и аэропортам
Разлетелись близкие друзья.

Бестолковым сумрачным влеченьем,
Ветер вечных странствий, мимо мчи...
Озарится пусть душа свеченьем
У иконы тающей свечи.

И наступит тишина такая,
Что услышу, сердце затая,
Как, сама себя преодолая,
Дышит тяжело русская земля.

* * *

Ты живёшь, как будто в сутках
Двадцать пять часов.
Закрывай хоть на минутку
Душу на засов.

За дисконтами вприпрыжку
Быстро не беги.
Поплотней замкни задвижку,
Душу сбереги.

От наветов, от сомнений,
От гнетущей лжи,
От бессмысленных стремлений
Душу удержи.

Береги её, покуда
В мире правит Хам.
И шатается Иуда
По святым местам.

И моли во тьме полночной
Отыскать пути,
Чтоб готовым в час урочный
В вечность перейти.

* * *

В век тотальной обналички,
В царстве мытарей-менял,
Жизнь прожил я по привычке,
Но себе не изменял.

На вершине и в болоте
Жил, как все в родной стране.
И в застолье, и в работе
Был со всеми наравне.

Сокрушает жизни битва,
Но спасает вновь и вновь
Нерадивая молитва,
Бестолковая любовь.

В мире муторно и тесно.
В облаках лечу во сне.
Там, где Ангел мой небесный
Молит Бога обо мне.

* * *

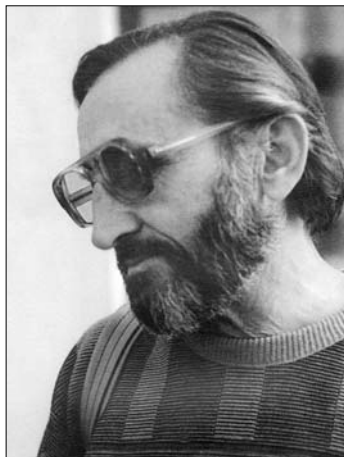
В урочный час, намеченный судьбой,
Созвездия снежинками кружили...
Зачем, скажи, мы встретились с тобой?
Но всё же хорошо, что вместе были.

Мир погрузился в сумрачную мглу,
Но две звезды погасшие шептались.
Из-за чего расстались — не пойму,
Но всё же хорошо, что мы расстались...

Сомнениями душу не тревожь.
Остынувшее сердце не обманешь.
А если в жизни что-то и поймёшь,
То всё равно счастливее не станешь.

Приемли всё, что ниспослал Господь.
И что бы в этой жизни ни случилось,
И ясный день прими,
и непогодь,
И жизнь, как бы нечаянную милость.

ЮРИЙ УБОГИЙ



ВРЕМЯ ВОКЗАЛА

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Теория “Большого взрыва” о происхождении Вселенной, наиболее признанная и популярная на сегодняшний день, может и матёрого материалиста и атеиста заставить посомневаться в своём мировоззрении. Огрублённо и попросту говоря, всё мгновенно произошло, возникло из ничего, из точки некоей, исчезающе малой. И стало разлетаться, усложняясь, по так же мгновенно возникшему пространству. И всё, что есть теперь во Вселенной, результат того, четырнадцать с половиной миллиардов лет назад произошедшего, взрыва. Даже отзвук, эхо его до сих пор звучит и улавливается приборами. А у меня мелькнуло как-то в памяти японское трёхстишие:

*О, цикада, не плачь,
Нет любви без разлуки
И среди звёзд в небесах.*

И я вдруг о Большом взрыве подумал. Это ведь была великая, величайшая “разлука” всего со всем. И японский поэт (жаль, имени не помню) догадался интуитивно о её возможности. Да и не о возможности, а о неизбежности, и не догадался, а вполне утвердительно сказал. Вот она, связь поэзии с глубиннейшей сутью вещей и явлений!

И ещё я вспомнил вдруг нечто подобное. “Художник нам изобразил глубокий обморок сирени” — из Мандельштама строчка. А физики понятие

УБОГИЙ Юрий Васильевич родился в 1940 году в селе Красная Поляна Курской области. Окончил Воронежский медицинский институт и Высшие литературные курсы. Более 20 лет работал психиатром и психотерапевтом. В “Нашем современнике” публикуется с 1978 г. Автор 12 книг прозы. Член Союза писателей России. Живёт в Калуге.

“обморок материи” в научный обиход ввели. Думаю, что поэт тут не просто с ними совпал случайно, а прозрел истину поэтическим прозрением...

* * *

Сижку на тумбочке, переобуваясь перед прогулкой. Наш Луи рядом, настороже, ловит момент, чтобы успеть ткнуться мордой мне в колени, чтобы я его погладил, по заливку потрепал, бормоча что-нибудь одобрительное. А если этого всего не получалось при моей, скажем, спешке или забывчивости, то сидит потом обиженный и понурый. Да что шнауцер Луи, если сам Лев Толстой в старости записал в дневнике, что иногда ему хочется, чтоб его по голове погладили, как в детстве... А психологи утверждают, что женщины для спокойствия и душевного равновесия нужно, чтобы её потрогали, хотя бы чуть-чуть, мельком, шесть-семь раз за день. И мужички не так уж далеко в этом ряду стоят, похоже. Такие вот мы сироты казанские или, как с резкой прямоотой выразился Фолкнер: “Несчастливые сукины дети”. И скрываем это друг от друга изо всех сил...

* * *

Мило... Или не мило. Приятное слово, но не сказать, чтобы сильное. Есть гораздо сильнее слова из того же ряда. А потом подумаешь — нет, слово то из самых сильных. Не раз, к примеру, слышал, как говорили по поводу самоубийства: “Видно, жизнь стала не мила”. Главную, стало быть, причину именно так определяли. Или поговорка известная: “Не по хорошу мил, а по милу хорош”. И тут получается, что “хорошесть” человека — черта крупная, ёмкая — перевешивается этой самой, не такой уж, кажется, и важной, “милотой”. А что она такое, в чём суть её? Трудно ответить, невозможно даже. Тайна...

* * *

Фильм про Бабий Яр, тот самый, что под Киевом. Перед угоном туда людей на смерть портной снимает мерку с дамы средних лет, очень красивой. И музыка грустно-нежная, и снятие мерки воспринимается, как медленный танец любви. Поразительно! Никакая эротическая сцена большего впечатления не произвела бы, пожалуй. Кадр всё время затенён по окружности, и портной с дамой — в центре его, как в центре мира...

* * *

Клён и тополь — главные деревья детства. Весь наш посёлок был в них погружён. На клёны взбираться сравнительно легко, и, взобравшись, ты как в иной мир попадал, “верхний” такой. И словно бы гостил в нём: и посидеть можно было удобно, а то и полежать на толстом и удобном суку. А весной даже угощение доставалось, “кашка”: бледно-зелёные, крупичатые пучки неожиданно пресного, мучнистого вкуса. Голод эта “кашка” хорошо перебивала... Тополя громадны, неохватны, небо подпирали. Пахли после дождя чудесно, а если почку набухшую растереть между пальцами, то запах бил в ноздри с силой нашатыря. Казалось, даже в голове яселло от этого запаха. На некоторых, больших самых тополях обитали из года в год колонии грачей в слипшихся воедино чёрных гнёздах — так, словно огромный кусок нашего курского чернозёма был вознесён в небеса. А как они, грачи, гомонили по утрам и вечерам, будто службу некую при людях несли, будили и провожали ко сну... Клёны были как-то ближе нам, чем тополя, душевней. И доступностью своей, и “кашкой”, и майскими жуками в кронах в мае, и даже похожестью

некоей своих листьев на человеческую ладонь. Примерять даже случалось — вот, как раз впору... Хорошо помню посадку клёна напротив нашего крыльца — прутика тонкого. И ведь уцелел, и рос со мной вместе, став мне, в конце концов, старым, добрым, верным другом.

Были, конечно, и берёзы с зимней белизной стволов, такой странной среди зелени лета, и липы, словно бы позолоченные в пору цветения и чуть уловимо пахнущие мёдом...

* * *

Сосед и старый приятель с нормальным (по возрасту) здоровьем, поехал кое-что прикупить для скорой, серьёзной рыбалки. И умер, что называется, на ходу... А вот если чудом каким-нибудь узнать, что с тобой такое случится, — узнать за день, за два... Как это время проживёшь? Дорогим, бесценным всё вокруг вдруг представится? Возможно. Или, наоборот, бессмысленным и уже чужим? Вполне может быть. А вероятнее всего, будет смесь из первого и второго в разных пропорциях. А ещё вероятнее, хаос будет из отчаяния, смирения и надежды, что всё как-нибудь обойдётся...

* * *

Есть в дневниках позднего Толстого вопрос, довольно-таки странный: зачем на земле такая пропасть людей? (Сейчас, кстати, стало на много-много больше). К кому он, вопрос этот, обращён? К себе ли самому или, скорей всего, к Богу Отцу-Творцу, в которого Толстой, очень по-своему, верил. Подумаешь, подумаешь, да какой-то резон и почувствуешь в этом вопросе. Действительно, зачем эти многие миллиарды, которые ещё и растут неудержимо, всё ожесточённее борясь за возможность жить и даже просто выжить? Не количество же приближает род людской к Царству Божию? Скорее наоборот...

* * *

В повести Томаса Манна “Обмененные головы” двое юношей-индусов тайно наблюдают за омовением в реке юной девушки. Упоминается там линия её бедра, “привязывающая человека к миру явлений”. К жизни, проще говоря. Вот и подумаешь, что, как ни мила, ни притягательна эта линия, но такое значение ей придавать — это уж слишком! А потом вспомнилось по отдалённой какой-то связи окончание самых, пожалуй, всеобъемлющих жизнь человека и человечества в целом, книг: “Божественной комедии” Данте и “Фауста” Гёте. У Данте: “Любовь, что движет солнце и светила”. У Гёте: “Вечная женственность тянет нас к ней”. (К природе, то есть.) Представил ярко “линию бедра, привязывающую человека к миру явлений”, и подумал, что нет, не преувеличено её значение, пожалуй, если с приведёнными строчками линию эту сравнить. Есть в их глубинном смысле и её важное место...

* * *

Многое из самого лучшего в жизни героев Чехова исчезает, едва начавшись, уходит, как вода в песок: и в прозе так, и в пьесах. А в его записной книжке вообще предельная в этом смысле запись есть, набросок рассказа или пьесы. Ждут жениха к свадьбе, но нет его и нет. Потом приходит телеграмма, что он заболел. А через некоторое время ещё одна, что он умер. Вот и кончилась и свадьба, и жизнь брачная, даже и не начавшись... Есть у Шопенгауэра мысль, что жизнь человеческая так тяжка и безрадостна, что самое лучшее вообще на свет не рождаться. Если бы она позднему Чехову попалась,

то, возможно, что он, хоть на мгновение, с ней бы и согласился. Вот написал и тут же подумал — нет, не так, совсем даже не так. Сколько у Чехова радости, жажды жизни, любви к ней, юмора, особенно в письмах. Черпай — не исчерпаешь!

Но если всё-таки ещё поразмыслить не торопясь, то и первый вариант представляется правдой, но и второй тоже. Пара такая неразрывная выходит, как почти всё у людей. Любовь и ненависть, веселье и тоска, надежда и безнадежность, жизнь и смерть...

* * *

После войны в нашем маленьком райцентре Тиме мне приходилось видеть одного лишь милиционера, и я думал долго, что он в посёлке один всего лишь и есть. Даже фамилию помню: Филимонов. Маленький, серолицый, в синей шинели с обтрёпанными лапами. Была и кобура на боку, но не с пистолетом, а с тряпкой, туго затолкнутой внутрь, которая и высовывалась порой чуть-чуть наружу. Вот этот Филимонов и обеспечивал порядок при всех общественных мероприятиях и праздниках. И порядок был. Ну, пьяный мог лежать где-нибудь в сторонке, никто его и не трогал — проспится... Зато немногие мужики были недавние солдаты, да с наградами на груди. Вот в них-то, пожалуй, и была причина тогдашнего порядка...

* * *

Всю жизнь помню март в десятом классе, одинокие прогулки вечерние по посёлку, хруст ледка и подмёрзшего снега под ногами и неожиданное, впервые возникшее чувство, что я всё понимаю или понять могу. Такая была сила напористая в душе и в голове, что, казалось, никаких преград и препятствий для неё не существует. “Прорыв” какой-то небывалый, волшебный прямо-таки, во мне происходил... Спустя лишь годы догадался, что это как-то связано было с первой любовью, переживаемой тогда. А одинокие прогулки и ощущение необычайной силы душевной и умственной (да и физической, конечно) попало как раз на перерыв значительный в свиданиях с подружкой моей Ириной... Возможно, что нечто похожее испытывал Пушкин в Болдине, в “заточении” холерном, ожидая мучительно встречи с невестой и свадьбы. И “силу” свою, всё копившуюся в ожидании, он в работу пускал и сделал за два примерно месяца фантастически много. У меня же работы не было и приходилось просто ходить одиноко часами и “всё понимать”. Есть что-то неловкое, нехорошее в таком вот сравнении себя с гением, но, с другой стороны, все мы, прежде всего, люди-человеки, братья, одного Отца Небесного имеющие... А подружка Ирина час назад куда-то с нашей внучкой Дашей по делам поехала. Ей и текст этот печатать придётся...

* * *

Когда наезжает большая грусть-тоска, то последняя линия обороны и защиты — чтение Аксакова или Шмелёва: те вещи, где просто жизнь, течение её и чудо её. А что “повыше”, то и не годится: нет ни сил, ни желания подниматься на эту “высоту”. Да и нужна ли она вообще — так в этом состоянии думаешь...

* * *

Поворот людей при половом акте “лицом к лицу” психологи считают важнейшим событием в истории отношений полов, гуманизацией их и даже началом половой любви в теперешнем её смысле. Что ж, такое вполне можно

понять и представить, только не обесценилась ли классическая эта позиция как слишком простая и “постная” в хаосе современного сексуального модерна? Да что там позиция! Видел недавно на экране японскую красавицу — робота: очень недурна, и даже мила чем-то. Она и за столом, она и на диване... В конце же просто шок: лицо исчезает, снимается, а на его месте густая путаница проводов...

* * *

Исчезли с нашей окраины среднеазиаты, построив лет за пять большой жилой квартал. И как-то их чуть и жаль, вписались в жизнь — работали на виду, покупали хлеб в огромных количествах сразу, в футбол играли то между собой, то с нашими парнями... И их подчёркнутая вежливость по отношению к пожилым людям была заметна и приятна. А вот чтобы среднеазиат с нашей, местной девичей хотя бы прогуливался — такого видеть не приходилось. Какая-то здесь существует, похоже, непереходимая черта... Кстати, загородный дом нам построили каракалпаки, специально для этого из дали дальней прилетев. Быстренько сделали сарайчик аккуратный и жили в нём. Работали не покладая рук и сделали всё, как надо. Не пили и даже не курили — так, во всяком случае, выглядели. А вот наши, местные строительные бригады всегда с опаской нанимают из-за вполне возможного пьянства. Даже писать такое горько...

* * *

Одиночество... Кто-то страдает от него всю жизнь и избавиться не может, а кто-то всю жизнь к нему стремится и никак не может обрести. Я в детстве, лет в 10 от его, одиночества, мучительного влияния прививку получил и потом, если и доставало оно меня, то недолго, хотя и остро.

Заболел тогда scarлатиной и провёл 42 дня в инфекционном бараке (так тогда говорили — барак) районной больницы. Здоровым уже, в сущности, просто карантин был такой громадный. В палате коек на 10 лежал всё время один, и выдерживать такое было так тяжело, что впору и сбежать. Выручили меня книги. Особенно одна, которая не просто запомнилась, но и осталась главной книгой детства: “Два капитана” Вениамина Каверина. Я и сейчас её помню до мелких деталей. Перечитывать потом опасался, чтобы не испортить впечатления... Поразительно, что судьба потом дважды свела меня с автором книги. В первый раз на странице газеты “Труд”, где были напечатаны имена победителей конкурса на лучший рассказ, а второй в писательском доме в посёлке Комарово под Ленинградом. И смотрел я тогда на маленького, сухонького, краснолицего старичка взглядом из детства — как на чудо! И не верил в глубине души, что именно он, вот он, ту, великую для меня, книгу написал... Подумывал подойти, познакомиться, историю эту немудрёную рассказать, но так и не решился. Сложное какое-то чувство удерживало — и почтение огромное, давнее, с которым я долгие годы жил, и, опять же, разочарования страх. Напрасно не подошёл — ведь ему-то, Каверину, наверняка приятно бы было...

* * *

Потянуло, словно на прощанье, прочитать кое-что из вещей собственных, давних уже, биографических — детство, с первых воспоминаний начиная, отрочество, юность... Поразительное впечатление! Перерождаешься, тем самым, немисливо давним становясь. Какое-то преодоление времени получается, пусть и недолгое, при чтении лишь. А ещё и энергия, когда-то тобой в текст вложенная, вливается в тебя, молодит, бодрит, пацаном босоногим, неумным делает. Чудо, в сущности...

* * *

В конце 80-х годов, когда социально-политическая жизнь была бурной, как море в шторм, посещали мы с сыном нечто вроде кружка философского, где обсуждались по свободному выбору всякие-разные метафизические вопросы. Солировал Всеволод Катагошин, истинный философ по натуре, ну, и остальные вносили свою лепту посильную. Без алкоголя обходились, только крепкий чай. Однажды собрались, разговор наш метафизический ещё не начался, и телевизор был включён: обсуждался референдум о судьбе СССР. Кто-то телевизор и выключил — мы, де, серьёзные вещи обсуждать намерены, и нам не до этих “пустяков”. Меня это возмутило, и не помню, к сожалению, то ли включили телевизор вновь, то ли нет... А вот теперь я и думаю, почему именно в ту пору мы к этой самой метафизике так потянулись? Кто-то, может, хотел из жуткой, страшной неразберихи социально-политической уйти хоть ненадолго, а кто-то, возможно, надеялся приподняться над ней и с высоты метафизической суметь разглядеть хоть что-то и понять. Вот только проку от этого понимания, если оно у кого-то и проблёскивало, не было бы совершенно. С какой-то геологической неотвратимостью всё шло и, скорей всего, было уже предрешено свыше...

* * *

Очень важно бывает вовремя умереть. Не раз думалось: вот этот как раз в пору ушёл, а вот этот запоздал немного... Для Бунина, к примеру, неплохо было бы вскоре после возвращения из Грасса в Париж и Победы нашей уйти. Отпраздновать её хорошенько, да и отбыть в мир иной. Потому что уж очень тяжела оказалась жизнь мирная. Намного тяжелее, пожалуй, чем в Грассе в войну. Тогда хоть интерес жгучий был — к ходу войны, в ожидании конца её...

А в Париже та же нищета и проголодь, тот же Зуров ненавидимый рядом, в тесноте квартирки, а природы, которая так утешала его и поддерживала в Грассе, нет как нет. Главное же, хвори обострились, как отдача после многолетнего напряжения. И дневник он после Грасса на целых восемь лет, до ухода самого, оставил — очень плохой в его ситуации признак... Можно и ещё добавить в том же духе, но ясно вдруг представилось: если бы сказал ему кто-нибудь вот такое подобное, пухнул бы Бунин в него матерком с яростью. Уж очень жизнь любил, любую, возможно...

Да, кстати, видел в орловском музее комнату, сделанную под его парижскую. Даже окно на глухой стене нарисовано с тем самым видом, который за настоящим, парижским окном был. Вся мебель комнаты бунинская, из Парижа привезённая и нищенская до боли...

* * *

В детстве, лет до семи, ясно так помню, однообразие дней доставляло явное удовольствие — сегодня, как вчера, завтра, как сегодня... А нового вроде бы и не надо было, жизнь привычная-обычная наполняла душу вполне, до краёв. И был во всём этом некий привкус вечности приятный, даже от книжек, одних и тех же, он исходил. Вот и теперь, в старости, нечто похожее начинаю испытывать. Смыкается и в этом конец с началом, как оно и быть должно...

* * *

Видел по ТВ последний, скорей всего, приезд Василия Белова в родную Тимонию. Многие из писательской братии побывали у него тут в гостях. Чудесная есть фотография, на которой сидят они с Шукшиным рядом на

лавочке с поленницей высокой за спиной — типичные жители местные по виду. Один, скажем, шофёр, а другой — плотник... А в этот раз стоял Василий Иванович у своего дома, ухоженного, как никогда, наверное, и готового, похоже, стать музеем. В движениях, в речи явно проступали остатки недавнего инсульта. Рядом с ним женщина и двое ребятишек деревенских. Садясь в машину, сказал он им на прощанье: “Учитесь на поэтов”, — и уехал... Показали только дом Белова, дуг, речку, лес вдалеке, а сама Тимониха даже не мелькнула. И нечего, и неловко, возможно, было показывать... Похоронили Василия Ивановича по его желанию на деревенском кладбище рядом с матерью. А мне представляется навязчиво зима, заброшенная деревня, кладбище и две могилы, полузанесённые снегом. И тоска от этого тяжкая и, прожилкой тонкой, удовлетворение — вернулся домой всё-таки, в родную землю лёг...

* * *

*Смерть и время царят на земле,
Ты владыками их не зови,
Всё, крутясь, исчезает во мгле,
Вечно светит лишь солнце любви.*

Это Владимир Соловьёв, философ и поэт.

*Улетит и погаснет ракета,
Потускнеют огней вороха,
Вечно светит лишь сердце поэта
В целомудренной бездне стиха.*

А это Николай Заболоцкий, просто поэт. Уж какие разные были люди, уж какие разные были у них судьбы, а вот сошлись же так удивительно близко в этих прекрасных и важных для каждого стихах!

* * *

У всех, наверное, есть любимые вещи, которые сопровождают человека долгие годы, а то и всю жизнь. У Вяземского, ближайшего друга Пушкина, это был халат, которому он даже оду написал полушуточную; у одного моего друга — кусок виноградной лозы интереснейшей формы; у меня — вышитое и заклочённое в солидную раму изображение богини растительного царства Флоры...

Любимые вещи, любимое животное... Любимое — не шутка! Вот верил же философ Бердяев, что встретится в мире ином со своим котом любимым. Так почему бы и всему, что мы истинно в жизни любим, там не оказаться?!

* * *

Кусочки из раннего детства. Матушка что-то делает за столом и напевает тихонько: “До свиданья милый скажет, а на сердце камень ляжет”. Только эта строчка и помнится, и вспоминается всю жизнь. Случайность? А может, душа уже тогда способна была угадать, как хороша эта строчка и как много за ней стоит? Или в другой обстановке, в несколько голосов спетое: “Имел бы я золотые горы и реки, полные вина...” Удивление и восхищение своё помню перед такими горами и такими реками. Хотя что я мог тогда знать о золоте и вине? То ли догадывался чудом каким-то, то ли гениальная память подсказала...

* * *

Был семейный костерок в саду, и правнучка моя Анюта влезла на здорового коня плюшевого, рыжей масти, и долго на нём, подпрыгивая в седле, ехала-скакала... Вот и сбылась моя жгучая, детская, первого послевоенного года мечта, в жизни правнучки сбылась через 70 лет! Анюта едет-скачет, но ведь и я в ней какой-то своей малой-малой частью тоже еду-скачу. Смотрел, ехал-скакал и чувствовал, что чего-то всё-таки не хватает. А, сабли в руке, взмахая её лихо! Жаль, не девчоночье это дело, надо правнучка дожидаться и саблю ему подарить для полноты картины...

* * *

Потерявшийся, заблудившийся мальчик и он же — теперешний я, то есть на пару минут потерявший ориентировку в городе, знакомом насквозь. Состояния похожие чем-то. Тогда — ужас, а теперь — страшок небольшой, едва мелькнувший. И мысль — а сколько же стариков теряется всерьёз и надолго. А то и навсегда... Но ведь и народы целые “теряются” за какое-то, пусть и большое весьма время. И цивилизации целые. А для атеиста и всё человечество “затеряно” в бесконечной Вселенной. И “найти” ему невозможно, а можно, да и неизбежно лишь исчезнуть в конце...

* * *

В один из моих приездов в Коктебель стал появляться на вечернем пляже крепенький мужичок в белых брюках, белой рубашке и с трубой в руках. Подходил то к парочкам, то к компаниям целым и спрашивал, что им сыграть? Иногда не получал заказа, но чаще играл. Недолго, две-три всего минуты, но совершенно чудесно! Звук трубы вообще особенный, с таинственной какой-то, трудно определяемой добавкой. То голос человеческий в нём мелькнёт, отдалённый, зовущий; то мускульное усилие трубача, от ног до губ, к трубе прижатых, отразится; а то вдруг ты сам, слушатель, на самой высокой, вот-вот готовой оборваться ноте тоже напряжёшься и душой, и телом, словно трубишь вместе с трубачом... А солнце только что за горы ушло, море без морщинки единой и лишь по самому краю воды чуть подрагивает — от звука трубы как будто... Однажды трубач заиграл французскую песню “Осенние листья”, из любимых моих. Ив Монтан её пел чудесно. А тут и женщина подошла к соседнему свободному лежаку, халатик сбросила, волосы роскошные, пепельно-дымчатые под купальную шапочку убрала, посмотрела глазами зелёными и к морю пошла, резко выделяясь на его бирюзовом фоне. И линия бедра была у неё та самая, что привязывает нас к жизни. Так и идёт, и идёт в памяти до сих пор...

* * *

Был в нашей округе пивной ларёк, очень приятный. Даже столики за ним стояли, два-три, без стульев, а дальше пустырь. Вот и толклись мужики с пивными кружками в славном этом местечке, и часто женщина средних лет, полуинтеллигентного, полубомжовского вида подходила, стояла, ожидая, не даст ли кто кружку допить. Иногда и просила — очень робко. Давали, конечно, но хмуро, отворачиваясь и как бы стыдясь. И однажды один из мужиков не выдержал и крикнул: “Да я лучше пиво это вылью, чем тебе дам!” Возмутился такой степенью падения человеческого, очень даже понятно. А я вдруг вспомнил фразу из “Света в августе” Фолкнера: “И только позор хуже небытия”. Так это глубоко, что и дна не видно, лишь душа чувствует некий смысл. Но ведь запомнилось!

* * *

Не поэт оставляет стихи, а стихи оставляют поэта, так, похоже. То на время, а то и навсегда. Блок вскоре после окончания поэмы “Двенадцать” написал в дневнике: “Звуков больше нет”. И стихов, соответственно, тоже. У Мандельштама был огромный, лет в пять, перерыв в писании стихов без всякой видимой причины — не писалось, и всё тут. А пора, судя по возрасту, была самая рабочая. Тяжело всё это, конечно, переживать-терпеть, и даже чем-то оскорбительно. То “включают” тебя, то “выключают”, не спрашиваясь. Но и что-то ещё, именно противоположное, присутствует — догадка о высоте “инстанции”, которая влияет на работу. Ведь не только же в здоровье, обстоятельствах жизни, настроениях дело. Иное, высшее, божественное, быть может, тут есть... Кстати, прозаики тоже подвержены чему-то подобному, но в меньшей, смазанной степени.

* * *

Есть у нас рядом акведук с ручьём и водопадиком — чудесное местечко. Однажды вижу, человек с толстой книгой сидит у самого, впритык, водопада, в чтение погружённый. Что-то во всём этом было восточное, китайское даже, часто на картинах и гравюрах попадалось: “поток” с напряжённым водопадом, заросли густые и человек среди них. Довольно долго я на гостя-читателя смотрел и решил, что он не просто книгу, а учебник именно читает, а “поток” и водопад помогают ему читаемое постигать. Русский язык, быть может. По мне он лишь скользнул взглядом — и в книгу. И это тоже было как-то по-китайски. Да, и лицо у него было вполне китайское, насколько я судить могу... Во время прогулки он несколько раз вспоминался мне, словно было в его появлении что-то существенное. Но ведь и было — такое любимое, душе близкое, интимное даже, место и вдруг — китаец. Надо же!

* * *

Недавно узнал, что первые в стране “комплексы” по производству туалетной бумаги были закуплены у Финляндии в 1969 году, через семь (!) лет после полёта Гагарина. Расхотаться было впору, а потом и призадуматься. Вот одна из не последних причин быстрого и почти без борьбы падения Советской власти. Для народа “вообще”, в целом, она делала очень много, а отдельного человека, с его жизнью конкретно-бытовой, не видела порой в упор. Какая ещё там туалетная бумага? Не до неё! Обойдётся, авось, не बारे...

* * *

Купил впервые обувь, часто у соседней виденную, — нечто вроде галош глубоких, по щиколотку, и даже с опушкой мехом искусственным и им же внутри. Удобно очень: в сад-огород по росе выйти, да и просто в мокрую погоду вблизи дома погулять с собакой. А стоят такие чоботы всего 250 рублей, и их, в сущности, можно при нужде круглый год носить, если ноги утеплять получше, портянками, скажем, уже полузабытыми... Походил в этих чоботах, удобных вполне, и вдруг подумал — это ж вечная всей бедной России задача решена! Великое, прямо сказать, событие! Прекрасно помню послевоенные, когда не редкостью было в наших курских краях детям в школу не ходить — не в чем было. Так именно и говорили — “не в чем”. И касалось это, прежде всего, обуви, самого слабого места у бедняков... Да, ведь и часы электронные теперь те же самые 250 рублей стоят или около того. Прекрасно работают, сам такие в кармане много лет ношу. А когда-то,

не так чтобы очень давно, какая была ценность! Приедет домой в отпуск кто-нибудь с “производства”, и, если на руке часы, то это особо отмечали, говоря: “При часах приехал!” И снимали их порой у людей в тёмных, глухих местах... Что ж, обеспечила себя, слава Богу, Россия всем доступной обувью и часами. Большое дело сделала! До всем доступного жилья ещё бы добраться вот так же, но уж это очень далеко за моим “горизонтом наблюдений” останется, конечно. Удачи только пожелать могу...

* * *

Встретил сегодня девочку лет семи, пускающую на ходу мыльные пузыри. Какая-то штучка небольшая, вида магазинного, у неё в руках, из неё пузыри и вылетают. Нажмёт на ней, “штучке”, на что-то, и пузыри из неё летят стремительной чередой, как из автомата. Девочка на них даже и не смотрит толком, идёт себе, а за ней целый пузырьный шлейф тянется. И видел я всё это с какой-то странной смесью неприязни и грусти... Для нас в детстве пускание пузырей было делом сладким и очень даже не простым. Сначала соломинку надо было найти правильную, потолще и попрочней, потом расщепить её аккуратно с одного конца на четыре выступа по сантиметру примерно каждый. Что-то вроде соломенного цветка, в конце концов, получалось. Потом мыло надо было развести в какой-нибудь черепушке, не жидко и не слишком густо. Потом выбирали мы во дворе местечко подходящее, чтобы и ветерок слабенький был, и пространство для полёта пузырей. А потом было самое сложное и тонкое, чутья особого требующее: махнуть “цветок” соломенный в мыльный раствор и дуть на него тихо и осторожно. И капелька мыльная, посреди “цветка” соломинки висящая, вдруг превращалась в маленький пузырёк, мутный ещё, с жидким дном. Теперь надо было не сорваться, а дуть так, словно не только воздух из губ выпускаешь понемногу, но и часть души своей. Выпускаешь и кормишь, растишь этим пузырёк, а вот уже и пузырь растёт и расцветает, становясь сверкающим, радужным чудом... И сердце у тебя стучит тревожно. Что будет — то ли лопнет с арбуз уже выросший пузырь, то ли от соломинки оторвётся и полетит-полетит, как чудо и мечта! Первый пузырь почти всегда лопается у тебя под самым носом, а вот второй отрывается от соломинки неохотно и летит-летит, такой огромный, прекрасный, и скрывается вдруг за углом... А ту девочку с пузырьным “автоматом” становится мне неожиданно жаль — не испытать, не пережить ей такого...

* * *

Посмотрел, как забивают сваи под фундамент многоэтажного дома. Забить надо каждую до упора в камень, в слой известняка. Вот достигла его свая и стоит непоколебимо, вниз под ударами больше не уходя. Так и будет стоять, дом на себе держать потом... И вспомнилась вдруг Ахматова: “Мы ложимся в неё и становимся ею, // оттого и зовём так свободно — своею”. О родной земле, разумеется, речь. Какая у неё, Ахматовой, жизнь была тяжёлая, сложная, бесприютная, но всё-таки достигла же она, добралась до своего слоя, упора надёжного, на котором и стояла твёрдо до конца... А вот у Цветаевой отношение к земле было совсем иное, противоположное. Писала, что стоит на ней на цыпочках, готовая оторваться вот-вот. И оторвалась... Может, немного не дотерпела, не дотянулась до опоры, до того слоя прочного? А попытки были:

*Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё равно, и всё едино,
Но если по дороге куст
Встаёт, особенно — рябина...*

* * *

На вопрос, какой мой любимый цвет, я ответил как-то слишком уж мудро: цвет небесной голубизны, озарённой солнцем. А потому, что нечто Божественное в ней, голубизне такой, есть. Чудится даже, что там, в ней и за ней, Царство Божие, может быть... А потом, вскоре, стихотворение Тициана Табидзе прочитал, где о том же самом и говорится: “Цвет небесный, синий цвет, // Полюбил я с малых лет. // В детстве он мне означал // Синеву иных начал...” Разницей же между голубизной и синевой небесной можно и пренебречь, главное, суть та самая. И ещё подтверждение этой сути: мадонн с младенцами старые мастера часто на фоне этой самой голубизны-синевы небесной изображали. Уж никак не случайно!

* * *

Наш участок под картошку в овраге, где мы её растили в 90-е лихие годы целых шесть лет, занял очень приятный мужичок. Лет 50-ти, спокойный, общительный, интеллигентный по виду и разговору. И в этот же год случилась весной маленькая катастрофа — высокий глинистый берег ручья, омывающего участок, рухнул вниз огромным куском и перегородил ручей, даже ход его изменив. Я часто гулял в тех местах и имел случай понаблюдать, как новый хозяин участка исправлял последствия обвала, спасая участок от размыва и уничтожения. Собственно за работой видеть его не пришлось, а на результаты её я насмотрелся вдоволь. Что-то невероятное, когда с трудом веришь глазам своим. Обломки крупные блоков, брусков железобетонных, железяки здоровенные, брёвна... И все привезено на ручной тележке по сложной тропе примерно за километр и уложено, вкопано хитроумно и надёжно, в берега ручья для их укрепления. Египетская какая-то работа, даже пирамиды мне померещились... И, наконец, встретил великого этого строителя и спросил, как он смог сделать такое? А он ответил просто, что всю жизнь любит тяжёлую работу и даже ищет её. Помолчал и продолжил уже другим, доверительным тоном (знал, что я по первой профессии психиатр), что его сильно оскорбили, унизили в детстве и это мучает его до сих пор (!). Только вот в такой тяжёлой работе он и находит облегчение. Выслушал я всё это и почувствовал, что заглянул вдруг в ту часть чужой человеческой души, где, по пословице, “потёмки”. Даже чуть зазнобило от представления их таинственной глубины. А в жизни у него, в общем, всё нормально — и с работой, и с семьёй. Не исключаю даже, что он о той травме душевной, детской, никому и не говорил — и вдруг вырвалось. В чём травма конкретно состояла, он не сказал, а я не стал спрашивать — не врачебный же приём был, а разговор приятельский...

* * *

У философа Хайдеггера неизбежность и необходимость смерти объясняется заботой, суетностью всегдашней, погружённостью в неё человека, “дурной бесконечностью” этого, которую надо же когда-то и прекратить, перейдя из времени в вечность через смерть. Прочитав такое, тут же вспомнил отрывок из “Четвёртой прозы” Мандельштама: “Пожил ты, человек, походил в баню и парикмахерскую, поездил к другу Серёжке в Гатчину, попил пива в ларьке на углу — и будет”. Удивительно, как сошлись близко крупный философ и великий поэт, да ещё в таком важнейшем вопросе, как смерть и смысл её...

* * *

Стоят после долгого ненастья дни-подарки, как говорится. Порой думаешь в таких случаях: вот бы и всегда так! Но нет, не надо. Будь так, то не только ценить, но и замечать их прелесть перестанешь, что ж тут хорошего...

А ещё говорят: женщина-подарок. Серьёзная такая, похвальная оценка, ёмкая в своей глубине. Или ещё: женщина-праздник. Вельма заманчиво, но лишь на первый взгляд. Подумаешь и засомневаешься: так ли уж это хорошо? И легкомыслие глуповатое начинает представляться, и утомление от особы такой рядом. Впрочем, это уж во мне возраст, старчество моё заговорило. Пусть будет таких побольше. Не для меня, так для других. Женщина-праздник! Сказать-написать — и то приятно...

* * *

Есть короткие отрывки прозы, которые я помню и проговариваю про себя совершенно наравне со стихами. Да это стихи и есть, только прикрытые, “замаскированные” под прозу. Особенно часто это встречается у Чехова и Бунина. И даже у такого по стилю нескладного, многословного, тяжёлого Толстого. Вот, например, как помню, из “Войны и мира” кусочек, из внутреннего монолога князя Андрея: “Все лучшие минуты его жизни вдруг вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом; и мёртвое, укоризненное лицо жены; и Пьер на пароме; и девочка в Отрадном в лунную ночь; и эта луна, и эта ночь — все это вдруг вспомнилось ему”. Ну, чем не стихи? Особенно поражает, что в лучшие минуты жизни он включил “мертвое, укоризненное лицо жены”. Почему? Возможно, по той глубине чувств, которые оно, лицо, в нём вызвало...

* * *

“Кто смотрит на облака, тому не сеять”. Из Библии фраза, и какая поэтическая, и какая глубокая!

Хорошо, что они есть у нас, облака. Разной высоты и формы, то неподвижные, то летящие стремительно под ветром, то растущие, то тающие едва уловимо. И ждём, и угадываем мы в них разное — то ненастье, то славную погоду. А влюблённый может и профиль подруги своей в одном из них вдруг разглядеть. И в литературе много облаков, особенно у Бунина, Тургенева и Толстого. Есть и знаменитые, “литературные” облака. Те, которые, видит тяжело раненный, князь Андрей над собой, лёжа на поле Аустерлица. И те, которые наблюдает внимательно Левин на копне сена ранним утром, перед тем, как увидеть любимую свою Кити. А ещё и облачко из “Капитанской дочки”, предвещающее страшный буран и встречу Гринёва с Пугачёвым... А тучи, в которые превращаются иногда облака, не менее для нас интересные, разнообразные и значимые! А сплошной, однообразный, то тёмно-серый, то светлый покров, который и день, и два нависает над нами, как крыша. А лучше всего для наших краёв, когда нет ни облаков, ни туч, ни “покровов”, а есть лишь нагое, синее или голубое, божественное небо...

* * *

В Чеховской “Чайке” Заречная говорит Треплеву с тоской, что завтра ей рано утром ехать в Елец, играть перед купцами... Удивительно, что в последний, недавний чеховский юбилей группа французских театралов отправилась в Елец, чтобы посмотреть, что это за город такой, в который так уж не хотелось ехать Нине Заречной и играть там. Представляли, конечно, что-нибудь крайне непривлекательное, дикость провинциальную. А в Елецкой гимназии, между прочим, учились во время, близкое времени действия в пьесе, Бунин, Пришвин, философ отец Сергей Булгаков, и Василий Васильевич Розанов преподавал. Найдётся ли во Франции городок, близкий по величине нашему тогдашнему Ельцу, который бы смог выставить в ту пору от себя такую могучую команду? Очень сомневаюсь...

* * *

“Нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели...” Жутковатая строка поэта-фронтовика Семёна Гудзенко. Даже некую заповедь напоминает. Только не от Бога, а от инстанции иной. Особенно если вспомнить, что в народном понимании жалость и любовь, в сущности, одно и то же. Вот и получится тогда: “Нас не надо любить, ведь и мы никого не любили...” А поэт Семён Гудзенко по-настоящему талантлив, что даже по приведённой строке видно. Талантливо и опасно, поскользнуться можно и упасть...

* * *

Перечитал “Тихий Дон” в последний, конечно, раз. Великая книга, а финал по трагической мощи самый сильный из всего, за жизнь прочитанного. И такое опустошение душевное потом, словно собственная жизнь вместе с жизнью Григория вот-вот кончится... Сравним с финалом “Тихого Дона” для меня лишь финал “Чевенгура” Платонова и “Ста лет одиночества” Маркеса.

* * *

Самая “русская” картина, на мой взгляд, “Грачи прилетели” Саврасова. Ещё и фамилия у автора из русских русская, надо же так совпасть! А от картины тянет чем-то знобким, щемлящим, как и от всей нашей жизни вообще...

* * *

В СМИ сообщают, что в последнее время быть в депрессии стало модным. Речь, конечно, идёт не о клинической депрессии, а о бытовой грусть-тоске. Скорей всего, тут не в моде дело, а в том, что люди устали быть бодрячками напоказ и стали позволять себе эту самую грусть-тоску. Огромную, между прочим, и совершенно естественно — необходимую часть душевной жизни человека. Если её убрать, то мы и людьми, в теперешнем понимании, перестанем быть, в весёленьких роботов превратимся. Да и вообще, жизнь современного неверующего человека, если увидеть её без иллюзий и самообманов, так неизбежно, непоправимо трагична, что тут даже не до грусть-тоски, тут ужас будет сплошной. Тут, подобно герою позднего стихотворения Пушкина “Странник”, впору бежать в страхе, куда глаза глядят, ища помощи и спасения...

* * *

Фигусы послевоенья, во всех почти столовых они были, фирменный знак прямо-таки. И у нас дома был: огромный, растущий в бочонке деревянном. А ещё туя, не меньше фикуса. Разница их удивляла, словно на разных полюсах находились. У фикуса листья, как лепёшки зелёные, толстенькие, тяжёленькие, а тут кружево какое-то тончайшее. И рос я под сенью комнатных этих деревьев, как в маленьком волшебном лесу. А когда квартиру получил с семьёй в военном городке на Урале, то сразу стал таскать в неё с утренних пробежек по лесу то ветку какую-нибудь красивую, то букет-букетик цветов. От привычки жить с детства с растениями рядом. Так оно и осталось на всю жизнь, крепкой оказалась ранняя эта закваска.

А потом у соседки с первого этажа полвека почти лимоны за окном желтели постоянно. Любовь! Возможно вполне, что она и разговаривала с ними тихонько...

* * *

Закон всемирного тяготения — один из важнейших в природе. Самый важный, может быть. А вот как, посредством чего притягиваются все тела Вселенной друг к другу, открыть никак не могли. И вот свершилось! Астрофизики нашли зону, где две “чёрные дыры” начинают сливаться, и тут-то и обнаружили некие особые, ранее не известные волны, через которые закон этот и проявляет себя, тяготение всего ко всему создаёт. Поразительно, что нечто близкое человеку, интимно близкое, в этом законе есть, в притяжении полов друг к другу, прежде всего. Что и приятно, и жутковато, если вдуматься. Любовь людей и тяготение, “любовь” звёзд друг к другу... И слияние, бывающее и у людей, и у звёзд...

* * *

Конец октября, а снег сыплет крупный, сухой, густой, совершенно зимний. На остатки листьев жёлтых на деревьях в саду и зелёных ещё вполне, на кусты сирени в палисаднике. Глянул в очередной раз в окно — и сойка в тот же миг явилась, закачалась на ближней, руку протянуть, ветке, с зеркальцем своим изумрудным, блестящим на боку даже в такой снегопад. Красавица! Посидела бы подольше, только б кричать-петь не начала, не заскрипела бы, как тележное намазаное колесо...

* * *

Боль о безвременной смерти (гибели) Пушкина жива до сих пор и останется, пока будет Россия. И она не только о том, что он мог бы ещё сделать, но и о том, как бы он жизнь достаточно долгую прожил, лет до 70-ти, скажем. Как бы жил в быту, семье и обществе, как бы менялся с возрастом, какие бы оценки событиям важным социально-политическим делал? Оценщик он был несравненный, точный и глубокий, далеко превосходя в этом профессионалов-политиков, дипломатов, экономистов... Одна его оценка тогдашних Соединённых Штатов Америки в статье “Джон Теннер” чего стоит, не устарев до сих пор! Кажется порой, что и отдельным людям, и даже целым поколениям жить было бы легче, путь правильный выбрать проще, если бы жизнь Пушкина оказалась долгой и известной современникам и потомкам во всей возможной полноте. Освещения бы прибавилось, и свет был бы верней направлен...

* * *

Сегодня исполнилось 55 лет нашей с Ириной общей жизни. “Расписались” мы в Харькове, где училась Ирина, а я из Воронежа приехал и друга с детсадовских ещё лет привёз с собой в свидетели. Вторым свидетелем тоже друг был ближайший, учившийся в Харькове. Мороз помню редкостный, темно-красные стены загса, потом застолье малолюдное и недолгое. Помню, что как-то тяжело было на сердце, хотя женились мы по обоюдной и долгой уже любви. Невозможно было тогда ни представить, ни предположить даже, что совместная жизнь и любовь наша продлится на такой чудовищно большой срок! И даже сотрудничество тесное — вот пишу сейчас, а на столе рядом ноутбук и рукопись, которую жена как раз перепечатывает... Ирина была по-новому как-то красивой в тот сказочно далёкий день, в чудесном вишнёвом платье, а я в чёрном нескладном костюме и чёрной рубашке. *Чёрный человек* такой... Назавтра в ночь, при сильнейшем морозе, уехали мы на автобусе в Курск. А оттуда домой, в наш родной, общий Тим. Вспоминается обо всём этом так много, что в растерянность впадаешь — что выбрать? А лучше всего написанным и ограничиться, остальное же оставить при себе.

Да и вообще, дела интимно-близкие трудно, а порой и невозможно записывать. Не потому, что неловко, совсем нет, а потому, что записанное и, тем более, опубликованное словно бы оставляет тебя, уходит куда-то. Эдак, глядишь, можно и голым на холоде себя, в конце концов, почувствовать...

* * *

Всё чаще в последнее время говорят о профессиональном “выгорании”. Это когда человек начинает делать своё дело формально, стереотипно, без эмоционального, душевного участия. Касается это довольно многих, и наступает в разные, у каждого свои сроки. Лет через 7–10 после начала работы, в среднем. Это неприятно и тяжело и для самого работающего, и делу вредит. Стоит представить себе равнодушно работающего врача или учителя, и всё станет ясно... А недавно даже Патриарх Кирилл об этом самом “выгорании” заговорил — у священнослужителей оно тоже проявляется. Сразу отметил неточность некоторую термина “выгорание” в этом случае. Сказал, что тут, скорее, надо иметь в виду усталость, уныние, ослабление веры вплоть до потери её. И меры принимать — от помощи духовника до вещей вполне житейских: отдыха, улучшения быта и т. д. Вот тут-то я впервые вполне и почувствовал, что священники всего лишь люди и что сан не защищает их от слабостей и грехов человеческих. И сложность, и тяжесть их служения сочувственно представил тоже. Бремя, которое надо нести всю жизнь. А “выгорание”, что ж... Все выгорает, даже звёзды... И бороться с ним необходимо, пусть и без надежды вполне его победить...

* * *

Год назад погибла в сбитом террористами самолёте доктор Лиза. И передача по ТВ была: “Год без доктора Лизы”. Хороший заголовок, правильный: то мы все жили с доктором Лизой, а теперь вот живём без неё...

Начало её пути славного, истинно христианского, хорошо помню — первый автобус, в котором кормили на московских привокзальных площадях бомжей и отвозили желающих в “ночлежку”. Ясно так тогда представилось, что вот дело из самых, может быть, нужных и важных, которые были тогда в нашей, великой и огромной стране... А по ходу телепередачи, где доктор Лиза была показана много и разнообразно, подумалось, что дар сострадания и стремление помочь ближнему от рождения, от Бога даётся, точно так же, как всякий иной дар, талант. И является самым главным...

В жизни, работе и даже смерти доктора Лизы есть что-то от промысла Божьего. Сражалась она за добро на житейском поле брани, пока не погибла “за други своя...”

* * *

“Есть время обнимать и время уклоняться от объятий”. Екклесиаст. Различать надо — какие объятия? Одни — от тела, другие — от духа. Первые иссякают с годами до исчезновения, а вторые лишь крепнут, удерживаясь до конца. И от них не уклониться, если бы и захотел...

* * *

Мураками сказал в интервью, что хочет и ищет пустоты в душе, даже создать её как-то пытается. Думает, что пустота поможет и продвинет его в работе. Очевидным представляется обратное: полнота души — творчества источник. Так бы я и посчитал его, Мураками, чудачком, мягко говоря, если б не узнал недавно, что современная физика считает пустоту не существующей

в природе. Просто мы не можем пока нащупать содержание этой “пустоты”. А Мураками, выходит, интуитивно на это вышел. И ещё пример близкий. Средневековый богослов Николай Кузанский, создатель теории “умудрённого незнания”, считал, что истинное знание достигается именно через незнание. Такой парадокс: зная, мы не знаем, а вот не зная, знаем как раз. Заумь всё это, так может показаться, но останавливает много раз пережитое: бесплодная попытка понять что-то, для тебя очень сложное. И вдруг это понимание приходит, когда ты уже и попытку свою давно оставил. С таким притом ощущением, что ты это понимание вспомнил просто-напросто. Знал когда-то давно, забыл, а теперь вот и вспомнил...

* * *

Возраст, благоприятный для поэзии, — не только молодость, но иногда и старость. И бытовуха, и всякая иная работа отходят понемногу, а пора ухода из этого мира приближается. Время прощанья всяческого настает. Вот оно-то и оживляет, и подпитывает поэтическую жилу в душе. Не у всех поэтов, разумеется, но у некоторых совершенно явно. Твардовский яркий тому пример. И это проявилось у него рано, задолго до старости календарной, лет с 50-ти, примерно. Последняя его прижизненная книга “Из лирики этих лет” — очевидный тому пример. Правильный ход жизни, сопровождаемый стихами: сначала знакомство с миром, а потом прощание с ним...

* * *

Когда работа не идёт, и, помучившись, бросаешь её на какое-то время, а порой кажется, что навсегда, то на душе, конечно, тяжело, скверно. Но ведь и окружающий мир при этом тоже представляется изменившимся — мельчает как-то, отдаляется, пустеет, холоднеет...

У большинства пишущих, наверное, так, только выражено по-разному, в меру натуры и дарования. Гигант Лев Толстой записал в дневнике, что, когда он перестает писать, то ему кажется, что всё в мире остановилось. Вот тут уж хочешь — не хочешь, а пиши. Надо же ход миру вернуть!..

* * *

Куривший рядом, молодой сравнительно парень вдруг спросил о смысле жизни. С маху спросил и как бы со злинкой. Ответил ему, что надо любить кого-то или хотя бы что-то. Иначе всё не имеет смысла. Парень помолчал угрюмо, буркнул “спасибо” и ушёл. Не впервые такое-подобное, седая борода моя провоцирует на вопрос, что ли? Или всё больше становится людей молодых и бездорожных? Тыкаются во все стороны, как волки зафлаженные, только вместо флажков везде обозначено: деньги, деньги, деньги... Вполне можно очуметь до обращения к помощи случайных людей. А кто тут способен помочь? Церковь, разве...

* * *

Не вполне понимаю большую тревогу многих людей перед возможным “затягиванием поясов”. Самому пришлось на долгом веку не раз переживать такое, и ничего этакого уж страшного в этом я не находил. Ну, еда похуже, ну, с одежкой потрудней, ну, отказываешься вообще от чего-то... Ну, так и что же? Получается нечто вроде поста такого расширенного и очень долгого. Кое-что, да и нередко, бывало даже на пользу. А когда проходила такая “тугая” полоса, то вспоминалось чаще всего с интересом и даже удовольствием. Больше того! Думаю и даже почти уверен, что, если бы вдруг, внезапно

и одинаково для всех-всех жизненный уровень упал бы существенно или существенно вырос, то это было бы не очень-то для людей и важно. И малозаметно, кстати. А через какое-то небольшое время перемену такую забыли бы просто-напросто. Что-то во всём этом очень русское есть. От привычки и тренировки, что ли?

* * *

У друга Циолковского умер сын. Тогда он и сказал ему, желая помочь, утешить в горе: “Приходите вечером, будем смотреть на звёзды”. Вот это утешение космосом! К тому же он верил в “живой атом”. В то, что, умерев, мы превращаемся в эти самые “живые атомы”, которые, когда-нибудь, через громадное космическое время вновь могут соединиться, образовав наши прежние живые тела. Вот такое материалистическое, космическое бессмертие получается...

* * *

Есть у Бунина дневниковая запись о том, что ему, перечитывая в очередной раз “Анну Каренину”, иногда хочется поправить, “улучшить” толстовский текст. Странное желание, если не сказать жёстче. Хорошо представляешь, как и что стал бы он “править”. Многословие, длинноты, корявости и нескладности текста. И, конечно, не улучшал бы его, а портил, потому что во всём перечисленном некая глубинная суть толстовского текста живёт, художественность его, совершенно особенная, поразительно и неповторимо естественная, простая и могучая. Подумал об этом, перечитывая “Идиота” Достоевского. Как прекрасно написано начало: вагон, разговор князя Мышкина с Рогожиным, посещение Епанчиных. И как сумбурна, тесна, тяжела для чтения середина романа! Вот тут, пожалуй, Бунину нашлась бы работа, но такое ему, разумеется, никогда в голову не приходило и не могло прийти. Уж очень он его, Достоевского, не любил. Да и понятно, антиподами они были как художники, да, пожалуй, и как люди...

* * *

Двухлетняя правнучка Анюта в детском саду пробыла уже неделю и ей там нравится, не плакала даже ни разу. Когда узнал такое, что-то меня странно царапнуло. Вспомнилось, как я, пятилетний уже, попав в детсад, проплакал целый день безутешно. Слабак, что ли, был такой никчёмный? А может, дело в том, что у неё к людям разным, обществу, хоть и малому, привычка есть, я же четыре военных года и ещё год лишь с матушкой и тётушкой в глуши, в хуторке крохотном провёл — вот и не было привычки к другим, посторонним людям. И играть привык одиноко, и в окрестностях хаты нашей бродить. Как в скиту монастырском жил, потому, может, многолюдье дetsадовское так меня и ошарашило. Дитя войны, даже и в этом смысле...

* * *

Умер от инсульта наш поэт и краевед Виктор Пухов. Хорошо умер, на девятом десятке, и быстро. И очень его жаль, добрый и уютный какой-то был человек. Боровск свой родной очень любил. “Древности”, как он говорил, собирал всю жизнь. Мечту имел заветную и тоже чем-то уютную: сокровища Наполеона, брошенные им, по легенде, при отступлении из Москвы, найти где-то в окрестностях Боровска. Были у него для этого какие-то тайные “наколки”. Да и не одна мечта была, было и дело — хаживал в “поле” с лопатой и киркой, как геолог заправский.

Бывало, встретишься с ним и спросишь, подмигнув: “Не нашёл? — Пока нет”, — отвечал он серьёзно.

И вот не только его жаль, но и мечты его тоже. Уж очень было трогательно, мило...

А вскоре после Пухова ещё смерть — поэта и издательницы Нины Смирновой. Также от инсульта и всего-то в шестьдесят лет. Энергии она была поразительной, фонтанировала просто ею, и брызги до окружающих долетали. Как-то встретились, она и говорит напористо: “Ты должен гениальный роман написать, а я его издам. И название дарю: “Золотое руно”. Вот, вспомнил, и хоть слезу роняй...

* * *

Как сложно и мучительно живут и противоборствуют в человеке вера и неверие! Поэзия Тютчева особенно яркий этому пример. Есть стихи, не оставляющие сомнения в том, что автор человек верующий, но нередко есть и иные, прямо противоположные: “Мужайся сердце до конца, и нет в творении Творца, и смысла нет в мольбе”. Вот и живи, мучаясь, между такими крайностями, как хочешь и как можешь... Было нечто подобное и в Чехове, но гораздо мягче и спокойней. Вот из одного из писем: “Между верой и неверием лежит огромное поле, которое всю жизнь переходит истинный мудрец”. Переходит, но доходит ли до цели своей конечной, вот вопрос. Двойственность такая, на мой взгляд, касается очень многих, если не большинства...

* * *

Не так и давно исполнилось сто лет со дня рождения моей матушки. Лежит она на прекрасном кладбище, на самом краю, над речкой нашей чудесной Калужкой. Лучшего места нет и быть не может. Я уже вплотную придвинулся к возрасту материнского ухода и, глядишь, лягу рядом с ней. Мысль горьковатая, но и отрадная тоже. На любимом месте последние полвека жил, на любимом месте и в землю лягу... Матушка была человеком редчайшей, истинно христианской доброты и любила всех людей подряд. И её все любили. А как умерла, так с тех пор вину свою перед ней и чувствую. И даже не за огорчения немалые, которые ей доставлял порой, а за недостаток внимания и заботы в самом простом, житейском смысле. Что делать, все мы задним умом крепки...

* * *

*Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? Но жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идёт, и плачет, уходя.*

Афанасия Фета стихи — и непонятные, и гениальные одновременно. Что за “огонь” такой, по сравнению с которым и самой жизни не жаль? Сколько ни думай, но ничего, кроме огня любви или творчества, не придумаешь. Выберем любовь, конечно. Но как же её жизни предпочесть можно? Без жизни и любви быть не может. Не находится ответа, а стихи всё равно гениальные. Тут сердце решает, а не рассуждения головные...

* * *

Пришвин считал главным своим произведением “Дневник”, который писал всю жизнь. Вот он и издан, наконец, — в 18-ти томах! Самый большой, наверное, не только в русской, но и в мировой литературе. Да и по содержанию, глубине мысли — один из первых, конечно. (Пришлось из него

большие отрывки читать.) Узнал я про это по радиопередаче и запомнил дословно приведённую из “Дневника” фразу: “Я уцелел потому, что сохранил личность и знал, что жизнь прекрасна”. Массовые репрессии и гибель при них многих и многих писателей имел он в виду, конечно. А ведь был близок к тому, чтобы покончить с собой, — уйти в лес, лечь в глухом месте и умереть. Есть такая запись в “Дневнике”. Удержался же от этого, на мой взгляд, по той причине, что именно знал, что жизнь прекрасна. Вот если бы он такое не знал, а только чувствовал, то мог бы и не удержаться. Потому что знать — это твёрдо и постоянно, а лишь чувствовать — зыбко и переменчиво. Сегодня жизнь хороша, а завтра вдруг такова, что лучше из неё уйти...

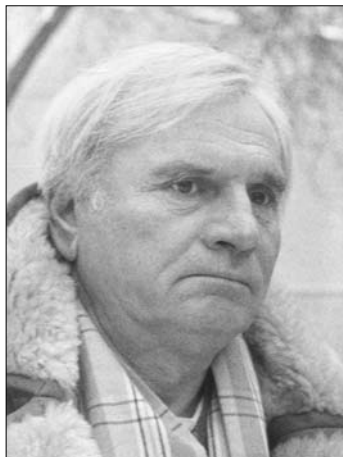
* * *

Олимпиада в Южной Корее, на арене женщины-фигуристки. Объявили нашу Евгению Медведеву, а комментатор добавил, что она выступит в роли Анны Карениной. В костюме у неё кое-где чёрные полоски и клочки траурного такого вида.

Вот замерла она в центре арены, и тут же вместо музыки раздаётся типичный громкий вокзальный шум. Укальвает догадка, что это обозначает станцию Обираловку, где Анна закончила свою жизнь, бросившись под поезд. Потом, после шума музыка могучая и трагическая, и танец Жени потрясающей, отчаянной силы и красоты. Прекрасно так, что дышать перестаёшь. Вот последний прыжок Жени, вот она замерла — и тут же гудок паровозный, страшный — и Женья роняет голову на грудь. Всё кончено...

А потом, через мгновение полной, знобящей тишины — овация обвальная. Плачет Женья, плачет великий тренер Тарасова, плачут зрители... О чём? О том, что жизнь прекрасна и ужасна. Ужасна и прекрасна...

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ



ТЕХ ЛЕТ ЗАТАЁННОЕ ПЛАМЯ

* * *

Былых надежд последние крупичи,
Последние жемчужины любви,
Как ни хранил, как ни лелеял,
птицы

Склевали злобные.
Ищи теперь.
Лови!
Всё размели, всё разметали прахом,
Осталось душу вымотать мою.
Надену белую отцовскую рубаху
И над его могилой постою.
Железный крест сожму, как меч, руками.
Отец, ты видишь, слышишь ли?
Как будто Родину, всю жизнь мою и память
В кровавых клювах птицы унесли.
Куда бежать? В какие Палестины?
Каким себя спасать монастырём?
Отец, вставай!
Рубашечьи холстины
Мы на груди, как в старину, рванём!
Пора, пора! У нас одна Россия!

АНДРЕЕВ Владимир Фомич родился в 1939 году в Харькове. Окончил Харьковский инженерно-строительный институт. Затем окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Работал строителем, журналистом, редактором. Автор книг стихов: "Тяжёлые ветви", "Солнечный сруб", "Треснула чаша русского утра", "Светлое бремя росы", "Красная горка", "Самая печальная радость", "Меч спокойствия". Автор рассказов и повестей. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

Но на путях к ней не видать ни зги.
Вставай, отец!
Дай веры мне и силы.
В последний раз России помоги!..

* * *

Ветры меня изваяли,
Зной и морозы жгли.
Встретили на вокзале
Лучшие люди земли:
Братья мои и сёстры,
В здравии мать и отец —
Мой корневой перекрёсток,
Мой золотой венец.
Белая, снежная скатерть,
Плотная, как лыжня.
Сёстры, отец и братья
Нынче пьют за меня.

Мать всё хлопочет с закуской.
Отец, мол, помногу не пей!
А я ведь из оренбургских
Только что прибыл степей!
Пусть же всё движется в русле
Лучших традиций, идей!
А это значит — по-русски,
То есть, как у людей!

Мы выпьем, и мы поцелуемся.
Признаем самих себя.
Так значит, с хорошим умыслом
Нас собрала судьба.
Всех собрала, и с нами
В этот вошла переплёт.
Если душа на грани
Песни —
Так пусть поёт!

Пускай будет песня грустной —
В глазах от неё светлей.
Степью со свистом и хрустом
Пусть гонит ямщик лошадей!

Заветная, светлая память,
Чистая, как на духу...
Тех лет затаённое пламя
Я забыть не смогу.
Как бы хотелось просто
Полную стопку поднять,
А рядом — братья и сёстры,
Живые — отец и мать!

ОБЫЧНОЕ

Вся в морщинах на пруду вода,
Пришли к нам в гости снова холода.
Небосвод недвижим, ясен, чист.

На воде кружится жёлтый лист.
Здравствуй, здравствуй, осень молодая!
До свиданья, птиц крикливых стая...

По деревьям затаился сок.
В иле мягком, скользком, словно шёлк,
Караси заснули до весны...
И какие рыбы видят сны,
Никто не сможет в мире разгадать,
Как жизни нашей смысл и благодать...

Туман времён послушно забываю,
Стою один, как в сказке, — глух и нем.
И ни о чём не ведаю, не знаю.
Владею всем,
Но я не знаю — чем!..

* * *

Я в прошлом многое забыл,
Во что так верил, так любил...
Твой ясный взор, твою улыбку,
На склоне дикую клубнику,
Твой тёплый шёпот у ручья
В беспамятстве не помню я...

Я помню только, где родился,
Где я в младенчестве крестился,
Когда отец вернулся мой
С фронтов с победою домой.
Как обнимал меня он долго,
Как Сталинград могуч, как Волга,
Как возносил до потолка...
Его колючая щека
Пропахла порохом, махрой...
Вернулся батяка мой родной!

* * *

Каких вещей наволокли в страну!
Их тьмы и тьмы! Куда я ни взгляну —
Везде приметы всяческих америк,
В латинский шрифт наряженных наклеек.
И вывески продажные сияют...
Сквозь их ряды я прохожу в тоске.
Они меня куда-то посылают
На лающем английском языке.

АЛЕКСАНДР КОРОТАЕВ



ЗАПАХ ДЫМА И ЖИЛЬЯ

* * *

Край мой светел. Вечер тих —
Корбаковым нарисован.
На устах певучий стих,
Нам подаренный Рубцовым.

У анисимовских гряд
Дом Вадима Кузнецова
Продан третий раз подряд,
Жизнь идёт, но нету клёва.

В Харовск вырвусь из Шексны
С ветерком попутным снова.
Боже! Чухинские сны
Видит родина Белова.

Извивайся, мой маршрут.
Как без сокольских старушек?!
— Сколь годуете вы тут
Без рачковских нескладушек?

КОРОТАЕВ Александр Викторович родился в 1971 году в Вологде. После 10-го класса поступил на факультет русского языка и литературы Вологодского государственного педагогического института. Автор книг “Журавли” и “Вологодские стихи”. В настоящее время живёт в Вологде, где руководит небольшой компанией, занимающейся полиграфической, рекламной и издательской деятельностью.

По-над Липовицей — день!
Мира, счастья вам с излишком,
Из далёких деревень
Коротаевским мальчишкам.

До Николы прокачусь —
Там полно моих знакомых.
До парома докричусь.
Может, там уж нет парома.

До Никольска — на Угор!
Прыг за руль — не жаль резины.
Жаль, не знаю до сих пор
Вкуса яшинской рябины.

В пол педаль, вперёд рычаг:
За Двиною чья обитель?
Там у Фокиной очаг,
И она его хранитель.

За строкою жгу строку,
Жизнь клянуполупустую.
Прогоняю прочь тоску,
Вологодскую, простую.

ПОСЛЕДНЕГО ОКЛИКНУ ЖУРАВЛЯ...

Зажгу фонарь. Нырну в живую хмарь.
Печаль уравнивает душу.
Я ничего в природе не нарушу,
Пусть всё навек останется, как встарь.

Последнего окликну журавля...
И разбужу взлохмаченное солнце.
Оно проснётся, в речке улыбнётся.
Вернётся запах дыма и жилья.

И всё само собой пойдёт в стране,
И каждый глянет в зеркало влюблённо...
О, как близки младенец и мадонна!
Я вижу их в распахнутом окне.

Пусть мать покормит грудью малыша.
Шагну в траву прохладную, густую.
Вздохну, переживая мысль простую:
— Как мама у младенца хороша!

Закуриваю молча в стороне.
Конечно, дурно мыслить по шаблону:
Что делаю не так, не по закону?
Проходит жизнь — не по моей вине.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Поверни же нас, Боже, к Белову.
Он-то знает, какие мы есть:
Сохранили рубаху мы снову,
Позабыли про совесть и честь.

Над Тимонихой — вечная драма.
Безутешен Белов по утрам.
И не спит его светлая мама.
И молчит восстановленный храм.

Что ж его беспокоит такое?..
Каждый звук его ранит и крик.
Что ж его не оставят в покое
Персонажи из собственных книг?

Превращаем в валюту пшеницу.
И крепчает военная мощь.
Мы «нагнули» уже за границу —
Своему бы народу помочь!

Костью в горле беловская повесть...
Всё дозволено, жизнь хороша!
Не болит беспартийная совесть.
И за ней усыхает душа.

Вдоль церковной обители древней,
От реки — молода и тиха, —
Стародавний предатель деревни,
К самым избам крадётся ольха.

Зарастают поля и рельефы.
Предпоследний старик на крыльце.
Как ужасные грифы и грефы
Будут счастливы в самом конце!

На земле без хозяина — пусто.
Как безрадостно выглядит свет!
Предавать — это тоже искусство,
А в искусстве пределов-то нет.

МАРШ 9-ГО МАЯ

В торжественном слове “Победа”
Звучат отголоски войны.
С солдатскою гордостью деда
Я праздную подвиг страны.

Мой дед не любил эпитафий
И слезы не лил в уголке.
Он строго глядит с фотографий,
Дымит папироской в руке.

Друг другу они поклянутся,
Три брата и две их сестры,
Во что бы ни стало вернуться
Живыми в родные дворы.

И каждого гладит старуха,
И шепчет, и плачет навзрыд...
А Бог или силища духа
Их всех пятерых сохранит.

Идя в штыковую, сражались,
Дожив до победной весны,

Они друг за друга держались
Как до, так и после войны.

И дед мой светился, сжимая
Пять пальцев в одном кулаке.
Победа Девятого Мая
Жила в его сильной руке.

Бессмертия воин достоин,
Навечно он передал мне:
Все павшие — это герои,
Живые — герои вдвойне.

У СТАТУИ СВОБОДЫ

Среди миров, среди морей
У Леди Мира и Свободы
Развею я мечту о ней —
Прогнозом завтрашней погоды.

Все англосаксы знать должны
Земной истории уроки —
Хотят ли русские войны,
Хотят ли бойни лежебоки!

Зачем ей, Статуе, вражда?
Зачем ей жажда новых санкций,
Коль повернулась навсегда
Она спиной к американцам?

Оптимистический покой
России противопоказан.
Не троньте колокол, он — мой!
Он к пушкам при Петре привязан.

Петровы пушки — ни при чём?
Но тише, тише, Бога ради:
Всё слышит женщина с мечом
В непобеждённом Сталинграде.

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ



О ЧЁМ ЗВЕНЕЛ РУКОМОЙНИК

РАССКАЗЫ

Помнится, будучи проездом в Ширинском районе Хакасии, решил я за-вернуть в Марчелгаш, небольшую деревеньку, примыкающую к лесистым го-рам, где кончается ковыльная степь и начинается присаянская тайга. Здесь, на отделении Туимского совхоза, жил Владимир Ильич Кононов, бывший мой каратузский земляк, старый приятель. Нравом — из породы тех, кого в газе-тах называют вечными тружениками, а в народе характеризуют добродушно-иронической хохлацкой поговоркой: “Моему Ивану лишь бы наробиться”.

Мне доводилось и раньше писать о Владимире. Человек он был, безус-ловно, примечательный. Чего стоила одна его приверженность к лошадям, к которым он привязался ещё мальчишкой, в пору неспящего военного дет-ства, и остался верен им на всю жизнь. Отдавая дань веяниям времени, Вла-димир учился, кончал разные курсы, был и комбайнером, и ветеринаром, и бригадиром, но не однажды случалось так, что под горячую руку вдруг бро-сал все эти престижные профессии, должности и с радостью возвращался к лошадям — пас, конюшил, объезжал молодняк.

Теперь, как я слышал, он уже несколько лет работал управляющим от-делением совхоза. И работал добросовестно. Выкладываясь, как обычно, на всю катушку. Случалось, даже сам коров доил, если доярки “расслабля-лись” после очередной полочки, пас овец, когда чабаны выбывали из строя

ЩЕРБАКОВ Александр Илларионович родился в 1939 году в селе Таскино Краснояр-ского края. По образованию учитель словесности, журналист. Автор многих книг поэзии, прозы, публицистики. Член Союза писателей России. Заслуженный работ-ник культуры РФ. Лауреат ряда премий. Неоднократно публиковался в журнале “Наш современник”. Живёт в Красноярске.

по той же причине или по серьёзной болезни, помогал молодым механизаторам словом и делом. А для сельских ребятишек, хорошо подсоблявших летом в прополке полей, сделал настоящее озеро: выкопал бульдозером огромный котлован за деревней и заполнил его водой — купайся, братва!

И вот подрулил я июльским деньком к знакомым зелёным воротцам, осенённым буйной черёмухой. Забрехал собачонок. Однако из домочадцев к калитке никто не вышел. Двор оказался пустым, и на дверях дома я заметил круглый замок, похожий на детскую погремушку. Старик-сосед, гревшийся на лавочке под солнцем, пояснил мне, что хозяйка ушла за деревню тяпать картошку и что, возможно, там и хозяин. Во всяком разе, “сама” вернее скажет, где сейчас находится “сам”, а их картофельный участок — вот он, недалеко, за сушилкой налево.

И я направился искать хозяйку Римму. Но едва выехал за село на перекрёсток, как из-за леса с шумом вывалил резвый табун лошадей и запыллил мне наперерез. Пришлось притормозить машину, чтобы переждать эту лавину. Невольно залюбовался текучим, рябщим в глазах табуном. Лошади были справные, с лоснившимися крупами, с густыми гривами, и самых разных мастей — карие, гнедые, белые, чалые, каурые, мышастые, игреневые, мухортые, соловые, сивые, пегие и прочие, словно их специально подбирали для коллекции.

На шее одного саврасого меринка с лохматыми бабками сбивчиво погромывало ботало. Я невольно обратил внимание на внушительные размеры его и непривычный серебристо-серый цвет, которыми оно скорее напоминало оловянную ступку или умывальник, чем обычный бронзовый колокольчик. Когда же савраска поравнялся с машиной, я даже вздрогнул от удивления и отпрянул к спинке сиденья: на шее лохмононого конька болтался и впрямь пузатый рукомойник с клинчатой щербинкой на боку, как у знаменитого Царь-колокола. Чувствовалось, до чего неловко было лошади трусить с этим нелепым боталом, то и дело бьющимся в грудь. Чтобы утихомирить его бултыхания, савраска неестественно вытягивал шею, держа приподнятую голову так, словно нёс на ней драгоценный сосуд и боялся расплескать содержимое. Похожим манером носят головы разве что иные спесивые чиновники, да ещё дамы “со следами былой красоты”.

Не менее удивило меня и то, что следом за табуном, покручивая в воздухе кнутовищем, скакал на сером в яблоках жеребчике сам управляющий. Я непроизвольно рванул дверцу, выскочил из кабины и замахал ему. Владимир тотчас узнал меня и, осадив своего скакуна в двух шагах от бампера, спешился. Мы поздоровались, разговорились. Оказалось, что приятель мой с месяц назад в очередной раз покинул руководящий пост, чтобы снова вернуться к излюбленному занятию — коневодству, а проще сказать — конюховству. И теперь уже, он был убеждён, навсегда, ибо до выхода на пенсию оставался год с небольшим хвостиком.

— А ну его к бесам, столоначальство это, мне здесь куда спокойней — ни указов, ни проработок, ни выговоров. Да и лошадь — подо мной. Глянь, какой красавец, — сказал новоявленный ковбой, поглаживая своего серка по холке.

— Ну-ну, знакомая песня, не впервой слышим, — усмехнулся я. — А зачем это ты, братец, рукомойник савраске на шею повесил? Да ещё вверх ногами. Мода или рационализация?

Владимир не принял моего шутливого тона. Он как-то сразу погрузился, помял пальцами серебряную щетину на скулах и, морщась, точно от зубной боли, сказал:

— Стыдно от людей, ей-богу! Дожили с этими перестройками... Не найти ни хомута, ни седёлки, ни верёвки, ни даже вот несчастного колокольца. На двести вёрст кругом магазины обшарил, в школы обращался: нет ли, мол, завалищенького от тех времён, когда тётя Мотя звонки на урок подавала, — шаром покати! А мне без колокольчика-то как? Он же пастуху первый помощник. Заскочил я, скажем, домой перекусить, ухо держу топориком: звенит колоколец — значит, табун мой здесь, у березничка пасётся. А иначе на миг отвернулся — ищи ветра в поле. Вот и пришлось изобрести это дурацкое

ботало. Нашёл на брошенной мехдойке старый умывальник, подвязал внутри гайку вместо языка — брякает худо-бедно, подаёт сигнал конюху. Понятно, не подарок коню — таскать эдакое громыхало на шею, но, поди, временно, всё же надеюсь раздобыть нормальный колокольчик. А пока очередь установил: сегодня дежурит савраска, завтра — игренька, послезавтра — пегашка...

— Однако почему выбрал именно умывальник, а не, допустим, какую-нибудь ступку?

— Ну, ступа — это уж вовсе дико, даже бы лошади заржали, наверно. Видел я, иные пастухи-бедолаги вешают и консервные банки, и детские ведёрки, и рыбацкие котелки, но они ведь из жести, совсем глухие, не звенят — шепчут. А мой умывальник всё ж литой, не громкий, но с голосом. — Владимир горько усмехнулся и добавил: — Голь на выдумки хитра, как говорится. А куда податься бедному крестьянину? Может, в городе увидишь какой-никакой колокольчишко — не поскупись, купи, в долгу не останемся...

И вот всю дорогу, покуда ехал я потом из Марчелгаша в Красноярск, не выходил у меня из ума нелепый тот умывальник на покорной лошадиной шее. И стоял в ушах его надтреснутый, дребезжащий звук. Казалось бы — мелкая, эта деталь “пореформенного” деревенского быта всё не давала мне покоя, скребла, скорочегала по душе, точно гвоздём по стеклу.

Много несуразностей видел я в нашей жизни, проведя тридцать лет в непрестанных командировках по городам и весям. Видел, к примеру, как сельские умельцы в дедовской кузне ремонтировали, доводили до ума комбайны, только что полученные с заводского конвейера. Видел лесосеки, таёжные дороги и берега рек, усеянные бесхозными брёвнами из лучшей в мире ангарской сосны, которая превращалась в труху. Видел в рыболовецких бригадах тонны гнившей рыбы деликатесных пород — некому было вывезти. Встречал целые горы золотого зерна, горевшие белым огнём под открытым ненастным небом. Был свидетелем того, как под фанфары сдавали в эксплуатацию недостроенные дома, мосты и заводы, знал звероводов и химиков, лихо командовавших культурой и искусством. Живал в районных гостиницах, где не то что самовара или сапожной щётки, но не было даже лишнего гвоздя в стене, чтобы повесить пиджак...

Да мало ли несообразностей, порождённых приказной системой и затем усугублённых “трудностями переходного периода” на пути к рыночным свободам, встречали мы с вами на каждом шагу! Но почему-то именно тот маленький штришок бестолковости нашего быта, тот культяввшийся рукомойник на вытянутой шее савраски особенно задел меня за живое, перевернул мою душу. Воистину дожили, докатились, “доускорялись”, думал я, дальше ехать некуда. Ведь это в стране, которая искони славилась знаменитыми ямщицкими колокольчиками с оттиснутыми по венцу золотыми буквами “Дар Валдая”! В стране, где половина песен народных и стихотворений поэтов замешаны на малиновом звоне колоколов, на вихреподобном полёте рысаков с заливыстыми поддужными бубенцами, где каждый школьник знает наизусть гоголевскую Русь-тройку, перед коей “постораниваются... и дают ей дорогу другие народы и государства”. И в этой самой державе вдруг исчез, канул в Лету последний бронзовый звоночек с говорливым язычком! Видимо, вслед за своей бытовой техникой, одеждой, лекарствами...

Где-то ещё летали отечественные космические корабли и спутники, оснащённые собственной аппаратурой, дымилась по городам заводы с литейными цехами, в думах и собраниях реками текли речи о “возвращении долгов деревне” и возрождении её, а в сибирской глубинке по холмистым степям, спотыкаясь, трусил безответный савраска с идиотской щербатой посудинной на остамелой шее...

Долго стучало мне в грудь то жалкое хриплое “било”, гудело в ушах, не давало покоя. И всё торчала гвоздём в голове глупо перевёрнутая строчка из песни, застрявшая после увиденного в Марчелгаше: “Однозвучно звенит... рукомойник”. Исподволь я сознавал: неладно что-то в нашем королевстве — и смутно чувствовал тревогу за все ветры и сквозняки перемен, гулявшие в нём. Но только через годы мне стало до тошноты ясно, о чём тогда брэнчала абсурдное и несуразное савраскино ботало.

ВЫШЕ НАРКОМА

Командировка “на Севера” у Василия Шошина, корреспондента краевого радио, подходила к концу. Календарь досчитывал мартовские дни. Из Красноярска, где уже все одевались по-весеннему, Василий тоже прилетел в лёгкой куртке, в полуботинках, отчего вынужден был не ходить, а бегать по Дудинке. Здесь ещё стояли откровенно зимние морозы, веяние весны ощущалось разве что в слепящей белизне снегов под необычайно ярким солнцем, да и то его частенько затягивало “веянием” метелей.

Подмороженным выглядел и ход жизни северян. На нём почти не отражалась перестройка, бушевавшая на “материке”. Василий побывал и на суглане (совещании) оленеводов Таймыра, и в школе-интернате у ребятишек, собранных со всей тундры, и на диковинной ферме, где надои молока от коров, не знающих пастбищ, вдвое превышали южные, и в местном этнографическом музее, полном заполярной экзотики. А в качестве завершающего “гвоздя” ему даже удалось взять интервью у “самого” Санникова, первого секретаря окружкома партии.

Василий уже спрятал блокнот в карман пиджака, упаковал в чехол микрофон и защёлкивал кнопки на футляре “Репортёра”, когда его высокий собеседник, седоватый скуластый мужик, участливо спросил:

— Может, есть какие-то просьбы, проблемы?

Василий скромно пожал плечами:

— Да особых вроде нет, Алексей Петрович. Вот только пуржит третий день, и в Дудинку не ходят самолёты. Придётся ещё разок переночевать и с утрачка поездом пилить в Норильск, к аэропорту Алыкель. Там авиация надёжней.

Санников молча откинулся на спинку кресла, раздумчиво постучал пальцами по столу и, поглядев на светлеющее небо в окне, задал ещё вопрос:

— А если сегодня — прямо в Красноярск? Вы готовы?

— На оленях? — скептически усмехнулся Василий.

— Нет, на “Яке”, на сороковом, — поддержал его тон хозяин кабинета. — “Як-40” будет около пятнадцати пролетать с Диксона. Вообще-то он у нас не садится, но я могу попросить... по такому случаю. Вам три часа на сборы хватит?

— Да я бы хоть сейчас на борт, — обрадовался Василий неожиданной возможности. — Разве только в гастроном забегу, прихватчу каких-нибудь “даров Севера”, обещал гостинцев дома и на работе...

— Тогда договорились. Детали утрясёте с моим помощником. Иван Михайлыч. Третий кабинет направо по коридору. Счастливого пути! — привстал “первый”, подавая руку молодому журналисту.

Когда Василий, на бегу отметив командировку в приёмной у секретарши, явился к Ивану Михайловичу, энергичному лысоватому толстячку, тот уже был в курсе дела. Видимо, получил ц/у по внутренней связи. Он предложил Василию присесть, а сам взялся за телефонную трубку и, накручивая диск, начал выдавать срочные звонки. Старался говорить намёками и обиняками, но всё же из реплик Василий понял, что речь идёт о его проблемах, в решении которых наметились какие-то шероховатости. Звонков было много. Наконец, помощник положил, а точнее бросил трубку на аппарат и, глядя в стол, подвёл итоги переговоров:

— С вылетом всё решено. Полтретьего за вами придёт машину к гостинице. Я сам провожу вас в порт и посажу в самолёт. А вот с лучшими дарами Севера, простите, осечка. У рыбаков перебои в поставках сырья. Рыбозавод приостановлен на ремонт. В магазинах запасы иссякли. По крайней мере, так докладывают завмаги. В наличии только обычные морепродукты, кое-какая речная рыба, ну, и разная здешняя дичь — оленина, полярные куропатки...

— Спасибо, не беспокойтесь. Обойдётся. К выезду я буду в гостинице. До встречи, — вежливо раскланялся Василий.

Выйдя на улицу, он почувствовал, что метель заметно утихомирилась. В мутной пелене, обнимавшей небо, обозначились бегущие облака и между

ними появились первые просветы. Надежда на сегодняшний вылет, прежде казавшаяся сомнительной, становилась вполне реальной. Это обрадовало Василия, и он, прежде чем обследовать ассортимент “даров природы” в ближайших торговых точках, решил забежать к сестре Лене, чтобы сообщить о возможном скором отбытии и на всякий случай попрощаться. Старшая сестра, как и он, родилась и выросла в далёкой подаянской деревне Огнёвке, работала в колхозе, но потом окончила в райцентре курсы кройки и шитья и завербовалась на Север, в Дудинку, где и жила с мужем и тремя детьми уже много лет, став настоящей северянкой. Время приближалось к полудню, к обеденному перерыву, и сестра, работавшая в швейной мастерской, должна была находиться дома, тем более, что накануне прихварывала и собиралась взять бюллетень.

Около заснеженного подъезда панельной пятиэтажки стояла, уткнувшись в комковатый сугроб, снегоуборочная машина с тёмно-зелёной будкой вместо кузова и этаким сочетанием мехлопаты со щетинистым валом-ершом впереди. Василий вспомнил, что муж сестры Фёдор Березин, в прошлом огнёвский механик, теперь шоферил на некоем “шнекороторе” в “службе снегоборьбы” морского порта, принадлежащего Норильскому комбинату, и подумал, что это, должно быть, он подрулил к дому на своём агрегате.

Догадка подтвердилась, едва Василий нажал на звонок знакомой квартиры. Дверь ему открыл сам ударник снегоборьбы. Он был в крытом полушубке и тёплых меховых сапогах. Видимо, только что появился в прихожей и ещё не успел раздеться.

— О-о, здорово, шуряк! Хороший гость всегда к обеду! — воскликнул Фёдор.

Из кухни, откуда слышалось шипение газовой плитки и скворчание какого-то жарева, тотчас выглянула сестра Лена с ложкой в руках и также начала с гостеприимного предложения:

— Раздевайся, Вась, и подожди немного. Сёдни мой хозяин пораньше подкатил, застал меня врасплох, но я моментом, рыбки поджарю на скорую руку, супец разогрею...

— Ой, нет, благодарствую, некогда. Я проститься пришёл, — и Василий пустился, было, выкладывать свои хлопоты, но как только коснулся проблем с гостинцами для семьи, для друзей, Фёдор сразу всё понял и прервал его на полуслове:

— Да чо ты унижаешься, ходишь по этим чиновным коридорам! Чо они там могут со своими звонками! Самолётам графики ломать? Пошли со мной в народ, и всё решим без всяких столоначальников. А “трепотёр” твой пока оставь. Мы, Ленка, через часик будем! — крикнул он жене, уже выталкивая шурину в дверь и нахлобучивая шапку на ходу.

Машина, стоявшая у подъезда, действительно оказалась его “шнекоротором”.

— Быстро в кабину! — скомандовал Фёдор.

Василий невольно подчинился приказу бывшего сержанта срочной службы, сосватавшего его сестру. И когда, обежав будку сзади, вскочил на сиденье, командир уже был за рулём. Он тотчас запустил мотор, резко сдал назад, потом крутым виражом вывернул на дорогу, явно демонстрируя водительское мастерство, и машина, потряхивая подвешенным впереди “шнекоротором”, запетляла по кривым улочкам города меж высоких снежных забоев. В одном из глубинных переулков Фёдор, не сбавляя скорости, подрулил к тёмному башнеподобному дому в два этажа, дал по тормозам, выключил сцепление и сообщил соседу:

— Это “Восьмигранник”, наш главный рыбный магазин, хотя и на отшибе. Видал?

Василий подался ближе к ветровому стеклу, и перед его глазами действительно предстало необычное деревянное строение — от заметённого снегом фундамента до высокой шатровой крыши. У него, сложенного не то из толстого бруса, не то из кантованного бревна, было не четыре стены, как обычно, и даже не пять, как, допустим, у пресловутого американского Пентагона, а целых восемь! И столько же углов. Прямо-таки макет полумистической

древнеславянской звезды, только с углами, срезанными “заподлицо”. Ранее не встречавший подобного чуда-юда, Василий обратил к зятю вопросительный взгляд: мол, зачем же столько?

— Стал быть, лес такой приплавил когда-то с материка. Вот и пришлось плотникам кумекать, собирать из наличного. Тут же ни деревца кругом, одна тундра...

Фёдор ещё добавил что-то, но последние его слова заглушило шумное вращение “шнекоротора”, запущенного им в работу. И следом, включив скорость, он двинул агрегат по касательной к заметённому метелями “Восьмиграннику”, а потом вокруг него. От снежной струи, забившей в сторону, поднялся белый вихрь и почти напрочь запылил стёкла кабины, так что Василий не сумел толком сосчитать, сколько кругов сделал Фёдор, огибая звездоподобный рыбный магазин богохранимой Дудинки, но их было, пожалуй, не меньше, чем граней. Притом с каждым заходом витки всё расширялись, а скорость “шнекоротора” всё возрастала, и снежный фонтан изпод него становился всё дальнобойнее. Наконец, описав контрольный круг, Фёдор остановил своё самоходное орудие снегоборьбы перед крутым дощатым крыльечком с перилами и вырубил мотор.

— Иди за мной! — повелительно сказал он шурина, вручая ему холщёвую котомку, вместимостью этак в полкуля, вынутую откуда-то из-за спинки сиденья. Затем откинул дверцу и выпрыгнул из кабины.

Василий покорно проделал то же самое и последовал за направляющим. В магазине с длинным, от стены до стены, прилавком, большую часть которого занимали стеклянные витрины, никого не было, кроме двух продавщиц — полнозатой женщины с рыжими косами, собранными на темени в корону, и молодой чернявой девицы с коротенькой стрижкой. Фёдор почти с порога громко поприветствовал их как старый знакомый и доложил:

— Я там, девки, сверхурочно подмёл круговую площадку, можете хоть танцевать. А пока отпустите северных гостинцев моему шурыку из края.

— Ещё бы знать, чего и сколько, — игриво пропела продавщица с мальчишеской причёской. Она, сидя за прилавком, перебирала какие-то бумажки.

Фёдор обернулся к Василию, стоявшему за спиной:

— Сиг? Чир? Муксун?

Василий растерялся от неожиданных вопросов, робко пожал плечами, зачем-то стянул с головы шапку и сбивчиво пробормотал:

— Ну, может, три, четыре... да любого, что есть.

— У нас, как в Греции, всё есть, — крикнул Фёдор и, видя смущение шурина, взял из его рук котомку, а вместе с нею и бразды правления:

— В общем, так: пойдём по списку, — начал он.

Рыжеволосая продавщица молчаливо удалилась за занавес, в подсобные помещения, а улыбчивая стриженная отодвинула бумаги и поднялась в ожидании заказа уважаемого покупателя.

— Первое: сижок, — продолжил Фёдор, — горячего копчения и холодного копчения, кэго по полтора. Так же и чирок, и муксунчик...

— Во что?

— Вот тара, — протянул Фёдор холщёвый свёрток.

Молодая продавщица взяла мешок и тоже скрылась в подсобке.

В ожидании её возвращения Василий подошёл к витрине, надеясь по ценникам прикинуть примерную сумму, на которую потянет заказанная рыба, но, к своему удивлению, подобной там не обнаружил. Правда, выбор здешний был побогаче, нежели в магазинах на материке, опустошённых перестройкой, но в общем-то знакомый по недавним застойным временам: от тихоокеанской селёдки и хека серебристого до терпуга и камбалы. Из речных, енисейских рыб он заметил только щуку, окуня и ещё корюшку пряного посола.

Молодая продавщица появилась с пустыми руками, что встревожило, было, Василия, но она обратилась к нему с обычной улыбчивостью:

— Итого с вас...

Сумма оказалась вполне подъёмной. Василий зашуршал кредитками, начал рассчитываться. Фёдор, будто вспомнив о чём-то, тоже торопливо полез в карман и махнул продавщице:

— Да, ещё плюсом от меня пяток добрых муксунов, свежемороженых (пусть побалуёт гостей строганинкой), и корюшки малосольной, что пахнет молодым огурчиком, вон то корытце.

— Не корытце, а упаковку, — фыркнула стриженная.

В эту минуту хлопнула дверь и в магазин вошли новые покупатели — старуха в длинном пальто с песцовым воротником и мужик в ненецкой меховой малице. Продавщица как бы между прочим заметила Фёдору:

— Товар заберёте со двора.

Фёдор понимающе кивнул и, дёрнув шурика за рукав, направился к выходу.

— По коням! — дал он команду не то себе, не то пассажиру, усаживаясь за руль и включая зажигание.

Василий привычно повиновался боевитому водителю и занял своё место в кабине.

На прощальный, контрольный виток вокруг щедрого на завидные гостинцы “Восьмигранника” Фёдор вывел свой агрегат, уже не запуская “шнекоротора”. На половине круга, где в дощатой загородке мелькнул служебный вход, снегоборец остановил машину, вылез из кабины и нырнул в воротца. А через минуту появился в них с мешком в руке, раздувшимся от “товара”. Поднёс его к машине и поставил на сиденье рядом с Василием. При этом “посланец эфира” не просто отодвинулся, а, можно сказать, отпрянул в некотором страхе, ибо неожиданный-негаданный гостинец пугал его своими габаритами.

— Ну, вот тебе и дары Севера, полным черпаком. Блат выше наркома, как говорится, — удовлетворённо заключил Фёдор, когда, обогнув “шнекоротор”, снова взялся за баранку. — Хотя, по совести, никакого блата, просто плата добром за добро. Народная дипломатия называется...

— Так-то оно так, да только с этими дарами, поди, и в самолёт не пустят, — поделился тревожными сомнениями Василий.

— Не тот случай, паря! Там и поболее спецгрузы берут, — ответил Фёдор со знанием дела, выходя на завершение прощального витка вокруг отзывчивого на добро “Восьмигранника”, опоясанного сияющим, с продольными бороздками, кольцом, похожим на кольцо Сатурна.

По крайней мере, таким оно показалось Василию с высоты, когда он в три пополудни вознёсся на “Яке” над заполярным городком и отыскал глазами в иллюминаторе знакомый очажок “народной дипломатии”.

А БАЛАЛАЕЧКА НАИГРЫВАЕТ...

Всё же, действительно, самый талантливый творец произведений всякого искусства — это народ. И, пожалуй, особенно искусен он в творчестве словесном. Притом обходится порой столь скромным объёмом “словесной руды” и набором художественных средств, что просто диву даёшься.

Ведь чтобы создать образы героев, которые стали вечными, а имена их — нарицательными, величайшим поэтам, писателям всех времён и народов потребовались целые тома. И полумифическому греку Гомеру, воспевшему доблестного Ахиллеса с хитроумным Одиссеем, и испанцу Мигелю Сервантесу, породившему чудаковатого рыцаря Дон Кихота, и нашим классикам от Александра Пушкина с его “добрым приятелем” Евгением Онегиным, от Льва Толстого с его “точно живыми” Андреем Болконским и Анной Карениной до Александра Твардовского, воссоздавшего характер “тёртого” русского солдата Василия Тёркина в поэтической “книге про бойца”, или Михаила Шолохова, что вывел в своей эпопее тип правдоискателя-казака Григория Мелехова. А вот народ наш умеет создать выразительный образ, характер и даже ментальный тип не только в эпосе, в пространной былине или затайливой сказке, из которых встают Ильи Муромцы, Василисы Премудрые и Иванушки-дурачки, но и в какой-нибудь байке, побаске либо четырёхстрочной частушке, вроде вот этой:

*Растатуриха телегу продала,
На телегу балалайку завела.
Балалаечка наигрывает,
А Растатуриха наплясывает...*

И все вы, конечно, знаете эту Растатуриху, не однажды слышали о ней и даже наверняка встречались с нею. Мне, к примеру, она запомнилась с далёких детских лет. Я, можно сказать, видел её воочию и отчётливо помню до сей поры. При упоминании её имени перед моим мысленным взором неизменно всплывает “конкретная” Растатуриха в образе нашей разбитной деревенской бабёнки, матери-одиночки Ганьки Талашкиной, голосистой песельницы и ловкой плясуньи. Замечу, что при этом была она и не менее ловкой работницей, в чём мне доводилось не раз убеждаться самому. Особенно в сенокосную пору, когда я, как и многие подростки, работал копновозом, подвозил к стогу сено на лошадке, запряжённой в волокушу, а Ганька была копнильщицей, вместе с товарками сгребала в копны сенные рядки деревянными граблями, и они прямо-таки летали в её проворных руках, словно живые. Но больше всё же она запомнилась мне именно в образе этакой простодушной Растатурихи.

Отец мой был тогда бригадиром полеводческой бригады. По заведённому в наших палестинах обычаю большие праздники (и очередную годовщину Красного Октября, и православную Пасху, и традиционные крестьянские отсевки-отжинки) отмечали коллективно, всей бригадой. И “гуляли”, как правило, у нас, в бригадирском доме, благо, он был довольно просторным. И вот тут заводилой неизменно выступала бойкая Агафья Талашкина, или Ганька Талашка, как чаще называли её в селе. Она первой, вслед за бригадиром, поднимала тосты от имени “тружеников полей” и запевала в общем хоре, но всё же коронкой её было сольное выступление — пляска с припевками, среди которых особо выделялась та самая, про Растатуриху.

Ганька брала в руки балалайку, которой, к слову, владела не менее ловко, чем ручными граблями, выходила на круг и, задорно подыгрывая сама себе, выдавала с приплясом свою козырную частушку. Можно даже сказать, она разыгрывала с той частушкой целую сцену, создавая выразительный образ, всеми узнаваемый характер:

*...А балалаечка наигрывает,
А Растатуриха наплясывает.*

Так и вижу эту быстроглазую, быстроногую молодайку, с русыми косами, собранными в корону на темени, в белой кофточке, вышитой по вороту и рукавам, в растрюбистой юбке, гулко постукивающую каблуками о наши половицы и звонко припевающую с лукавой усмешкой: “А Рас-та-ту-риха наплясывает...”

Никому более из выходивших на круг не хлопали гости столь дружно, ничей номер так горячо не сопровождали поощрительными выкриками: “Делай, Ганька! Жги, Ганька, одна живём!” Может, потому, что исподволь чувствовали: не о себе только рассказывала она своей припевкой и танцем, не одну свою долюшку “разыгрывала”, внешне развесёлая, но, в сущности, горемычная “соломенная вдова” и незадачливая “бросовка”, каких встречалось (да и встречается) немало по русским селеньям...

Ганька среди них, пожалуй, выделялась особо сирой неприкаянностью. Отец её Максим Талашкин вернулся с фронта, но из-за тяжёлых ранений протянул недолго. Вскоре, подкошенная утратой, ушла и мать. И Ганька осталась одна в осиротевшем доме. Она была уже девкой на выданье, но в те времена жених был редок и привередлив, а Ганька не отличалась ни особой красотой, ни хозяйственностью. Сваты явно не спешили к ней за “товаром”, да и свои попытки залучить “купца” обычно заканчивались ничем. Правда, один задержался, было, да и то... Звали на селе этого мужичка, прибитого ветерком, Витёк Паньков. С виду тихоня, но броские наколки на руках намекали, что в тихом озере водились и черти. Витёк пожил какое-то время

постояльцем у знакомых, а затем попал в Ганькины сети, вошёл к ней в дом примаком. Расписываться с нею не торопился, хотя Ганька, “дела вдаль не отлагая”, вскоре принесла ему погодков — девчонку и парнишку. Правда, нахлебником Витёк не жил. Неплохо владея топором, подновил городьбу во дворе, в огороде, перетряс крышонки на избе и на бане, просевшие без мужского догляда. Не вступая в колхоз, подрабатывал в нём, плотничал в строительной бригаде. Годика три протюкал на разных сельских стройках. Потом в один прекрасный день, после расчёта за “сданный в эксплуатацию” колхозный свинарник, вдруг исчез из села в неизвестном направлении. Сбежал без объяснения причин. Ганьку и детишек не взял с собой: оставайся лавка с товаром...

Так поневоле стала Ганька “бросовкой” и “соломенной вдовой”. Однако в уныние не впала, в тоску не ударилась. На сочувственные речи и деловые советы селян — подать в розыски, чтобы принудить беглеца к уплате алиментов, — она махала рукой: “А-а, как пришёл, так и ушёл. Скатертью дорожка”. Ребятишек, пока были мал мала, определила в ясли, где временно сама поработала няней, а когда чуток поднялись они на ноги, вернулась в колхозную бригаду. Детей сперва продолжала водить в ясли, потом стала, уходя на работу, расписывать по соседям или просто оставлять домовничать одних. Зимой они сидели в избе, грелись на печке, а летом их чаще всего видели играющими на завалинке под окошками дома.

Не отставала Ганька и от “вечерней жизни” села, умудрялась бегать в клуб, не пропускала ни кино, ни концертов. А летом на “пяточке” и сама “выступала”, играла на балалайке и пела любимые частушки, включая свою забойную: “Растатуриха телегу продала...” И вскоре саму её, конечно, прозвали меткие на язык односельчане Растатурихой. В соответствии с поговорцей: кем назовёшься, тем и просльвёшь...

Она, верно, никакой телеги не продавала. Хотя всё же телега у неё когда-то действительно была. Осталась от отца Максима, который работал конюхом и держал на домашнем дворе ладные “резервные” дрожки, сработанные им самим. Но Ганька, оставшись одинокой, отдала их в бригаду. Вместе с упряжью. Бригадир хотел выписать ей пару-другую трудодней за бескорыстный дар, но она и от них отказалась: “А-а, не жили богато, неча канителиться. Пускай — на память о тятё”. Кстати, это иные селяне тоже сочли за проявление Растатурихиной простоты. Ну, и многим остальным она всё более оправдывала прозвище: и заросшим двором, и скудной живностью в нём, состоявшей из коровёнки да десятка куриц, и “условными” запасами дровишек под навесом, и скромными съестными припасами в яме и кладовке. По осени Ганька спешила львиную долю накопанной картошки сдать в сельпо, заработанного хлеба — свезти на базар, чтоб на вырученные деньжонки принарядиться самой, одеть ребятишек, закупить им игрушек и сладостей. А по весне, когда кончались продукты, шла по соседям занимать под будущий урожай или брала “под запись” в колхозной кладовой. И вообще была склонна к тому упованию “на авось”, к привычке делать “на живульку”, которые народная фантазия выразила в собирательном образе, давшем ей прозвище. И Ганька не обижалась, что оно прилипло к ней, даже откликнулась на него, смирившись с такою славой. Но однажды всё же слава эташибко огорчила и рассердила её.

Где-то в конце корейской войны прошёл слух по селу, что сердобольная Россия наша решила приютить тысячи осиротевших корейских детей и что их будут “раздавать” желающим на содержание и воспитание по всем городам и весям, в том числе завезут и в наш сибирский угол. И вот, узнав об этом, Ганька Талашка первой прибежала в сельсовет, чтобы “заказать” себе двоих-троих корейчат. До кучи, как говорится. Строгий председатель сельсовета Петро Дзирне, по прозвищу “латышский стрелок”, на просьбу ответил уклончиво, что, мол, учтёт пожелание заявительницы, если будет такая возможность. Однако вслед обнадёженной посулом Ганьке не удержался бросить наставление:

— Но сперва, товарищ Талашкина, подбери своих собственных, чтоб не ползали в пыли под окошками без догляда...

На что Ганька, вспыхнув от обидного замечания, резко ответила:

— Не председателю бы повторять бабьи сплетни про Растатуриху!

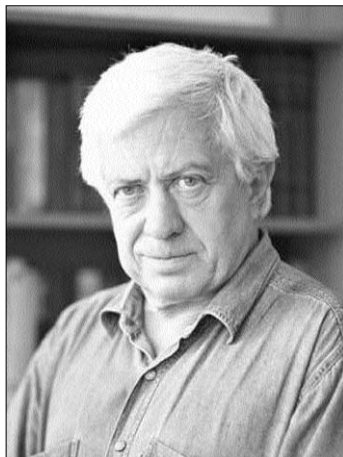
Тех обещанных корейских сирот к нам в село так и не привезли. А Ганька оскорбительное недоверие родной власти переживала недолго. Погрустила чуток да снова пустилась в бурную жизнь села — что на работе, что в клубе, что на вечерках и гулянках, включая общебригадные. Вроде той, с которой я начал этот рассказец и которая навеки одарила меня ярким впечатлением от встречи с живым воплощением образа Растатурихи, довольно типичного для нашего народа во все времена. А в нынешние, “новорусские”, может, даже более, чем в иные.

Да-да, как это ни горько сознавать...

Всё чаще с годами приходят мысли о нашей с вами недавней общей “телеге”, второй сверхдержаве мира, надёжной, мобильной, полной под завязку несметных богатств... И на что мы променяли её? И что с нею ныне стало? Включите хотя бы телевизор:

*А балалаечка наигрывает,
А Растатуриха наплясывает...*

ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ



ПОВСЮДУ ЦАРСТВОВАЛО СЛОВО

ВЕЧНЫЙ МАРШ

*Памяти композитора
Василия Агапкина*

Медь закипает спозаранку,
светло волнуется труба.
Оркестр! “Прощание славянки”!
Так начинается судьба.

Нам очи отчий дым не выел,
пускай не сладок — горек он.
Идём, России рядовые,
вновь под её призывный звон.

И не смолкают в марше этом
и вера вещая, и плач...
Да, долго был почти неведом
кавалерийский штаб-трубач.

Рязанец, он тогда в Тамбове,
в полку сверхсрочную служил.

ХОМЯКОВ Владимир Алексеевич родился в 1955 году в селе Косиха Алтайского края. С августа 1958 года живёт в городе Сасово Рязанской области. Автор двух десятков стихотворных и краеведческих сборников. Член Союза писателей России, лауреат премии губернатора Рязанской области, почётный гражданин города Сасово. В журнале “Наш современник” печатается с 1996 года.

И этот грустный марш —
от боли
за честь славянскую сложил.

Война гремела на Балканах,
и добровольцы шли на фронт.
Незатихающею раной
вновь задымился горизонт.

И непроглядными ночами
штаб-трубачу не снились сны,
но — звуки, полные печали,
как будто волны синей Цны.

Всё будет:
осени и вёсны,
огни тревог, огни побед.
И вечный марш, как ветер звёздный,
как над страной Божий свет.

* * *

— Что делать, Господи, —
спросил я,
тяжёлым шёпотом крича, —
когда терпеть иссякли силы
и в ближнем вижу палача?

И в сердце ненависть вселилась,
ничем её не истребить...
Что делать мне,
скажи на милость?
...И Он мне вымолвил:
— Любить...

МОЙ ГОРОД

Я жизнь давно веду тверёзую
и в грусть, и даже в торжество.
Но вновь твержу,
что клён с берёзою
растут из корня одного.

Я это видел здесь,
на улице,
в своём изведанном краю.
...Весна моя опять волнуется,
опять с тобою говорю:

— Ну, здравствуй,
город мой единственный!
Свою мне песню назови...
Я в этот мир пришёл за истиной,
за тихой памятью любви.

Навеки здесь
мои родители
сокрыты смертною волной.

А я дышу в седой обители
неисповеданной виной.

Ох, сколько дум тревогам отдано!
Метель мела со всех сторон...
Мой город, утренняя родина,
мой колокольный перезвон!

ПРИСТАНЬ

Тянулись тихо тучи с севера.
Повсюду царствовало Слово.
И на столетии Есенина
на пару пели мы Рубцова.

Да-да, ту самую, о пристани,
о потонувшей, отдалённой.
И нам казалось, что до истины —
подать рукою ...окрылённой.

А жесты наши были резкими,
как бы в предчувствие полёта.
А строчки песни были дерзкими —
всё про кремлёвские ворота.

А листья реяли над крышами,
и песнь неслась по всей округе.
И эту песнь в Рязани слышали,
а может, даже и в Калуге.

Нам не кричали “бис!”, не хлопали,
да и не нужно было это.
Но, протянувшаяся во поле,
светилась родина поэта.

И в те мгновения предлунные
Есенин сердцем нас приветил:
его слова: “Цветите, юные!” —
нам распахнулись, словно ветер.

Есенин — синий мир таинственный.
Рубцов — цветок вечнозелёный.
И вновь казалось, что до истины —
подать рукою окрылённой...

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ



Я ДОМА

ТРОПИНКА

Поле, иду старикашкой согбенным,
Слово из книжек всплывает — жнивье.
Эти травиночки, ставшие сеном,
Могут понять настроенье моё.
Жизнь — это смесь сильной боли и воли,
Не преминувшей её превозмочь.
Осень, тропинка сквозь вечное поле.
Надо идти. Даже если невмочь.

ПРАВДА ЖИЗНИ

Значит, время пришло, подоспело.
Я теперь стал слабей и — нежней.
Я хотел бы, чтоб ты не хотела
Испариться из жизни моей.
Я, конечно, седой и сутулый,
Но имею кирпичный вигвам.

СТЕПАНОВ Евгений Викторович — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатался в журналах “Наш современник”, “Нева”, “Знамя”, “Дружба народов”, “Звезда”, “Урал”, “Арион”, “Юность”, “Волга” и во многих других изданиях. Автор нескольких книг стихов. Живёт в Москве и посёлке Быково (Московская область). Главный редактор журнала “Дети Ра” и портала “Читальный зал”. Лауреат премии имени А. Дельвига и премии журнала “Нева”.

Я зарыл золотишко под Тулой,
Я тебе все до грамма отдам.
Стал namного, namного короче
Путь до финиша. И потому
В эти зябкие зимние ночи
Нежелательно быть одному.

ТЕПЕРЬ

А пряник чёрств и вечен кнут,
И не могу печаль унять я.
Ну, что тут скажешь: мрут и мрут
Мои советские собратья.

Ну, что тут скажешь: врут и врут
Вруны из куш телеэкрана.
Ну, что тут скажешь: лилипут
Теперь заметней великана.

ТРАЛИ-ВАЛИ

Тили-тили, трали-вали,
Говорили, выпивали,
Обсуждали всё взахлёб.
Радостен был этот трёп.

Трали-вали, тили-тили,
Выпивали, говорили,
Тары-бары, бла, бла, бла.
Глядь, а там и жизнь прошла.

ПО КАМЕННОЙ ДОРОГЕ

Так хочется поспать,
Побыть в родных пенатах.
Так хочется послать
Клиентов бесноватых.
Борьба за нал-безнал
Изъела и достала.
И бес меня загнал
В капканы капитала.
А на одной шестой
Я жил совсем неплохо.
Нет, всё-таки “застой” —
Великая эпоха.
Я был добрей тогда,
И не душила жаба.
И пели Далида,
И Бони М, и АББА.
И кто же мог постичь,
Что гибельна нажива?
И Леонид Ильич
Рулил неторопливо.
Под ковриком ключи.
Спортивные трофеи.
И были куличи
Пышнее и вкуснее.

Спокоен, обогрет,
Я шёл вперёд упрямо.
От всевозможных бед
Меня спасала мама.
Былое не вернуть.
Не подводя итоги,
Я продолжаю путь
По каменной дороге.

ПИСЬМО

Рвёте дружеские нити?
Не идёте на контакт?
Не хотите — как хотите.
Значит — так.

Не хочу по фене ботать,
Комментировать Фейсбук.
Кто-то должен и работать.
Будьте счастливы, мой друг!

Кто-то должен верить смело
В самый сказочный проект.
Кто-то должен делать дело,
Даже если шансов нет...

Кто-то должен ранью приткой
Шить цветные паруса,
И сшивать волшебной ниткой
Пух земной и небеса.

ТОГДА

Что же было тогда? Воровали.
Истребляли своих.
Негодяи учили морали
И марали святых.

Наилучшие были убиты.
И убиты слова.
Сквозь бетонные серые плиты
Пела песни трава.

Пела песни трава — и малёхо
Изменялась эпоха греха,
Некрасивая эта эпоха
И червивая, точно труха.

ЧЕЛОВЕК

Человек повзрослел, не перечит
Болтунам, не скулит, точно пёс.
Время лечит? Наверное, лечит.
Впрочем, часто калечит — всерьёз.

Человек повзрослел и не хочет
Лишних благ, лишних дел, лишних фраз.

И успехов себе не пророчит,
Но живёт, как умеет, — сейчас.

Человек повзрослел, и шумиха
Не нужна никакая ему.
Он живёт очень просто и тихо
В деревянном своём терему.

НАБЛЮДЕНИЯ

Третий глаз пока не вытек,
Вижу правду, вижу ложь.
Ну, какой же ты политик,
Если бизнес не ведёшь?

Ты о дружбе речь толкаешь,
Делишь ты со мной блиндаж.
Ну, какой же ты товарищ,
Если завтра не предашь?

Ни желанья нет, ни планов
Осуждать тебя — гнобя.
Ну, какой же я Степанов,
Если не пойму тебя?

КИМ БАЛКОВ



ФЕЛЬДШЕР И ПАСТУХ

РАССКАЗ

— Мамаия, фельчир идёт!.. — крикнул кто-то, выбежав из толпы пацанов, которые нынче гуртовались в улочке, повиснув на глухом высоком заборе. — Прячься!..

Я оглянулся и в широкую, едва ль не с ладонь, щель увидел на соседском подворье седоголовую женщину. Та стояла, держа на вытянутых руках кринку с молоком. Пар шёл от него, видать, хозяйка только что подоила корову, приняв кормилицу от Сёмки-пастуха, косоротого ширококостного мужика лет шестидесяти, который нынче, растолкав своих подопечных по мужичьим дворам, ощутил облегчение на сердце. Это его состояние укрепилось оттого, что он, как и седоголовая женщина, предупреждённая сыном, увидел тихонько бредущего по улочке косолапого, среднего росту, востроногого человечка в серой кепке и изрядно потрёпанной курмушке. И, в отличие от седоголовой женщины, от неожиданности выронившей из рук кринку с молоком, обрадовался старику, признав в нём Фёдора Кузьмича Оглоблина.

Было тому лет семьдесят, а может, чуток побольше, но никто про это не знал, как и он сам, мало интересовавшийся собой, а только теми чувствами, что изредка выводили его на улочку, где нет-нет, да и попадались люди из дальних краёв, с кем можно было потолковать за жизнь. Со своими-то уж не поговоришь, они откровенно сторонились его, а коль скоро он заглядывал

БАЛКОВ Ким Николаевич родился в 1937 году в селе Большая Кудара Кяхтинского района Бурятии. Окончил Иркутский университет. Автор более двадцати книг прозы. Среди них романы "Будда", "Идущие во тьму", "От руки брата своего", "За Русью Русь", "Иду на Вы", "Берег времени", повести "Росстань", "Ожидание", сборники рассказов "Небо моего детства", "Звёзды Подлеморья". Лауреат Государственной премии Бурятии, Большой литературной премии России, премий нескольких журналов страны. Живёт в Иркутске.

к кому-либо на подворье — мало ли чего надобно по хозяйству — наспех перекрещивали себе лоб друг ослабевшей рукой, прежде чем спросить с придыханием, захлёбисто:

— Ну, и чё те приспичило придти ко мне?

Фёдор Кузьмич не мешкал, сказывал про надобность, что привела на чужое подворье, а когда хозяева делились тем, что у них было, а у него не было, и делали это поспешно и суетливо, норовя побыстрее выпроводить незваного гостя за ворота, иной раз говорил смущённо:

— Ну, вы даёте!..

И ему отвечали тоже не без смущения:

— Шёл бы ты своей дорогой, мил-человек, а то у нас нонече забот полон рот, не знамо, как сладим с имя.

Никто не приглашал Фёдора Кузьмича почаёвничать, поесть пирога рыбного, как случалось раньше, когда был молод и лазал по мужичьим дворам в белом халате с задрипанным чемоданчиком в руке. Числился он в те поры по медицинскому списку фельдшером и нередко подсоблял болящему. Он был один на всю ближнюю округу, куда входили три поселья и два улуса, раскидавшие свои юрты близ Байкала.

Фёдор Кузьмич знал, отчего не приглашали его к столу, но делал вид, как если бы ни про что не догадывался. Так было легче жить. А и впрямь, иль всякое знанье нужно человеку? Да нет, пожалуй. Фёдор Кузьмич пришёл к этому убеждению недавно, и это помогало не потерять себя. Теперь он мало приглядывался к тому, что вершилось окрест. И ладно, что так... А не то и вовсе стала бы раскалываться голова от мыслей.

Иной раз посещало Фёдора Кузьмича нечто, во что нельзя поверить, а и не поверить тоже нельзя, вон оно, рядышком, протяни руку и дотянешься до дива. Вдруг, да и узревалося, навроде бы он, подчинившись невесте чему, оказывался вознесён высоко-высоко, к синегрудым домикам, которые и раньше воображались ему, когда с помощью своей необузданной мысли уносился в неведомые земли. Мнилось, что он ходил промеж небесных домиков, а иной раз и заглядывал во дворы. Те бывали обычно пустынно и ничего-то не углядишь тут, кроме ярких звёздочек, промелькивающих то в одном месте, то в другом. По недолгому размышлению Фёдор Кузьмич решил, что это души людей, и не надо бы им мешать. Тем, наверное, не просто следить за своими просторными небесными подворьями. А то, что тут сохранялся какой-никакой порядок, он понял после первого же огляда новины, представшей перед глазами и как бы слегка затомившей несвычностью со всем, что сохранялось в памяти. Впрочем, он недолго изводил себя раздумьями, привыкнув ровню, не больно-то колеблясь в чувствах, принимать самое неожиданное, а малость спустя, очухавшись, пытаться разобраться в себе. Да, главным образом, в себе. Он вдруг — хотя почему вдруг-то? Это, пожалуй, давненько накапливалось в нём — начал меньше думать про тех, кто жил рядом с ним, но не желал с ним знаться. В конце концов, он сказал, мысленно отвечая на те вопросы, что бродили в нём: “А и не надо... Кому хуже-то?..” И даже слегка загордился. Но сейчас же и добавил: “Как вы ко мне, так и я к вам...”

Тут, наверно, надо сказать, отчего к Фёдору Кузьмичу поменялось отношение жителей Подлеморья. Случилось это, когда смута, выхлестнувшаяся на московские улицы, настырная и жадная, смела прежнее государство, а новое, пустившее по миру тысячи людей, ещё не набрало силу. Тогда Подлеморье охватил большой мор, всё чаще стали помирать люди в посельях, и неясно, отчего, вроде бы ещё вчера человек был здоров и копался в своём огороде, другой-то работы уж не сыскать, как вдруг оседал наземь, схватившись за живот, и — дух из него вон.

Фёдор Кузьмич в те поры вместе со вчерашним студентом Иркутского медицинского института, рыжеусым круглолицым парнем с красными руками, замаялись бегать по дворам. Они не умели понять, что происходит, и редко когда улавчивали подсобить человеку. От этой неумелости и неловкости в действиях, от робости, которая сыскала прописку в их растерянных лицах, мало-помалу те, в дома которых ещё не нагринула беда, перестали пускать

к себе людей в белых халатах, посчитав их повинными в несчастьях, что скрутили поселя в бараний рог. Дескать, и глаз у них дурной, вроде бы как порченный, и руки злой чернотой облиты. Хотя отчего бы чернотой-то? Скорей, чернилами.

Едва завидев медиков, тут же бежали в свои дома и запирались. И сказал тогда некто, умудрённый летами, что давили на слабые плечи тяжёлыми камнями:

— Как в Великую Отечественную... Мы в те поры пугались одного того вида почтальона. Как могли, прятались от его. Иная из молоденьких баб, бывало, заберётся со страху на сеновал, одни токо пятки торчат. Да разве ж спрячешься от беды-напасти? Не седни, так завтра забредала в избы и надолго поселялась в них.

Уж давно нету мора, и во дворах солнышко с утра гуляет весёленькое, и вроде бы ничто не напоминает о несчастье, поломавшем жизни поселий, ан нет, памятка о прошлом сохранилась в людских сердцах. И теперь перепадало Фёдору Кузьмичу, в котором не хотели видеть потрепанного невзгодами старого человека, а только того, кто причастен к жестокому мору. И малым детям ловчили передать, как если бы по наследству, свою нелюбовь к бывшему фельдшеру. Нет-нет, да и выбегал голопузый пацан на середину улочки, завидев ковыляющего Фёдора Кузьмича, и уж если не предупреждал мать о бывшем фельдшере, то успевал пару-другую раз обежать его, выкрикивая: “У, неладный, у, окаянный, у, меченый!.. Чтوب ты сдох”.

А что же Фёдор Кузьмич? Обижался, конечно. Не однажды сказывал про свою обиду Сёмке-пастуху, с кем нынче только и знался. Всех же остальных, хотя бы и тех, кто не держал на него сердца, вроде бы не замечал. Да и они, надо сказать, чаще воротили от него морду, и не почему-то там, по какой ни то причине, просто так, держа опаску, чтоб иная из баб не накинулась и на него, после того как поговорит с фельдшером, обвиняя в смертном грехе. И не зря опасались. Мужики чаще нечем было ответить осерчавшей бабе, у которой бешено горели глаза. Впрочем, не сказать, чтоб тут всё было настроено на одну волну. Случалось, иная из баб, мысленно увидав себя невесть отчего исходящей лютой злобой, — старая-то боль вроде бы поистерлась и уж не так измучивала, — тут же всенепременно сбегла бы с улочки, да в те поры появлялась длинноязыкая Марфа и, ехидна старая, строго, едва ль не с подозрением, смотрела на неё. Ну, куда тут деться грешной? “Противу обществу не попрёшь!.. Да и надо ли? Иль, может, Фёдор Кузьмич покаялся в своей вине пред людьми? Ничё подобного! Не приведи какой вреднющий! Стоит один противу всего обществу, и — дюжит. Не иначе, как ктой-то от небес пособляет ему? Но да вряд ли. Чё бы стал небожитель возиться с фельчиром, который по сей день пребывает в недоумении, пошто люди ополчились противу него?.. Он чё, иль не старался пособить болящему? Иль силком загнал кого-то в могилу?..”

Фёдор Кузьмич дождался, когда Сёмка-пастух поравнялся с ним, кивнул и двинул дальше, всё так же не поспешая в шаге и шибко сутулясь. И не от того, что лета надавливали, иной раз и вовсе не замечал их, порой даже думал: “А доведись теперь столкнуться с давешним мором, поди, снова делал бы то же, что и в те дни. Я ещё кое на чё способен. Жаль токо, никто про это не догадывается. Хотя нет... Вон Сёмка-пастух... Чутьё у него такое... враз приметит, в каком ты состоянии и стоит ли толковать с тобой, иль погодить...”

Угадывал Сёмка-пастух в Фёдоре Кузьмиче, отчего и был не в тягость ему, привыкшему к тому, что он уж много лет один-одинёшенек. Жил, правда, сынок в городе, но тот нынче затерялся среди множества людей, и уж не сыщешь к нему дороги.

Сёмка-пастух лёгок на ногу, да и на слово тоже, которое бежит впереди него, всякая загугылина, встреченная в улочке, вызывает в нём живейший интерес. Вот и теперь углядел в заплоте у Фёдора Кузьмича дыру, вроде бы как проделанную людскими руками, и тут же заволновался: с чего бы? Пацаны-то уж не балуют. Да и осталось их на поселье всего ничего. Надо быть, сыскался вороватый человек; много разного люда бродит нынче по

Подлеморью, попадаются и те, кто нечист на руку. А может, просто с голодухи заклинивает у них в голове?.. Сёмка знает: и такое бывает... А ежели тут чё-то другое? Тогда жди беды. Иль не беда, коль скоро и на поселье зачнут запирать избы на семь замков...

Много чего знает Сёмка-пастух, небось, в самые дальние степные укрaines гоняет скотину, когда засуха опаляет и подлеморские земли. Ему там никто не мешает. Только в родной Берёзовке ещё держат коров. В других-то местах мало осталось скотины. Покосов-то подле поселий никаких, сплошь камень, промеж которых растёт только горькая полынь, почему даже те, кто хотел бы заняться хозяйством, ещё подумают, прежде чем потратить деньги на корову. Не то в Берёзовке, что сыскала себе пристанище в устье большой северной реки. Сюда даже хлёткий февральский ветер едва прoderётся сквозь высоченные скалы. И, ослабнув, сгинет. “Райское место”, — только и скажешь, хотя бы однажды побывав тут. Трава здесь дивно какая славная, не побитая ветрами, не измученная лютым безводьем. Всё тут по разуму выстроено. Не вноси в природный порядок разброд, бери, чего надобно и лишь когда приспеет время, не жадничай: поднял зародец из десяти копен, и ладно, хватит на корову. И будет тебе уважение за это не только от людей, а от матушки-природы.

Уклад жизни в Берёзовке заметно отличаем от уклада жизни в других посельях. Там-то скотинку едва только и встретишь в улочках, к тому ж худую, с опавшими боками, а по здешним улочкам сытые коровы по вечеру, дожидаясь хозяев, лениво бродят, брызжа молочком из полного вымени, и с любопытством заглядывают на чужие подворья, а то и охотно пометят рогами какую ни то заплотину. И ничего, всё им сходит с рук, редко когда выйдет из низких воротец розовощёкий пацан и прикрикнет на расходившуюся скотину. Тихо окрест, но через какое-то время тишина обрывается — это когда хозяева, брэнча подойниками, станут загонять коров во дворы, чтоб подоить, и телята, заждавшиеся кормилицы, повывскакивают из стаяк и из разных сбитых на лёгкую руку пристроев, бывает, что и выбегут за воротца. Загони потом их!.. Прямо напасть. Только напасть-то приятная сердцу, она прибавляет весёлых хлопот.

Совсем недавно и у Фёдора Кузьмича была коровёнка, доставшаяся от дальней родственницы, отдавшей Богу душу, старенькая, правда, коровёнка-то, и молока давала чуть побольше литровой кастрюльки. Но и этого хватало ему и Сёмке-пастуху, который жил на противоположной стороне улочки в захудалом, как, впрочем, и у Фёдора Кузьмича, домике недалеко от бывшего колхозного клуба, куда уж теперь никто не забредает, даже пацаны, и те обходят его стороной, словно бы опасаясь чего-то. А и впрямь было однажды... На крюке, вбитом в стену, тут повесился странствующий человек. Вроде бы в своём уме находился и даже с Сёмкой-пастухом говорил, правда, без всякого интереса, как если бы по принуждению, и глаза у него были потухшие. Сей человек провисел на сцене с неделю, пока Сёмка-пастух невесть по какой причине, теперь уж и не скажет, не вспомнил про бедолажного и не поднялся на старое скрипучее, ходуном ходящее под ногами крыльцо и не отворил дверь в клуб.

Сёмка, увидав покойника, пытался позвать кого-либо, чтоб помогли, но всяк, едва прослышав про надобное, тут же притворялся болящим иль бегущим по важному делу. И тогда Сёмка-пастух кликнул своего приятеля, хотя в ту пору в спине у того покалывало, и слабость ощущалась во всём теле, как если бы с похмелья. А ведь он уж давненько не прикладывался к спиртному. Охоты не было. Иль старость подоспела? Не рано ли?..

Фёдор Кузьмич и Сёмка-пастух вынули из петли мужичонку, а потом закопали его прах чуть в стороне от деревенского кладбища, поближе к гольцам. Там уж были захороненья побродяжних людишек. Долго раздумывали: поставить ли крест на могилке? Решили, что не будут этого делать. Бабы-то, чего доброго, крик подымут: мол, нехристя в православные возвели. А по какому-такому праву?..

Нет уж, лучше с бабами не связываться. Чудно, однако ж, давно ль минуло то время, когда они отлично ладили с Фёдором Кузьмичом. Да и пошто

было не ладить: мужик-то не вредный, к тому ж много лет как вдовец. Кое-кто приглядывался к нему. “А чего ж?.. Долго ль одной-то куковать?.. Уж третий год пошёл, как помер муженёк”. Но когда навалился на дома в Подлеморье страшный мор и стал появляться на подворьях Фёдор Кузьмич об руку с молодым врачом, отношение к нему поменялось. Поползли дурные слухи, будто-де вся напасть от горе-целителей, от их неверья в Божью благодать. Иль кто-то помнит, чтоб они ходили в церковь...

Вот ведь как. Ещё вчера уважаемый человек в одночасье сделался чужаком. Не поменялось отношение к нему и тогда, когда в поселке прослышали, что он и после того, как ему запретили лечить людей, остался верен себе, и теперь уже подсоблял разному лесному зверю. Нередко он приводил на подворье малолеток-изюбров, зашибленных деревьями, но чаще упавшими с ближних скал камнями, и подолгу возился с ними, а потом выпускал на волю. Случалось, повзрослев, иной изюбр возвращался и тёрся у ворот, напрашиваясь в гости. Людям порадоваться бы за своего соплеменника, ан нет, они и тут увидали руку нечистого, который якобы управлял Фёдором Кузьмичом.

Позже прослышали, что бывший фельдшер делает “металлическим метром” какие-то замеры подле избы. С чего бы?.. Подозрительно. Дальше — больше. И вот уж стали плести про него всякую непотребь, хотя в глубине души не верили, что тот знается с нечистой силой. Они поступали так потому, что то же самое делали и другие. Люди запомнили про то, что, прячась друг за дружку, легко угодить в замкнутый круг, откуда уж не будет возврата. Когда б помнили, небось и зла промеж них поуменьшилось бы.

Нынче Фёдор Кузьмич не позвал в свою избу Сёмку-пастуха. Тот продолжал стоять посередь улочки, когда бывший фельдшер свернул к себе на подворье, даже не глянув на него. Сёмке-пастуху пойти бы за стариком и попытаться узнать, пошто он нынче как в воду опущенный. Глядишь, тот и поведал бы. Не раз уж бывало: в какой-то момент, хотя бы и посреди оживлённого разговора, Фёдор Кузьмич словно бы нечаянно сказывал про это, а потом опускал голову и уж никого не замечал рядом, до кончиков пальцев на руках уйдя в те мысли, что жили в нём и до сей поры ничем не отличались от прежних, были вполне управляемы и не загоняли в душевную мутову. А вот теперь они сделались другими, ладно ещё, поедом не ели. Всё ж Фёдор Кузьмич кое-что утратил в душе своей и не хотел бы, чтоб кто-то видел его теперь. Сёмка-пастух не сразу, конечно, но догадался, что творилось в душе у приятеля, отчего тот сам не свой, а в длинном жёлтом лице с рыжеватой щетиной и враз помутневшими, как если бы от большого смущения глазами, появилось скорбное выражение. Сёмка-пастух догадался про это, но и своему приятелю не сказал ни слова. И то было удивительно для него, не привыкшего держать рот на замке, постоянно пребывающего в напряге от словесной шелухи, которая, бывало, и самому надоедала. Да только вот напасть: он не всегда мог прервать льющийся поток слов, что-то мешало. Но нынче он вроде бы совладал с ним, подчинил собственной воле и, хотя бы и ненадолго время, сделался молчалив, а чуть погода удивился, сколько же в молчании добросердечия и душевной мягкости.

Сёмка-пастух и сам не знал, что с ним происходило и отчего на сердце было томяще и вместе влекуще к чему-то. И он не хотел бы ничего менять в себе, но тут к нему подошла полуслепая старуха, от безделья ли, от одиночества ли страдающая любопытством, почему к ней относились не то чтоб с насторожкой: “А, велика беда, пуцай лопочет, про чё хочет”, — скорей, с досадой, но не такой сильной, чтоб сказать ей, чтоб не лезла в дела, в которых не смыслит; старуха подошла к Сёмке-пастуху и спросила как бы даже без всякого интереса, вяловато, тихим, словно бы издали сошедшим к ней голосом, хотя синопций, кажется, в самое нутро проникающий глаз у неё пуце прежнего запосверкивал:

— А скажи, мил-человек, правду ли бают, будто-де у твою приятеля, у фельчира, и вовсе в голове поехало, и он навострился перенести избу куда ни то, где б людёв было помене и пораздольней для духу его?

Сёмка-пастух покрутил головой, не сразу умея понять старуху, но потом сказал, нахмурия лохматые брови:

— Мелешь почём здря.

Он сказал так-то и засмутился, всё ж не сразу отошёл от старухи, дождался, когда она, опустив голову, заковыляла, опираясь на палку, по улочке. И уж потом струсился с места. Навострился идти домой, а ноги сами, как бы по своей воле, привели его к старенькому домику, накренившемуся над ближними водами Байкала, которые нынче были спокойны и нестрагиваемы, хотя понизовик бродил по земле, цепляя и холм, на котором стояла изба Фёдора Кузьмича. Он подошёл к калитке, отворил её, зашёл во двор, потолкался возле порожка, выглядывая хозяина, а не сыскав его глазами, взял в руки топор, что лежал под нижней крылечной плахой, попробовал пальцем лезвие, как если бы в том предприятии, которое задумал, имело значение, остро ли отточен топор. Но это не имело никакого значения. А сделал он так по давней, вьвшейся в кровь привычке, ни про что не думая. Так поступали его дед и прадед, так поступал и он, когда брал в руки топор. Он нынче взял топор и подошёл к поленнице, где накрытые брезентом лежали листовничные чурки. Выбрал одну из них, поставил на попа и уж занёс над головой топор, когда услышал, как скрипнула калитка и на дорожке, ведущей к избяному крыльцу, появился хозяин. Он увидел Сёмку-пастуха и, приблизившись к нему, сказал виновато:

— Сам-то я так и не соберусь дровишек наколоть. Слыхать, лютая зима предстоит нынче.

Сёмка-пастух ответил не сразу, а только когда управился с толстенькой чуркой, распластав её до живого нутра. Ему поглянулось, что Фёдор Кузьмич, подойдя, легко заговорил с ним, и он тут же спросил у него с немалой озабоченностью:

— Ну, как там?..

Фёдор Кузьмич вздохнул, сказал с грустью, присаживаясь на среднюю приступку крыльца и не выпуская из рук рудетку:

— Ничё хорошего. Изба-то еще на десять сантиметров приблизилась к ближнему урезу воды. Байкал-то всё работает, накидывает волны на прибрежные земли. Скоро, поди, и до моего подворья доберётся и отымет избу. Иль приберёт меня вместе с нею?.. Хорошо бы так-то!..

— А я слышал, усыхает Байкал-батюшка, и воды в ём делается всё меньше. Чего б ему на тебя-то покушаться?.. Небось, других забот хватает.

— Ты так думаешь? — неуверенно сказал Фёдор Кузьмич. — Поди, зря ты... Где-то, может, и усыхает, но у нас держится молодцом. Никому не поддаётся, даже самому злому недругу.

Вспомнил Фёдор Кузьмич байку и сказал с некоторой неуверенностью: байка-то стара больно, и Сёмке-пастуху может не поглянуться, что он подсовывает ему невесть что:

— Было так, — сказал он, отводя глаза от приятеля. — В давнюю-предавнюю пору, когда Байкал токо зачинался и не было в нём теперешней силы, на берегах его, заставленных тонкоствольными деревьями, появился большой зверь, и был он жесток и коварен, и малой птахи не пожалеет, и тут же, схвативши, запирает её в рот и съест. Так же поступал и со зверем покрупней, люто свирепел, когда встречался с ним, как если бы и вовсе шалел и не успокаивался, пока не одолевал его. Бывало, и солнце, играющее в ближних волнах, норовил затенить своими огромными лапами, на которых ещё не засохла чужая кровь. Не знал, отчего он такой, отчего ему приятно вершить зло, про которое сам-то не сказал бы, что это зло, думая, что это лишь приятное для него действие, без которого всё в нём померло бы, оборотилось бы в пыль. Так и случилось годы спустя. И всё потому, что не остановить было время, оно текло спокойно, ничему в мире не подчинялось и никому не позволяло властвовать над собой. Пред ним склоняли головы и самые сильные и дерзкие, подобно большому зверю, который нынче один остался на байкальских берегах. Те, кто прежде жил в Подлеморье, иль были побиты им, иль, спасая себя и свой род, бежали в дальние земли. Этот зверь подымал руку и на время, но оказался бессилен совладать с ним и с каждым днём всё больше ослабевал в духе. И, когда осознал, что уж не властвовать ему над Подлеморьем, поднялся на высоченную гору, зависшую над ближними волнами,

и сноровил спрыгнуть с неё, но силы вдруг и вовсе оставили его, и от худобы и неприятия мира он оборотился в скалу, которую люди называли Скалой зла и по сей день обходят её стороной.

Байкал-батушка после того, как зверь утратил свои силы и уж не могчинить зла, а потом и сгинул, заметно окреп, а время спустя сделался властным над ближними землями. И это стало благом для всех, а пуще того для людей, которые начали возвращаться на его берега. Надо сказать, никто из них ни тогда, ни теперь так и не побывал на вершине той скалы, опасаясь потревожить душу зверя. Боясь, что она после этого не найдёт себя. Про то сказывали старцы. А люди в Подлеморье привыкли доверять старцам.

Фёдор Кузьмич сказал про это голосом тихим, едва ль не шелестящим, подобно нижним речным травам, и покосился на приятеля, думая, что тот не согласится с ним, хотя, может, сразу и не покажет виду. А когда, по его понятиям, так случилось, когда Сёмка-пастух приметно оживился, и в глазах у него появилось что-то упрямое и досадливое, Фёдор Кузьмич поднялся с крыльца и пригласил старого приятеля в избу.

Они сидели за круглым кухонным столом и пили наваристый, с чагой, чай из больших деревянных кружек. И молчали, старательно помешивая в кружках маленькими ложечками, хотя этого не требовалось: они пили чай без сахара. Сёмка-пастух мало-помалу остывал, и вот уж вроде бы и вовсе запмятовал про недавнюю досаду. И ладно. Он не привык долго держать сердца на кого бы ни было. Когда ж приятели сладили с парой кружек, валко и как бы с неохотой вышли на крыльцо, посидели тут малость, ладя самокрутки, а затянувшись пару-другую раз, спустились по скрипучим ступенькам на землю и, легонько покашливая, невесть по какой надобности, но, может, и вовсе без неё, а по привычке, давным-давно поселившейся в них и влекущей к чему-то до сей поры неугаданному, вышли за ворота и ступили на узкую тропку, протянувшуюся от калитки вниз, к Байкалу, подминая под себя тёмно-жёлтый, обильно заросший полынью-травой тупорылый холм, на котором стояла открытая всем ветрам, как бы даже слегка покачивающаяся, коль на неё наваливался шальной северный верховик, с большими светлыми окошками изба Фёдора Кузьмича. Они спустились с холма, а подойдя к самому урезу хрустально-синей воды, запрокинули головы, норовя оглядеть избу снизу, не сразу, но это удалось, и сказал Фёдор Кузьмич:

— Вон, видишь, деревце малое, уцепившее за обрывистый берег, оно раньше держалось ровненько, хотя земля под ним была слабой, а нынче шибко покосилось, того и гляди, оборвёт корни и скатится вниз. — Вздохнул устало: — А потом наступит черёд моей избе. Чуешь?..

И сказал Сёмка-пастух, как бы враз догадавшись про то, что мучило старого приятеля все последние дни:

— Так ты потому и ходишь с “метром”, чтоб делать замеры, скоко ишо осталось избе до обрывистого скату?

— Теперь уж не хожу. Знаю, сажени две с малой прибавкой осталось. А уж когда те будут пройдены, никому не ведомо. Может, завтра, а может, и через год.

— Я не раз говорил, переселяйся ко мне. И поживём в тишине да покое, без смуты на сердце.

И, как уж не однажды бывало, Фёдор Кузьмич устало обронил:

— Незачем срываться с места, где хаживали отец мой и маманя, а ещё ранее дед и бабка. Нет уж, я не буду ничё менять. От судьбы не уйдёшь.

Фёдор Кузьмич прошёл к урезу воды, отыскал глазами иссиня-жёлтый, должно быть, от мшистой накипи, ещё не успевшей раствориться на солнце, ребристый камень, сел на него, показал рукой на такой же камень, приткнувшийся серым боком к воде. Сёмка-пастух, не мешкая, опустился на него и вытянул ноги, а чуть погода закрыл глаза и задремал, ощущая на лице текущие по нему, обрета лёгкую прохладу, солнечные лучи: день-то угасал, и солнце заметно ослабло. И тут же, когда лёгкая, ещё неокрепшая дрёма коснулась сознания, невесть что померещилось, но надо быть, что-то, вгоняющее в душевную смуту. Он едва совладал с нею, векочил на ноги, но увидел Фёдора Кузьмича и обрадованно сказал:

— Так это ты?.. Слава Богу. А мне невесть чё померещилось. Будто-де... Будто-де...

Но тут же и замолчал. Было заметно, что это далось ему с большим трудом. В смуглом длинном лице, казалось, напряглась каждая хотя бы и едва приметная жилка, а подле узких, с рыжеватым оттенком глаз появились тонкие морщинки, которым вроде бы не место тут, во всяком случае, Фёдор Кузьмич прежде ни разу не видал их на лице у старого приятеля. И ему сделалось не по себе, запощивало на сердце, и он не стал удерживать приятеля, когда тот, сославшись на нездоровье, неожиданно заторопился на отчее подворье. Проследил за тем, как Сёмка-пастух медленно взбирался на холм по гибкой вёрткой тропке, а когда тот скрылся в сером тумане, пришедшем откуда-то снизу, должно быть, от протекавшего по распадку горного ручья, и сам поднялся с камня и медленно, через шаг останавливаясь и покашливая, побрёл по тропке, думая про то, что так обеспокоило приятеля. В его болезнь он не поверил. Сёмка-пастух сроду ни на что не жаловался, как если бы вытесан был из байкальского камня, к нему не приставали никакие застуды, он, бывало, и зимой, когда во дворе стоял лютый, градусов под сорок, мороз, приходил к Фёдору Кузьмичу в одной рубашке, а на ворчанье хозяйина отвечал, что с ним ничего худого не случится, и не надо бояться, что подхватит простуду.

“Мда, чё же всё-таки стряслось, — думал Фёдор Кузьмич, почёсывая в затылке, — почему Сёмка-пастух сделался сам на себя не похож, суета какая-то в нём появилась, и глаза сделались потерянные, точно бы утратил что-то такое, без чего жисть станет скучной и никому не нужной”. Он с тяжёлым сердцем зашёл в избу. Долго сидел за кухонным столом, положила голову на руки. Надо бы скипятить чаю, но неохота было и рукой пошевелить. Невесть что нынче испытывал, как если бы вдруг очутился в чужом бесплодном краю и стоял посреди огромного белого пространства, где всё вроде бы принадлежало ему, а только почему-то ни к чему не тянуло, мнилось, что он тут не по своей воле, а по воле того, кто теперь, большой и незнамый, возвышался над ним. Нет, он не видел его, но чувствовал чужое присутствие рядом с собой. Порой Фёдор Кузьмич, а точнее, дух его, порывался вырваться из плена, в котором оказался как если бы даже по собственной прихоти: ведь никто не мешал ему, и он, было время, охотно подчинялся собственным раздумьям, многие из которых не грели. Теперь бы он постарался прогнать их. Но уже не мог, ослаб душевно. Его тянуло к себе недавнему, к родному дому. Но как этого добиться, коль скоро всё в нём нынче подчиняемо не ему, а кому-то, управляющему им... И вот, когда подумал, что уж не ступит на отчий порог, а и дальше пребудет в тягостном сердечном утеснении, что-то произошло, отчего в нём всё поменялось, и он обрёл прежние душевные силы и увидел, что сидит у себя на кухне за столом, а перед ним стоит пустая берестяная кружка и рядом с нею — мелкая деревянная миска с парой кусков чёрного чёрствого хлеба.

“Вот как”, — сказал Фёдор Кузьмич, облегчённо вздохнув. А потом зашёл в горницу, постоял возле пожелтевшей иконки с ликом Божьей Матери, намеревался помолиться, но почему-то не отыскал надобных слов. И, пройдя за занавеску, где стояла кровать, прилёг на неё, покряхтывая.

Посреди ночи проснулся от какого-то шума, доносящегося невесть откуда, поднял голову, глянул по сторонам, тут-то и помнилось, будто-де изба зашевелилась всеми своими древесными связями, стронутая с места, должно быть, налетевшим на неё яростным ветром, — на дворе-то нынче осенью пахнет, — и поползла вниз с бугра. Фёдор Кузьмич попервости испугался, потянулся на кухню, а потом и к двери, но на полпути к ней остановился, мысленно сказал: “Чего это я?.. Иль уйдёшь от судьбы?.. Да нет, пожалуй. Стало быть, мне, последнему в своём роду (про сына он и не вспомнил даже), выпало вместе с отчей избой окунуться в прозрачные байкальские воды, покамест лишь по краешку самому утённым дурным разнотравьем, и там сгинуть. Но, может, и обрести другую форму. Хотя... Чего это я, как если бы уверовал в то, будто-де и там есть жизнь?.. А чё, разве не так?.. Чудно!..”

Сёмка-пастух спал в эту ночь плохо, всё-то ворочался с боку на бок и бормотал под нос чаще что-то несурзное, вроде бы никому не принадлежащее, порой не прозреваемое им самим. Тихонько скрежетал зубами и выставлял какие-то смутные слова. Иной раз можно было уловить, что он обращался к Фёдору Кузьмичу с намереньем подбодрить его, говоря, что тот ещё поживёт хотя бы и не понятый сородичами. “Стало быть, так выпало, и здесь некого винить”.

Много чего вышлеснул Сёмка-пастух в ту ночь из сердца, почему, проснувшись, чувствовал себя разбитым и не способным рукой пошевелить. Но через какое-то время всё ж свернул постель и вышел на подворье. Подойдя к калитке и придерживая её, долго глядел в ту сторону, где, обдуваемая семью ветрами, стояла на холме изба Фёдора Кузьмича. И не увидел её. Должно быть, избу накрыло в предутрие стелющимся над землёй розовым туманом. Но так ли?.. А что, если?.. Чуть погода поспешно пересёк пустынную в предзоровой час улочку, обильно унавоженную коровьими лепёхами, и поднялся на холм. Избы не оказалось на прежнем месте, а возле порушья лежала сорванная с укрепов покорёженная крыша и рядом с нею валялись почернелые, прогнившие насквозь плахи, надо быть, сбитые с крыльца порывами хлёсткого ветра. Вспомнил, что в эту ночь было шибко ветрено и колюче от сшибленных непогодой с тонкоствольных берёз порыжелых веток. Он раза три, гонимый бессонницей и тоской, подталкиваемый тем, что надыеь померещилось, выходил во двор. И даже пытался постоять на крыльце, вглядываясь в ночную сутемь, но не получалось: вконец обезумевший ветер загонял его обратно в избу. Куда уж тут было вскарабкаться на холм, чтоб поглядеть, ладно ли чувствует себя Фёдор Кузьмич.

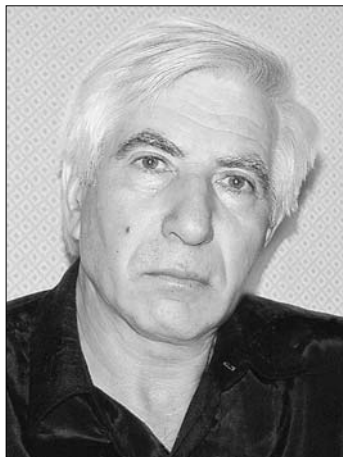
Он, может статься, и не думал бы теперь про это, да не давало покоя виденье, которое приспело к нему вчера на берегу Байкала. Он тогда словно бы вживе увидел, как съехала с холма изба Фёдора Кузьмича вместе с хозяином, как, хлебнув воды, завалилась на бок. Ещё немного, и её унесёт в море подывающаяся волна. А сыщешь ли чего потом, про это, наверное, только Байкал-батюшка знает.

Сёмка-пастух недолго медлил, сорвался с места, скатился с крутоярья, цепляясь руками за остробокые каменья, и через растворённую настежь дверь проник в дивно накренившуюся избу, зацепившуюся за прибрежные валуны, отчего и удержалась на мелководе, облазил все углы её, ища Фёдора Кузьмича. Но того нигде не было. Подумал: а может, он покинул избу до того, как та, сорванная с места шальным ветром, сползла вниз, к Байкалу?.. Это немного успокоило. Но время шло, а Фёдор Кузьмич всё не появлялся. Как в воду канул. Стали подходить люди, с интересом оглядывали место происшествия, пытались понять, что случилось, иные из них спрашивали, где же хозяин-то?.. Сёмка-пастух только пожимал плечами.

А Фёдор Кузьмич и на другой день не появился, и через день, и через месяц. И впрямь, как в воду канул. А избу его мало-помалу расторопные соседи разобрали на дрова. И на том месте, где она стояла, через год-другой выросла высоченная дурная трава. И в Подлеморье, как если бы по команде, очень скоро забыли про бывшего фельдшера. Но, может, и не было никакой команды, а только всем вдруг отчаянно захотелось избавиться от чувства вины, замутившей в душах, пред человеком, кого сделали изгоем и преследовали?.. Нет, они не спрашивали у себя: заслуживал он этого или нет?.. Не всё ли равно, время всё спшет. Но так ли?..

Никто не поднимался на холм, заросший дурнотравьем. Люди избегали этого места, точно бы боясь потревожить что-то в себе. И только длиннорукый согбенный человечек с безбровым грустным лицом, про кого говорили, что в прежнее время он был пастухом, ещё многие годы приходил сюда и сиживал на чудом сохранившейся лавочке, подвинутой к большому серому камню, и, впадая в дрему, чему-то ласково улыбался тонкими, потрескавшимися губами.

ВАСИЛИЙ ЗАБЕЛЛО



РОДНЫЕ БЕРЕГА

РАССКАЗЫ

1. БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ

Позднее время, ближе к полуночи. В окне электрички проблескивают огни разъездов, полустанков, домов. Перед каждой остановкой при торможении — железный, раздирающий душу визг тормозов. Вагоны старые, грязные, полупустые. Последняя электричка подбирает опоздавших, может, отчаянно убегающих от семейного скандала или просто задержавшихся...

Олег подсел на разъезде с минутной остановкой, оглянулся в проём смыкающихся дверей. Далеко в поле за перелеском знакомо блеснул свет отражателя, освещавшего крыльцо сельского магазина, некогда построенного у почтового тракта. В отдалении, за трактом, в глуби векового леса, на взгорке угадывался монастырский скит. Впервые Олег пришёл к нему полгода назад — голодным, грязным, изнурённым бродяжничеством. После разговора с экономом монастыря подвизался трудничать за еду и небольшую плату, но через два месяца его переманила пожилая вдова-прихожанка, живущая на разъезде близ областного центра. Мантыйный монах эконом, видя, что новоявленный трудник мечется между миром и послушанием, благословил Олега на это поприще: “Что ж, иди узнай, какая в миру правда для тебя уготована”.

ЗАБЕЛЛО Василий Константинович родился в 1947 году в прибайкальском селе Утулик. Публиковаться начал в конце 70-х годов прошлого века в иркутских газетах и альманахе “Сибирь”. Его стихи выходили в коллективных сборниках “Начало”, “Час России”, также печатался в литературных журналах “Литературная учёба”, “Сибирь”, “Наш современник” и других. Автор книг “Ледостав”, “Возвращение”, “Осенний пал”, “Избранное”. Председатель Иркутского отделения Союза писателей России, живёт в Иркутске.

С того момента, чем бы ни занимался Олег, как бы ни куролесил, проживая у вдовы, — дорога неизменно приводила к храму. Только в нём он всегда чувствовал себя хорошо. Вот и сегодня задержался на литургии, не хотелось обрубить великий чин миропомзания. Отстоял легко, увлечённо, без томления. Ни мельтешение ребятни, ни назидание вездесущих бабушек, ни хлопанье дверей притвора, ничто другое его не отвлекало от молитвы.

“Душой потрудился, не грех и отдохнуть”, — подумалось ему. Электричка, пронзительно свистнув, торопливо набрала скорость и, просекая огнём прожектора свалившуюся темноту ночи, покатила к большому городу. Вагон покачивало. Олег прошёл ближе к выходу, привычно расположился на пустой скамье, прильнув головой к запотевшему оконному стеклу.

...Прошло без малого два года, как начал скитаться он по бескрайней Родине, где, кроме Бога, никому оказался не нужным. Таких, как он, государство Ельциных, Горбачёвых, Чубайсов в счёт не брало...

Олег достал из внутреннего кармана ветровки Евангелие, открыл наугад страницу, но читать не стал, отвёл глаза, задумался. Как-то странно получалось: стремился к одному, а выходило совсем другое, и всё дальше и дальше уносили его пути-дороги от родного крыльца.

В окне над полом залучились проклонувшиеся звёзды и звёздочки. Где-то среди них, мерцаая, поблёскивает и его блуждающая звезда скитальца, только когда и где остановится?.. Узнать не дано. Говорят, у каждого есть своя путеводная звезда, под которой родился.

Снова и снова уносили Олега воспоминания возвратным путём к началу, где были пограничные войска, был долгожданный дембель, были радужные планы на учёбу, на дальнейшую жизнь, которые враз обрушились, как подмытый водоворотом берег, и пристать, оказалось, некуда и не к чему.

.....

— Говоришь, на работу взять? — бритоголовый вальяжный господин в кожаной куртке с золотыми заклёпками метнул на просителя колкий оценивающий взгляд. — Ну-ну. А почему в солдатской форме?

— Ещё не приборахлился, демобилизовался недавно.

— Ну, и кем бы хотел?..

— Желательно водителем. Две категории допуска имею, — подал удостоверение.

Повертев водительские права перед глазами, бритоголовый удовлетворённо хмыкнул и возвратил документ.

— Добро. Завтра к восьми приходи, посмотрим, на что сгодишься.

Олег шёл по городу к дому, в котором на время приютил его друг-сослуживец. На душе было грустно и скверно. Со службы домой возвратился, а идти некуда. Родитель жил с другой женщиной, которая встретила его холодным презрительным взглядом, да так, что дальше прихожей идти расхотелось. Отец, конечно, обрадовался, крепко порывисто обнял, долго не мог унять слезу, но напряжения с души так и не снял. Чувствовалось, что он и сам находится в тенётах непонятных запутанных отношений, сам себе не хозяин.

Олег вышел на свежий воздух. “Эх, мама-мама, и ты сбежала за три девять земель, комфортная жизнь поманила. Но ничего, свою судьбу как-нибудь с Божьей помощью разрешу сам, тем более что после долгих блужданий в поисках работы наконец-то засветилась удача. Спасибо другу, надоумил, куда и к кому обратиться”.

Назавтра, как и было велено, к восьми часам прибыл для испытания. Но первый рабочий день под крышей приютившей конторы, оказалось, стал и последним. Едва эскорт хозяина с охранением отъехал от офиса, как попал под прицельный перекрёстный огонь автоматов. Тело бритоголового босса конвульсивно дёрнулось и, обмякнув, завалилось на плечо Олега, застопорило руль “крузака”. Машина ткнулась в бетонный тротуар и заглохла. Очнулся Олег уже в больнице. Пуля, пробив лобовое стекло, чиркнула по голове выше виска, контузила и выбила из сознания.

Весть о жестокой кровавой бойне разлетелась молниеносно. Город по-мрачнел и притих. Говорили о сферах влияния, о разделе между криминальными группировками государственного имущества, о проклятом окаянном времени, о предательстве Горбачёва, о марионеточном правлении алкаша Ельцина, окружившего себя советниками из Америки и отдавшего великую страну на закланье. Судачили о надвигающейся разрухе, в которую неуклонно и стремительно погружается держава, вспоминали послевоенную голодовку, а товарища Сталина — добрым словом, дескать, вот кого сегодня не хватает!..

К вечеру Олега разыскал друг-сослуживец. В белом халате, поминутно оглядываясь, он вошёл в палату и срочно, пока не чухнули “братки”, велел собираться.

Вскоре Олега покачивало на боковой полке плацкартного вагона. В голове трещало, гудело, ныло, что вызывало горечь во рту и тошноту. Каждое содрогание экспресса отзывалось стонущей болью, нестерпимо хотелось пить. То и дело возникал перед глазами Байкал. Казалось, припадёшь к нему — и половину, не отрываясь, выпьешь. Почудилось, кто-то тронул за рукав.

— На, солдатик, попей, — женщина, схавшая в купе напротив, приподняла голову Олега и прислонила к пересохшим губам стакан с водой. — Пей! Водичка хорошая, лечебная, “Кука родниковая”.

Олег, поддерживая ладонью, в три глотка осушил стакан, попросил ещё. Женщина намочила холодной водой свёрнутый вдвое платок, приложила ко лбу Олега, промокнула сочившуюся из-под бинта сукровицу.

— Домой едешь?

— Не-е, из дому, — с трудом выдавил Олег.

— Где ж твой дом?

— Теперь не знаю. А где мы едем?

— Иркутск проехали. Поди, далеко собрался?

— Я не собирался, так получилось. Билет вроде бы до Москвы брали.

— Там тебя ждут?

— Кому я нужен?! Никто нигде меня не ждёт, — скорее сам себе ответил Олег и отвернулся.

От горьких давящих мыслей, от захватившей безысходности жить не хотелось. Всё ложь и прах, думалось ему. Даже красного флага, которому отдавал честь на военной службе, уже не существовало. Олег закрыл глаза. Жизнь представилась ему ненужной, противной до рвоты, да так, что он решил свести с ней счёты немедленно. Да, именно сейчас он выйдет в тамбур, откроет дверь и шагнёт на полном ходу в пустоту... Шатаясь и держась за спальные полки, Олег вышел из вагона, прошёл в тамбур, но открыть наружные двери не получилось, видно, проводник на ключ запер. Мелькнула мысль: проём между вагонами...

Ступил, было, на площадку между вагонами, как кто-то словно насильно схватил за куртку и дёрнул назад, в тамбур.

— Ишь, чего надумал! Бога не боишься? А ну, пойдём со мной!

Олег и пошёл покорно, ведомый за руку попутчицей из купе.

— Как звать-то, защитник? — спросила она.

— Олегом. А вам зачем?

— Как зачем? Помолось, меня-то Полиной Милентьевной зовут...

— А какой смысл?

— Чтобы бесу зацепиться возможности не было, а то чуть в преисподнюю не закрутил. А на тебе крест.

— Батяня окрестил ещё до армии, с тех пор и не снимаю.

В полумраке на фоне окна Олег видел, как женщина перекрестила его: “Спаси и сохрани”. Приблизилась, положила ладонь на лоб, добавила: “А теперь спи!” Прикосновение прохладной ладони притушило боль, и под скрипучую песню зыбки вагона Олег заснул. Проснулся, когда солнечный свет заливал купе. За окном — дымящиеся терриконы, заколосившиеся росяные поля, сырые сибирские деревушки да кудрявые островки березняков. Природа ликовала. Только Олегу было нерадостно, в душу закралось отчаянье и неодолимое чувство грусти. Как будто видит всё это в последний раз.

— Ну, как спалось? — Полина Милентьевна приблизилась к Олегу и предложила осмотреть рану.

— Я тоже еду до Москвы. Точнее, в Загорск, — между делом, размачивая и снимая присохший бинт, поведала она. — Ну что, швы чистенькие, рана не сукровит, до свадьбы заживёт. Небось, подруга сердечная имеется? — тепло, по-родному взглянула на Олега.

— До службы была, теперь нет.

— Что так?

— Не дождалась.

— Бывает. Стало бытъ, не та подруга, не тебе предназначена. Твоя — которая мимо пройдёт.

— Я понимаю, только в груди саднит, не отпускает.

— Забудется. Господь всё правильно устроит, ещё спасибо скажешь. А пока принесу чайку, у меня и пирожки домашние имеются с морковью.

За чаем Олег рассказал, что с ним приключилось.

— Да-а-а, времечко, — Полина Милентьевна тяжело вздохнула, перекрестилась. — Ну, ничего, перебудем. Коль жив остался, глядишь, и Господь не оставит. Да и мир не без добрых людей.

В свою очередь поведала про себя. Оказалось, паломница, уже не в первый раз едет к Сергию Радонежскому поклониться святым его мощам. Только сейчас, при полном свете Олег разглядел Полину Милентьевну. Большие карие глаза смотрят умно, тепло и отзывчиво. От них к вискам лучиками разбегаются едва уловимые морщинки — первые вестники увяданья. Однако лицо просветлённое, будто сама душа чистая, милосердная без корысти и суда проявилась в ожидании встречи с потерянным и заблудшим, чтобы обьять тихой ненавязчивой жертвенной любовью.

...Спустя годы, подвизаясь в монастыре, он встречал такие лица и понимал, какого молитвенного великопостного послушания и труда стоит подобное очищение. Каждодневно творя молитвенное обращение к Богу, эти люди в жизни своей уже не делали ничего такого, что не пригодилось бы им при последнем часе.

— А не поехать ли тебе со мной к Сергию? Будет, где остановиться, помолиться, справить трапезу, а главное, приобщиться к Божественной красоте русских православных храмов, — Полина Милентьевна вынула из пакета карманного формата книгу в кожаном переплёте и подала Олегу. — Возьми, святое Евангелие. Читай, постигай суть. Только в вере человек чувствует себя всегда хорошо и уверенно.

* * *

В девяностые смутные и кровавые годы от западных границ Украины, Белоруссии до восточных берегов Тихого океана из обомшелых руин Божиим промыслом стала заново подниматься Русь монастырская, православная. Сколько заблудших лихих голов в поисках смысла жизни, спасаясь, порой за кусок хлеба трудились на реставрации старых храмов и строительстве новых, с удивлением и радостью открывая для себя полузабытую святую Русь. Впоследствии многие трудники становились братьями при монастырях, навсегда связывали свою жизнь с молитвой о Господе, в послушании и монашестве полностью подчиняли себя воле Всевышнего, обретая в труде крепость духа и немеркнущий свет Православия.

Столица встретила Олега грубой суетой грязных вокзалов, забитыми нерусью поездами метро, зазывно светящимися рекламами на латинской прописи, петушиной раскраской одежд фирмы “Адидас”. На каждом углу, затравленно зыря по сторонам, курили в три ряда размалёванные, прело пахнущие девичьи. Во всём виделись подлог, обезьянство и поношение всего русского. Это вызывало в душе Олега негодование и протест, желание поскорее избавиться от захватившего чувства обиды за себя и за поруганную державу, чьи границы ещё совсем недавно ему приходилось зорко охранять.

— Господи! Да что ж такое творится?.. Будьте вы прокляты, природы! —

из подземного перехода донёся женский вопль. Олег сбежал по трапу и увидел поднимающуюся с колен пожилую женщину и двух убегающих парней. Кинулся за ними. В конце перехода они бросили раскрытую сумочку и растворились в толпе. Желаящих задержать не нашлось. Олег поднял сумочку и вернулся к женщине.

— Простите, не догнал...

Женщина растерянно посмотрела на Олега, на подошедшую Полину Милендьевну, порылась в сумочке.

— Слава Богу, ключи на месте, — облегчённо выдохнула. — Наркоманов развелось, так нагло себя ведут. Ведь попала уже, а, гляди, расслабилась, задумалась. Вы уж извините, пойду я...

— Как?! А заявлять не будете, мы ж — свидетели? — Олег удивлённо взглянул на женщину.

— Не буду. Проку нет, ещё и сама виноватой останешься...

Женщина исчезла в нахлынувшем людском потоке. Олег и Полина Милендьевна прижались к стене. Вскоре встречный поток рассеялся, и они вышли на привокзальную площадь, купили ветровку. При покупке Олег долго сопротивлялся, отказывался примерять. Но Полина Милендьевна, улыбаясь, сказала:

— Примерь и не лишей меня радости сделать тебе подарок.

И снова в окне электрички замелькали шлабгаумы, трубы, перелески, кривые тёмные избы, пустые коровники с провалившимися крышами и взявшие дёрном и дурнотравьем, никому не нужные, заброшенные поля. Не стало хозяина, и в полые ворота заветрилась безнадёга, неся с собой разор и запустение. Грустно.

От станции Сергиев Посад до Троице-Сергиевой лавры недалеко. Нужно пройти Вознесенским переулком мимо стареньких домиков посада, а после выйти на торную тропу-дорожку, что ведёт через сырую низину, через деревянный мостик с резными перилами, мимо часовенки над святым Пятницким колодезем к стенам обители. По этой тропе уже шесть веков с лишком идут бесчисленные страждущие и обременённые невзгодами паломники. Тропа миновала шоссе, затем поднялась на холм, обрамлённый крепостной монастырской стеной, за которой схоронилась древнерусская православная обитель, жарко и ослепительно отливавшая золотом куполов. Гулко, тяжело вздрогнул, словно проснувшись, колокол. Раскальвая воздух и набирая силу, полилась его благая весть далеко за пределы святой лавры, возвещая о начале воскресной службы во славу Господа нашего Иисуса Христа. Полина Милендьевна преобразилась в лице, стала сосредоточенней, строже, троекратно с поклоном в сторону звона перекрестилась, промолвила: “Слава Богу”. Она попросила Олега сделать то же самое, напомнила: “В святую обитель входим, духовное сердце России”. Олег поставил сумку к ноге и немело, как бы стесняясь, торопливо перекрестился.

— Что же ты, миленький, беса радуешь.

— Как это?

— Крест перевернул, основание получилось короче верхней заглавной части, — показала, как правильно накладывается крестное знамение.

К Троицкому собору, где мощи Сергия, выстроилась длинная очередь паломников. К раке с мощами Преподобного продвигались более двух часов. В притворе храма на столах горками лежали восковые свечи. Прихожане вписывали в требы имена родных и близких, чтобы священники в алтаре о них помолились, брали свечи, жертву в виде денег опускали тут же в урну, сколько не жалко, а если пожертвовать было нечем, то подавали записки и брали свечи просто так.

— А мне кого вписывать? — вполголоса спросил Олег.

Полина Милендьевна оторвала взгляд от своей записки и взглянула удивлённо.

— В первую очередь, отца и мать. Надеюсь, они крещёные?

— Да, но мама оставила нас.

— Это её ответ перед Господом, а твоё дело молиться за родителей.

— А друга вписать можно?

— Нужно и друга, и недруга. Как сказано в Евангелии: “Любите врагов своих”. На кого держишь злобу и ненавидишь, за тех и помолись с усердием.

Подойдя к Преподобному, Олег ощутил душевный трепет и немощь, упал на колени, уперся лбом в борт раки и шёпотом, как учила Полина МиленТЬевна, слёзно попросил святого о верном и праведном пути. Не помня себя, поднялся с колен, прильнул губами к стеклу, за которым покоились мощи. Стоящий у раки монах после каждого паломника салфеткой вытирал стекло. Поодаль иеромонах с двумя послушниками в чёрном облачении непрерывно читали акафист, прославляли игумена всея Руси — святого отца Сергия. Со стен кротко и смиренно взирали на прихожан Христовы мученики. К иконному образу великого печальника Полина МиленТЬевна и Олег подошли с поклоном, поставили зажжённые свечи. Помолились.

Перед трапезой, состоявшей из бескорыстного угощения, на которое стекались паломники, испили натошак святой воды из Сергиева родника. Полина МиленТЬевна рассказала Олегу, что родник освящён самим Преподобным, в нём — великая очистительная сила. Также поведала, что перед Первой мировой войной он внезапно иссяк, померк свет Православия. Россия погрузилась во мрак безбожия, по ней прокатилась гражданская война, повлекшая за собой голод и мор. Но перед празднованием тысячелетия принятия Русью христианства Сергиев родник заговорил вновь. Свет Православия вырвался из бесовских теней и заиграл перламутром в чистой родниковой струе, а вместе с ним, вопреки заморским злопыхателям, стала подниматься с колен и Святая Русь.

— Не на ветер сказано, что покров Богородицы не оставит земли нашей русской, а уж Сергия-то Пречистая навещала не единожды. А теперь и мы с тобой Божьим Промыслом очутились здесь...

...Да-а, кого бы сейчас он желал увидеть, так это Полину МиленТЬевну. Сколько раз во сне представлялась она ему, пристально и нежно глядящая в лицо, как бы вопрошающая: “Ну, как?..” — и, не дождавшись ответа, исчезала. А он оставался стоять на столбовой дороге, полной невзгод и препятствий. Много позже Олег понял, что такие люди даются для спасения свыше. Они являются в нужном месте и в нужный час, а когда их спасительная миссия исполнена, исчезают, растворяясь в крошечной людской сутолоке, оставляя по себе лишь светлую молитвенную память...

* * *

На стрелке перед разъездом, в очередной раз проскрежетав тормозными колодками, электричка остановилась. Железный скрежет и толчки вывели Олега из воспоминаний. Он перевёл глаза на открытую страницу и начал читать. На этот раз оказалось Евангелие от Луки: “Отнимающему у тебя верхнюю одежду отдай и рубашку...” На этом месте чтение прервалось: в вагон шумно ввалилась группа изрядно подвыпивших молодых парней. Олег произвольно оглянулся и с раздражением подумал, что этих только и не хватало. Парни с лёту грубо и пошло стали приставать к трём девицам, сидящим у входа. Олег отвернулся, положил в карман святое Евангелие, закрыл глаза и стал читать про себя молитвы. История знакомая, добром не закончится, рано или поздно ему придётся вмешаться, поскольку отстраниться совесть не позволит.

В это время над ухом клацнул сталью откидной жиганский нож.

— Лепешок чудный, распрягайся! — перед ним стоял парень с ножом в руке и злыми бесцветными глазами.

— Не понял? — Олег почувствовал, как по всему телу покатилась дрожь.

— Ветровку скидывай, хозяин пришёл, чего непонятного?! — густо обдавая прокуренным тошнотворным перегаром, прохрипел отморозок, поигрывая ножом, словно пёрышком.

Олег, едва сдерживая волнение, произнёс:

— Ну, не здесь же, люди смотрят...

Они вышли в глухой тёмный тамбур. Гонимый на вид был мощнее и выше Олега. Одной рукой схватился за край ветровки, другой, поторапливая, поигрывал ножичком.

— Шевелись, пацан, дяденька ждать не любит.

Олег потянул молнию книзу, и как только рука коснулась запястья от морозка, молниеносно зажал его, резко, как учили в погранцах, крутнулся вполоборота — и локтём вынес челюсть уркагану. К этому времени электричка остановилась, несостоявшийся хозяин ветровки с ножом в руке вылетел в дверной проём электрички и шмякнулся о перрон полустанка. Олег быстро пошёл в следующий вагон, потом в другой, третий... Не доехав до места, сошёл и пошёл пешком, надеясь унять нервный озноб, который лихорадил и сотрясал всё нутро и тело.

Спустя недели три на полустанке к нему подседа четвёрка парней. Олег каким-то особым чутьём узнал в них тех самых, дружков бандита. Заканчивался Успенский пост. Лицо Олега обросло русой окладистой бородкой, глаза небесной сини смотрели тепло и спокойно. Во всём облике проглядывалась невозмутимая сила добра и духа — результат ревностного поста.

— Никак, в храм едешь, богомолец? — спросил один из парней, сидевший напротив.

— Как догадался?

— По виду, ты на монастырского смахиваешь... — и вдруг тяжело, сурово взглянул на Олега: — Слушай, помолись там за упокой раба Божьего Ивана. Он хоть и негожий был по жизни, как и все мы, но всё же человек верный.

— Что ж, если крещёный, помолюсь.

— Да мы здесь все сызмальства крещёные.

— А что с ним случилось? Наверное, не старше вас?

— С электрички выпал: податый был, вышел в тамбур покурить, облокотился на дверь, а та возьми и раскройся на остановке. Он и приложился башкой о платформу... Вот сегодня схоронили, умер, не приходя в сознание.

Олега точно прошило, дёрнулось, будто в самое сердце иглу вонзили. Однако, совладав с собою, спросил:

— А самим что ж, свечку поставить да помолиться нельзя?

— Да как-то непривычно. Да и не знаем, как надо, что-нибудь не так сделаем. Тебе сподручнее будет.

— Хорошо, я от вашего имени. Только всё же не забудьте заказать молебен и панихиду по новопреставленному Ивану.

На следующий день Олег вышел на полустанке, где подсели парни. Среди свежих могил на ближайшем кладбище по фотографии отыскал вечное пристанище Ивана, зажгёт поминальную свечу, сокрушённо всем сердцем помолится. Вечером того же дня по монастырскому уставу, прекрестившись, подошёл к порогу кельи отца эконома, громко произнёс: “Молитвами святых Отец наших, Господи, Иисусе Христе, помилуй нас!”

— Аминь! — послышалось в ответ за дверью.

Переступив порог, Олег подломил перед монахом колени, опустил голову.

— Что привело? Говори! — отец эконом поднял за плечи Олега и пристально посмотрел в глаза.

— Благослови, Отче, на жизнь в монастыре, возьми к себе в экономию.

— Чего это вдруг?

— Не хочу покидать стены монастыря. В миру увидишь не то, что надо, услышишь не то, что надо, сделаешь не так, как надо.

— Однако ты главного не сказал.

— Я, защищаясь, человека убил. Правда, он умер не сразу, но я узнал его по фотографии.

— О! — протянул отец эконом, покачал головой. — А Господа не могу защитить попросить? Ведь против Его имени бесовская нечисть бессильна. Молчишь... Ладно, иди к отцу Петру, исповедуйся. Добро даст, возьму.

Эту историю поведал мне рясофорный монах Авксентий, случайно оказавшийся земляком. В нашем селе он многих знал поимённо, живо интересовался их жизнью, но на мой вопрос: “Хотел ли бы он побывать на родине?” — ответил:

— Я поговорил с вами и уже побывал, помолюсь за всех. Я монах, а монах должен жить в монастыре, исполнять послушание.

Лицо Авксентия было просветлённым, взгляд — чистым, голос — мягким и приветливым. На прощание сказал:

— Поклонись от меня родным берегам!.. Ангела в дорогу.

2. БЛАГОДАТНЫЕ ЗЁРНА

Что за дурацкая нездоровая романтика кружила нам головы и чернила неокрепшие души? Мы — поселковые ребята — не хотели быть просто парнями и девушками, мы называли себя чуваками и чувихами. По вечерам, сбившись в кодлу, направлялись к месту отдыха приехавших горожан. Там каждые две недели для нового заезда зажигали костёр и под баян устраивали игры и танцы. Мы шли по грунтовке через лес и, распевая, орали во все молодые глотки, правда, уже успевшие познать туманный гнёт никотина и алкоголя.

*Ты прости меня, пацаночка,
Уберечь родимую не смог.
По твоим по косам шелковистым
Бил чекиста кованый сапог...*

или

*А меня, быть может, под конвоем
Далеко на север уведут...*

Казалось, ах, как это здорово: идти под конвоем на север в зековской, без воротника, телогрейке. Впрочем, большую часть наших чуваков действительно увели под конвоем расширять и крепить ударные комсомольские стройки страны, чтоб навсегда отбить охоту к ссорам, браням, дракам, к безудержным повальным пьянкам. В ту пору две режимные зоны в нашем краю осуществляли строительство печально известного комбината и города на берегу Байкала. Какую культуру отношений, точнее, бескультурья усваивали юноши в шестидесятые, покрытые блатной плесенью годы? Как позже выразился об этом времени поэт:

*Прямые отравленные всходы,
Какие вы взрастили семена?..*

Странное наполнение имеют слова с приставкой или предложением “бес-”, “без-”. Как правило, они означают пустоту и трагическое разрушение. “Бессовестный, безобразный, безобразный, бессердечный, бессемейный, бездетный, безбашенный, беспредел” и так далее, в любом случае, в них присутствует бес, тот самый, рогатый. И мы, чуваки беспечные, не думая о последствиях, блуждали, ведомые им, ходили на турбазу затеять очередную ссору, похулиганить, подраться...

Было время цветения черёмухи. Берега горной реки Утулик, где располагалась база отдыха, буквально кипели в белопенном цветении. Лёгкий бриз доносил из распадков аромат волчьего лыка, который смешивался с пряными запахами луговых трав, свиного багульника, ольхи и тополей чозении, и вся эта обволакивающая смесь природных ароматов пьянила и дурманила лихие головы, будоражила романтическую память уже вошедших в могущие лета людей. А мы, одержимые вышеупомянутой нездоровой романтикой, шли и орали:

*А на Байкале музыка играет,
А что там делают? А там барают тех,
Кого поймают...*

Ах, как это необычно, как заразительно грубо, мерзко и пошло! Только это уже оценится потом, спустя много лет. А пока, геройски перевернув по пути две урны с мусором, развязно и шумно выкатились к открытой танцплощадке. Она, как и берега реки, утопала в черёмуховом цветении. Играл баян, кружили пары, и черёмуха при каждом колыхании ветерка осыпалась на них нетаящим снегом, украшала причёски, костюмы и платья, кропила площадку. Наконец, баянист сдвинул мехи, разошлись танцующие пары, и культмассовик объявил следующий номер. На середину площадки вышел светло-русый парень нашего допризывного возраста, просто и опрятно одетый в белую рубаху и чёрные брюки. Вихрастый чубчик слегка дрогнул на лбу и повис над бровями. Баянист проиграл вступление, и парень запел вчистую, без микрофона, свободно полился ручьистым тенором, выказывая удивительно мягкий тембр:

*Я встретил Вас — и всё былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое —
И сердцу стало так тепло...*

Один из чуваков хотел было освистать его, уже заложил пальцы в рот, но рядом стоящий одёрнул его. И песня продолжала проникновенно звучать и разливаться, завораживая красотой звуков присутствующих и всю округу. Казалось, даже река и деревья, заглядевшиеся в её зеркало, замерли, слушая романс.

*Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенётся в нас...*

Должно быть, я раскрыл рот и, ничего не помня, внимал исполнителю романса. Звуковые божественные струи обволакивали и захватывали душу настолько, что я забыл про себя, кто я и зачем? Наверное, то же самое испытывало большинство из моих сотоварищей. Конечно, повторить ничего невозможно, но тот, самый прекраснейший из вечеров в моей жизни и по сей день живёт во мне. По сути, с него началось для меня осознание понятия моя милая Родина, малая и большая. Каждый год, когда цветёт черёмуха, воспоминания обостряются с новой силой. А тогда по окончании романса я побрёл к реке, вытащил из рукава запрятанный на случай драки разводной гаечный ключ и закинул подальше в омут. Вечер прошёл тихо и спокойно. Домой мы возвращались молча.

Много позже, во время службы на флоте я узнал, что романс был написан на стихи великого русского поэта Фёдора Ивановича Тютчева, поэта из девятнадцатого века. Спасибо Фёдору Ивановичу за то, что встал на моём неверном пути указующим вектором. Всё наносное, блатное, пошлое отпало ненужным хвостом, как мусор и гнус при отвеивании благодатных зёрен.

3. ДЯДЯ КЕША

Весёлым человеком был дядя Кеша. Худоцав, высок, кепка блинчиком на правую бровь свисала, воротник пальто ухарски приподнят, сапоги джиммы гармошкой, верхняя губа с намёком на заячью при улыбке открывала крепкие кривые резцы, при встрече неизменно поднимал правую руку горстью и с расстояния мягким, торжественно внушительным голосом приветствовал:

— Василий! О чём задумался?

— Да думаю, дядя Кеша, как дальше жить.

— Нашёл о чём печалиться, колея покажет. Главное, не сворачивай, иди прямо и только прямо, как бычья морковка.

Любил дядя Кеша выражаться афористично. Однажды при встрече в сельпо, где зачастую и происходили нечаянные свидания селян, я спросил его обыденно и банально, как спрашивает большинство русских людей: “Как жизнь?”

— Года идут, а счастье не приходит, — был ответ, и рука артистически взлетела горстью вверх. В другой раз там же, у сельмага, когда дядя Кеша вышел с чекушкой в кармане, его ответ был более многозначительным: “А кто нам запретит роскошно жить!” — и улыбка обнажила кривые резцы. Казалось, будь они у него прямыми, он был бы менее красив и притягателен.

Каждое поколение несёт в себе отличительные черты, свойственные только ему. Рождённые в 27–30 годах прошлого столетия, прошедшие через трудное детство, полуголодную юность, через суровые надрывные годы войны, в большинстве познавшие безотцовщину, нездоровую романтику лагерей, эти люди были удивительно жизнеспособны, добры и приветливы. В них жило неистребимое стремление к созидательной жизни, напроочь отсутствовало чувство затаённой корысти, зависти и долговременного зла. Дядя Кеша был одним из таких людей, с ним было легко и просто общаться.

Как-то сентябрьским вечером в дождевике с поднятым воротом он издали окликнул меня: “Василий, я сонет сочинил!” К тому времени я уже печатал свои стихи в местной газетёнке и был на виду у селян. Поздоровавшись, попросил его прочесть. Дядя Кеша, как обычно, воздел перед собой руку и начал декламировать: “О, дью, о море!..” Я прервал его и спросил, что означает “О, дью”?

— Ну, это обращение такое, не перебивай! — ответил он и начал заново:

*О, дью, о море! Ты снимаешь
С побережья синие штаны
И с шумом гальку оголяешь
На пузе бешеной волны!*

— Ну, как? — и победно сверху вперил в меня глаза.

— Что-то я не особо вник, прочти-ка ещё, — и, чтоб не казалось обидным, добавил: — Пожалуйста.

Дядя Кеша не без удовольствия повторил. Внимательно прослушав, я спросил:

— А почему сонет?

— Да ты что? К морю надо обращаться только высоким штилем!

— А вообще, знаешь, здорово! И всё видится и шумит, и живёт, и представляется, а главное, вся твоя мальчишеская тоска по морю вот в этом “О, дью!” выражена. Как ты подойдёшь и наконец-то скажешь: “О, дью!.. О, море!..” Здорово! Вот только на “пузе волны” не совсем ясно...

— Да ты что?! Волна встаёт на дыбы, заворачивает гребень, а под гребнем пузо, при откате этим пузом гальку перекачивает и оголяет. Чего тут непонятного?

— Теперь чётко вижу. Знаешь, дядя Кеша, это настоящая поэзия. Я бы так не смог. Поздравляю! Помнишь, ты мне как-то ответил: “Года идут, а счастье не приходит”? Так вот, я тогда подумал и тоже сочинил, послушаешь?

— Давай!

*Года идут, и незаметно вроде,
И также незаметно дам я течь.
Года идут, а счастье не приходит...
А вдруг придёт?. Сумею ли сберечь?*

— Ишь, как вывернул, однако прав, ничего мы беречь не умеем: ни природу, ни добрых отношений, а уж про счастье и говорить нечего, его и в руки-то не возьмёшь.

Любил дядя Кеша и розыгрыш устроить. Однажды супруга меня обыскала, а зная мои приятельские отношения с дядей Кешей, пришла спросить, не знает ли он, где я нахожусь. Дядя Кеша, ничуть не колеблясь, убедительно ответил: “Минут двадцать, как прошёл с какой-то дамой к реке. В руке нёс полную сетку с вином и закуской”. Супруга моя опрометью в розыск, добежала до плёса, где я рыбачил, и с кулаками к лицу, еле успокоил. А когда разобрались, нахохотались вдоволь. После я спросил дядю Кешу, зачем он так сделал? “А чтоб разным сплетням впредь не верила”.

Был у дяди Кеши друг Леонид по прозвищу Закваска, редкий день обходился у него без выпивки. Но сварщик был отменный, за что его и ценили, и глаза закрывали на его постоянную нетрезвость. В брезентовой непрожитаемой робе, в защитных очках с выпуклыми цилиндрами стёкол, которые, словно пеньки от срезанных пантов, постоянно торчали над бровями, он походил на жука, вечно копошащегося среди обрезков железа. Дядя Кеша его называл “Артист Шмага”, и Леонид Закваска на друга не обижался, а задавал оборотный вопрос: “А ты кто тогда будешь? — Я-то? Тиль Уленшпигель шпагоглотатель, комик в жизни, злодей на сцене!” — заученно проговаривал дядя Кеша и обнажал резцы. Однажды во время обеденного перерыва, когда все поели и выжидали время, зашёл разговор об службе в армии. Многие знали, что дядю Кешу сия повинность каким-то образом обошла, тем не менее, ради хохмы спросили: “А вы где служили?” Дядя Кеша, ничуть не колеблясь, ответил: “В лёгкой кавалерии генерала Доватора на кобыле Белогривка”.

— Да ты же уздечку задом наперёд одеваешь. Тебя ж списали, — подкусил Закваска.

— Списали, но не за это.

— А за что?

— Позволил вопреки начальству жеребцу Девальварсу из соседнего эскадрона жениться на Белогривке.

— И что дальше?

— Генерал Доватор за самовольную селекцию приказал пересадить на мерина с последующим переводом в пехоту, но не успел, война закончилась.

Что и говорить, весёлые были у нас обеды, когда столом правил дядя Кеша. Вскоре я перешёл работать в другой цех, и мы стали видеться реже. Как-то под осень встретились в автобусе. Дядя Кеша полуоборотом сидел у окна, весело разговаривал с Леонидом Закваской, ненароком привлекая внимание ехавших селян. Увидев меня, вошедшего на промежуточной остановке, с каким-то особым восхищением громко на весь салон обратился: “Василий, привет! Чего в гости не заходишь?”

— Не по пути живёшь, дядя Кеша. Я — на восточной стороне, ты — на западной, — так же громко ответил я.

— А ты зайди, я тебе расскажу, как жил с цыганами и как ушёл от них и почему, — обнажил крепкие резцы.

— Про цыган, должно быть, интересно.

— Ещё бы, народ своеобразный, живёт без прививок от оспы в подлунном мире, весело и шумно.

— Хорошо, завтра обязательно зайду.

— Только не забудь напиток прихватить, знаешь, такой: на этикетке нарисован бык с рогами, а то разговор на сухую в связках застрянет.

— Дядя Кеша, похоже, вы и сегодня в ударе нежных чувств.

— А как же! Бог весёлых любит! — и, подняв голову, метнул какой-то странный, непривычно светящийся взгляд, переполненный зажигательного озорства.

Назавтра встретиться не пришлось. С работы автобусом приехал только “Шмага”. Был на удивление трезв. Я спросил, куда подевал “Шпагоглотателя”. Вместо ответа Леонид Закваска попросил займы денег на выпивку. Я поинтересовался, к чему такая спешка, наверняка дома ждёт ужин и сто граммов. Леонид посмотрел на меня помутневшим взглядом и спокойно обыденно проговорил: “Кеша умер. Сердце. Никогда не жаловался”.

С того дня много времени источилось, но когда случается проходить мимо дома, где жил дядя Кеша, невольно с привычной грустью подумаешь: вот жил человек, каким-то образом влиял на тебя, на твою жизнь, разыгрывал, как всякий житель деревни, театр одного актёра и в этом образе был ярок, интересен и необходим. И вдруг его не стало, прошёл, приветливо махнув рукою, оставив нам, временно живущим после него, торжественный и печальный миг вечного прощанья. Чтобы помнили друг о друге.

4. БУРУНДУК

Николаю Александровичу Смородникову было 76 лет. Выглядел он довольно бодро. В коренастом суховатом теле проглядывалась размеренная крепость и осторожная, но твёрдая поступь, присущая человеку таёжному, наблюдательному. Познакомились мы в тайге по дороге к выселкам. Наша машина спускалась с Дабана, по водительской неопытности, села мостом на карчу. Ни взад, ни вперёд. Место было болотистое, поросшее молодым чахлым березняком. Поросль для рычага не годилась: гнулась, ломалась. Тут-то и объявился, как из-под земли, Николай Александрович. Одет он был по-таёжному: в суконный костюм и резиновые мокроступы.

— Что, сидим? — спросил, как бы для порядка. — Вон, ребята, возле вилки сушинка стоит, она подойдёт.

Листвяжную сушинку мы видели, но даже не подумали воспользоваться, уж больно трухлявой казалась.

— Это с виду, — заметив наше замешательство, продолжил Николай Александрович, — зато сердцевина каменная.

Мы переглянулись, но возражать не стали, пошли за стягом. Николай Александрович оказался прав. Листвяжок в самом деле был упругим и прочным. Кузов одним нажимом сняли с карчи и поехали дальше. Николай Александрович с нами. Пока ехали, я узнал, что он — профессиональный охотник и у него на руках имеется договор на заготовку кедрового ореха. В данный момент Николай Александрович осматривал свою деляну, оценивал урожай. Я стал напрашиваться к нему в товарищи, давно мечтал попишковать, да и денёжат подзаработать. Николай Александрович посмотрел на меня наметанным взглядом и дал добро.

В семидесятые годы прошлого столетия было не просто получить разрешение на заготовку кедрового ореха. Промышленные урочища в отрогах Хамар-Дабана находились под контролем промхоза и лесничества. По договору артель была обязана сдать орех на базу. Для каждой артели отводился участок, обозначенный границей, так что любой случайный человек попадал под пристальное внимание и был вне закона. Диким пишкарем вне закона я быть не хотел, потому и напросился к Николаю Александровичу в товарищи.

Через неделю мы зашли на деляну. Затаборились. Срубили сайбот для складирования шишки и занялись заготовкой. Я ходил под колотом, а Николай Александрович с третьим товарищем собирали шишку. Для первой обработки условились наколотить сорок крапивных мешков. Погода баловала, шишка была намолотной, вызревшей, так что двух-трёх ударов было достаточно, чтобы кедр отдал весь урожай, который шумно осыпался под крону. Товарищи спорно подбирали паданку, а я уже протрясал следующий кедр. Ударишь, и сразу под колот, чтобы шишка по голове не саданула, затем переходишь к другому, рядом стоящему. Однажды замешкался, и шишка, падая с двадцатиметровой высоты, зарядила по темени, подпрыгнув, отлетела в кусты. Благо — кепка спасла, а то бы двух пудов колот из рук выпустил. Николай Александрович, как будто ждал этого момента, угрюмо пошутил: “Хорошо мозгов нет, а то бы стряс”. Невольно подумалось: у меня мина наперекос, а ему смешки, но тут же, в такт третьему товарищу через боль ухмыльнулся и я. Потерев уширенное место, перешёл к другому дереву, примерил колот по высоте удара и со всей силы приложился. Сотрясение кедра внезапно породило отчаянный свист бурундука. Смертельно испуганный зверёк, опасаясь за свою жизнь, заметался по веткам. Я отступил. Вскоре

бурундук, убедившись, что угрозы нет, спустился и молниеносно юркнул под корни. Стало понятно: здесь у зверька гайно с кладовой.

Кто не знает этого шустрого таёжного зверька с тёмными продольными от мордочки до хвостика полосками! Бурундук — зверёк оседлый. Облюбует развесистый, с густой хвоей кедр, поселится в корнях, тут же и кладовую устроит. Заготовит ядрёного ореха от своего могучего кормильца, чтоб зёрнышко к зёрнышку — и зима не страшна, знай, свернись калачиком да посапывай в тёплой норушке до первых апрельских опечков. Обычно одного кедр для прокорма зверьку хватает с лихвой. Хорошо, если год урожайный, а случись голодный или кедровка шишку спустит, тогда беда, много по тайге в поисках кормового припаса не нарыскаешь. Зверёк хоть и ловок, да быстро устаёт. Спирально взбежит по стволу, проверит плодоносные ветки, сбросит две-три шишки на мох под кедром и скорее, так же по спирали, вниз — вышелушивать зёрна. Набьёт отборным орехом щёки — и в кладовую, на хранение. Из четырёх-пяти шишек выходит стакан. А их надо заготовить не менее семидесяти. Вот и приходится бедняге всю осень до снега трудиться. А тут ещё и дожди мглистую занавесь опустят, потому в ненастье зверёк пронзительно свистит и утробно взбулькивает, будто ругается и плачет.

Бурундук никому не враг, живёт только своим трудом. Зато у него, кроме дождя, врагов хоть отбавляй. Поживиться плодами чужого труда, будь здоров, всегда найдутся охотники. Из них самый жестокий — медведь, бродит по тайге и вынюхивает, где орехами да бурундуком пахнет. Учует, разроет когтистой лапницей кладовую зверька и, пофыркивая, зажуёт припас вместе с хозяином. Также не прочь полакомиться зверьком и его запасом соболь, колонок, горностаи, а то и круглолицая с загнутым кловом неясить: зазеваешься, с лёту схватит и унесёт в подарок своей подружке, только шёрстка клочками по веткам разлетится. Даже мыши — рыжеватые куцехвостые полёвки — и те норовят в отсутствие хозяина пробраться в кладовую и украсть орешки. Трудная жизнь у бурундука: как ни осторожничай, а опасность всегда возле.

Помнится, выдался неблагоприятный год. В верховьях прошли пожары, и с погорелых мест бурундуки в большом количестве стали мигрировать в другие тайги. Миграция краем прошла через деревенские усадьбы, дачи, вышла к реке и, не останавливаясь, зверьки стали переправляться на другой берег. У бурундука хвост длинный и ворсистый, чтобы не намочить, держит трубой. Смотришь, то там, то здесь плывут маленькие кораблики, только трубы торчат, не дай Бог, ленок схватит или течением в шиверу снесёт, тогда гибель. Намокшие хвосты потянут ко дну. Не многим мигрантам удалось переправиться на другой берег. Старые охотники говорили: “Хозяин одной тайги проиграл в карты хозяину другой тайги”.

Мы, мальчишки, ради забавы ловили полосатых проказников на капустной грядке, привязывали к шее поводок из дратвы и таскали за собой. Поначалу бурундук упирался, старался выкрутиться, дёргался, подпрыгивал, верещал, но вскоре смирялся и становился покорным. Пойманные зверьки быстро привыкали, становились доверчивыми. Мы, конечно, их подкармливали. Помню, Путин Миша, ровесник мой, приручил бурундучка настолько, что тот забирался к нему на плечо, по-хозяйски устраивался и грыз хлебную корочку. Он с ним даже в клуб кино смотреть ходил. Но одомашнивание бурундука, как ни старайся, приводит к печальному исходу: то собака задавит, то кошка скараулит.

Незабываемо хороши после трудового дня таёжные вечера на Дабане. Медленно спускаются сумерки, с западной стороны на небосклоне появляется яркая, отливающая стальным холодным блеском звезда. Какое-то время она неотразимо захватывающей красотой царствует в небесной сфере, но сумерки уплотняются, и одна за другой из небесной пучины проклёвываются новые звёзды и звёздочки, далёкие и близкие, и вскоре становой хребет Хамар-Дабана исчезает в ночной непроглядной саже. Остаётся только небо, густо усеянное мерцающими огоньками звёзд, да костерок, вокруг которого собираются артельные товарищи.

К нашему костру со своими дровами подошли соседи, для порядка спросили:

— Можно присоединиться?

— Присоединяйтесь, места не жалко, — Николай Александрович был доволен почином (семь крапивников взяли) и, судя по интонации, пребывал в хорошем настроении, обыденно спросил:

— Ну, как успехи?

— Да так, жить можно.

— Что и говорить, урожай — грех обижаться.

О чём только не говорят артельщики, собравшись у костра, какие только темы не обсуждают! И про мировую закулису услышишь, и про современную Хазарию. Говорят обо всём, кроме женщин. Но о чём бы ни судачили, всё равно разговор повернут к ремеслу, к тайге и её обитателям.

— Мы вчера, — заговорил один из подошедших, — нашелушили ведро ореха, хотели сегодня покалить, да калёного у костра вечером пощёлкать, а закрыть на ночь забыли. Утром глянули — ведро пустое, бурундук перетаскал, не более двух горстей осталось и те — охвостье без зёрен.

— Ничего удивительного, бурундук пустой орех не понесёт, если есть чем поживиться с малой затратой сил, фарт не упустит. Представь: или на дерево ему залезать, или из ведра взять, — Николай Александрович обозначил своё суровое резюме и с ухмылкой взглянул на соседа, дескать, “варежку” не разевай. Тут же поведал о случае из своей таёжной жизни, даже не поведал, скорее, хвастанул.

— Как-то подошёл к бортяжному кедру, а сверху шишка упала на редкость убористая, с крупным орехом. Я поднял, положил в карман. Смотрю, вторая падает, да такая бравая, лучше первой, прибрал и её, падает третья, думаю: кто же гостинец посылает? Стою, жду — может ещё упадёт. Смотрю, бурундук спускается и в черничник к тому месту, куда шишки падали. Покрутился, порыскал — нет шишек, я стою — не шевелюсь, наблюдаю. Бурундук ещё малёхо покрутился, потом столбиком встал, уставился на меня. Я замер. Интересно, что дальше будет? Бурундук подбежал ближе, примерно с полметра от меня остановился, потянул мордочку кверху, как-то по-своему угрожающе заворковал и в какую-то пору на груди моей оказался, и — в лицо, я еле отмахнулся. А он опять заскочил на грудь, на плечо, на голову, по спине брызнет, машу руками, еле отбиваюсь, а он соскочит и опять в драку бросается. Главное, свистит и хвост трубой. Вот учудил, так учудил!

На этом Николай Александрович затих, молчали и мы, потом у меня как-то само собой вырвалось:

— Так вы шишки-то ему отдали?

В ответ Николай Александрович усмехнулся и бравадно так рукой отмахнул.

— Обойдётся, он себе ещё достанет.

Кто-то из соседей:

— Как же так, обидели маленького зверька, хоть бы одну шишку отдали, трудился ведь.

Более никто слова не проронил. Костёр догорал и вскоре совсем зачах. Повеяло ночным холодом, и все разошлись готовиться к ночлегу.

Не спалось, навязчиво думалось про бурундука, который самоотверженно отстаивал свой труд и защищал жизненное пространство. То, что бурундуки между собой дерутся, сам видел, но чтоб с человеком... Бывалые таёжники рассказывали: разорить кладовую зверька, значит, обречь его на гибель. Бурундук от безысходности ищет на дереве рогатку, просовывает голову и зависает. Вспомнилось, как сам обрёл на гибель пищуху, прозванную сеноставкой. В азарте, выкуривая соболя из-под корней могучего кедра, спалил грядку высушенного черничника, заготовленного пищухой на зиму. Наверняка зиму она не пережила. Неуютно было на душе, мучительно. Уснул только под утро. Разбудил голос Николая Александровича: “Васюха, вставай, проспал!”

Через пару дней по таёжной традиции снова собрались у костра. Подошли соседи узнать, как дела, и просто пообщаться. Как обычно, разговор

сначала завёл в дебри за политику: один говорил, что жизнь пошла не по Ленину, пошла по Сталину. Другой же почитал Сталина, как отца родного, доказывал, не будь его, войну бы проиграли и были бы сейчас у фашистов рабами, поскольку Гитлер каждому немцу обещал по десять русских рабов. Досталось и Никите Хрущёву — сталинскому шуту за его недальновидную политику, и Леониду Брежневу, прозванному в народе “Броносец в потёмках”, и о том, что никто понять не может, что живёт при его правлении в пору развитого социализма. Однако посотрясали воздух, посотрясали, выпустили в небеса накопившийся пар негодования и перешли на бурундуков. Один из соседей спросил:

— Кто скажет, как отвадить бурундуков от сайбота, как ни подойду с ношей — пара-тройка крутится?

— Никак! — резанул Николай Александрович. — Плашками всех не переловишь, да и время потеряешь. Много не растащат, кедровка больше снимает. Да и мы не пообедем, а им прокорм где взять? Почитай половину гривы обколотили, — Николай Александрович неожиданно для всех вновь стал повторять рассказ про драку с бурундуком. И повторял слово в слово, а когда закончил, я, как и в прошлый раз, возьми да ляпни:

— Так вы ему шишки-то отдали?

— Конечно, отдал, что я, изверг какой, что ли! Зверька обижать!.. — Николай Александрович так убедительно это изрёк, что никто не осмелился ему возразить.

Вскоре костёр зачах, потянуло холодом, и мы разошлись готовиться к ночлегу.

ВАЛЕРИЙ ХАЙРЮЗОВ

ЧАНЧУР

В детстве, когда мне было шесть лет, я поджёг соседский сарай с сеном. Огонь быстро распространился и на наш дом. Испугавшись, я убежал за сарай и смотрел, как вся улица, передавая друг другу ведра с водой, тушит наш дом.

Дом спасли, но зарубка на сердце осталась на всю жизнь.

После я сам, летая на самолёте, стал тушить лесные пожары и видел, что может сделать “верховик”, который за какие-то полчаса превращал таёжный посёлок в обуглившиеся головешки. Пожары в тайге были всегда. Но в последнее время — особенно часто.

Вслушиваясь в утренние сводки по телевизору, я отмечал: опять горит Верхоленье, Катанга, те места, где прошла моя лётная молодость. В позапрошлом году самым тревожным стало сообщение о пропаже самолёта Ил-76. Оно было коротким:

“1 июля 2016 года самолёт Ил-76, пройдя траверс таёжного посёлка Чанчур, в 10:57 начал снижение для захода на лесной пожар в верховьях Лены. За штурвалом воздушного гиганта был профессионал — заслуженный пилот России Леонид Филин”.

В 11:30 самолёт не вышел на связь. Организованными поисками Ил-76 был обнаружен на склоне таёжной горы разрушенным и сгоревшим. Погибли все десять членов экипажа. Позже вертолётчики, участвовавшие в поиске, рассказывали, что при заходе на сброс воды видимость была нулевой.

То место мне было хорошо известно. Рыбный Уян. Тайга, горная, пересечённая местность. После окончания Бугурусланского лётного училища я несколько лет там патрулировал тайгу на Ан-2. Мы отыскивали лесные пожары, сбрасывали в тайгу парашютистов-пожарных и не понаслышке знали, сколько жизней забрала сибирская тайга.

В своё время казаки-землепроходцы без компасов и мобильных телефонов, по непролазной тайге двигаясь навстречу солнцу по руслам сибирских рек, прошли от Каменного пояса до Великого океана. За казаками двинулись купцы, охотники-промысловики, ссыльные и переселенцы из России. Началось разграбление, или, как писали в газетах, освоение Сибири. И до сих пор с тайги, с рек и озёр, не сея, не поливая и не ухаживая, берут всё, что попадётся под руку: пушнину, рыбу, ягоды, кедровый орех. Но главное богатство, — конечно же, лес. Сегодня его валят, пилят и кругляком, по дешёвке гонят в Китай, Корею, Японию. И на всё закрывают глаза, говоря: закон — тайга, медведь — хозяин. Чего тут рассуждать, снова живём! А не возьмём — гори ты синим пламенем!

И вот много лет спустя меня пригласили в Иркутск — съездить в известный мне по прежним временам таёжный посёлок Чанчур. Пригласил Владимир Петрович Трапезников. Комендант Чанчура, так часто называют его журналисты, который вот уже почти тридцать лет определяет жизнь и порядок в этом далёком посёлке. Он встретил нас в Малой Тареле, и на его самодельной дюралевой лодке мы стали подниматься вверх к истокам Лены. Плыли в настоящее, а мне казалось, что я плыву в своё прошлое.

Много лет назад мой патрульный самолёт базировался неподалёку от этих мест, на аэродроме в Качуге. Бывало, мы прилетали в Чанчур и сбрасывали лесничему выпмпел, сообщая о местоположении очередного таёжного десанта или пожара. Мобильных телефонов и раций, как и во времена Курбата Иванова и Ерофея Хабарова, у нас не было.

И вот мне предстояла новая встреча уже не с воздуха, а с земли.

Много воды в Лене утекло с тех пор...

Сегодня по берегам Лены ничего не горело, тайга была по-осеннему нарядна и светла, на нас были не парашюты, а спасательные жилеты. Наш рулевой Владимир Трапезников своё дело знал и технику безопасности перевозки людей тоже. Сгодились и моя оставшаяся от прежних времён лётная демисезонная форма. Запакованный в ползунки и синюю куртку, я чувствовал себя довольно комфортно на холодном ветру. “Самолёт и лодку объединяет одно — двигатель”, — думал я, поглядывая, как умело и ловко Трапезников ведёт лодку по ленским протокам, избегая подводных камней, делает неожиданные крутые виражи, и, вспомнив, как он водит машину и снегоход, вдруг поймал себя на мысли, что такого посади в кабину самолёта, он и на нём сможет провезти нас мимо гольцов и Прибайкальских хребтов. На поворотах в лодку с носа тугой струей летели брызги, Трапезников, поглядывая на фарватер, специально приспособленным ведёрком вычёрпывал и выливал за борт сливающуюся к нему в хвост воду.

“Вот если бы и людям было можно вычёрпывать из себя ненужную городскую грязь и накипь? — думал я, наблюдая за его работой. — И вновь окунуться в ту естественную привычную жизнь, в которой жил раньше”.

Путь был неблизким. Поглядывая на пролетающие мимо ели и берёзки, я пытался вспомнить свою лётную работу, полёты над тайгой, ту жизнь, которая окружала меня, и тех людей, которых оставил здесь, на ленских берегах.

*Днем и ночью, в согласье и в спорах,
В вёдро, в слякоть, в жару и в мороз
В необъятных небесных просторах
Мы держали воздушный извоз...*

До Чанчура, с короткой остановкой, мы шли более пяти часов. Полёт из Москвы до Иркутска занял времени ровно столько, чтобы после добраться на дюралевой плоскодонке от Малой Тарели до Чанчура. Летом другой дороги здесь нет. На лодке, в отличие от самолёта, не было стюардесс, зато с нами была редактор иркутского телевидения Ольга Ренчинова. Она то и дело щёлкала затвором фотоаппарата, снимая заломы и перекаты и сидящих на берегах диковинных птиц. Временами днище лодки билось о камни, и над головой, чуть ли не касаясь головы, пролетали склонившиеся над водой длинные, как удочки, ели. Главной нашей задачей было не делать резких движений: лодка чутко реагировала даже на взмах руки, и при неудачном повороте можно было легко свалиться за борт.

Там, где ещё недавно стояли деревни Куртугун и Конган, на крутом склоне горы были выложены белыми камнями имена неведомых мне Оли и Алёши, пожалуй, единственные оставшиеся знаки существовавшей здесь когда-то жизни...

Встречались нам и следы недавних лесных пожаров. Трапезников рассказывал, что в прошлом году вокруг Чанчура, когда упал Ил-76, были сильные пожары, выгорел кедр и ягодник. Сегодня лесное зверьё: лоси, изюбри и козы — стараются держаться подальше, лишь медведи иногда выходят к крайним домам, давая знать о себе рёвом...

Возможно, жалуются на непростую жизнь в неудобной даже для них обгоревшей тайге.

Трапезников поведал, что в природе всё распределено, тайга поделена между собой лесным зверьём. Но и здесь вмешался человек, уже по собственному разумению и прихоти нарисовал новые границы: хочешь охотиться – заключай договор, но уже не с государством, а со мной – собственником, и плати дань. И Байкал, вернее, его берег захвачен частниками. Если ты отправился в путешествие на корабле, то надо знать, где можно, а где нельзя пристать к берегу. На Байкальском водном форуме то и дело звучало: надо защищать Байкал. От кого? От себе подобных. За таким криком слышится бессилие. Криком тайгу и Байкал не спасёшь. В Священном Писании сказано: “По делам их узнаете их”. Не по цвету листьев, и даже не по стволу дерева, а по плодам.

Я смотрел на Лену и думал, что здесь всё так же, как и тысячу лет назад: то же русло, те же деревья, человек ещё не успел прорыть сюда дорогу и заполнить берега бетоном, кирпичом и асфальтом. И слава Богу!

В 1643 году этой же дорогой по Лене к Байкалу прошли казаки Курбата Иванова. Он первым из русских людей составил чертёж озера. Трапезников в Чанчуре поставил ему памятник и над ним приладил колокольчики, которые оглашают окружающую тайгу весёлым звоном. Верхний поёт во славу Божью, нижний, державный, над тайгою плывёт...

Тех людей, что когда-то строили здесь карбасы, лесников, которым я сбрасывал вымпела с сообщениями о лесных пожарах, в Чанчуре не осталось. Нет и профессиональных охотников-промысловиков. Когда наш самолёт базировался в Бирюльке, экипаж приглашали к себе братья Жабины, угощали сохатиной, мёдом, кедровыми орехами. Рассказывали они и про Чанчур. По их словам, там были самые богатые охотничьи угодья.

Трапезников вспомнил, что когда-то в Чанчур съезжались охотники-эвенки со всей округи. Здесь проводилась сдача и обмен пушнины на продукты, охотничьи припасы. Рассказывают, что тогда шкурку соболя можно было обменять на бутылку водки.

Трапезников стал ниточкой, связав собой прошлое Чанчура с его нынешней жизнью. Прекрасный рассказчик, настоящий работника, он всё делает крепко и надёжно, с собственными придумками. Например, красит построенные дома в разные цвета. И крыши старается делать красочными и весёлыми. Про таких говорят: такой не найдёт, так набезит...

Слушать его таёжные байки было одно удовольствие. Почти во всех случаях Владимир Петрович выходил победителем из самых непростых ситуаций. “Ну, чем тебе не герой рассказов Василия Макаровича Шукшина?” – думал я. Позже он сам сказал, что, погостив у него, Валентин Распутин прислал ему на память портрет Василия Шукшина...

Вечером, во время ужина Трапезников читал нам свои стихи:

*Я в волчьей стае рос без материнского догляда,
И мир тот был суров, скажу, совсем не прост!
Я Чанчур берегу.
И если надо,
Стану во весь рост,
И в морду дам, меня просить не надо!*

И, чуть помолчав, выдавал неожиданное:

*Осень, опали листья,
Завяли нежные цветы,
Но на рябине гроздьё не потухли —
В её ветвах горит ещё огонь любви.*

Частенько ему приходилось работать с приезжающими на Байкал иностранцами. Водил он по гольцам, байкальским кручам, горным речкам туристические и иные группы не очень-то приспособленных к таким тропам людей. Но идут, лезут в тайгу за впечатлениями и приключениями. Бывало, что идут прямо к медведю в лапы. И, конечно же, как тут обойтись без опытного, знающего тайгу проводника...

Я спросил у него, кто лучше всех из иностранцев-волонтёров работал в Байкальском заповеднике.

– Англичане, – однозначно ответил Трапезников.

Однажды кто-то из вновь прибывших англичан поведал Трапезникову, что среди них, в десятом колене, есть потомок Кромвеля.

– Перед тем как дать им задание на работу, – вспомнил Трапезников, – я их собрал и через переводчицу сказал известную, но слегка переделанную фразу Кромвеля:

“Сэры и пэры, довольно трепаться. Даю вам пару минут, чтобы вы надели шляпы, взяли пилы и топоры. Иначе мои солдаты (тут Трапезников показывал на стоящие в его собственноручно сделанном музее чучела медведя, россомахи и рыси) сделают так, что шляпы ваши не на что будет надевать”.

С опаской поглядывая на строгого русского начальника, англичане загалдели. Переводчица улыбнулась и сказала, что свою историю англичане знают слабовато, но генная память у них хорошая.

Волонтёры быстро собрались и пошли пилить деревья и вырубать просеки для таёжных троп.

“Правда в памяти, у кого нет памяти, у того нет жизни. Валентин Распутин”.

Эта табличка висит на доме-музее лётчика, Героя Советского Союза Александра Михайловича Тюрюмина, который родился в селе Чанчур. Распутин прожил в Чанчуре несколько дней и после всегда с теплотой вспоминал этот таёжный посёлок. Сегодня смотрителем этого музея является Владимир Петрович Трапезников. Он открыл нам дверь деревенского дома и провёл экскурсию.

Уже в доме-музее Тюрюмина выяснилось, что мы с Александром Михайловичем однокашники – оба заканчивали Бугурусланское лётное училище. И отцы-командиры были одни и те же – участники Великой Отечественной войны, полковники Василий Лазуко и Андрей Быценко. Кстати, Тюрюмин первым на Ташкентском авиазаводе испытал и дал путёвку в небо самолёту Ил-76.

Пригласив меня в Чанчур, Владимир Трапезников дал мне редкую возможность вернуться в прошлое. И хоть на минуту дал возможность прикоснуться к той жизни, от которой, по недомыслию, подчиняясь стадному чувству, я так старательно убегал, улетал, выискивая для себя что-то новое и недостижимое. И, как видно, обманывался...

А вот Трапезников пришёл сюда, в таёжную глушь, и сделал свою жизнь наполненной и нужной людям. Своим невидимым ведёрком он понемногу вычерпал из себя ту городскую накипь, которая заливает душу.

Перед отъездом мы захотели сходить в кедрач, но Трапезников сказал, что в прошлом году, когда упал Ил-76, кедрач сгорел.

– Пожар мог перекинуться и на наш посёлок. Мы его едва отстояли. Сейчас там, как в песне о войне: “Там птицы не поют, деревья не растут...” Вот что, давайте я вас свожу по голубицу.

И мы пошли, и собирали рядом с посёлком лесную ягоду.

А ночью устало и расслабленно я смотрел на близкие звезды и думал: “Хорошо, что на нашей крохотной Земле остаются ещё такие места, где можно дышать полной грудью, где душа становится прозрачной и невесомой, как таёжный воздух, и чиста, как вода в Чанчуре”.

МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ

БОДАЙБИНСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ

В 1977 году мне посчастливилось работать в экспедиции ЦНИГРИ в Бодайбинском районе Иркутской области. В ту пору я был столичным юношей, ещё только бредившим Сибирью, первая встреча с которой произошла в 1974 году – после 9 класса я работал в противочумной экспедиции на юго-западе Тувы. В тех же краях увидел я впервые и батюшку-Енисея, с которым спустя годы и связал свою жизнь. После Тувы, которая произвела на меня сильнейшее впечатление, я попросил свою тётку – тётю Нину, вхожую в геологический мир, – отправить меня куда-нибудь в Восточную Сибирь. Этим местом оказались окрестности посёлка Кропоткин. Уже не помню точно, как назывался ключ, на котором стоял наш лагерь, но помню, он был по правую руку от тракта, верстах, возможно, в десяти от Кропоткина, а может, и больше. Помню, что напротив нас по диагонали был виден голец Цибульского. Мы обследовали окрестности этого ключа, а потом предстояло снять лагерь и отправиться на Хомолхо отработать голец Высочайший. Каково же было моё разочарование, когда наша начальница решила не перевозить лагерь, а просто ездить на Хомолхо каждый день на нашем “шестьдесят шестом”. Так мы и сделали. Моя работа была такая: бить молотком кварцевые жилы и собирать в мешочки образцы породы с вкраплениями золота. Помню, что вкраплений этих было на удивление много, и я даже взял несколько образцов для нашего институтского геологического музея – в благодарность начальнику практики, отпустившему меня в Сибирь.

Речка Хомолхо мне понравилась – до сих пор перед глазами лиственничник на её берегу, в котором так хорошо бы было стоять табором. До сих пор помню Высочайший – траншею и шурфы, пробитые кем-то до нас. Всё на самом верху, на плоскотине...

Пожалуй, сильнейшим и наиболее драгоценным из впечатлений о том лете был образ трудовой Сибири, который я вынес из наших будней в окрестностях Кропоткина и в самом Бодайбо, где мы какое-то время жили на геологической подбазе. Трудовой этот народный геологический дух, который я хватил только краем, за короткое время, произвёл на меня сильнейшее впечатление и окончательно наставил на сибирскую судьбу. В ту пору я был студентом, и моё возвращение в город, лекции в тёплых помещениях – всё это казалось чем-то постыдным по сравнению с жизнью бодайбинских работяг. Больше всего на свете мне хотелось остаться где-нибудь здесь и уйти в осень, в зиму. Довершил дело один дед в Иркутском аэропорту. Сухой, бледно какой-то синий, с несусветными руками – его кисти с распухшими суставами так и застыли полуковшами. “Видать, промывальщик”, – подумал я.

А он всё что-то говорил сидящему рядом пареньку о том, как искать золото, причём таким языком, такими словами, что какие-нибудь “падуны” и “проходнушки” выглядели бы детским лепетом. Жалею, что ничего не запомнил, кроме самого духа рассказа: дед не рассказывал, он проповедовал, громко и страстно. Не глядя на слушателей, он передавал свой опыт, свои представления, и что-то трагическое было и в яром проповедническом послые, и в его тщетности. От этой картины у меня осталось впечатление прикосновения к заповеднейшей тайне.

Судьба моя после Бодайбо уже шла напрямиком в Сибирь, и вот недавно, будучи на “Золотом Витязе” в Иркутске, я подумал: ведь 40 лет прошло с моего Бодайбо! Не пора ли отдать долг месту?

В таких случаях важны два взгляда: что обязательно надо отдавать долги дорогим местам и что наоборот – ни в коем случае не следует пытаться повторить прошлое, что всё будет не так, только разочаруешься. Что это, мол, как попытка встретиться спустя жизнь с первой возлюбленной. В общем – ни к чему. Будучи приверженцем первого подхода, я решил лететь. По моей просьбе министр культуры Иркутска связался с главой Бодайбо Евгением Юрьевичем Юмашевым, и я полетел.

Видимость была не очень, и я так и не понял, пересекли ли мы северный кут Байкала или нет. Но вот самолёт снизился, и открылись горы с редкой тайгой и их особенно выразительные меловые верхи. Самолёт делал “коробочку” над Витимом, и невообразимо хороши были сопчатые нагромождения, редкие кедрачи, ельники и лиственничники по склонам. По прилёту первым делом я сходил на берег Витима, как раз возле треста “Лензолото”, у которого появился новый застеклённый фасад. Витим в торосах, горы. Храм на берегу, где я приложился к мощам Иннокентия Иркутского и Варлаама Чикойского – Читинского подвижника.

Вообще город с первого взгляда почти не изменился: несмотря на золотосность района, никакого намёка на достаток, ухоженность, как, к примеру, в нефтяных районах западной Сибири, в каком-нибудь Сургуте. И самолёт, на котором я летел, был точно тот же верный АН-24, что и сорок лет назад, тогда как Красноярский север давно уже летает на АТРах.

Состоялась замечательная встреча в библиотеке, а наутро особая честь была мне уготована: провести два урока литературы в школе № 1 Бодайбо. С учениками 8-х классов. Жизнь всегда намного изобретательней любых о ней представлений. Бодайбинские школьники – чудные. Буквально перед этим я провёл две встречи со школьниками Иркутска. Те не смогли назвать ни одной книги Валентина Григорьевича Распутина. Бодайбинцы смогли. В завершение встречи, как обычно, звучали вопросы, по большей части спрашивали девчонки, но вдруг парнишка с серьёзным лицом вытянул руку и сказал: “Что бы Вы могли сказать нам в напутствие?”

Такой вопрос всегда испытание – ведь надо ёмко, ярко и не занудно сказать самое главное. Зная ситуацию в Бодайбо, отток населения на материк, я особенно налёг на любовь именно к *своей* земле. Говорил о том, что мы часто не замечаем её красоты, стремясь к другим местам, ну, и вывел на нашу Русскую землю вообще – как самую многострадальную, прекрасную и непобедимую. Судя по глазам ребят, слова подобрались верные.

Потом мы поехали в Артём в библиотеку, и по пути в Апрельске должны были посетить памятник жертвам Ленского расстрела 1912 года. Ехали по той самой единственной дороге, по которой мы уезжали в Кропоткин, вдоль Бодайбинки, неузнаваемо изрытой: все берега были – белый, засыпанный снегом отвал. Подъехали к братской могиле жертвам расстрела, потом к стеле, засыпанной снегом. Оказалось, что она стоит на небольшом уцелевшем куске земли. “Обрыли со всех сторон!” – сказала наша сопровождающая из библиотеки и поведала, что по этому поводу уже много народных пересудов. Потом поехали в Артём и, пока шёл фильм, я изучал библиотечные книги.

На глаза попался фотоальбом по истории Ленских приисков. Я листал его, пока не замер над фотографиями жертв Ленского расстрела.

40 лет назад мы проезжали этот памятник, и по молодости я не придавал никакого значения ему и даже наоборот – гордое и необразованное сердце раздражил классовый пафос. “Ну, опять борьба пролетариата!” Теперь, когда я смотрел на фотографии трёх сотен убиенных, всё ощущение прилёта, восторг возвращения в родное и важное место – всё отошло и осталась только

трагедия вплоть до чувства физического недомогания... Женщина в платке с младенцем на руках присела возле тела кормильца. Ещё одна, крестьясь, идёт вдоль поля тел. Оказалось, что ранено было ещё около трехсот человек, и в общей сложности пострадало более полутысячи людей. А кто на прииска́х работал? Да больше бедовые-непутёвые, каторжане бывшие и просто неустроенные. Платили им гроши, жили они в бараках, где чуть не задницами примерзали к нарам. Морозяки тогда подходящие были.

А вот какую информацию я нашёл на сайте, посвящённом золотой лихорадке на Лене. “Несмотря на то, что большинство акций “Лензото” находилось в руках “Lena Goldfields”, непосредственное управление Ленскими рудниками осуществляло “Лензото” в лице Гинцбурга. Правление товарищества, действовавшее на момент забастовки, было избрано в июне 1909 года:

Директор-распорядитель – барон Альфред Горадиевич Гинцбург;

Директора правления – М. Е. Мейер и Г. С. Шамнаньер;

Члены ревизионной комиссии – В. В. Век, Г. Б. Слюзберг, Л. Ф. Грауман, В. З. Фридляндский и Р. И. Эбенау”.

Что это были за люди? Переживали ли они о русском мужичье, посмевшем защитить свои права на труд?

Не всё легко было и в советские довоенные годы, вроде выдавили англичан, к помощи которых прибегла уже Советская власть, но в конце 30-х годов 950 человек своих попали под плановый чекистский расстрел, рьяно и инициативно исполненный приезжим чекистом с садистскими наклонностями – карандашом глаза выкалывал. А в войну почти половина населения (шесть тысяч) ушла на фронт, и половина из них не вернулась... Всё это рассказали мне в краеведческом музее самого Бодайбо. А я изучал фотографии и попытался представить Ленские события.

На встрече в библиотеке народу было совсем немного – когда-то крупнейший посёлок стоит полузаброшенным. Директор библиотеки Зинаида Николаевна сама родом с Енисея, из Дудинки. Всю жизнь здесь, в Артёме. Я попросил её спеть “Бодайбинку”.

В темноте вернулись в Бодайбо. Наутро была экскурсия в музей. Потом полёт в Иркутск по ясной погоде. Воздух был настолько прозрачен, что передо мной, как на дивной карте, проплыла вся панорама гор, включая Верхне-Ангарский хребет. Удивительные и бескрайние пространства... Пики, будто набранные из жил, долины с белыми озёрами... А потом под крылом проплыло устье Верхней Ангары и северный угол моря...

А я всё думал, как найти выход? Как жить дальше, когда спустя сорок лет, оказавшись в месте, о котором вспоминал всю жизнь, нашёл совсем другим это место, а главное – себя самого?! И казалось, на прекрасном алмазном снегу промороженных хребтов уже начертан ответ – что только через любовь и сострадание к своему народу можно постичь нашу Россию, помочь ей не рассыпаться, не распасться, а самим не очерстветь... И на вопрос, что делать, один ответ предлагали мне уже ставшие родными сопки: бывать здесь, помогать этим людям хотя бы словом поддержки, вниманием. И не улетать так быстро.

А ведь и сорок лет назад так было – казался предательством отъезд в Москву на учёбу, сидение в тёплых классах и питьё пива в кафешке в то время, как в Восточной Сибири падает первый снег, бородатые работяги варят чай у костерка, и старик-промывальщик с распухшими суставами вещает на всю Сибирь о “падунах” и “проходнушках”. И никто его не слушает...

Верую, что вернусь в Бодайбо.

НИКОЛАЙ НИКИТИН

О “РУССКОМ ВОПРОСЕ”

Русский народ в силу своей многочисленности и устойчивости менталитета вызывал в ХХ веке у всех реформаторов России наибольшие опасения по поводу осуществимости их замыслов. Пришедшие в 1917 году к власти большевики были проникнуты национальным нигилизмом, будущее человечества после мировой революции представляли исключительно безнациональным и одну из главных преград для себя на этом пути видели в русском национализме (“великодержавном шовинизме”). Его же усматривали практически в любом заявлении русских о своей национальной идентичности, в любом активном её проявлении и даже в пожелании (не говоря уже о требовании) предоставить русским в СССР *равные* права с другими народами.

Более того, если у последних вопреки коммунистическим теориям форсированными темпами выращивались национальные элиты, всячески поощрялось развитие национальной культуры и усиленно проводилась “коренизация кадров” (то есть насаждение представителей новых национальных элит на руководящих постах), то русские, как пишет историк А. К. Сорокин, “оказались под ударом так называемой позитивной дискриминации”. И если русская культура клеймилась как “культура угнетателей” лишь до начала 1930-х годов, то борьба с “великодержавным шовинизмом” определила поведение высших органов партии большевиков на долгие годы. “Коренизация, — замечает А. К. Сорокин, — во многих случаях привела к вытеснению русских из сфер управления в местах традиционного их проживания”. К тому же русским не только не была предоставлена собственная территория в виде национально-территориального образования, но в ряде случаев они своих территорий самым бесцеремонным образом лишались” (см.: Российская государственность: опыт 1150-летней истории. М., 2013. С. 317–319).

Важно отметить ещё одно обстоятельство: коммунистами был открыто взят курс на “денационализацию русской нации”, и, несмотря на кратковременные отступления от него (в годы Великой Отечественной войны или в ходе пресловутой “борьбы с космополитизмом” после войны), они в его реализации изрядно преуспели, хотя явно рассчитывали на большее. А потому даже в 1980-е годы, в конце правления “русский вопрос” представлялся руководству КПСС по-прежнему опасным, и методы его решения принципиально не менялись.

НИКИТИН Николай Иванович — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН. Родился в 1946 году в Подмосковье. В 1970 году окончил истфак МГУ, в 1973-м — аспирантуру Института истории СССР АН СССР. Автор более 250 печатных работ. Живёт в Подмосковье.

Одному из последних генсеков КПСС, Ю. В. Андропову, приписывают слова: “Главная забота для нас – русский национализм; диссиденты потом – их мы возьмём за одну ночь”. А незадачливый премьер-министр РСФСР А. В. Власов накануне кровавых межэтнических столкновений в Средней Азии и Закавказье, объясняя причины роста национализма в союзных республиках, не нашёл ничего лучшего, как “озвучить” старый большевистский тезис, согласно которому шовинизм у “малых” народов возникает, прежде всего, как ответ на шовинизм представителей “большого” русского народа (Известия. 1989. № 245).

Весьма откровенными бывали в своих высказываниях по “русскому вопросу” и некоторые деятели советской науки, причастные к выработке принципов национальной политики в СССР. Так, член-корреспондент АН СССР, главный редактор журнала “Советская этнография” К. В. Чистов заявил на одном из “круглых столов”: “Если, например, у меня отец татарин, а мать якутка, я должен иметь право называть себя якутом или татаринком. А если я денационализировался, то могу называть себя и русским” (Вопросы истории. 1989. № 5. С. 16). Заметьте – если денационализировался, а не проникся, скажем, русской культурой, русской ментальностью.

Так что не случайно до 1990-х годов слово “русский” в СМИ при каждой возможности заменялось на “советский”. Показателен и такой казус: в учебниках и детских книгах, посвящённых “нерушимой дружбе народов СССР”, представители каждого народа изображались в своих национальных костюмах, и только русские – просто в школьной форме. . .

В 1990-е годы власть в стране оказалась у “неореволюционеров либерального толка” (определение писателя П. И. Ткаченко). Резко критикуя “коммунистический режим”, эти “радикал-демократы” в то же время в национальной политике придерживались практически того же “большевистского” курса, а по ряду направлений даже усилили его. “Пролетарский интернационализм” и “буржуазный космополитизм” с его “приматом общечеловеческих ценностей” на поверку оказались ответвлениями одного и того же течения политической мысли. “Дерусификация русских” продолжилась, приобретает всё более изощрённые формы, порой плохо стыкующиеся, но единые в своей сути. Причины подобного отношения наших реформаторов к “государствообразующему этносу” России особо ими и не скрываются. Как заявил, например, один из них – И. Юргенс – “модернизации России мешают русские. Они архаичны. В российском менталитете общность выше, чем личность” (см.: Литературная газета. 2013. № 2-3. С. 3; № 6. С. 12).

Н. Ф. Бугай, вспоминая о своей работе в Министерстве по делам национальностей РФ, обращает внимание на то, что в 1990-е годы русские были выведены за понятие “национальное”, а попытки создания в структуре министерства Департамента проблем русского народа “завершились полным отрицанием существования русской этнической общности”, вследствие чего “русские как народ не были представлены даже в списке делегатов 1-го съезда Ассамблеи народов России” (см.: Национальный вопрос в истории России. М., 2015. С. 272-273, 278). И если “при коммунистах” слово “русский” в СМИ обычно заменяли на “советский”, то “при демократах” – на “российский”, а когда стало ясно, что замена эта не оказывает должного воздействия на сознание “россиян”, этому “неудобному” слову стали пытаться придать особый смысл, заявляя, что русские уже давно не обозначают определённую нацию, что это “вовсе не этнический признак”, а “общность людей, которые живут в России”, что “русский – это прилагательное, обозначающее принадлежность к территории”, “русский – это тот, кто любит Россию”, что “это не национальность, а состояние души” и т. д.

При таком подходе остаётся неясным, кого же тогда считать “россиянами” и почему из употребления напрочь исчезает понятие “обрусевший”, с помощью которого всё можно расставить на свои места, в том числе и для тех, кто, не являясь этническим русским, принимает русскую культуру и любит Россию.

На политической арене у нас в последнее время всё более заметны и такие “столпы либерализма”, которые, ничтоже сумняшеся, напротив, отказываются называть русскими тех, кто Россию, несомненно, любил и русским однозначно считался, но имел хотя бы одного нерусского предка. Так, известный философ и публицист А. С. Ципко пишет: “...У Деникина мать была полькой, у Лавра Корнилова – казашкой. Ещё меньше перспектив доказать

свою русскую принадлежность будет у потомка арапа Петра Великого Александра Пушкина, у полуполяка-полуукраинца Гоголя, у поляка по матери Николая Некрасова, и у еврея Фета, и Фёдора Достоевского, имеющего литовско-белорусские корни, и у Тургеневых, потомков татарских мурз... Карамзин был татаринком, у Николая Бердяева бабушка была француженкой, Сергей Булгаков тоже был потомком татарских мурз..." (Литературная газета. 2011. № 50. С. 3). О том, что "не были русскими" Андрей Боголюбский, Александр Пушкин, Василий Жуковский, Пётр Чайковский, Константин Циолковский, без обиняков заявляет газета "Аргументы и факты" (2011. № 42. Приложение "СтоЛИЧНОСТЬ". Вып. 5. С. 8). Неужто стоящие на такой позиции мыслители полагают, что все остальные народы мира этнически абсолютно "чисты", и всякий, кто называет себя немцем, финном, англичанином, поляком, латышом и т. д., не имеет никаких "инородных примесей"?

Исходя из той же логики, некоторые журналисты и публицисты отказывают в "русскости" даже исконно русским городам и регионам, в том числе – Москве, поскольку-де у нее аж целых 10% (!) иноэтничного населения (Литературная Россия. 2012. № 11. С. 9).

Беспощадной критике подверг подобные воззрения поэт и публицист Игорь Панин. "Александр Дюма (старший) был квартироном, то есть на 1/4 чернокожим. Тем не менее, – пишет И. Панин, – трудно представить современного француза... , который стал бы маниакально педалировать негритянское происхождение автора "Трех мушкетёров"...". Отметив отсутствие "этнической чистоты" и у многих других классиков западноевропейской литературы, не мешающее им, тем не менее, считаться соответственно французами, немцами или англичанами, И. Панин недоумевает: "Вот у них Дюма со своей чёрной четвертинкой – француз. А у нас Пушкин с 1/8 африканской крови – непременно негр! И это при том, что в нём ещё и 1/8 немецкой крови (а 6/8, или оставшиеся 75%, – русской...) <...> Между прочим, – продолжает Панин, – по нюрнбергским расовым законам граждане Германии, имевшие 1/4 еврейской крови, евреями-таки не считались. Но то, до чего не додумались даже национал-социалисты, спокойно-так воплотили в жизнь либерально настроенные интеллигенты-антифашисты... Как видим, те, кто выступает против того, чтобы им замеряли черепа, сами активно проделывают это с русскими писателями. Въедливо подсчитывают проценты крови, составляют какие-то списки..." По мнению Панина, "здесь не просто какое-то недоразумение, это целая идеология", не глупость, "а вполне целенаправленные антирусские акции. Приятно же лишний раз напомнить русачкам, что нет у них ничего своего, что в этой стране всё создано пришлыми. Тут хлебом не корми – дай поглумиться" (Литературная газета. 2013. № 23. С. 4).

К критикуемым И. Паниным взглядам, как ни парадоксально, оказалась близка ещё одна, всё громче заявляющая о себе в последние годы "либеральная концепция". Согласно ей, русской нации как таковой... вообще не существует.

"Почему вы всё время говорите о России как стране русских? Русские, нет вас!" – заявила как о чём-то само собой разумеющемся телеведущая Тина Канделаки, вызвав бурное обсуждение этих своих слов в интернете в 2011 году. Но апофеозом кампании по "доказательству" этой точки зрения явилась телепередача "НТВшники", показанная на одноимённом канале в самом конце 2011 года. Ведущую роль в ней играл журналист Павел Лобков, а лейтмотивом ёрнических и эпатажных выступлений участников программы стало утверждение, что у русских ничего "своего" нет, всё заимствовано от других народов – и словарный запас, и архитектура, и музыка, и национальный костюм, и кухня... В том же духе выступил и представитель Министерства образования РФ В. К. Бацин, заявивший, что "вообще у русских не было никогда ни своей истории, ни языка, ни своей музыки" (см.: Бугай Н. Метеоролог, историк: штрихи к портрету. М., 2017. С. 331-332). Опровержения этой "системы доказательств" в печати не заставили себя ждать (см.: Литературная газета. 2011. № 52. С. 10), но дело здесь не в аргументации НТВшников и К⁰, а в самом их подходе к избранной теме: П. Лобков и его единомышленники, похоже, хотели убедить телезрителей, что лишь тем, кто называет себя русскими, были свойственны наезд полагать, в силу этнической неполноценности) культурно-бытовые заимствования от соседей, а все остальные ("нормальные") народы развивались на исключительно самобытной основе...

В этой связи вполне закономерно недоумение Н. Ф. Бугая: “Кому и с какой целью необходимо выяснять в современных условиях вопрос, кто такие русские, утверждать..., что вообще не существует такой нации, что она носит собирательный характер, и не возникает вопросов в таком же плане применительно к другим нациям?..” (Национальный вопрос в истории России. С. 277).

Ответом на подобные вопросы могут служить слова Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: “Очень часто те, кто отрицает наши святыни и ценности, переносят свои чувства и на русский народ, являющийся главным творцом нашей цивилизации, носителем её идеалов. Эти силы словно пытаются поддержать всё, что может его ослабить, разделить, мировоззренчески и морально дезориентировать” (Литературная газета. 2013. № 44. С. 1).

* * *

В своём стремлении “дерусифицировать” русскую нацию иные идеологи радикального либерализма идут гораздо дальше “отцов-основателей” первого в мире социалистического государства. Наряду с чётко выраженным стремлением одних представителей либерального лагеря “переплавить” русский народ в денационализированное, утратившее этническое самосознание и представление о своих корнях месиво, другие взяли курс на раздробление “великодержавной нации” на максимальное количество “отдельных”, “самостоятельных” этносов, оптом наделяя таким статусом не только субэтнические (этнографические) группы русского народа, но и жителей ряда традиционно великорусских областей.

Результаты этих усилий налицо. Так, за Уралом с каждой переписью населения увеличивается число лиц, причисляющих себя к “сибирскому этносу” (теперь ведь, по российскому законодательству, каждый вправе произвольно определять свою национальную принадлежность). Ещё недавно они считали себя русскими, но теперь быть “сибиряком” – это для молодёжи стало просто “прикольно”, а для представителей более солидного возраста в последнее время усиленно разрабатываются “научные” теории, коими пытаются обосновать “коренное отличие” сибиряков от “москалей”.

По данным социологических опросов, проведённых в 2006 году в Иркутске и Братске, на вопрос “кем вы себя считаете – россиянином или сибиряком?” 80% респондентов ответили: “сибиряком”, а 25% высказались за государственную независимость Сибири. Дальше – больше. В январе 2012 года появилось сообщение, что общественным движением “Областная альтернатива Сибири” для студентов 5-го курса Сибирско-Американского факультета Иркутского госуниверситета был организован семинар на тему “Моделирование экономики государства Сибирь”. А в 2013 году в соцсети Facebook была создана группа “Проведение референдума по присоединению Сибири к США” и выражалась уверенность, что “Сибирь будет освобождена сибиряками с помощью США от российской оккупации”. Комментируя это событие, Т. И. Хорхордина пишет: “Пока заявления нынешних необластников не идут дальше слов. Однако их информационные атаки умножаются. Нельзя исключать, что их количество вполне может перерасти в качество” (см.: Исторические записки. М., Наука, 2014. [Вып.] 15. С. 215, 228).

Не последнюю роль в культивировании сибирского сепаратизма играют некоторые историки, в частности, Д. Н. Верхотуров, утверждающий, что право Сибири на выделение из состава России является неотъемлемым для сибиряков. Его сочинения, написанные в жанре псевдоисторического пасквиля и в своё время восторженно встреченные чеченскими сепаратистами (на сайте “Кавказ-Центр”), получили достойную оценку в книге К. Ю. Резникова, учившего Верхотурова в откровенной лжи, прямым подлогах и русофобии (Резников К. Ю. Русская история: мифы и факты. М., 2012. С. 422, 429-430, 432). Там же подробно рассматривается проблема сибирского сепаратизма в целом. О том, насколько она стала серьёзной, можно судить по материалам и в периодике, и в интернете, и на телевидении. Приводимые сепаратистами “научные” обоснования выделения из русского народа “сибирского этноса” или, на худой конец, субэтноса (“особый сибирский язык”, “смешение в одном человеке самых разных национальностей” и т. п.) не выдерживают, конечно, никакой критики, а вот социально-экономические причины этого явления

очевидны. И это не только потеря “северных” надбавок и льгот: съездить в Китай или США для сибиряка часто оказывается дешевле, чем посетить Европейскую Россию. “Рвущиеся связи – транспортные, почтовые, социальные – подогревают сепаратистские идеи”, – пишет Александр Калинин (Литературная газета. 2013. № 40. С. 14). Он считает, что “государству нельзя было допускать бесконтрольную коммерциализацию таких социально значимых отраслей, к тому же отраслей-монополистов, как транспорт, энергетика, связь”, и, безусловно, прав, но анализ этих проблем выходит за рамки нашей темы.

Теми же причинами, по-видимому, можно отчасти объяснить и возникновение “уральского сепаратизма”. Но он во многом превзошёл сепаратизм сибирский, ибо “Уральская республика”, провозглашённая в 1993 году губернатором Свердловской области Э. Росселем, на несколько месяцев стала реальностью, даже обзавелась собственной валютой и стала втягивать в зону своего влияния управленческую элиту соседних областей не только Урала, но и Сибири. Активные сторонники реализации этого “проекта” и после отставки Росселя открыто обсуждают вопросы о “новых территориальных границах” планируемого детища, о “комплектовании уральской республиканской армии” и т. д. (см.: Суть времени. 2013. № 13. С. 15).

Сложнее объяснить причины сепаратизма в “коренной России”, а он в ней обозначился, судя по данным СМИ, даже раньше, чем на Урале и в Сибири.

... 22 октября 1992 года в газете “Московский комсомолец” появился обширный материал с характерным заголовком “Кривич”. Посвящён он был главе парламентской фракции “Радикальные демократы” С. Юшенкову и знакомил читателей с его программой политического реформирования России. Планируемые им преобразования обосновывались следующим образом: “Тверь была самостоятельной, Владимир – независимым княжеством, Новгород – независимым народоправством... Отчего сегодня у этих земель нет своей государственности?... Платон полагал идеальным государство с ограниченной территорией и 10-тысячным населением... У голландца больше шансов выбиться в послы или министры, или в национальную футбольную команду. И московская, и питерская, и тамбовская земля могли бы не только завязать собственный клубок связей с внешним миром, но и скорее лечить внутренние недуги, порождённые большим скопищем людей”.

После этих откровений уже не приходилось удивляться тому, как представил себя неделю спустя (28.10.92) телезрителям московского канала один из ведущих сотрудников “Московского комсомольца”, главный карикатурист А. Меринов: “Я русскоязычное лицо московской национальности”. А известный в прошлом либеральный политик, советник президента Ельцина по национальным (!) вопросам Г. В. Старовойтова, получившая от своих оппонентов титул “стратега раскола России” (см.: День. 1992. № 52. С. 7), настаивала на существовании особого “петербургского этноса” – на том основании, что у петербуржцев-де свой менталитет, в корне отличный от московского. Эти идеи вскоре воплотились в “движение ингерманландцев”, получившее распространение в Петербурге и Ленинградской области. Его сторонники не имеют генетических связей с коренным (финноязычным) населением этих мест, ставших российскими в XVIII веке, но стремятся, став жителями “свободной Ингрии”, двигаться в Европу вместе со всеми петербуржцами, считающими себя европейцами. Историк и публицист Григорий Миронов назвал идеологию таких “самостийников” самой абсурдной из всех возможных концепций, придуманных для разделения русского народа (URL: www.sputnikipogrom.com), и с этим трудно не согласиться.

“Ингерманландскую” логику, видимо, взяли на вооружение и поборники “калининградской идентичности”. Казалось бы, если в анклав Российской Федерации, возникшем на территории бывшей Восточной Пруссии всего лишь после Второй мировой войны, абсолютное большинство населения составляют русские, съехавшиеся из разных концов страны, то о какой этнической специфике региона может идти речь? Однако, как пишет доктор исторических наук, профессор В. Н. Шульгин, “у нас в университете на историческом факультете бывшие спецы по истории КПСС теперь занимаются “проблемой калининградской идентичности”, убеждая, что здесь “русские уже не те”, что в Курске и Тамбове”. Шульгин уже давно пытается обратить внимание властей предрежащих на то, что в Калининградской области “в сознание университетской

и иной молодёжи вносятся бациллы сепаратизма, чувство гордыни и превознесения над русским народом под предлогом, что мы здесь “уже другие”, “лучшие”, в результате чего “ширится, развивается заболевание по имени калининградский сепаратизм”. Результатов эти обращения не имеют, и “под убаюкивающие мантры о “правах человека” осуществляется, по сути, дерусификация некоторых калининградских учреждений образования и культуры, изменение взглядов и устремлений молодёжи. Методично акцентируется внимание на “региональных особенностях”, упоминается благотворность “немецкого наследия” с целью превратить местных русских в представителей нового этноса или субэтноса...” (Литературная газета. 2011. № 30. С. 11; 2013. № 5. С. 9; 2016. № 12. С. 3).

* * *

Если “региональный сепаратизм” столь успешно взращивается на “пустом месте”, без серьёзных исторических, этнологических и культурологических оснований, то там, где для создания “новой этнической идентичности” есть хоть какая-то реальная зацепка, “дерусификация русских” приобретает гораздо больший размах и самые изощрённые формы. И самым наглядным тому примером стало “возрождение казачества”, начавшееся на рубеже 1980-х и 1990-х годов.

По данным современной науки, донские, уральские и терские казаки (то есть историческое ядро казачества России) – это потомки выходцев из разных социальных и этнических групп, самовольно поселявшихся в XV–XVII веках на Дону, Нижней Волге, Яике (Урале) и Тереке и объединявшихся там в самоуправляемые независимые воинские общины, которые к концу XVI века при всей этнической пестроте уже состояли, в основном, из русских людей, а в XIX – начале XX веков превратились, главным образом, в этнографические группы (субэтносы) русского народа. Эта точка зрения базируется на колоссальном по объёму документальном материале. Он неплохо сохранился в наших архивах и по большей части уже введён в научный оборот трудами нескольких поколений профессиональных историков и этнологов.

Однако активисты “казачьего возрождения” практически с первых своих шагов объявили казаков самостоятельным, “самобытным народом” и с тех пор в большинстве своём твёрдо стоят на этой позиции, отстаивают её в различных публикациях, выступлениях по радио и телевидению, “озвучивают” на семинарах и конференциях (включая те, что посвящены воспитанию казачьей молодёжи). Научно обоснованную точку зрения на происхождение и этническую природу казачества эти активисты объявляют “официальной”, “казённой”, не имеющей под собой никаких оснований, и противопоставляют ей свои представления о казачьей родословной, заключающиеся в стремлении, во-первых, максимально “удревнить” историю своих предков и, во-вторых, оторвать её от истории русского народа, часто изображая его и Россию в целом как извечных врагов казачества (см., например: Никитин В. Ф. Казачество: Нация или сословие. М., 2007).

Идеи эти не новы, они появились в казачьей среде ещё до 1917 года, практически полностью были реализованы в годы гражданской войны (когда были созданы “независимые государства” на Дону и на Кубани), отстаивались эмигрантами-“казакийцами” в 1920–1930-х годах и широко использовались иностранными спецслужбами, отражением чего явился, в частности, принятый Конгрессом США в 1956 году закон 86–90, согласно которому казачество считается одним из “порабощённых” Россией народов.

На какую же источниковую базу опираются ниспровергатели “официальной” концепции? А базы такой у них, собственно, и нет. Есть просто большое желание считать казаков “особым”, отдельным от русских этносом. “Доказательства” своим построениям они черпают, в первую очередь, в старых, порой 150-летней давности сочинениях, которые выходили из-под пера энтузиастов, не получивших исторического образования (прежде всего, казачьих “автономистов” и “сепаратистов” начала XX века) и в меру своих литературных талантов пытаются развивать их “теории”. Предков казаков они обычно выводят из некоего “казачьего народа”, якобы издревле обитавшего на Северном Кавказе и в Северном Причерноморье и даже участвовавшего в Троянской

войне (XIII век до н. э.) и основавшего Рим (Савельев Е. П. Древняя история казачества. М., 2007. С. 24).

Существование такого “народа” не подтверждается ни данными письменных источников, ни археологией, и, как заметил российский историк А. В. Беляков, “любые попытки удревнить казачество в общепринятом ныне значении являются простой политической спекуляцией” (Беляков А. В. Чингисиды в России XV–XVII веков. Рязань, 2011. С. 170). И со своей стороны, заявляю со всей ответственностью, что ни одного факта или научно обоснованного довода, свидетелем которого бы о появлении казачества ранее XV века, никогда никем приведено не было и что сочинения, повторяющие на все лады “аргументы” в пользу “автохтонной теории” происхождения казачества, демонстрируют, прежде всего, крайнее невежество их авторов.

Тем не менее, они пользуются наибольшей популярностью у современного “возрождающегося” казачества, их идеи проникают в учебную литературу и порой даже в работы профессиональных историков – тех, кто далек от изучения ранней истории казачества, – и заставляют считаться с собой даже его более образованных и прагматичных представителей. Показательна эволюция взглядов казачьих атаманов. Если первое время им были больше присущи высказывания типа: “Мы часть русского народа, и нечего тут мудрить”, то в дальнейшем и от атаманов всё чаще слышались рассуждения об особом “казачьем народе”, “казачьем этносе”. Примечательно, что на Дону, где казаки с 1996 года были расколоты на “реестровых” во главе с В. Водолацким и “общественников” во главе с Н. Козицыным, оба атамана, несмотря на все разногласия, оказались единодушны в том, что казак – это национальность, а казачество – самостоятельный, отдельный от русских народ. В этой связи не приходится удивляться тому, что в решении Большого войскового круга, состоявшегося в Новочеркасске в ноябре 2001 года, было записано, что “казаки считают себя природою не от московских людей”, и выдвигалось требование разрешить в документах в графе “национальность” указывать “казак” (Независимая газета. 16.08.02; 30.09.02). Самые же радикальные поборники “казачьей идеи” своей главной целью вообще провозгласили создание на юге России “Казачьей Республики” или же “Союза Казачьих Республик” – либо автономного, либо вообще независимого “государственного образования”. В “лихие девяностые” они не раз пытались претворить свои планы в жизнь и по сей день не спешат отказываться от этих замыслов (см.: Бредихин А. В. Казачий сепаратизм на Юге России // Казачество. Альманах. 2016. № 14).

Поэтому в условиях “новой”, “демократической” реальности казачество стало желанным объектом для политических манипуляций и спекуляций идеологов расчленения России. Впрочем, не сразу. В конце 1980-х и начале 1990-х годов “либеральная общественность” встретила “возрождение казачества” настороженно и даже враждебно. Надевших старинную форму казачьих активистов называли и “ряжеными”, и “потомками порабитителей”, и “шовинистами”, и “тёмной силой”. Напоминали о “казачьих нагайках”, предрекали в качестве ответной реакции “рост межнациональной напряжённости”. Вроптали: “Кому выгодно возрождение казачества, которое всегда было опорой правящего режима?”

Но вскоре в публичных комментариях либералов по “казачьему вопросу” возобладала иная, вполне комплиментарная тональность, и именно солидные “демократические” издания стали главной трибуной для “озвучивания” на всю страну идей о казачестве как особом, отличном от русского народа этносе. В одном хоре с ними, несмотря на давнюю неприязнь к казачеству (как “проводнику колониальной политики”), оказались и сепаратисты ряда северокавказских республик, тоже решившие разыграть “казачью карту”. Так, чеченский лидер Джохар Дудаев пытался привлечь казаков на защиту “независимой Ичкерии”, противопоставляя их России и русскому народу. А старейший российский журнал “Вокруг света” даже опустился до дешёвой подначки по поводу многовековой службы казаков государству Российскому: на его страницах служба эта, традиционно являвшаяся у казаков предметом особой гордости, была названа ... “лакейской”: “Лакейской жизнью живут – который уж век в услужении... Даже имя как народ потеряли! Слуги же” (1992. № 4–6. С. 51).

Логическим завершением этих пропагандистских акций стали заявления лидера “Партии народной свободы” (ПАРНАС) Михаила Касьянова в ходе предвыборной кампании (в Госдуму) в сентябре 2016 года. Бывший премьер-

министр Российской Федерации, выразив свою солидарность с нынешними почитателями Петра Краснова и других казачьих коллаборационистов, воевавших на стороне Гитлера, призвал добиваться “признания казаков отдельным народом” (См.: URL: <http://maxpark.com/Русский мир/content/5432692>).

Не менее показательна и “поморская проблема”. В традиционном, опирающемся на научные данные представлении, поморы – это жители побережья Белого и Баренцева морей, ведущие начало от древних новгородских переселенцев, жившие морскими промыслами и давшие России немало выдающихся первопроходцев. Они, естественно, имели свои особенности материальной и духовной культуры, обусловленные спецификой хозяйственного уклада и географического положения, и учёный мир вполне обоснованно рассматривал поморов (как и казаков) в качестве историко-культурной (или территориально-культурной), этнографической группы (субэтнуса) русского народа. Но грянула “перестройка”, и ситуация коренным образом изменилась. Всё большую силу стало набирать движение, ставящее своей целью добиться признания поморов “коренным народом Севера”, не связанным с русскими ни генетически, ни ментально.

Суть этой “концепции” такова. Поморы по своему происхождению не славяне, не русские, а финно-угорский этнос, подвергавшийся жестокой эксплуатации и ассимиляции со стороны “москалей”, которые его завоевали, давили, но до конца так и не добавили, и теперь он, наконец, получил возможность возродиться. Ареал расселения поморов при этом безмерно расширяется – либо на весь Север РФ вплоть до Урала, либо “всего лишь” на всю Архангельскую область. Делается упор на давние и дружественные поморо-норвежские связи, которые надо-де возрождать и всячески укреплять.

С научной точки зрения эта “концепция”, конечно же, не выдерживает критики, ибо не только не подтверждается историческими источниками, данными этнографии и фольклора, но решительно противоречит им. Однако такие “мелочи” не смущают адептов “поморской идентичности”. Ими вынашиваются планы создания “Поморской республики”, причём в начале 1990-х в Архангельске были популярны разговоры о возможности её отделения от России. Они, правда, быстро увяли, но зато стал деятельно создаваться (“воссоздаваться”) “поморский язык” – как “самостоятельный язык отдельного народа” – и уже выпущен “Словарь поморского языка”. Регулярно проводятся “Межрегиональные съезды поморов”. Активно разрабатывается методика “поморской этнической педагогики”, направленной на “пробуждение у ребёнка этнического самосознания через постижение особенностей поморского характера”, и школьникам региона исподлобь внушается, что они не русские.

И эти усилия не пропадают даром. В ходе общероссийской переписи населения в 2002 года национальность “помор” указали 6571 человек, но потенциально таковых было гораздо больше: стало известно, что многие жители Архангельской области “слишком поздно узнали” о легальной возможности такой идентификации и впоследствии горько сожалели, что не воспользовались ею. В 2004 году была официально зарегистрирована “Архангельская областная община коренного малочисленного народа поморов”. Словом, исходящие “сверху” инициативы по созданию на севере России нового (“поморского”) этноса находят явную поддержку “снизу”. Однако её причины вряд ли следует искать во внезапно пробудившемся у северян “этническом самосознании”, отторгающем русскую идентичность. Всё прозаичнее: быть русским в России часто просто не выгодно.

Дело в том, что в ходе “либеральных реформ” русское население Архангельской области лишилось прежних прав заниматься традиционными морскими промыслами, а также было сильно ограничено в лесопользовании, и это ставило поморские селения на грань вымирания. И поскольку живущие по соседству саамы и ненцы как “малые народы Севера” не только сохраняли права на преимущественное использование природных ресурсов, но и получали от государства дополнительные выплаты и компенсации, добиться от властей такого же статуса, превратившись в “особый этнос”, стало заветным желанием многих поморов (см.: Этнографическое обозрение. 2009. № 4. С. 3–17; Литературная газета. 2013. № 29. С. 12).

Примечательно, что инициаторами и организаторами борьбы за “поморскую идентичность” явились преимущественно лица, не связанные с настоящими поморами ни происхождением, ни местом жительства. Это были, главным

образом, преподаватели местных вузов, не блещущие, мягко говоря, познаниями в области истории и этнологии, но пользующиеся покровительством архангельской администрации и ощутимой поддержкой (как моральной, так и материальной) “арктических стран” и, прежде всего, Норвегии. А в Москве их деятельность встретила полное одобрение “правозащитников” и ряда видных деятелей “несистемной” оппозиции. . .

Причины такой поддержки лежат на поверхности. По словам А. С. Ципко, либералы начала 1990-х годов были убеждены, “что и русское Православие, и русское государственничество, и русские духовные ценности несовместимы с идеей демократии и свободы личности” (Литературная газета. 2011. № 50. С. 3). И, видимо, потому в те времена, как заметил писатель И. Волгин, считалось, что “быть сепаратистом – почётно, быть государственным – ретроградно” (Комсомольская правда. 26.11.91).

С тех пор взгляды большинства представителей нашей “радикал-демократии” по “русскому вопросу” не претерпели принципиальных изменений, а лишь находили всё новых и новых сторонников. Известный культуролог И. Г. Яковенко, опираясь на мнение одного из ныне малоизвестных этнографов (Д. К. Зеленина), высказанное в 20-х годах XX века и опровергнутое последующими исследованиями, пришёл к заключению, что лишь по недоразумению русские считаясь одним народом. “На самом деле”, они, оказывается, состоят по меньшей мере из двух, издавна противостоящих друг другу этносов – северорусского (“окающего”) и южнорусского (“акающего”). А потому-де весьма вероятен скорый распад России как на северный и южный регионы, так и отделение от неё прочих: казачьего, сибирского, петербургско-новгородского, поволжского, северокавказского, и это, “если отрешиться от имперской паранойи”, надо будет признать отвечающим нашим национальным интересам (Независимая газета. Приложение “НГ-сценарии”. 1999. № 10. С. 6).

А. А. Широпаев – поэт, публицист, позиционирующий себя как идеолог западного пути развития, – предлагает русским “стать новым народом”. Для этого, по Широпаеву, надо, “прежде всего, снять ментальную установку на “великую страну” с центром в Москве” и пойти на “создание в составе федерации нескольких, предположительно семи русских республик на основе регионального и субэтнического самосознания”. Широпаев допускает, что “в перспективе это приведёт к возникновению даже нескольких русских политических наций”, но, по его мнению, такое решение “русского вопроса” будет иметь сугубо позитивные последствия, поскольку предполагает “развитие и укрепление либеральной демократии и гражданского общества”, означая “западный цивилизационный выбор”, который и поможет нам “стать достойной частью цивилизованного мира” (Литературная газета. 2012. № 52. С. 3).

Однако большинству публичных поборников “западного пути” свойственны гораздо более радикальные (и более откровенные) взгляды на способы решения “русского вопроса”. Так, Валерия Новодворская будущее России связывала “со снижением тотальной мощи государства, с дальнейшей дезинтеграцией территории” и с образованием на месте России множества небольших государств, в которых “национал-патриотам” станет негде “разгуляться” и которые будут легче поворачиваться “к солнцу мондиализма” (см: Вдовин А. И. Российская нация. 2-е изд. М., 1996. С. 178).

“Я, честно говоря, не вижу особой проблемы, если Россия разделится по Уральскому хребту”, – заявила 15 октября 2013 года в передаче “Особое мнение” на “Эхе Москвы” Евгения Альбац. Не видит ничего страшного в разделе России на части и Юлия Латынина: она уверена, что тогда “в некотором количестве частей России началась бы нормальная жизнь” (URL: www.echo.msk.ru).

Дмитрий Быков призывает россиян “привыкать жить с независимым Кавказом, независимой Сибирью, независимым Дальним Востоком”, а Олег Кашин видит “будущую великую Россию” вообще лишь в пределах “от Смоленска до Владимира” и уже воспринимает как “потенциально новые столицы других государств” такие города, как Новосибирск, Екатеринбург, Омск. . . (см.: Литературная газета. 2013. № 6. С. 12).

Валерий Панюшкин убеждён, что “всем на свете стало бы легче, если бы русская нация прекратилась. Самим русским стало бы легче, если бы завтра не надо было больше складывать собою национальное государство, а можно было бы превратиться в малый народ наподобие воды, хантов или аварцев” (URL: http://stihiya.org/news_1235.html).

А в апреле 2018 года в Вильнюсе на очередном форуме движения “Свободная Россия”, объединяющем столпы российского либерализма из “несистемная оппозиции”, вопрос о будущем расчленении нашей страны уже рассматривался как нечто очевидное и не подлежащее сомнению. Правда, единого подхода к идеологическому обоснованию и путям реализации этого “проекта” выработано не было. “Дипломатичный” Гарри Каспаров призывал “демократически настроенных россиян” отнестись к планам развала своей страны с пониманием и ссылаясь на примеры из новейшей истории: дважды – в 1917 и 1991 годах – крушение авторитарного режима в России сопровождалось её разрушением, а потому во имя нового торжества демократии надо-де быть готовыми опять принести свою страну в жертву. А вот Аркадий Бабченко в своей реплике относительно уготованного России будущего был более конкретен и циничен: “Для меня самым оптимальным вариантом на месте этого гигантского кровавого монстра было бы 10 удельных княжеств, которые занимались бы внутренними разборками, которые бы там воевали друг с другом, а дальше, за поребрик, больше бы не лезли. Вот меня бы это устроило вполне. После этого я бы закончил свою оппозиционную военно-корреспондентскую деятельность” (URL: <https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/04122017>).

Подобные высказывания, конечно, не остаются без соответствующей реакции со стороны противников “радикального либерализма”. “Коллективный портрет” таких “заражённых” нарисовал О. М. Попцов – видный журналист, писатель, успешный общественно-политический деятель “ельцинской эпохи” (известный, прежде всего, как “создатель нового российского телевидения”) и представитель *меньшинства* нашей либеральной элиты. Проанализировав полученную картину, он пришёл к следующему заключению: “Господин Бжезинский (бывший госсекретарь США. – **Н. Н.**) – хорошо информированный человек, и его предложения о расчленении России на четырнадцать самостоятельных государств неслучайны. Чтобы усилить Америку, надо ослабить Россию, а для этого следует запустить разрушающий вирус сепаратизма <...> Что ж, можно поздравить г-на Бжезинского: он обрёл послушных учеников на территории России” (Литературная газета. 2013. № 6. С. 12).

Разброс мнений по “русскому вопросу” в различных лагерях российской интеллигенции порой привлекает внимание и академического сообщества. Один из его представителей – крупный философ, академик РАН В. С. Степин, – в связи с призывами радикально настроенных либералов расчленить РФ на несколько десятков маленьких “демократических” государств, задаёт закономерный вопрос: почему ратующие за такое расчленение уверены, что оно приведёт к возникновению множества Швейцарий, Люксембургов и Монако, а не Карабахов и Приднестровий? (Степин В. С. Цивилизация и культура. СПб, 2011. С. 363).

* * *

Подведём и мы некоторые итоги своих наблюдений. Вряд ли сторонники превращения России в конгломерат мелких “суверенных” государств настолько наивны, чтобы всерьёз рассчитывать на получение в них министерских портфелей, и вряд ли идеологов распада России вообще интересуют судьбы тех, кто при реализации сепаратистских идей окажутся гражданами “новых независимых республик”. Судя по всему, главное в этих планах – желание поскорее, любой ценой покончить с “русским великодержавным шовинизмом” (вспомним В. Новодворскую): не будет “великой державы”, не будет и производного от неё “изма”, а раздробление сил “идейного противника” облегчит радикальную “либерализацию всей страны”. Трудно ведь, согласитесь, одним махом “реформировать” такую громадину, как Россия, куда легче – “демократизировать” её по частям (именно так, вспомнив известную притчу “о венике”, объяснял своё желание поскорее развалить Россию один из молодых “либералов” на Ленинградском ТВ 8 августа 1991 года). И разделение русского народа на несколько “самостоятельных этносов” было бы для такого рода “реформаторов” весьма кстати. Что же касается России, то, как мы видели, сама по себе она не является для нашей “радикал-демократии” самостоятельной ценностью, как не являлась ею столетие назад и для нашей

“социал-демократии” – для тех, кто рассматривал свою страну лишь как “охапку хвороста для костра мировой революции”...

Вспоминается фильм Веры Кузьминой “Убить русского в себе”, впервые показанный на ТВЦ 11 ноября 2009 года. В нём речь шла о применении к нашей стране “стратегии анаконды”, предусматривающей оттеснение России от морей и “переваривание” её по частям, “создавая” на российской территории всё новые и новые “этноты”. Зарубежных разработчиков такой доктрины, видимо, вдохновляет успешная реализация “украинского проекта”. Но мы не будем вдаваться во внешнеполитические аспекты проблемы – давно уже не скрываемую нашими зарубежными (прежде всего, западными) “партнёрами” заинтересованность в раздроблении России. И не только потому, что это особая и давно обсуждаемая в СМИ тема. Какие бы планы “коварный” Запад (или Восток) ни вынашивал в отношении нашей страны, они не будут иметь успеха без их совпадения с настроениями *внутри* российского общества. И потому пускать формирование общественного мнения в “русском вопросе” на самотёк было бы серьёзной политической ошибкой. А ведь такого рода ошибки, как известно ещё с наполеоновских времён, – “больше, чем преступление”...

АЛЕКСАНДР ВДОВИН

профессор МГУ

БОРЬБА В СТАЛИНСКОМ ОКРУЖЕНИИ ЗА ПОДСТУПЫ К ВЛАСТИ В 1945–1953 годах

Правда и вымыслы

В послевоенные годы, вплоть до XIX съезда партии (октябрь 1952 года), так же, как и до войны, высшую руководящую силу в СССР имел Центральный Комитет ВКП(б) и его постоянно действующий орган – Политическое бюро ЦК во главе со Сталиным. После съезда были сформированы новые составы ЦК, Президиума ЦК (вместо прежнего Политбюро) и Бюро Президиума ЦК. На протяжении 1946–1952 годов в разное время членами Политбюро были 13 ближайших соратников Сталина: К. Е. Ворошилов (член Политбюро в 1926–1960 годах), М. И. Калинин (1926–1946), В. М. Молотов (1926–1957), Л. М. Каганович (1930–1957), А. А. Андреев (1932–1952), А. И. Микоян (1935–1966), А. А. Жданов (1939–1948), Н. С. Хрущёв (1939–1964), Л. П. Берия (1946–1953), Г. М. Маленков (1946–1957), Н. А. Вознесенский (1947–1949), Н. А. Булганин (1948–1958), А. Н. Косыгин (1948–1952, 1960–1980)¹. Они же занимали ключевые позиции в высших органах государственной власти и управления страны – Верховном Совете СССР (высший представительный и законодательный орган) и правительстве (Совет министров СССР, исполнительный и распорядительный орган)².

При Совете Министров в феврале 1947 года были созданы восемь отраслевых бюро (позднее их стало больше), каждое из них координировало родственные министерства и ведомства. Председателями бюро были Маленков (курировал 6 министерств и ведомств), Вознесенский (7), М. З. Сабуров (11), Берия (7), Микоян (5), Каганович (8), Косыгин (5), Ворошилов (19 министерств и ведомств)³. В аппарате ЦК партии остались только два управления: кадров, агитации и пропаганды, а также два отдела – оргинструкторский и внешней политики; отраслевые отделы были ликвидированы. В публичных выступлениях упоминание о “руководящей роли Коммунистической партии” звучало сравнительно реже. В предвыборной речи 9 февраля 1946 года Сталин заявил, что единственная разница между коммунистами и беспартийными состоит в том, что “одни состоят в партии, а другие – нет”⁴. В советском обществе это воспринималось как откровенное заявление о снижении авангардной роли партии.

Роль Политбюро как коллективного генератора политического курса и важнейших управленческих решений в послевоенные годы по сравнению

с предвоенным периодом заметно снизилась. До 1952 года состоялось только девять заседаний с участием большинства его членов. Лидер партии, секретарь ЦК И. В. Сталин одновременно возглавлял Совмин СССР, в официальных случаях именовался “глава Советского государства”. Функции партийных и государственных органов были тесно переплетены. Внутри Политбюро складывался узкий круг приближенных к Сталину лиц. С октября 1946 года в состав “семёрки” входили Сталин, Молотов, Берия, Микоян, Маленков, Жданов, Вознесенский. На этот “ближний круг” замыкались вопросы внешней политики и внешней торговли, госбезопасности, вооружённых сил и другие важнейшие вопросы государственного управления⁵.

Снижение роли коллективности в работе Политбюро объясняется ухудшением здоровья Сталина, серьёзно пошатнувшегося осенью 1945 года. Дали о себе знать чрезмерные физические и нервные нагрузки военного времени. В октябре у Сталина случился инсульт. После него полностью восстановить здоровье и работоспособность не удавалось. Н. В. Новиков, посол СССР в США, участвовавший во встрече Сталина с госсекретарём США Дж. Маршаллом 15 апреля 1947 года, вспоминал, что, в отличие от встреч со Сталиным до войны и в военные годы, когда это был “собранный, нимало не угнетённый возрастом руководитель партии и страны... , я видел перед собой пожилого, очень пожилого, усталого человека, который, видимо, с большой натугой несёт на себе тяжкое бремя величайшей ответственности”⁶.

С 1946 года Сталин стал реже появляться в Кремле. Росла длительность его отпусков с выездом на юг. Согласно записям посещений его кабинета, в 1946 году перерыв в приёмах составил более трёх месяцев, в 1947 году – два месяца, в 1948-м и 1949 годах – по три месяца, в 1950 году – около пяти месяцев. Более полугода длился перерыв с 9 августа 1951 года по 12 февраля 1952 года. Большую часть 1952 года Сталин провёл на даче, куда соратники приглашались для решения неотложных дел. Последний раз в жизни Сталин находился в своём кремлёвском кабинете 17 февраля 1953 года.

В ноябре 1952 года Бюро Президиума ЦК КПСС приняло решение, что в случае его отсутствия председательствовать на заседаниях поочередно будут Маленков, Хрущёв и Булганин. Им же поручалось рассмотрение и решение текущих вопросов. Предусматривалось также, что заседания правительства в отсутствие Сталина будут вести поочередно заместители Председателя Совета Министров Л. П. Берия, М. Г. Первухин и М. З. Сабуров⁷. Таким образом, принятие решений всё больше перетекало к соратникам Сталина из ближнего окружения. С 1950 года обозначилась четвёрка лидеров: Маленков, Берия, Хрущёв и Булганин. Сталин играл роль верховного арбитра в случаях, когда не удавалось достичь единогласия при принятии коллективных решений без его участия.

Разногласия, имевшиеся в руководстве СССР при определении намёток плана четвёртой пятилетки, вызывались различием представлений об основных тенденциях послевоенного развития. Жданов, Вознесенский и ряд других деятелей считали, что с возвращением к миру в капиталистических странах наступит экономический кризис, усилятся межимпериалистические противоречия и конфликты. Это сулило ослабление угрозы СССР со стороны западных держав и позволяло отказаться от традиционной политики форсированного развития тяжёлой промышленности, остановиться на сравнительно либеральных вариантах плана, в большей мере опираться на экономические рычаги (цены, стоимость, кредит, прибыли) в дальнейшем развитии народного хозяйства. Маленков, Берия и другие не исключали способности капитализма справиться с внутренними противоречиями. С этой точки зрения послевоенная международная обстановка виделась крайне тревожной, наличие у противника атомной бомбы делало её ещё мрачнее. Отказ от дальнейшего форсированного развития индустриальных и оборонных отраслей и от командно-административных методов руководства экономикой исключался. Развитие событий оправдывало ожидания политических реалистов.

Соратники Сталина, занимавшие ключевые посты в партийных и государственных структурах власти, были вовсе не единой и однородной командой, как могло казаться в свете показательного почитания и славословий, расточавшихся в адрес лидера. Стремясь закрепить свою власть, они в этом отношении выступали сообща, но в других – не брезговали древнейшими методами политической интриги. Победы и поражения в невидимой для населения страны

борьбе за выход на ближайшие подступы к верховной власти позволяют различать три этапа в почти восьмилетнем послевоенном сталинском руководстве. Рубежами между ними выступают март 1949 года и июль 1951-го.

На первом этапе (май 1945-го — март 1949-го) Сталин постарался обезопасить властный Олимп от возможных покушений на него со стороны наиболее влиятельных в годы войны членов ГКО и генералитета, вышедшего из войны в ореоле спасителей Отечества. Советские вооружённые силы в конце войны имели в своих рядах 12 маршалов Советского Союза, 3 главных маршала и 12 маршалов родов войск, специальных войск, 2 адмиралов флота. В августе 1944 года в Красной армии, без ВМФ, НКВД и НКГБ, насчитывалось 2952 генерала, из которых 1753 получили генеральские звания в период войны. Из 183 общевойсковых командармов за время войны только один генерал Власов оказался предателем, выступившим на стороне Германии⁸.

Сразу же после войны под пристальным вниманием Сталина оказался Г. К. Жуков. 27 июня 1945 года он пригласил к себе на дачу под Москвой гостей на празднование Победы. Среди них были военачальники С. И. Богданов, В. В. Крюков с женой, исполнительницей русских народных песен Л. А. Руслановой, А. В. Горбатов, В. И. Кузнецов, В. Д. Соколовский, К. Ф. Телегин, И. И. Федюнский, В. И. Чуйков. Продолжая праздновать победу, они всячески превозносили вклад в неё Жукова, говорили о нём как о победителе Германии. А на следующий день с записями разговоров был ознакомлен Сталин, и это стало причиной подозрительности к маршалу.

Видимо, его имел в виду Сталин, когда в разговоре с писателями 14 мая 1947 года говорил о недостатках в воспитании советского патриотизма у части советских людей. «Было преклонение перед иностранцами... Сначала немцы, потом французы, было преклонение... У военных тоже было... Сейчас стало меньше. Теперь нет, теперь и они хвосты задрали»⁹. Вероятно, речь могла идти о военных, которые впадали в другую крайность, создавая преувеличенно высокое мнение о себе, чреватое необоснованными претензиями и разного рода неприятностями.

Западная пропаганда подогревала подозрения в советских верхах в отношении военных, утверждая, что они выступают на ближайших выборах в Верховные Советы союзных республик с альтернативными списками кандидатов в депутаты. Выдвижение на самые высшие посты в государстве прочили Жукову. Д. Эйзенхауэр, командующий американскими оккупационными войсками в Европе, в своём кругу пророчил: «Мой друг Жуков будет преемником Сталина, и это открывает эру добрых отношений»¹⁰. Жуков оправдывал подобные ожидания самостоятельностью и независимостью суждений, проявлением непочтения к одному из тогдашних фаворитов Сталина, министру госбезопасности В. С. Абакумову, не особенно скрываемым желанием видеть себя на посту министра обороны.

Для компрометации Жукова было использовано «трофейное дело»¹¹ и так называемое «дело авиаторов»¹². Командующий военно-воздушными силами Советской армии, главный маршал авиации А. А. Новиков и нарком авиационной промышленности А. И. Шахурин¹³ по показаниям арестованного в начале 1946 года маршала авиации А. С. Худякова были обвинены в приёме на вооружение самолётов и моторов, имевших производственные дефекты, ведущие к большому числу катастроф. На основе сфабрикованных в ведомстве В. С. Абакумова материалов Новиков, Шахурин и пятеро их подчинённых были осуждены решением Военной коллегии Верховного суда на разные сроки лишения свободы. Тень пала и на Г. М. Маленкова и Л. П. Берия, отвечавших за работу авиационной промышленности. Во время следствия по делу были также получены показания о попытках Жукова «умалить руководящую роль в войне Верховного Главнокомандования».

Весной 1946 года были арестованы 74 генерала и офицера группы советских войск в Германии по обвинениям в растрате фондов и вывозе для себя из Германии и Австрии разного имущества, мебели, картин, драгоценностей (прошли испытания боями, но не устояли перед трофейной роскошью). Однако вскоре после арестов в обвинениях стал фигурировать антиправительственный заговор военных во главе с Жуковым¹⁴.

Г. К. Жуков был отозван с руководящих постов в Германии, где его заменил возведённый в маршалское звание В. Д. Соколовский, а затем (с марта 1949 года по март 1953-го) генерал армии В. И. Чуйков. В марте 1946 года Жуков получил назначение на пост главнокомандующего Сухопутными

войсками Советской армии и заместителя министра обороны СССР. А 1 июня 1946 года состоялся разбор “дела Жукова” на заседании Высшего военного совета. На основе вынужденных показаний арестованных ранее маршала А. А. Новикова и генерала К. Ф. Телегина прославленного полководца обвиняли в организации заговора против Сталина, в объединении вокруг себя генералов, недовольных советским строем, в непомерном преувеличении своей роли в победе над Германией. Обвинения против Жукова в антиправительственном заговоре военных поддерживали члены Политбюро Маленков и Молотов. Однако маршалы И. С. Конев, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский, П. С. Рыбалко, хотя и отметили недостатки характера обвиняемого и ошибки в его работе, твёрдо стояли на том, что заговорщиком он быть не может. Соглашаясь с критикой, Жуков заявил на заседании, “что он действительно допустил серьёзные ошибки, что у него появилось зазнайство, что он, конечно, не может оставаться на посту главнокомандующего сухопутных войск и что он постарается ликвидировать свои ошибки на другом месте работы”¹⁵. Обсуждение закончилось словами Сталина: “А всё-таки вам, товарищ Жуков, придётся на некоторое время покинуть Москву”¹⁶. Внешне казалось, что он не желал идти из-за маршала на конфликт с членами Политбюро.

3 июня 1946 года Жуков получил назначение на пост командующего Одесским военным округом. Однако этим дело не закончилось. Против него выдвигались новые обвинения, в частности, в присвоении и вывозе из Германии большого количества различных ценностей. В феврале 1947 года его вывели из числа кандидатов в члены ЦК, в январе 1948 года назначили на командование менее значимым Уральским военным округом. Опала Жукова закончилась летом 1951 года, а на XIX съезде партии его вновь избрали кандидатом в члены ЦК.

Жертвами интриг после войны стали и другие представители генералитета. Г. И. Кулик и В. Н. Гордов изобличены как “сторонники реставрации капитализма в СССР”. Маршал артиллерии Н. Д. Яковлев (начальник Главного артиллерийского управления в годы войны, а с 1948 года – заместитель военного министра) постановлением Совмина “О недостатках 57-мм автоматических зенитных пушек С-60” снят с поста и в феврале 1952 года арестован по обвинению во вредительстве. Вместе с ним были арестованы начальник ГАУ И. И. Волкотрубенко и заместитель министра вооружения И. А. Мирзаханов. Но за 15 с лишним месяцев следствие так и не выявило фактов, которые могли бы дать основание для их осуждения. В 1948 году по “трофейному делу” репрессиям подвергся генерал-лейтенант В. В. Крюков и его жена Л. А. Русланова (реабилитированы в 1953 году).

2 февраля 1948 года на скамье подсудимых оказался адмирал флота Н. Г. Кузнецов (нарком Военно-морского флота СССР с апреля 1939-го до февраля 1946 года), адмиралы В. А. Алафузов и Л. М. Галлер, вице-адмирал Г. А. Степанов, занимавшие руководящие должности в наркомате в годы войны. Поначалу, в декабре 1947 года они были преданы “суду чести”. Их признали виновными в передаче несекретной парашютной торпеды англичанам и в низкопоклонстве перед Западом. По решению “суда чести” дело было передано в военный трибунал. В результате Алафузов и Степанов приговорены к 10 годам заключения, Галлер – к 4 годам (реабилитированы в 1953 году). Кузнецова тоже признали виновным, но освободили, учтя заслуги, с понижением в воинском звании на три ступени до контр-адмирала.

За кулисами “дела” стоял Сталин. Н. Г. Кузнецов не всегда соглашался с его решениями по флоту. Он считал ошибочным предложение разделить Балтийский и Тихоокеанский флоты каждый на два флота. Флоты были разделены, после смерти Сталина их вновь объединили. Осуждались выступления Кузнецова против строительства кораблей устаревших проектов, считались чрезмерными его требования к качеству поставляемой флоту продукции.

Тем не менее, в июне 1948 года Н. Г. Кузнецов вернулся на руководящую работу и был назначен заместителем Главкома войсками Дальнего Востока по военно-морским силам. Через год стал командующим Тихоокеанским флотом. С июня 1951 года по март 1953-го был военно-морским министром СССР, позднее – первым заместителем министра обороны СССР, Главнокомандующим военно-морскими силами. В ноябре 1955 года после взрыва на линкоре “Новороссийск” с большими человеческими жертвами был снят с должности и уволен в отставку¹⁷.

В марте 1947 года Сталин сложил с себя полномочия министра Вооружённых сил СССР и передал их сначала Н. А. Булганину, а затем А. М. Василевскому (март 1949-го), который исполнял их до марта 1953 года. В феврале 1950 года из Министерства вооружённых сил СССР были выделены Военно-морские силы и образовано Военно-морское министерство (министры И. С. Юмашев, Н. Г. Кузнецов), а Министерство вооружённых сил переименовано в Военное министерство. 15 марта 1953 года оно вновь было объединено с Военно-морским министерством в одно — Министерство обороны СССР, просуществовавшее до 26 декабря 1991 года.

Уже к концу войны становились заметными изменения в расстановке сил в самом Политбюро ЦК. Явно ослабевали позиции старших по политическому возрасту соратников Сталина. Л. М. Каганович постановлением ГКО снят с поста наркома путей сообщения (март 1942 года). “Несмотря на его удовлетворительную работу в НКПС в мирное время, не сумел справиться с работой в условиях военной обстановки”¹⁸. К. Е. Ворошилов в ноябре 1944 года был выведен из ГКО, поскольку, как было отмечено ещё в апреле 1942 года, “не оправдал себя на порученной ему работе на фронте”¹⁹. В. М. Молотов был резко осуждён за санкцию на публикацию речи Черчилля в советской печати, обещания ослабить цензуру (декабрь 1945 года) и даже за согласие в 1946 году на избрание почётным членом АН СССР, в котором Сталин увидел умаление достоинства “государственного деятеля высшего типа”²⁰. Особое недовольство вызвано тем, что он не удержал собственную супругу “от ложных шагов и связей с антисоветскими еврейскими националистами вроде Михоэlsa”²¹.

“Дело авиаторов” пошатнуло позиции Г. М. Маленкова. 6 мая 1946 года вышло постановление Политбюро, в первом пункте которого утверждалось: “Установить, что Г. Маленков как шеф над авиационной промышленностью и по приёму самолётов — над военно-воздушными силами, морально отвечает за те безобразия, которые вскрыты в работе этих ведомств (выпуск и приёмка недоброкачественных самолётов), что он, зная об этих безобразиях, не сигнализировал о них в ЦК ВКП(б)”. Второй пункт постановления гласил: “Признать необходимым вывести т. Маленкова из состава Секретариата ЦК ВКП(б)”²². Утратив секретарский пост, он, тем не менее, остался одним из заместителей Председателя Совета Министров и членом Политбюро (избран в марте 1946 года). 13 мая 1946 года он возглавил Специальный комитет по реактивной технике и первые месяцы опалы был сосредоточен на его проблемах.

Как некоторое умаление власти Берии следует рассматривать его перемещение с поста министра внутренних дел на пост председателя Специального комитета при ГКО по руководству “всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана”. На эту должность он был назначен 20 августа 1945 года. На посту министра в декабре 1945 года его заменил С. Н. Круглов. Оставаясь в Политбюро, Берия и Маленков пользовались любой возможностью для дискредитации Жданова и его выдвинутцев — Н. А. Вознесенского (председатель Госплана СССР), А. А. Кузнецова (секретарь ЦК, в 1945–1946 годах — первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии), М. И. Родионова (председатель Совмина РСФСР). Сталин поначалу считал, что именно эти его соратники должны занять лидирующие позиции в руководстве СССР после его ухода от власти, что и стало причиной ревности к ним со стороны других претендентов на высшие руководящие посты в постсталинском руководстве.

Неблагоприятно для “ленинградцев” (партийные и государственные деятели, выдвинутые во власть Ждановым) развивались события на международной арене. Вопреки их предположениям, противоречия между социализмом и капитализмом проявились в большей мере, чем внутри ведущих капиталистических стран. Винаватыми они оказались и в том, что в подведомственном А. А. Жданову Ленинграде был проявлен либерализм в отношении поэтессы А. Ахматовой и писателя М. Зощенко. В 1942 году сам Жданов, несмотря на негативное отношение к поэзии Ахматовой, при её эвакуации в Ташкент звонил секретарю ЦК КП(б) Узбекистана с просьбой позаботиться о ней. В 1943 году в Ташкенте был издан сборник её стихов.

Главным прегрешением Ахматовой было то, что она в ноябре 1945 года несколько раз без санкции властей встречалась с Исайей Берлиным, вторым секретарём британского посольства в СССР, известным литературоведом и философом. Сын богатейшего торговца лесом из имперского Петербурга,

он в 1920 году в десятилетнем возрасте был увезён родителями в Англию, где получил блестящее аристократическое образование, до 1945 года работал в британских спецслужбах. С Ахматовой они беседовали не только о поэзии, Достоевском и модных тогда Дж. Джойсе и Ф. Кафке, но и о гибели Н. Гумилёва и О. Мандельштама, о расстрелах в лагерях. В то же время с оптимизмом смотрели в будущее, отводя в нём не последнюю роль и себе. “Он не станет мне милым мужем, // Но мы с ним такое заслужим, // Что смутится Двадцатый Век”, – писала позднее Ахматова о Берлине²³.

Недовольство Сталина было вызвано также восторженным приёмом, оказанным Ахматовой 3 апреля 1946 года в Колонном зале Дома союзов на вечере встречи с ленинградскими поэтами. Вечер был проведён в нарушение касающегося Ахматовой негласного постановления 1925 года: не арестовывать, но и не печатать. У Зощенко “недостатки” оказались ещё существеннее. Недоброжелатели Жданова играли на том, что сатирические произведения писателя использовались в годы войны Геббельсом для уничижительных оценок русского человека. Однако кремлёвская критика писателей была непоследовательной. Уже в сентябре 1947 года десять “Партизанских рассказов” Зощенко были опубликованы в журнале “Новый мир”. Ахматова была восстановлена в Союзе советских писателей в январе 1951 года, Зощенко заново принят в Союз писателей в июне 1953-го. В деле Ахматовой и Зощенко Жданов, по выражению его биографа А. Н. Волынца, “попал под раздачу”: “Георгий Маленков, чей клан боролся за власть, собрал подборку политически вредных цитат из ленинградских газет и журналов того года и показал Сталину. Тот вызвал ленинградского секретаря, которому пришлось несколько судорожно реагировать”²⁴. Тем не менее, Жданову удавалось сохранить позицию второго лица в Политбюро ЦК ВКП(б) до лета 1948 года.

Проигрыш “ленинградцев” явственно обозначился 1 июля 1948 года в связи с возвращением из опалы Маленкова и новым назначением его на пост секретаря ЦК. Внезапная смерть Жданова 31 августа 1948 года ускорила разгром “ленинградцев”. В начале 1949 года от обязанностей секретаря ЦК был освобождён А. А. Кузнецов, из Политбюро вывели Вознесенского. В то же время были ослаблены позиции “старой гвардии”. В марте 1949 года Микоян (связанный родственными отношениями с Кузнецовым) был освобождён от руководства внешней торговлей. Молотов утратил пост министра иностранных дел (назначен А. Я. Вышинский). Смещение Молотова, остававшегося в сознании народных масс вторым лицом в государстве, фактически означало лишение его возможности наследовать высшую власть в стране в случае ухода от дел Сталина.

Период с марта 1949 года по июль 1951-го характеризуется резким усилением в руководстве позиций Маленкова и Берии (шансы последнего подкреплялись успешным испытанием атомной бомбы), приближением к властному Олимпу Н. С. Хрущёва (в декабре 1949 года избран первым секретарём МК и МГК и секретарём ЦК партии и сменил на этих постах “ленинградца” Г. М. Попова). Параллельно происходило укрепление позиций заместителя председателя Совмина СССР Н. А. Булганина. В феврале 1948 года он был переведён из кандидатов в члены Политбюро, а в феврале 1951 года утверждён председателем бюро Совмина по военно-промышленным и военным вопросам.

В 1949 году по сфабрикованному при активном участии Маленкова “Ленинградскому делу” началось уголовное преследование большой группы руководителей. Первые аресты произведены в августе. А. А. Кузнецов, М. И. Родионов и П. С. Попков обвинялись в проведении в Ленинграде Всероссийской оптовой ярмарки без специальной санкции правительства, Н. А. Вознесенский – в умышленном занижении государственных планов, фальсификации статистической отчётности и утере секретных документов. Очевидно, что в связи с арестами “преступников” столь высокого ранга в январе 1950 года была восстановлена смертная казнь, отменённая 26 мая 1947 года.

Подоплёка преследований “ленинградцев” хорошо представлена в подготовленном Маленковым и Берией проекте закрытого письма Политбюро членам и кандидатам в члены ЦК от 12 октября 1949 года: “Можно считать установленным, что в верхушке бывшего ленинградского руководства уже длительное время сложилась враждебная партии группа... С одним из руководящих членов этой группы Капустиным, как выяснилось теперь, во время пребывания его в 1936 г. в Лондоне установила связь английская разведка. Сейчас стало

очевидным, что Кузнецов А. и Попков имели сведения об этом, но скрыли их от ЦК... Во вражеской группе Кузнецова неоднократно обсуждался и подготавливался вопрос о необходимости создания Российской коммунистической партии большевиков... и ЦК РКП(б) и о переносе столицы РСФСР из Москвы в Ленинград. Эти мероприятия Кузнецов и др. мотивировали в своей среде клеветническими доводами, будто бы ЦК ВКП(б) и Союзное правительство проводят антирусскую политику и осуществляют протекционизм в отношении других народов за счёт русского народа²⁵. Большую долю ответственности Маленков и Берия возлагали и на покойного Жданова.

На ещё одну причину подозрительности Сталина в отношении “ленинградцев” указывается в мемуарах А. И. Микояна. По его словам, “ленинградцы” были якобы “недовольны засильем кавказцев в руководстве страны и ждали естественного ухода из жизни Сталина, чтобы изменить это положение, а пока хотела перевести Правительство РСФСР в Ленинград, чтобы оторвать его от московского руководства²⁶. П. С. Попкову припоминали, что он в разговорах со “встречными и поперечными” “агитировал” за создание, по образцу других союзных республик, Компартии России со штаб-квартирой в Ленинграде, за перевод туда правительства РСФСР. О Вознесенском говорили как о будущем председателе Совета Министров РСФСР, о Кузнецове – как о первом секретаре ЦК КП РСФСР, о Жданове – как о генеральном секретаре. У обвиняемых были и другие прегрешения, но главные – “и “кавказцы”, и желание отдалить руководство России от руководства СССР – были рассчитаны на Сталина: он охотно клевал на такие вещи²⁷. И тут он легко поддался внушению: “Если из его рук уходит российская партия и российская государственность, то он остаётся генералом без армии”. Как написал о Сталине С. Ю. Рыбас, после войны “он испугался того, что во время войны пестовал как непобедимую силу, – русского национализма²⁸. Иными словами, Жданов и “ленинградцы” шли национал-большевистским путём несколько дальше, чем это было приемлемо для Сталина. Так или иначе, но он не дал своей санкции на рассылку письма Маленкова и Берии от октября 1949 года, однако карательную машину против “ленинградцев” не остановил.

В конце сентября 1950 года обвиняемые предстали перед судом. Средства массовой информации о нём ничего не сообщали, чтобы не давать повода для слухов о расколе в руководстве страны. После расстрелов 26 главных обвиняемых (1 октября 1950 года) последовала “чистка”, закончившаяся увольнением с работы и осуждением 69 руководителей, обязанных своим выдвижением ленинградской партийной организации, и 145 их близких и дальних родственников. Из 214 осуждённых 36 работали в Ленинградском обкоме и горкоме партии, в областном и городском исполкомах, 11 занимали руководящие посты в других обкомах партии и облсполкомах, 9 – в райкомах и райисполкомах Ленинградской области.

Проигрыш “ленинградцев” обусловлен отнюдь не тем, что их противники оказались более искусными в интригах и аппаратных комбинациях. В более широком плане он означал поражение направления в руководстве страной, ориентированного на первоочередное решение внутренних политических, экономических и гражданских проблем – смещение приоритетов хозяйственного развития в сторону группы “Б”, решение проблем политического образования и культуры, подготовку новых Конституции и Программы партии. Одновременно это было победой направления, связанного с руководством военно-промышленным комплексом и делавшего ставку на его всемерное развитие как главного инструмента в сражениях на фронтах холодной войны и, в конечном счёте, на достижение мирового господства под флагами социализма и коммунизма.

В. Д. Кузнечевский, автор новейших исследований о “Ленинградском деле” и “русском вопросе”, отвечая на вопрос, за что же пострадали Кузнецов, Вознесенский, Попков и другие руководители Ленинграда, полагает, что все они были искренне преданы советской власти, однако вместе с тем считали, что интересы русского населения в СССР учитываются недостаточно. Возможно, после провозглашённой Сталиным здравницы в честь русского народа они ошибочно решили, что реализация русских национальных интересов совместима с общепартийной политической линией. По версии Кузнечевского, русский партикуляризм ленинградцев в наибольшей степени проявился в идеях экономических преобразований, которые они успешно продвигали

в послевоенный период, в частности, призывали более активно перенаправлять ресурсы в социально-экономическую сферу. Именно в этом заключалось ключевое идейное противоречие с московскими конкурентами (Маленков, Берия), полагавшими, что наращивание оборонного потенциала страны должно быть приоритетным направлением экономического развития. Кузнецевский убеждён, что проекты, которые ленинградцы стремились воплотить в жизнь, были наивной попыткой укрепить позиции титульной нации в контексте многонационального Союза. Эти инициативы, в сущности, полностью соответствовавшие реализуемой партийной линии, тем не менее, встревожили Сталина, который усмотрел в них стремление к административной автономии и этническому самоопределению. Основная же причина репрессий усматривается в страхе Сталина перед пробуждением русского национального самосознания в партийной элите как угрозе своей безраздельной власти в СССР²⁹.

Акцентируя внимание на роли А. А. Жданова как лидера ленинградской группировки и так называемой русской партии, Кузнецевский полагает, что после войны Жданов вынашивал идею трансформации политического режима СССР в некое подобие социал-демократического устройства, при котором этнически русское население страны будет играть доминирующую роль³⁰. Биограф Жданова и вовсе полагает, что он «явился последним концептуальным национальным идеологом русского государства»³¹. Именно Жданов курировал и направлял деятельность по разработке в 1947 году новой программы партии, проект которой предусматривал устранение монолитной диктатуры партии большевиков и введение децентрализованной системы управления. В то же время Жданов выдвигал предложения по диверсификации экономики с целью увеличения субсидий в лёгкую промышленность и производство товаров народного потребления. Считается, что, Сталин, критически воспринявший предложения Жданова, вовсе отказался от идеи создания новой программы партии³².

Вероятно, не подозревая о степени недовольства Сталина, Жданов и его сподвижники продолжали отстаивать свой подход к реорганизации внутренней политики страны. По мнению Кузнецевского, это находил подтверждение в попытках председателя Совета Министров РСФСР Родионова заручиться поддержкой вождя в деле организации бюро Центрального комитета ВКП(б) по РСФСР в период 1947–1948 годов. Сталин, по-видимому, проигнорировал такие предложения вследствие опасений, что подобные инициативы могут привести к сепаратистским тенденциям.

«Русская партия» не подвергалась опале за свои предложения «националистического характера» до тех пор, пока их интересы перед лицом Сталина защищал Жданов. После его смерти в августе 1948 года «ленинградская группа» оказалась в уязвимом положении. В течение нескольких месяцев Г. М. Маленков и Л. П. Берия собрали достаточное количество материалов с целью компрометации группы и её устранения от ключевых рычагов власти. Сталин прекрасно понимал, что репрессии были направлены не столько против бывших соратников Жданова, сколько в массовом порядке против этнических русских, занимавших в то время ключевые посты в структурах партийного и советского руководства страны: «Фактически была выбита из управленческих структур едва не вся интеллектуальная элита русского народа, которая, благодаря энергичному напору Андрея Александровича Жданова, сумела выдвинуться в эти структуры в предвоенные, военные и послевоенные годы»³³.

С арестом министра государственной безопасности В. С. Абакумова (июль 1951 года) начался этап подготовки Сталиным более радикальных изменений в руководстве страной. Министр МГБ, бывший главным исполнителем расправы над «авиаторами», Жуковым, «ленинградцами», видимо, не вполне устраивал Сталина как организатор расследования «преступлений» Еврейского антифашистского комитета (ЕАК).

Преследования комитета перешли в активную фазу со времени гибели (январь 1948 года) его руководителя С. М. Михоэлса, подозревавшегося в попытках использовать дочь Сталина Светлану и её мужа Г. И. Морозова в корыстных интересах евреев. Особое негодование Сталина вызвало то, что по каналам еврейского комитета в США транслировались слухи о его виновности в гибели (1932) жены Надежды Сергеевны, других родственников. В этой связи были арестованы в конце 1947 года два сотрудника академических институтов, «изобличившие» родственников Сталина по линии жены — А. С. Аллилуеву,

Е. А. Аллилуеву, её второго мужа Н. В. Молочникова и дочь от первого брака с братом жены Сталина К. П. Аллилуеву – как источник “клеветнических измышлений по адресу членов правительства”. Михоэлс был “изобличён” как “еврейский националист” и распространитель измышлений³⁴.

С деятельностью ЕАК было решено покончить после приезда в Москву в сентябре 1948 года израильского посланника Голды Меир. Произошло это после ряда восторженных встреч, устроенных посланнице недавно возникшего еврейского государства (провозглашено 14 мая 1948 года на основе решения Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года). СССР поддерживал создание Израиля в расчёте на то, чтобы получить в его лице новое социалистическое государство и верного союзника. В Москве назывались даже возможные руководители нового государства. Премьером предлагали избрать С. А. Лозовского (член ЦК ВКП(б), бывший заместитель министра иностранных дел и начальник Совинформбюро), министром обороны – Д. А. Драгунского³⁵ (гвардии полковник танковых войск, позднее генерал-полковник, дважды Герой Советского Союза). Поощрялась негласная эмиграция советских евреев на историческую родину. Однако всё это не вызвало ожидаемой реакции. Израиль вскоре после возникновения установил тесные отношения с США, выбрав капиталистический путь развития. В этих условиях просьбы Меир о расширении военной помощи и эмиграции становились неуместными, а эмиграция стала расцениваться как проявление буржуазного национализма. Не нравились Сталину и дружеские отношения, завязавшиеся у Меир с женой Молотова П. С. Жемчужиной.

Еврейский “национализм”, как и в случае с другими наказанными народами, было решено покарать. 20 ноября 1948 года Политбюро ЦК постановило “немедля распустить” ЕАК. Вскоре были арестованы 15 членов его президиума и активистов, в их числе поэты Д. Р. Бергельсон, Л. М. Квитко и П. Д. Маркиш; С. Л. Брегман, заместитель министра Госконтроля РСФСР; В. Л. Зускин, занявший пост Михоэлса в еврейском театре; И. С. Фефер, секретарь ЕАК; Б. А. Шимелиович, главный врач Центральной клинической больницы имени С. П. Боткина; академик Л. С. Штерн, руководительница Института физиологии Академии медицинских наук; И. С. Юзефович, научный сотрудник Института истории АН СССР. Аресту подверглись также С. А. Лозовский, отвечавший за работу ЕАК по линии государственных структур, и Жемчужина, оказывавшая протекцию комитету.

Абакумов проявил медлительность в организации расследования “дела ЕАК”. (Оно завершено уже без его участия летом 1952 года.) Появились подозрения, что делает он это намеренно. Такое предположение высказано 2 июля 1951 года в письме следователя по особо важным делам МГБ СССР М. Д. Рюмина на имя Сталина, которое готовилось с помощью аппарата Маленкова. В нём утверждалось, что Абакумов сознательно тормозил расследование дела “еврейского националиста” кардиолога Я. Г. Этингера (арестован 18 ноября 1950 года, умер в тюрьме 3 марта 1951-го; дал показания о том, что “имел террористические намерения”, “практически принял меры к тому, чтобы сократить жизнь” А. С. Щербакова в 1945 году). Абакумов признал показания “надуманными”, приказал перевести больного врача в сырую и холодную камеру, где тот умер. Намеренное умертвление якобы помешало получить сведения о вредительской деятельности врачей.

Немедленно созданная постановлением Политбюро комиссия в составе Маленкова, Берии, заместителя председателя Комиссии партийного контроля при ЦК партии М. Ф. Шкирятова, представителя ЦК в МГБ С. Д. Игнатьева (министр госбезопасности с августа 1951 года) должна была проверить изложенные Рюминым факты. Факты были признаны объективными. Так зародилось “дело врачей-отравителей”, будто бы погубивших членов Политбюро А. С. Щербакова, А. А. Жданова, старавшихся вывести из строя маршалов А. М. Василевского, Л. А. Говорова, И. С. Конева и др. По версии Рюмина, евреи решили сделать Абакумова марионеточным диктатором и за его спиной править страной. При этом деятели культуры и искусства обеспечивали бы связи с американцами, врачи-убийцы должны были устранять лидеров страны, открывая путь Абакумову, офицеры МГБ – непосредственно захватить власть.

Правдоподобность существования заговора обосновывалась показаниями арестованного заместителя начальника следственной части по особо важным делам МГБ полковника Л. Л. Шварцмана, оговорившего многих своих

коллег по репрессивному ведомству и признавшегося в самых невероятных собственных преступлениях, включая яркий национализм, организацию убийства Кирова, гомосексуализм, инцест, в явном расчёте на то, что его сочтут сумасшедшим. Однако судебно-психиатрическая экспертиза признала Шварцмана вменяемым. Часть его показаний признана настолько существенной, что дело Абакумова впредь именовалось делом Абакумова — Шварцмана³⁶.

В раскрытии дела использовались письма заведующей отделением Лечебно-санитарного управления Кремля Л. Ф. Тимашук, по недавним ещё представлениям давшие толчок “делу врачей”. Письма, в которых отстаивался правильный диагноз смертельного заболевания Жданова, были “раскопаны” М. Д. Рюминым в августе 1952 года и стали поводом для дискредитации возглавлявшего почти четверть века личную охрану Сталина генерал-лейтенанта Н. С. Власика и А. Н. Поскрёбышева (помощник генсека в 1924–1929 годах, заместитель заведующего и заведующий Секретным отделом ЦК в 1929–1934 годах, заведующий особым сектором Секретариата ЦК в 1934–1952 годах, секретарь Президиума и Бюро Президиума ЦК в 1952–1953 годах).

Для Сталина версия о заговоре в МГБ могла быть большой находкой. Используя жупел национализма и сионизма, можно было не только окончательно устранить от власти Молотова, Ворошилова, Микояна, Кагановича, Андреева и многих других партийных и государственных деятелей, имевших родственные связи в еврейской среде, но и указать на них как на причину отсутствия заметных улучшений в материальной и духовной жизни народа-победителя.

Кадровые перестановки, оформленные после XIX съезда партии на Пленуме ЦК 16 октября 1952 года, положили начало процессу масштабного обновления руководящих кадров. Если по решению предшествующего съезда в Политбюро было 9 членов и 2 кандидата, а в Секретариате — 4 члена, то новый состав Президиума ЦК КПСС (название высшему органу партийной власти дал XIX съезд) включал 25 членов и 11 кандидатов, Секретариат — 10 членов. Расширение этих структур мотивировалось упразднением существовавшего прежде Оргбюро ЦК.

Новый ареопаг становился своего рода резервом для выдвижения на первый план новых властителей. На пленуме Сталин обрушился с резкой критикой на Молотова и Микояна, обвиняя их в нестойкости, трусости и капитулянтстве перед американским империализмом. Как грубая политическая ошибка было расценено стремление Молотова быть “адвокатом незаконных еврейских претензий на наш Советский Крым”³⁷. В образованном на Пленуме, но не предусмотренном Уставом партии бюро Президиума ЦК, помимо Сталина, значились Берия, Булганин, Ворошилов, Каганович, Маленков, Первухин, Сабуров и Хрущёв. Представительство “старой партийной гвардии” в ближайшем окружении Сталина сводилось к минимуму.

В ноябре 1951 года начало рассматриваться ещё одно “дело”, чреватое важными политическими последствиями. Было принято постановление “О взяточничестве в Грузии и об антипартийной группе Барамия”, в котором утверждалось, что в этой республике вскрыта мегрельская националистическая организация, которую возглавлял секретарь ЦК КП Грузии М. И. Барамия. Новое постановление ЦК (от 27 марта 1952 года) о положении дел в Компартии Грузии “уточняло”, что нелегальная националистическая группа “ставила своей целью отторжение Грузии от Советского Союза”. По этому “делу” были арестованы как “буржуазные националисты” 7 из 11 членов бюро ЦК КП Грузии, 427 секретарей обкомов, горкомов и райкомов партии. Арестован весь партийный актив Мегрелии. В одном из докладов Сталину по этому “делу” Рюмин и Игнатъев изложили подозрения министра государственной безопасности Грузии Н. М. Рухадзе в адрес Берии, который якобы скрывал своё еврейское происхождение и тайно готовил заговор против Сталина. Таким образом, “мегрельское дело” могло обернуться и против “самого большого мегрела”. Берия это прекрасно сознавал и, будучи арестованным, отмечал в письме от 1 июля 1953 года благодетельную роль Маленкова в своей судьбе, “особенно когда хотели меня связать с событиями в Грузии”³⁸.

Скорее всего, Берия не оставался безучастным к надвигавшейся опасности. Незадолго до марта 1953 года оказались арестованными Поскрёбышев и Власик, неприязненно относившийся к Берии. 15 февраля 1953 года скончался полный сил комендант Кремля генерал-майор П. Е. Косынкин, назна-

ченный Сталиным на эту должность из своей охраны. Оставаясь на своих постах, они вряд ли позволили бы проявить медлительность в оказании медицинской помощи сражённому инсультом Сталину, какую открыто продемонстрировали Берия, Маленков и Хрущёв. По их нераспорядительности Сталин после удара был без помощи охраны и врачей не менее 26 часов³⁹.

“Дело врачей” приобрело зримые очертания в ноябре 1952 года, когда на Лубянке оказались начальник Лечебно-санитарного управления Кремля П. И. Егоров, известные профессора медицины В. Н. Виноградов, В. Х. Василенко, Б. Б. Коган. Сталин был недоволен нерешительностью министра Игнатьева, приказал отстранить от дела одного из главных его вдохновителей – Рюмина, который, видимо, опасаясь участи Ягоды, Ежова, Абакумова, явно умерил свой пыл. 15 ноября вместо Рюмина был назначен новый следователь по “делу врачей” – заместитель министра госбезопасности С. А. Гоглидзе. Вскоре врачи “дали” нужные показания.

Вопросы о вредительстве в лечебном деле и положении в МГБ были вынесены на обсуждение Президиума ЦК КПСС. Заседание состоялось 1 декабря 1952 года. Судя по дневниковым записям члена Президиума ЦК В. А. Малышева, Сталин говорил: “Чем больше у нас успехов, тем больше враги будут стараться нам вредить. Об этом наши люди забыли под влиянием наших больших успехов, появилось благодушие, ротозейство, зазнайство. Любой еврей-националист – это агент американской разведки. Еврей-националисты считают, что их нацию спасли США (там можно стать богачом, буржуа и т. д.). Они считают себя обязанными американцам. Среди врачей много евреев-националистов. Неблагополучно в ГПУ (использовано название органов МВД и МГБ в 1922–1934 годах. – Ред.). Притупилась бдительность. Они сами признаются, что сидят в навозе, в провале. Надо лечить ГПУ”⁴⁰. За лечение принялись безотлагательно.

Уже 4 декабря в постановлении ЦК партии “О вредительстве в лечебном деле”⁴¹ вина за “вражескую группу врачей-отравителей и еврейских националистов” возлагалась на министра здравоохранения СССР Е. И. Смирнова, министра МГБ В. С. Абакумова и начальника Главного управления охраны Н. С. Власика. В записке “О положении в МГБ”, составленной по итогам заседания Президиума ЦК от 4 декабря 1952 года, отмечалось, что “партия слишком доверяла и плохо контролировала” его работу и требовалось “решительно покончить с бесконтрольностью в деятельности органов”⁴².

9 января 1953 года бюро Президиума ЦК обсудило проект сообщения ТАСС об аресте группы “врачей-вредителей”. 13 января появилась “хроника ТАСС” о раскрытии органами госбезопасности “террористической группы врачей, ставящих своей целью путём вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза”. В числе её участников были названы девять человек. Шестеро из них были евреями по национальности, трое – русскими. 22 февраля по всем областным управлениям МГБ разослан приказ, предписывавший немедленно уволить из МГБ сотрудников еврейской национальности⁴³. Однако до суда над “врачами-отравителями” дело не дошло. “Дело врачей”, по словам Л. М. Кагановича, “пошло на убыль само собой” ещё при Сталине⁴⁴. Считается, что Сталин лично распорядился прекратить публикацию материалов, связанных с “делом врачей” в “Правде” либо вечером 27-го, либо утром 28 февраля⁴⁵.

С 25 февраля 1953 года в СССР была приглушена антиссионистская и антиамериканская риторика. Объяснение видится в публично данном этим днём согласии президента США Эйзенхауэра на встречу со Сталиным, ранее (24 декабря 1952 года) заявившем о готовности к возобновлению сотрудничества с Западом и к встрече с президентом Соединённых Штатов в интервью газете “Нью-Йорк таймс”⁴⁶. Согласие могло быть расценено как поворот США к более реалистичной политике в отношении стран социалистического лагеря, делающий излишним продолжение демонстрации устрашения в отношении прозападнически настроенной еврейской диаспоры этих стран.

Авторы другой версии придают особое значение появлению в “Правде” от 7 февраля 1953 года фельетона “Простаки и проходимец” и ряда других подобных публикаций в советской прессе первых месяцев 1953 года⁴⁷, в которых многочисленным персонажи с еврейскими фамилиями представлялись жуликами и стяжателями, а на работу их принимали якобы слишком доверчивые простаки и потерявшие элементарную бдительность люди. Публикации породили

волну слухов о предстоящем поголовном выселении евреев в отдалённые края по аналогии с другими наказанными народами. Для прекращения таких слухов якобы ничего не предпринималось. Делалось это якобы для того, чтобы довести антисемитскую истерию до высшей точки, вызвать антисоветскую волну на Западе, развязать войну и окончательно сокрушить всемирное зло (капитализм) и его агентов (международное еврейство). Со смертью Сталина замысел оказался нереализованным⁴⁸, – на наш взгляд, чистой воды домысел.

В конце 1952 года Сталин подобрал достойного, с его точки зрения, премьера на должность председателя Совета Министров СССР. Выбор пал на сравнительно молодого первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии П. К. Пономаренко. У этой версии есть серьёзное подтверждение от бывшего Председателя Верховного Совета СССР А. И. Лукьянова, который в бытность свою заведующим общим отделом и секретарём ЦК КПСС по административным органам, имел возможность получить на этот счёт прямое свидетельство от официальных лиц. По его словам, за несколько дней до назначенного на 2 марта 1953 года заседания Президиума ЦК КПСС с ведома Сталина была подготовлена записка с предложением о назначении Председателем Совета Министров СССР Пономаренко. Проект был завизирован почти всеми первыми лицами, за исключением Берии, Маленкова, Хрущёва и Булганина. Именно они и сделали всё, чтобы не допустить принятия решения⁴⁹.

Можно сказать, что это было четвёртое из наиболее крупных политических поражений Сталина за годы его правления, когда соратники не позволяли ему провести в жизнь задуманные решения. Первым из таких поражений было неприятие сталинского плана автономизации (октябрь 1922 года), вторым – отказ от предлагавшегося перехода к альтернативности на выборах в Верховный Совет СССР (октябрь 1937-го), третьим – отказ Политбюро предложить Январскому (1944) Пленуму ЦК принять постановление о том, чтобы ограничить деятельность компартии вопросами агитации и пропаганды и подбором кадров. Четвёртое – неприятие Политбюро сталинского плана радикальных изменений в руководстве страной после XIX съезда партии и назначения Пономаренко председателем Совмина СССР. Четвёртое поражение закончилось смертью реформатора. Упущенные с этими поражениями возможности могли кардинально изменить развитие Советского государства и общества.

Ранним утром 1 марта 1953 года вскоре после отъезда Маленкова, Берии, Хрущёва и Булганина, приглашённых к Сталину накануне вечером в Кунцево и, видимо, обсуждавших вопросы предстоящих изменений в высших органах власти СССР, хозяина дачи сразил удар. Впавшего в беспамятство вождя первым увидел сотрудник охраны П. В. Лозгачёв, когда в 22:30 вошёл в малую столовую с доставленной из города почтой⁵⁰. Диагноз прибывших на дачу утром 2 марта главного терапевта Минздрава СССР профессора П. Е. Лукомского, академиков АМН А. Л. Мясникова, Е. М. Тареева и других был установлен быстро: инсульт с кровоизлиянием в мозг. 3 марта врачам стало ясно, что смерть неизбежна. По радио передали правительственное сообщение о болезни Председателя Совета Министров СССР и секретаря Центрального Комитета КПСС. 5 марта в 21 час 50 минут Сталин умер.

В тот же вечер, с 20 часов до 20:40, ещё при живом Сталине, в Кремле состоялось совместное заседание членов ЦК, Президиума ВС СССР и министров правительства⁵¹. Л. П. Берия от имени бюро Президиума ЦК предложил избрать на пост Председателя Правительства Г. М. Маленкова. Собрание единогласно поддержало предложение. Пакет новых кадровых назначений далее собранию предлагал уже новый глава Совмина. На посты первых заместителей предсовмина выдвинуты Л. П. Берия, В. М. Молотов, Н. А. Булганин и Л. М. Каганович. Председателем Президиума ВС СССР предложено избрать К. Е. Ворошилова, а освобождающегося от этого поста Н. М. Шверника – председателем ВЦСПС. Предлагалось также объединить ряд министерств, в том числе слить МГБ с МВД и назначить главой укрупнённого министерства Берия. На пост министра иностранных дел был выдвинут Молотов, министра вооружённых сил – Булганин, министра внутренней и внешней торговли – Микоян. Здесь же было решено иметь в ЦК партии вместо Президиума и бюро Президиума один орган – Президиум, “как это определено Уставом”. В его состав предложили 11 человек вместо избранных ранее 25.

Членами Президиума ЦК были избраны Сталин, Маленков, Берия, Молотов, Ворошилов, Хрущёв, Булганин, Каганович, Микоян, Сабуров, Первухин.

Секретарями ЦК вместо одиннадцати прежних стали четверо: Н. С. Хрущёв, С. Д. Игнатьев, П. Н. Поспелов, Н. Н. Шаталин. Хрущёв среди них был единственным членом Президиума ЦК и фактически – главой секретариата. Постановление совещания с сокращениями было опубликовано в “Правде” 7 марта 1953 года уже без имени Сталина среди членов Президиума ЦК. Новая конфигурация власти определилась. На самый верх властной пирамиды были возвращены представители потеснённой Сталиным “старой гвардии”. Значительная часть сталинских выдвиженцев октября 1952 года (за исключением Сабурова, Первухина, Поспелова, Шаталина) свои позиции утратила. На заседании объявлено о поручении Маленкову, Берии и Хрущёву привести в должный порядок документы и бумаги Сталина, что было своеобразным индикатором принадлежности к подлинной власти в послесталинском СССР.

Наиболее существенной в новой конфигурации власти является полная “реабилитация” совсем было отсечённых от неё Ворошилова, Микояна, Молотова, Кагановича. Молотов, имевший большой запас политического опыта и пользовавшийся большой популярностью в стране, объективно становился возможным кандидатом на пост председателя правительства, который он занимал с декабря 1930 года по май 1941-го. Это проявилось в событиях июня 1957 года, когда Н. С. Хрущёв чудом избежал отставки с поста первого секретаря ЦК КПСС благодаря звонкам Е. А. Фурцевой председателю КГБ И. А. Серову и секретарю ЦК Н. Г. Игнатову во время отлучений с заседания Президиума ЦК “в дамскую комнату”⁵². Таким образом был инициирован план срочного созыва всех членов ЦК на пленум ради спасения Хрущёва.

Что касается причин смерти Сталина, то многие историки склонны считать, что она стала следствием заговора ряда лиц из его ближайшего окружения. Теории заговора основываются на том, что в начале 1953 года Сталин торопился завершить судами и приговорами две репрессивные кампании – “дело врачей” и “мегрельское дело”, которые могли повести к кардинальным изменениям в руководстве СССР. К этому времени Молотов, Микоян и Ворошилов уже лишились политического влияния и с конца 1952 года не входили в ближайшее окружение вождя. Аналогичная угроза нависала над Берией, Маленковым и Кагановичем. Болезнь и смерть Сталина были для всех этих лидеров спасением. Косвенным свидетельством в пользу заговора служит не только неоправданно длительная задержка вызова врачей к больному на дачу Сталина, но и официальная фальсификация в правительственном сообщении даты и места случившегося у Сталина инсульта. Ясности в эти вопросы не удаётся внести до сих пор. Например, в книге А. Л. Костина “Убийство Сталина. Все версии и ещё одна” (М., 2017) события начала марта 1953 года излагаются так.

Четвёрка государственных деятелей, ужинавших со Сталиным в ночь на 1 марта, условилась встретиться тем же днём не за обеденным столом на даче, а на заседании в Кремле в 23 часа, чтобы согласовать Программу реформы государственной власти и самой партии сначала на заседании Бюро Президиума. Планировалось позднее, 2 марта утвердить её на Президиуме ЦК, а 5 марта – на совместном заседании ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР.

На заседании, начавшемся в Кремле 1 марта в 23 часа, Сталин якобы представил П. К. Пономаренко и Л. И. Брежнева как кандидатов на посты председателя правительства и генерального секретаря ЦК соответственно. Возражений не было. Однако при обсуждении второго вопроса – о “деле врачей” – случилось непредвиденное. Выступавший Л. М. Каганович начал говорить о проникновении *зёрен международного сионистского заговора на нашу землю и об убийцах в белых халатах*, требуя их сурового наказания. Услышав неожиданное обвинение в адрес всей еврейской нации, которая является якобы инородным телом в дружной семье советских народов, Сталин начал подниматься со своего места, чтобы возразить выступавшему. А Каганович между тем предлагал “поддержать идею товарища Сталина о переселении всех евреев Советского Союза на Дальний Восток, преобразовав Еврейскую автономную область в автономную республику, увеличив её территорию за счёт Хабаровского края и Амурской области”. Предложения Кагановича сильно взволновали Сталина и вызвали у него нарушение мозгового кровообращения. Случился удар. Произошло это примерно в 3 часа 20 минут 2 марта. Заседание прервали. Дежурный врач начал оказывать первую помощь пострадавшему.

Ответственность за организацию дальнейшего лечения взяли на себя члены четвёрки. Было решено перевезти Сталина на дачу и там развернуть ми-нигоспиталь. Больной был доставлен в Кунцево к 7 часам утра. Свидетелями последующих событий на даче были сотрудники охраны. Однако им, как и участникам заседания в Кремле, было запрещено что-либо говорить от своего имени и о совещании в Кремле, и об уходе из жизни Сталина. Решено было также предать забвению предлагавшиеся Сталиным преобразования в системе власти, разрушавшие политическое будущее основных претендентов на высшую власть в СССР после Сталина. Всё это неуклонно исполнялось участниками и свидетелями событий 1 и 2 марта 1953 года. СМИ распространяли только официальные сообщения. Сотрудникам управления охраны, несущим службу на даче, было разрешено “вспоминать” об этих днях только 3 марта 1977 года и только в соответствии с инструкцией, полученной в ЦК КПСС⁵³. С этого времени воспоминания сотрудников охраны наряду с прочими источниками стали анализироваться историками. Очевидно, однако, что версия Костина, идущая вразрез с многочисленными трудами сталинианы⁵⁴, нуждается в дальнейшем обосновании.

Берия приписывал заслугу устранения Сталина себе. 1 мая 1953 года он якобы говорил на трибуне Мавзолея Молотову так, чтобы слышали стоявшие рядом Хрущёв и Маленков: “Я всех вас спас... Я убрал его очень вовремя”⁵⁵.

Эта версия получила широкое хождение. К примеру, в мае 1964 года первый секретарь ЦК Албанской Компартии Энвер Ходжа резко осуждал советских лидеров, которые “имеют наглость открыто рассказывать, как это делает Микоян, что они тайно подготовили заговор, чтобы убить Сталина”⁵⁶. Хрущёв на митинге 19 июля 1963 года в честь венгерской партийно-правительственной делегации свою филиппику в адрес Сталина закончил недвусмысленным заявлением: “В истории человечества было немало тиранов жестоких, но все они погибли так же от топора, как сами свою власть поддерживали топором”⁵⁷.

Наряду с этим широко распространено мнение, что при смерти Сталина никакого заговора не было. По заключению историка Ю. Н. Жукова (2002), “Сталин перенёс три инсульта и умер от четвёртого”⁵⁸. В 2017 году на вопрос журналиста: “Винovat ли Хрущёв сотоварищи в смерти Сталина?” — историк ответил: “Ни в коем случае”. Вечером 28 февраля 1953 года приехали к нему товарищи, посидели, поговорили за бокалом домашнего вина. “Уехали, а у Сталина инсульт. Поначалу охрана побоялась принимать меры, решила — ну, заснул, спит, мало ли, разбудишь, и пропустила срок. А этот инсульт у Сталина был четвёртый. Спросите сегодня у любого кардиолога, можно ли было в 1953 году спасти человека, у которого четвёртый инсульт? Вот и всё”⁵⁹. Известный врач-клиницист Ф. М. Лясс в 2007 году писал: “Для врача загадки в смерти Сталина нет: “тяжёлый гипертоник, находящийся в перманентном эмоциональном напряжении и круглосуточном стрессе, в страхе за свою власть, подозрительный ко всем его окружающим без исключения, не леченный. С точки зрения медицины заболевание у Сталина возникло совершенно закономерно, развивалось по классическому типу и завершилось неминуемой смертью”⁶⁰.

Гигантское разнообразие мнений и оценок исторической роли И. В. Сталина до сих пор не позволяет прийти к какому-то единому мнению. Очевидно, однако, что посмертный суд над Сталиным, начатый по инициативе Л. П. Берия, а затем Н. С. Хрущёва, и попытки оценить его роль только негативно и даже полностью вычеркнуть это имя из истории не удаются.

Пожалуй, в наиболее краткой форме суть достижений Сталина после его смерти выражена фразой: “Он получил Россию, пашущую деревянными плугами, и оставляет её оснащённой атомными реакторами”⁶¹. После распада СССР, когда появилась возможность сравнивать различные периоды в истории страны, стали говорить, что сталинская эпоха была “подобна взрыву сверхновой звезды, на затухающем импульсе которого мы двигались почти сорок лет”⁶².

Выдающийся российский историк Ю. Н. Жуков предлагает оценить деятельность Сталина “на китайский манер”: это фигура с 75 процентами положительного и 25 процентами неудач⁶³. Историк О. Ю. Васильева (министр образования и науки РФ, 19.08.2016–07.05.2018), считает, что “Сталин при всех недостатках — государственное благо, потому что накануне войны занялся единением нации, возродил героев дореволюционной России и занялся пропагандой русского языка и литературы, что, по большому счёту, и позволило выиграть войну”⁶⁴.

ЛИТЕРАТУРА

- ¹ Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б). 1917–1991. М., 2005.
- ² Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923–1991 гг. М., 1999.
- ³ Хлевнюк О. В., Горлицкий Й. Холодный мир: Сталин и завершение сталинской диктатуры. М., 2011. С. 70.
- ⁴ Сталин И. В. Соч. Т. 15, 16. М., 1997. С. 16.
- ⁵ Емельянов Ю. В. Сталин. На вершине власти. М., 2007; Жуков Ю. Н. Сталин. Тайны власти. М., 2005; Хлевнюк О. В. Сталин. Жизнь одного вождя. М., 2015.
- ⁶ Новиков Н. В. Воспоминания дипломата. М., 1989. С. 383.
- ⁷ Осокин А. Н. В кабинете Сталина без Сталина? URL: <https://document.wikireading.ru/11749>
- ⁸ Василик В. Генерал Власов. История предательства // Виноград. Журнал для родителей. 2010. № 3; Печенкин А. А. Генералы Великой Отечественной войны. Киров, 2017.
- ⁹ Цит. по: Симонов К. М. Глазами человека моего поколения. М., 1988.
- ¹⁰ Бучин А. Н. 170 000 километров с Г. К. Жуковым. М., 1994.
- ¹¹ Г. К. Жуков: неизвестные страницы биографии // Военные архивы России. М., 1993. Вып. 1; Соколов Б. Неизвестный Жуков: портрет без ретуши в зеркале эпохи. Минск, 2000.
- ¹² Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет министров СССР. 1945–1953. М., 2002. С. 203–206; Солонин М. С. “Дело авиаторов”. URL: <http://www.topwar.ru/310-delo-aviatorov-chast-i.html>; <http://www.aviaport.ru/digest/2010/06/08/196517.html>; Широкоград А. Неужели “без вины виноватые”? // Военно-промышленный курьер. 2010. № 25. URL: <http://vpk-news.ru/articles/5865>.
- ¹³ Шахурин А. И. Крылья победы. М., 1990; Шахурин А. И. Сокрушение люфтваффе (Воспоминания наркома авиапромышленности). М., 2004.
- ¹⁴ Емельянов Ю. В. Сталин. На вершине власти. М., 2007; Судоплатов П. А. Разведка и Кремль: Записки нежелательного свидетеля. М., 1996.
- ¹⁵ Приказ Министра вооружённых сил Союза ССР за № 009 от 9 июня 1946 г. // Сталин И. В. Соч. Т. 18. Тверь, 2006. С. 417.
- ¹⁶ Тойчо А. Дело против маршала. 2013, 3 декабря. URL: <http://maxpark.com/community/14/content/2356042>.
- ¹⁷ Флотоводец: Материалы о жизни и деятельности Наркома военно-морского флота адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова. М., 2004.
- ¹⁸ Цит. по: Куманёв Г. А. Говорят сталинские наркомы. Смоленск, 2005. С. 117–118.
- ¹⁹ Сталин И. В. Соч. Т. 15. М., 1997. Ч. 136–137.
- ²⁰ Котляр П., Фалыхов Р. Академиков отчитали, как Молотова. 23 ноября 2016 г. URL: https://www.gazeta.ru/science/2016/11/23_a_10364279.shtml.
- ²¹ Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет министров СССР. 1945–1953. М., 2002. С. 313.
- ²² Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет министров СССР. 1945–1953. М., 2002. С. 206.
- ²³ Ахматова А. Поэма без героя // Избранное. М., 1974; Берлин И. Из воспоминаний “Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 годах” // Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991.
- ²⁴ Самохин А. У рояля – идеолог [Интервью А. Н. Волынца газете “Культура”] // Культура. 2016. 23 февраля.
- ²⁵ Жирнов Е. “Во вражеской группе подготовлялся вопрос о переносе столицы в Ленинград” // Власть. 2000. № 38. С. 55. <https://www.kommersant.ru/doc/17738>.
- ²⁶ Микоян А. И. Так было. Размышления о минувшем. М., 1999. С. 567.
- ²⁷ Там же. С. 568.
- ²⁸ Рыбас С. Ю. Сталин. М., 2009.
- ²⁹ См.: Кузнецовский В. Д. “Ленинградское дело”. М., 2016; Рязанов С. К. Сталин или русские. Русский вопрос в сталинском СССР. М., 2018.
- ³⁰ Кузнецовский В. Д. “Ленинградское дело”: наивная попытка создать этнически чистое русское правительство была потоплена в крови. М., 2013.
- ³¹ Волынец А. Н. Жданов. М., 2013; Его же. Интервью газете “Культура”. 2016. 23 февраля.
- ³² Кузнецовский В. Д. Сталин и “русский вопрос” в политической истории Советского Союза. 1931–1953 гг. М., 2016. С. 61–75.

- ³³ Амосова А. А., Бранденбергер Д. Новейшие подходы к интерпретации “Ленинградского дела” конца 1940-х – начала 1950-х годов в российских научно-популярных изданиях // Новейшая история России. 2017. № 1. С. 101–104.
- ³⁴ Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина: власть и антисемитизм. (Новая версия). Часть II. М., 2015. С. 162–165; Семанов С. Н. Иосиф Сталин для русских XXI века. М., 2009. С. 477.
- ³⁵ Филин Г. Советские офицеры создавали армию обороны Израиля // Версия. 2018. 19 февраля. № 7. URL: <https://versia.ru/sovetskie-oficery-sozdavali-armiyu-oborony-izrailya>.
- ³⁶ Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина: власть и антисемитизм. (Новая версия). Часть II. М., 2015. С. 492; Этингер Я. Врачи и их убийцы // Совершенно секретно, 2005. № 6.
- ³⁷ Цит. по: Неопубликованная речь И. В. Сталина на Пленуме Центрального комитета КПСС 16 октября 1952 г. (по записи Л. Н. Ефремова). URL: <http://delokrat.org/statyi/101/>
- ³⁸ Цит. по: Политбюро и дело Берия. Сб. документов. М., 2012. С. 19.
- ³⁹ Чигирин И. И. Отец. “Тайна” смерти И. В. Сталина и неизвестные документы об известных событиях. М., 2012.
- ⁴⁰ Малышев В. А. “Пройдёт десяток лет, и эти встречи уже не восстановишь в памяти”: Дневник наркома // Источник. 1997. № 5. С. 140.
- ⁴¹ Государственный антисемитизм в СССР. От начала до кульминации. Документы. М., 2005. С. 462–463.
- ⁴² Жуков Ю. Н. Сталин. Тайны власти. М., 2005. с. 590; Данилов А. А., Пыжиков А. В. Рождение сверхдержавы. СССР в первые послевоенные годы. М., 2001. С. 258.
- ⁴³ Медведев Ж. А., Медведев Р. А. Неизвестный Сталин. М., 2001. С. 60.
- ⁴⁴ Чуев Ф. И. Так говорил Каганович: Исповедь сталинского апостола. М., 1992. С. 176.
- ⁴⁵ Медведев Ж. А. Сталин и еврейская проблема. Новый анализ. М., 2003. С. 216.
- ⁴⁶ Клейн Б. С. Политика США и “дело врачей” // Вопросы истории. 2006. № 6.
- ⁴⁷ Зеленина Г. Евреи в советской прессе первых месяцев 1953 года. <http://old.lechaim.ru/3520>.
- ⁴⁸ Костин А. Л. Убийство Сталина. Все версии и ещё одна. М., 2012.
- ⁴⁹ Лукьянов А. И. Возвращение Сталина // Промышленные ведомости. 2004. Май. № 9–10; Над Н. (Добрюха А. Н.). Сталин и Христос. М., 2011.
- ⁵⁰ Млечин Л. М. Кремль–1953. Борьба за власть со смертельным исходом. М., 2016. С. 232.
- ⁵¹ На приёме у Сталина. Тетради (журналы) записей лиц, принятых И. В. Сталиным (1924–1953 гг.). М., 2010.
- ⁵² Микоян Н. А., Медведев Ф. Н. Неизвестная Фурцева. Взлёт и падение советской королевы. М., 2011.
- ⁵³ Костин А. Л. Убийство Сталина. Все версии и ещё одна. М., 2017.
- ⁵⁴ См., напр.: Девятов С. В., Сигачёв Ю. В. Сталин. Взгляд со стороны. М., 2018. В печати.
- ⁵⁵ Чуев Ф. И. Молотов: Полудержавный властелин. М., 1999. С. 396.
- ⁵⁶ Дроздов В. Как произошла смерть Сталина? // История. 2003. 1–7 марта. № 9.
- ⁵⁷ Цит. по: Чигирин И. И. Отец. “Тайна” смерти И. В. Сталина и неизвестные документы об известных событиях. М., 2012. С. 352. Ср.: Правда. 1963. 20 июля.
- ⁵⁸ Сабов А. Жупел Сталина. Интервью с историком Ю. Н. Жуковым // Комсомольская правда. 2002. 5–21 ноября.
- ⁵⁹ Жуков Ю. Н. “Их расстрелять, мёртвых?” Интервью спецкору “Ленты.ру” 18 декабря 2017 г. URL: https://lenta.ru/articles/2017/12/18/stalina_na_nas_net/
- ⁶⁰ Лясс Ф. Смерть Сталина. 20 декабря 2007 г. URL: http://a.kras.cc/2016/10/blog-post_15.html
- ⁶¹ I. D. [Исаак Дойчер]. Stalin // Encyclopaedia Britannica. London, 1965. Vol. 21, P. 303
- ⁶² Калашников М. [В. А. Кучеренко]. Сломанный меч Империи. М., 2002.
- ⁶³ Жуков Ю. Н. Социализм будет. Новый // Литературная газета. 2017. 20–26 декабря. № 50.
- ⁶⁴ [URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3069132>]

ЯКОВ АЛЕКСЕЙЧИК

КТО ПОДКАРМЛИВАЛ ТИГРА СО СВАСТИКОЙ

На фоне нынешних препирательств о том, кто внёс наибольший вклад в разгром нацизма во второй мировой войне, припоминается польский анекдот, который гласит, что это сделала та страна, армия которой выиграла главную битву. А поскольку главной битвой было сражение под Монте-Кассино, в котором решающее слово сказали поляки, то...

Разумеется, подобный пассаж не может не вызвать улыбки, но смеяться всё-таки не надо. Под Монте-Кассино, в самом деле, польский корпус, которым командовал генерал Владислав Андерс, провёл две отчаянные атаки на позиции гитлеровцев у стен итальянского монастыря, потеряв почти тысячу бойцов убитыми и поразив отвагой даже тех, кого они атаквали. Кроме того, смеяться не следует ещё и потому, что в каждой шутке есть только доля шутки, а остальное свидетельствует о каких-то серьёзных то ли желаниях, то ли представлениях. Притом зачастую весьма неожиданных. Об одном из таких “поворотов” стоит поговорить более подробно.

Минувшим летом руководство Польши заявило о своих претензиях на то, что полагается именно победителям: на репарации от Германии за потери в упомянутой войне. Правда, официальным тоном не прозвучали слова о том, что это “польское войско Берлин брало, а советское помогало”. Обоснование представлено иное: выплаты должны быть сделаны за то, что Польша тогда пострадала больше всех. Было разрушено её хозяйство, в руины превращена столица, Речь Посполитая потеряла шесть миллионов человек своего населения. При этом подчёркнуто, что половину людских потерь составляли евреи, а поскольку евреям Германия компенсации выплатила, то чем поляки хуже? Первым о репарациях заявил бывший тогда министром обороны Речи Посполитой Антоний Мацеревич. Вскоре тем же тоном заговорила и тогдашний премьер-министр Беата Шидло. В феврале нынешнего года было сказано, что этот вопрос поляки намерены поставить и перед руководством Евросоюза. Вскоре были оглашены и цифры. Причём довольно разные. Поначалу депутат сейма Аркадиуш Мулярчик заявил о 543 миллиардах долларов, что в номинале превышает годовой ВВП теперешней Речи Посполитой; через некоторое время возникла сумма, равная 840 миллиардам долларов.

Как к этой идее отнеслось польское общество? Профессор Мечислав Рыба из Люблинского католического университета считает, что “Польше давно надо было добиваться выплаты репараций”. Они ей попросту положены, заявил он в беседе с корреспондентом Польского агентства печати, так как, по его мнению, “в Европе трудно найти страну, более пострадавшую не только

в материальном, но и в человеческом смысле”. С ним согласен вице-директор польского музея второй мировой войны Гжегож Берендт. Опросы населения, сообщила польская пресса, показали, что более 60 процентов поляков тоже стоит на том, что “немцы обязаны выплатить Польше компенсации за потери, понесённые ими во время второй мировой войны”.

Но это не всё. Поскольку во второй мировой войне по польским землям ходили не только германские войска, но и советские, а потом советские ещё сорок лет на них гарнизонами стояли, то репарации, оказывается, должна выплатить и Россия, которая является правопреемницей Советского Союза. Многие варшавские политики и политологи твердят, что СССР виноват перед Польшей даже больше, так как он не только вместе с Германией напал на Речь Посполитую в 1939 году, заключив с рейхом договор Риббентропа–Молотова, но и после войны навязал их стране совершенно неприемлемый для поляков социализм. Как считает аспирант факультета права и администрации Варшавского университета Михал Патрик Садловский, “период после 1944 года олицетворял абсолютную потерю независимости, подчинение и полный разрыв с культурой широко понимаемого Запада, чьей неотъемлемой частью являлась польская культура”. При этом он не уточняет, какую степень независимости поляки имели в годы гитлеровской оккупации, от которой их избавила Красная армия. Неужто каким-то воплощением их государственности было Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete, то есть Генерал-губернаторство для оккупированных польских областей, которым руководил Ганс Франк, повешенный по решению Нюрнбергского трибунала? Нет ни слова и о том, как польская культура вписывалась тогда в культуру “широко понимаемого Запада”, если по плану Ост полякам и их культуре предстояло просто исчезнуть.

Тем не менее, в последнее время в Варшаве сформулирован ещё один “доказательный довод”, касающийся возможных репараций: следует представить, какой развитой теперь была бы Польша, не будь разрушений и потерь, которые она понесла за почти шесть лет войны и десятилетия “советской оккупации”. Расчёт суммы “российского долга” тоже не заставил себя долго ждать: за “уничтожение советскими гражданами польского имущества и культурных ценностей” Москва должна выплатить триллион злотых, что равняется примерно 270 миллиардам долларов – полторы современной Чехии, если брать её годовой ВВП в номинале, или почти три Словакии. То, что в социалистические времена экономика Речи Посполитой, страдающая, так сказать, от гнёта Советов, имела больший вес в мировом ВВП, чем сейчас, остаётся за словесным забором.

Должен ли удивлять сей финт в политике Варшавы? Увы, нет. И не только потому, что у поляков, как утверждал польский же политический аналитик Пётр Сквецинский, образовался “комплекс России”, ставший результатом проигранного тысячелетнего выяснения, кто главнее в славянском мире, с чем их гордость смирилась не в состоянии. Есть основания утверждать, что появился ещё один момент, усиливающий мотивацию “наезда на москалей”. Речь идёт об уходе от собственной ответственности за то, что случилась та самая вторая мировая война, наиболее пострадавшей жертвой которой считает себя теперешняя Речь Посполитая. Ведь по факту именно Польша стала первым и долгое время оставалась единственным и надёжным союзником Гитлера, поддерживая его во всех начинаниях. В социалистические времена напоминать об этом не было принято, зато теперь былое молчание стало обстоятельством, способствующим усилиям польских политиков представить исторические одёжки своего государства в исключительно чистом виде, чтобы не всплыло нечто противоположное. А всплывать есть чему.

Кто первым бил в спину...

Политика отхода от собственной ответственности за развязывание второй мировой войны в Польше началась не вчера. Первым её этапом стало стремление расположить на одной доске тех, кто, казалось, просто не мог на ней поместиться: гитлеровскую Германию и Советский Союз, родину нацизма, угрожавшего всему миру, и тех, кто нацизм уничтожил. Именно Варшава ещё десять лет назад поставила вопрос таким ребром, а “фундаментом” для подобного истолкования избрала два события. Во-первых, подписанный

23 августа 1939 года – за неделю до начала второй мировой войны – советско-германский договор о ненападении, часто называемый пактом Риббентропа–Молотова. Без него, упорно твердят в Варшаве, та война была бы невозможна, хотя ещё в июне был готов немецкий план “Вайс”, предусматривающий удар германского вермахта по Речи Посполитой в конце августа. Во-вторых, начатый 17 сентября – через две с половиной недели после немецкой атаки на Польшу – поход Красной армии в сторону Бреста, Львова и Вильнюса, ставший освободительным для белорусов, литовцев, украинцев и их земель. В Речи Посполитой его называют ударом в спину их армии, сражающейся с гитлеровцами, хотя к тому времени не только простой польский обыватель, но даже президент окружённой немцами Варшавы Стефан Стажинский не знал, где находится правительство страны, парламент, верховный главнокомандующий, всерьёз ставился вопрос о создании ещё одного правительства.

И затея с приравниванием в целом-то удалась, притом удалась во многом потому, что не получила должного и немедленного отпора со стороны тех, против кого была направлена. Более того, отсутствие отпора разожгло эмоции соответствующего уклона, что всё становится всё более очевидным, в частности, в спичах так называемых экспертов с той стороны, которые стали завсегдатаями на заполонивших российские каналы политических ток-шоу. В мае в одной из таких передач польский политолог Якуб Корейба, перечисляя “польские города”, потерянные в результате начатого 17 сентября похода Красной армии, назвал литовский Вильнюс, украинские Львов, Ровно, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, белорусские Брест, Гродно, Пинск, Барановичи. Ответом опять было молчание и ведущих, и зала, а довольно осторожные слова журналиста Максима Юсина о том, что взамен поляки получили примерно столько же на западе, в частности, Вроцлав, Быдгощ, Ольштын, просто повисли в воздухе. Как ни странно, это довольно типичная ситуация. Даже в Белоруссии приходится слышать, что это Советский Союз тогда позарился на польские территории, хотя как раз белорусы, а также литовцы с украинцами стали крупными выгодополучателями того похода, так как это им были возвращены земли, отторгнутые в ходе интервенции, затеянной поляками в феврале 1919 года. Как ни странно, люди, глясящие подобной, не отдают себе отчёта хотя бы в том, что, если следовать их пылу-жару, то это белорусов можно называть оккупантами, поскольку почти половина их живёт теперь на “отнятых” в 1939 году у поляков пространствах.

Всё началось с того, что Речь Посполитая, провозгласившая самостоятельность в ноябре 1918 года, тотчас же получила признание своей суверенности от уже советской России, но отказала в праве на это восточным соседям – и литовцам, и белорусам, и украинцам, тоже объявившим собственные республики. Она немедленно затеяла против них затяжную войну, которая задела даже латышей и не могла не задеть и русских. Именно Польша тогда нанесла неожиданные удары в спину литовцам, белорусам, украинцам, которые только-только начинали взваливать на себя нелёгкий груз государственной самостоятельности. Завершилась та война в 1921 году Рижским миром, по которому литовцы потеряли свою столицу Вильнюс с окрестностями, белорусы – западную часть своей республики, украинцы лишились одного из провозглашённых ими государств – Западно-Украинской Народной Республики, столицей которой сначала был Львов, затем Тернополь, затем Станислав – нынешний Ивано-Франковск. Впрочем, была ещё и Галицкая Советская Республика, тоже приказавшая долго жить в сентябре 1920 года в результате наступления поляков.

Понесённые тогда тремя народами потери во многом и обусловили поход, начатый Красной армией 17 сентября 1939 года. Однако он стал неизбежным и по иным причинам, о чём польское руководство провидчески предупреждалось ещё за двадцать лет до пакта Риббентропа–Молотова. Притом предостерегали англичане. В беседах с послом Речи Посполитой Евстахием Сапегой руководители Великобритании во время той самой польской экспансии на восток не скрывали опасения, что попытки как можно больше оттяпать у соседей могут подтолкнуть к сближению с Россией тоже обкорнанную Версальским договором Германию. С целью вернуть потерянное. Как потом оказалось, случилось именно это, хотя причин для начатого 17 сентября похода было уже больше, чем желание вернуть отнятое поляками. Потому попробуем коснуться некоторых существенных деталей, остающихся в исторической тени,

хотя напоминать о них, на добрый лад, в России, Белоруссии, на Украине, в Литве стоило бы постоянно, поскольку они имеют существенное значение для оценки и понимания того, что и теперь происходит в польской политике, в том числе вокруг пакта Риббентопа–Молотова.

Деталь первая. Войну против восточных соседей в 1919 году поляки мотивировали тем, что намерены восстановить свою страну в границах той Речи Посполитой, которая была поделена Австрией, Пруссией и Россией в конце восемнадцатого века. При этом они умалчивают, что разделённое когда-то государство не являлось именно Польшей. Это было конфедеративное образование, состоявшее из Польского Королевства и Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского, возникшего в тринадцатом столетии после Батыева нашествия на Русь. Тем жестоким наездом кочевников не преминули воспользоваться литовские князья – последние в Европе язычники, жившие, как потом констатировал Адам Мицкевич, разбоем “на три стороны света”. Они тоже стали подчинять обескровленные русские уделы, потому состояла княжество на девяносто процентов из русских земель и русского населения. А термин “Речь Посполитая” в переводе на русский язык означает “Общее дело”.

В той конфедерации, несмотря на постоянный польский нажим, и королевство, и княжество имели отдельные правительства, бюджеты, армии, законы. Более того, между ними пролегла официальная граница, на которой действовали таможи, взимавшие соответствующие сборы с тех подданных Речи Посполитой, которые под них попадали. Общим был только венценосец, король польский, он же великий князь литовский, а также сейм. Проходила та граница западнее Бреста и Белостока, и российская императрица Екатерина II всегда подчёркивала, что в ходе разделов она не взяла ни метра польской земли, присоединив к России только исконно русские территории.

Такое уточнение необходимо как раз потому, что главной виновницей раздела чаще всего называют Екатерину II. Особенно в Польше, но случается такое даже в России. На самом же деле, как ещё полтора столетия назад отмечал польский священник, историк и повстанец Валериан Калинка, российской царице мысль о ликвидации Речи Посполитой была попросту чужда, ибо она видела в ней буфер между своей страной и набиравшей силу Пруссией. Другой польский историк Павел Ясеница напоминал, что разделы случились по инициативе австрийской эрцгерцогини Марии Терезии, предложение которой весьма понравилось прусскому королю Фридриху II. Он-то и стал главным мотором процесса. Добавим, не протестовали против разделов ни Франция, ни Великобритания, ни Швеция, ни Голландия, ни Османская империя, от которых тоже тогда зависела политическая погода в Европе. Да и с какой стати было им протестовать, если, как свидетельствует оксфордский исследователь польской истории Норман Дэвис, та Речь Посполитая, которую теперь принято именовать первой по счёту, была доведена её правителями до такого состояния, что в соседних странах её называли кабаком, борделем, даже посмешищем. А ведь она являлась самым крупным государством в Европе, территория которого, было время, приближалась к миллиону квадратных километров. Будь оно нормально развивающимся, экономически крепким, никакое расчленение ему не грозило бы. Однако отдельные польские регионы – Спиш, Чорстынь – Австрия отторгла и присоединила к себе ещё до первого соглашения о разделах. За невыплаченный долг. Только после этого к Марии-Терезии и Фридриху присоединилась Екатерина, заметив, что так “могут забрать всё”, а сие означало бы, что восточные границы Австрии и Пруссии выйдут на Днепр и Западную Двину. Могла она согласиться с этим? Ответ очевиден. И он отрицательный. Часто об этом напоминают российские аналитики? Ответ тоже отрицательный.

Деталь вторая. Есть веские основания утверждать, что польская государственность ныне существует не только благодаря Советскому Союзу, разгромившему нацистский рейх. Следует помнить и о заслугах российского императора Александра I, изменившего “расклад”, оставленный Марией Терезией, Фридрихом и Екатериной. Правда, поначалу в тот расклад вмешался Наполеон, который, разбив Австрию и Пруссию, на землях бывшего Польского королевства создал Великое герцогство Варшавское. В нём действовали французские законы, согласно которым слова “Польша” или “польское” в политическом контексте к употреблению не допускались; оно не имело своей валюты. Фактически это был французский протекторат, подданные которого

в походе Наполеона на Москву пополнили его армию ста тысячами штыков и сабель.

Александр I после победы над Наполеоном решил большинство земель герцогства включить в Царство Польское под собственной эгидой. Возложив польскую корону на свою голову, он в то же время предоставил Царству возможность иметь конституцию, которой не было у России, правительство, собственную армию, сформированную, кстати, из частей и соединений, воевавших против России. Даже своим наместником в Царстве Александр назначил генерала Юзефа Зайончека, который потерял ногу в битве с русскими на Березине. Поначалу Царство не входило в состав России, связь с ней была только династическая. Граница между ним и покровительствующей ему империей пролегла западнее Бреста, по давним рубежам бывшего польского королевства. По одной из легенд, именно там был задержан поэт Кюхельбекер, который после восстания декабристов пытался уйти в Западную Европу.

Чем руководствовался Александр? Часто звучат высказывания, что он, воспитанный швейцарцем Лагарпом, в душе переживал за судьбу поляков, обиженных его бабушкой Екатериной вкупе с Марией Терезией австрийской и Фридрихом прусским. Не исключено, что он, в самом деле, испытывал к ним особые симпатии, поскольку вскоре после вступления на трон назначил министром иностранных дел Российской Империи польского князя Адама Чарторыйского. Но вряд ли только симпатии определяли суть его решений. Александр был умным политиком, не случайно же не менее изощрённый Наполеон в сердцах называл его коварным византийцем. Вполне возможно, в отличие от бабушки Екатерины, он не желал отдать в распоряжение Австрии и Пруссии все земли бывшего польского королевства, поскольку это существенно укрепило государство, претендовавшие на то, чтобы усилить своё соперничество с Россией, притом укрепляло людским потенциалом, отнюдь не симпатизирующим восточному соседу, в чём император имел возможность убедиться. Скорее всего, поэтому Александр и решил оставить самый большой кусок польских земель под своей рукой, рассчитывая постепенно располжить к себе их обитателей добрым к ним отношением. И в этом смысле многое было сделано. За сто лет население Царства Польского увеличилось в четыре раза. Царство стало наиболее промышленно развитым регионом Российской Империи. Город Лодзь в Европе стали называть польским Манчестером. Как отмечают польские же историки – Бронислав Лаговский, Александр Бохеньский, – это было время, наиболее благоприятное для развития. А ведь на закате той, разделённой, Речи Посполитой, Адам Смит, отец экономической науки, констатировал, что в Польше не производится ничего, кроме простейших вещей, необходимых для жизни.

Однако друзьями поляков сделать не удалось. Они, подчеркнул Александр Бохеньский, на все усилия имперских властей отвечали восстаниями. После первого, состоявшегося в 1831 году, Николай I лишил их конституции и включил Царство в границы России. После второго, вспыхнувшего в 1863-м, российскими властями были сделаны два важных вывода. Главный озвучил помощник царского наместника в Варшаве польский маркиз Александр Велёпольский, отметив, что для поляков ещё можно что-то сделать, с поляками – никогда. Потом, правда, он уточнял, что это не его слова. Скорее всего, принадлежали они великому князю Константину Николаевичу – на тот момент императорскому наместнику в Царстве Польском, брату Александра III. Но суть сказанного от этого не меняется. Ещё один вывод формулировал русский философ Владимир Соловьёв – сын известного историка, адресовав его уже имперским властям. И прозвучал тот вывод как резкий упрек Александру I: если бы император больше думал о русских интересах, он оставил бы поляков под прусской и австрийской рукой, и тем самым болезненный для России польский вопрос был бы решён путём онемечивания. Последующие события подтвердили, что для подобных утверждений были серьёзные основания. Специальная делегация, которую после первой мировой войны Парижская всемирная конференция посылала на земли бывшей Речи Посполитой выяснить места и границы преимущественного заселения поляков, убедилась, что на территориях бывшего польского королевства, которые оказались под прусской короной, уже все говорили по-немецки. На тех, что вошли в австрийские границы, поляки составляли меньшинство, находившееся в постоянном конфликте с местным украинским населением, притом тот конфликт поощрялся

центральными властями в Вене. Преобладали поляки, главным образом, на землях, вошедших в состав России. Значит, не исключено, что, не случись того Царства, возродить Польшу в 1918 году было бы некому. Но спасённые сразу же пошли войной на тех, кто не дал им кануть в историческую Лету.

Деталь третья. Заявив в ходе первой мировой войны о воссоздании Речи Посполитой, которую историками теперь принято называть второй, западные страны предполагали возобновление польской государственности на территориях, входивших в состав Российской Империи в качестве Царства Польского. И только на них распространялась поначалу юрисдикция новых польских властей. То, что восточные границы воскресшей Польши, вновь должны были проходить западнее Бреста, подтверждала и предложенная британским министерством иностранных дел “Линия Керзона”. На такой же позиции стоял президент США Вудро Вильсон. Однако возглавивший новую Речь Посполитую Юзеф Пилсудский считал, что в неё должны войти все территории поделенной когда-то конфедерации. Правда, понимая сложность такой задачи, исходил из того, что на западе Польша будет иметь те границы, какие ей разрешит Антанта, а на востоке – те, что удастся завоевать. Тем более, литовцев мало, чтобы иметь собственное государство, им следует быть под польской рукой, а белорусы – это фикция, ноль, они, как и украинцы, до суверенитета ещё не дозрели.

Польский историк Владислав Побуг-Малиновский в “Новейшей истории Польши” уточняет, что Пилсудский войну считал единственным способом решения территориального вопроса на востоке. У него “не было сомнений в том, что переговоры с Москвой не могут быть дорогой поиска ответов в деле восточных земель и даже будущего Польши вообще”, что “единственным эффективным аргументом могла быть только сила”. Уже 16 ноября 1918 года Пилсудский уведомил все страны о создании независимой Польши. Все, кроме России, мотивируя это тем, что там нелегитимное руководство, хотя самого его никто не избирал, он получил власть из рук регентского совета, созданного Германией и Австро-Венгрией, а Начальником государства назвал себя сам в изданном им же декрете о наивысшей власти Речи Посполитой. Не слал он никаких уведомлений и в Вильнюс, Минск, Киев, тоже ставших столицами провозглашённых республик, не говоря уже о Львове или Тернополе. Вина литовского, белорусского, украинского государств, которых он в упор не желал видеть, состояла в том, что они оказались на пути его восточных амбиций.

Весьма образно на сей счёт выразился и Д. Ллойд Джордж в своих мемуарах “Правда о мирных договорах”, констатировав, что “право народов самим определять свою национальную принадлежность было немедленно отвергнуто польскими лидерами”. Они предпочли утверждать, что “эти различные национальности принадлежат полякам по праву завоевания, осуществленного их предками. Подобно старому норманнскому барону, обнажившему меч, когда его попросили предьявить доказательства своих прав на поместье, Польша размахивала мечом своих воинственных королей, который уже столетия ржавел в их гробницах”. Ллойд Джордж тогда именовал Польшу главным империалистом в Европе. Абсолютно немотивированным называл польское нападение на восток и работавший в то время в Варшаве германский дипломат Герберт фон Дирксен, будущий посол в Москве, а затем в Токио. То же самое отмечали в своих сообщениях в Вашингтон и американские военные представители.

Деталь четвёртая. В организации польского похода на восток наличествовал ещё один момент, о котором совсем не желают вспоминать любители порассуждать о сговоре Гитлера и Сталина в 1939 году. Если на то пошло, то в пакте Риббентропа–Молотова наличествовал польский опыт, ведь двадцатью годами ранее удар по восточным соседям поляки нанесли в сговоре с немцами. Тогда вся Польша и значительная часть литовских, белорусских, украинских земель ещё находилась под оккупацией германского рейхсвера. После ноябрьской революции в Германии и денонсирования Советской Россией Брестского мира немецкие войска постепенно уходили на запад, следом шли красноармейские части, но линия разграничения между ними на момент начала войны, которую теперь принято называть польско-советской, была ещё на сто километров восточнее Бреста и Гродно. Главным на занимаемых немцами территориях был командующий X армией генерал Эрих фон Фалькенгайм, штаб которого размещался в Белостоке. Это по договорённости с ним войска Пилсудского были пропущены сначала в Брест, Гродно, затем

далее на восток, и 14 февраля 1919 года они внезапно атаковали советские гарнизоны в местечках Мосты и Берёза-Картузская – ныне это белорусские райцентры. Та дата и считается началом войны, длившейся два года. В современной Варшаве упорно делают акцент на попытке Красной армии штурмовать польскую столицу в августе 1920-го, но стараются не вспоминать, что перед этим войска Пилсудского оккупировали Вильнюс, Минск, Киев. Рижский договор, по которому была прекращена та война и часть земель Литвы, Белоруссии и Украины присоединены к Речи Посполитой, два года не признавался Лигой Наций, поскольку, как пояснялось, он был подписан в результате польской агрессии. Ответом на неё и стал поход, начатый 17 сентября 1939 года.

Кто сломал клещи...

У поляков в их попытках уравнивать СССР с нацистской Германией в том, что касается начала второй мировой войны, надо признать, многое стало получаться ещё и постольку, поскольку нашло поддержку в других странах. В самом деле, отчего бы тем же немцам, которых много лет называли главными виновниками начала войны, не поделиться виной с кем-либо ещё? А заодно тем, кто плечом к плечу с вермахтом шёл на восток: австрийцам, итальянцам, венграм, финнам, словакам, испанцам и, как теперь всё больше проясняется, не только им, ибо у фюрера Третьего рейха были активные помощники, не декларировавшие своё с ним союзничество. На восточном фронте довольно многочисленными были голландцы, норвежцы, чехи, датчане, даже французы, которых на стороне Гитлера воевало больше, чем против него. На белорусской Могилёвщине до сих пор помнят, как против местных партизан действовал полк французской дивизии СС “Шарлемань”. Акцент на “сговор Гитлера и Сталина” оставляет в исторических потёмках и то, как жали руку фюреру западные лидеры, подписывали с ним договоры, аналогичные заключённому в Москве, ставшему последним в череде тех пактов. Недавно польский автор Пётр Гурштын напомнил, что американский журнал “Тайм” 2 января 1939 года именно Гитлера назвал человеком года по итогам ушедшего 1938-го. И вот новый этап. По сути, ставится задача сделать Россию – правопреемницу СССР – уже виновной не только в развязывании той войны, но и в её последствиях. Почему ведущую роль в таком деле взяла на себя именно Польша? Ответ тот же. Главной побудительной причиной таких усилий для нынешнего руководящего польского политика опять же является попытка замаскировать то, о чём стоит сказать подробнее.

Начнём с того, что в 1932 году Советский Союз после шестилетних политических дебатов подписал с Речью Посполитой договор о ненападении. Через два лета в Париже из уст польского министра иностранных дел Юзефа Бека прозвучала весьма высокая оценка отношениям его страны с СССР. Однако уже в июле 1936 года во время вручения верительных грамот новым польским послом Вацлавом Гжибовским в Москве заявили, что двусторонние контакты “хуже быть уже не могут”. Похоже, подписание договора с Советским Союзом было для Пилсудского не более чем политической уловкой. Польша до этого жила в условиях непризнанных границ почти по всему своему периметру. Нужно было пробивать брешь. В значительной мере это у него и получилось, хотя советское руководство всё-таки поосторожничало, прямое признание существования на тот момент границы между странами в качестве законной в договоре не зафиксировано. В нём сказано только, что любое нарушение границы будет считаться “актом насилия”, однако это можно было толковать и как напоминание о том, каким способом её устанавливали.

Добившись договора с СССР, Пилсудский повернулся к противоположной соседке – Германии, которую к тому времени возглавил Адольф Гитлер. Подписание декларации о ненападении уже между Польшей и нацистской Германией – первого (!) для Третьего рейха межгосударственного соглашения такого рода с европейскими странами – состоялось 26 января 1934 года. В исторической литературе ту декларацию часто называют пактом Пилсудского-Гитлера, так как заключена она была по личной инициативе Начальника Речи Посполитой. Правда, на пути к ней не обошлось без шахрахий. Теперь с трудом верится, но сразу после прихода Гитлера к власти польский маршал предлагал Франции нанести совместный удар по Германии. В самом деле,

в воспоминаниях немецкого дипломата Герберта фон Дирксена, которые вышли в ОЛМА-ПРЕСС в 2001 году, сказано, что Пилсудский намеревался “начать агрессивную войну против национал-социалистической Германии”. Предложение о нападении было передано в Париж в апреле 1933 года, куда специально приезжали профессиональный дипломат и член польского сената Ежи Потоцкий, а затем бывший адъютант Пилсудского бригадный генерал Болеслав Венява-Длугошовский, которого в Польше называли первым уланом страны.

Почему оно не было принято? Некоторые аспекты французского несогласия в исторической литературе обозначены. Во-первых, европейской общественностью такой удар был бы назван агрессией против страны, которая тогда являлась членом Лиги Наций. Во-вторых, Гитлер пришёл к власти в результате демократических выборов. В-третьих, свежа была в памяти политиков и народов та великая война, которая закончилась каких-то полтора десятка лет назад. Мир был хлипким. Впрочем, французский маршал Фердинанд Фош ещё при подписании Версальского договора в июне 1919 года обронил фразу, что это будет даже не мир, а перемирие на двадцать лет, ибо Германия не сможет смириться с потерями и тем, в какие условия её поставили. Как показал последующий ход событий, даже в определении срока он не ошибся. От подписания договора в Версальском дворце до атаки вермахта на Польшу 1 сентября 1939 года, ставшей началом второй мировой, прошло двадцать лет плюс месяц и два дня. Но в начале тридцатых Франция не пожелала то зыбкое спокойствие нарушать и остаться в истории инициатором новой большой бойни.

Кроме того, у французов возникли сомнения в боеспособности союзной им польской армии, о чём они вполне прозрачно намекнули во время визита в Париж Болеславу Венява-Длугошовскому. Наибольшую неуверенность у них вызывала компетентность высшего польского армейского руководства. В самом деле, весьма известный в то время генерал Эдвард Рыдз-Смиглый был выпускником художественной академии, генерал Владислав Сикорский имел диплом инженера-мостостроителя, генерал Казимеж Соснковский – диплом архитектора. Сам Пилсудский изучал военное дело, главным образом, по мемуарам военных деятелей прежних времён.

Вполне возможно, французы знали кое-что и о прогрессирующей болезни Пилсудского. Четыре года назад в Польше появились сообщения, в которых утверждается, что Начальник Речи Посполитой страдал недугом, не характерным для людей такого ранга. О нём лучше сказать цитатой из публикации польского журналиста Яна Бодаковского, которая посвящалась выходу в свет очередного (тридцатого) номера общественно-исторического журнала “Глаукопис” и называлась “Пилсудский умер от сифилиса”. Вот выдержка из неё: “Без сомнения, наиболее меняющим устоявшиеся представления текстом новейшего “Глаукописа” является статья профессора Марека Каминьского, в которой автор сообщил, что Юзеф Пилсудский умер от сифилиса. Сифилис у Пилсудского выявил австрийский врач Карел Фредерик Венкенбах. Маршал, опасаясь скандала, сам пожелал, чтобы исследовал его лекарь из-за пределов Польши”. Энциклопедические источники уточняют, что Венкенбах был известным голландским врачом, правда, в Варшаву его специальным самолётом доставили из Вены, где он работал многие годы. Ян Бодаковский указывает, что “итоги исследования были скрыты. Правительственная пропаганда распространила официальную версию, согласно которой Пилсудский умер от рака внутренних органов”. И добавил, что “выявленная у диктатора болезнь сопровождалась психическими отклонениями. Третья стадия болезни свидетельствовала, что Пилсудский болел ею много лет, и болезнь дегенерировала его психику”.

Спустя год после публикации в “Глаукописе” Марек Каминьский, кстати, “дипломированный специалист по внутренним болезням”, в варшавском издательстве “Bellona” выпустил книгу “Последняя тайна маршала Пилсудского”. В ней он постарался исследовать всю жизнь Начальника и дал понять читателям, что его психологическая неуравновешенность имела и врождённое происхождение. Его родители были двоюродными братом и сестрой, получили специальное разрешение на брак. Они произвели на свет двенадцать детей. Две сестры маршала страдали слабоумием, брат Каспар – kleptomанией, брат Бронислав, покушавшийся на российского царя в одной компании с Александром Ульяновым, сосланный на пятнадцатилетнюю каторгу на Сахалин, а впоследствии утонувший или утопившийся в парижской Сене, болел той же венерической хворью, что и Юзеф.

В современной Польше публикации на эту тему воспринимаются неоднозначно, чего и следовало ожидать в силу того, что речь идёт о человеке, памятники которому установлены во многих местах страны. С диагнозом, сформулированным Каминьским, в принципе, не спорят, хотя кое-кто, как Пётр Гжеляньчик, утверждают, что тот в истории болезни маршала специально искал признаки именно сифилиса. Но есть и более “любопытные” истолкования. Одно из них, принадлежащее Казимежу Ригелю, гласит: “Плохое умственное состояние маршала Пилсудского в последние два-три года его жизни является подтверждённым фактом, о чём писали и пишут даже его апологеты. Было ли это следствием склероза или давнего сифилиса, приводящего к опустошению в мозге, это теперь не имеет значения. Нет болезней постыдных. Но фактом является также и то, что в 1933 году к власти в Германии пришёл Гитлер. В то же самое время в СССР Иосиф Сталин с успехом укреплял свою диктаторскую власть. А Польшей руководил в то время больной человек. Ментально он не мог уже противостоять тем негодням. И в полудиктаторской системе, созданной им же в 1926 году, не смог успешно готовить себе достойных сменщиков для управления государством”. В то же время цитируемый автор добавляет, что чтение книги Каминьского не повлияло на его оценку Начальника: “Пилсудский по-прежнему для него остаётся великим государственным мужем”.

Отношение поляков к своему первому маршалу, к его болезням, реальным или мнимым, – сугубо их проблема, но тому, что в Париже в то время стали сомневаться в адекватности Варшавы, есть подтверждения не только медицинского порядка. Французский посол в Речи Посполитой Жюль Лярош в записке, адресованной своему правительству в марте 1931 года, откровенно называл польского Начальника “наполовину сумасшедшим”, притом “презирающим Францию”, однако в Польше “никто не смеет предпринимать что-либо без Пилсудского”. И это были выводы, касавшиеся руководителя государства, которое для Франции в течение многих лет являлось ключевым союзником в Центральной Европе. Именно Франция приложила больше всего усилий, чтобы возрождаемая Речь Посполитая стала страной крупной и сильной, потому и дала ей значительно больше оружия, боеприпасов, военного снаряжения, чем армии Деникина во время российской гражданской войны. Подтверждает значимость французского вклада в польское возрождение и то, что вторым после Пилсудского маршалом в истории Польши стал маршал Франции Фердинанд Фош, а его подчинённый генерал Максим Вейган, возглавлявший специальную миссию по обучению и снабжению польских вооружённых сил, был награждён серебряным и командорским крестами польского ордена Виртути Милитари.

Можно не сомневаться, Франция делала это не из платонической любви к Польше, а преследовала собственные цели, состоявшие в том, чтобы основательно умерить в будущее милитаристский пыл Германии. Той предначалось существовать без крупных наземных вооружённых сил, военноморского флота, авиации, бронетехники, быть зажатой с запада и востока своеобразными клещами. Теми клещами предстояло стать союзным французским и польским армиям, что после подписания Версальского мира и заключения в феврале 1921 года польско-французского договора о политическом союзе удалось. Немецкий генерал фон Зект бомбардировал своих канцлеров письмами, в которых подчёркивал, что Германия находится в кольце, проклиная именно Польшу. А она, можно не сомневаться, понимала своё значение в послеверсальском окружении Германии, однако, как показал последующий ход событий, второстепенная роль в союзе с Францией её не устраивала. Особенно маршала Пилсудского. Но если у французского руководства замашки Начальника Речи Посполитой вызывали сомнения в его надёжности, то в Германии стали строить свои планы в расчёте именно на них.

В воспоминаниях уже цитированного дипломата Герберта фон Дирксена есть рассказ о его визите к фюреру весной 1933 года перед отъездом в Японию в качестве германского посла. Тогда, заканчивая беседу, “Гитлер встал, подошёл к окну, уставился немигающим взглядом в парк, окружавший рейхсканцелярию, и мечтательно заметил: “Если бы только мы могли договориться с Польшей! Но Пилсудский – единственный человек, с которым это было бы возможно”. И вскоре надежды Гитлера подтвердились. Летом того же года Пилсудский принял в Варшаве рейхсминистра по вопросам пропаганды

Йозефа Геббельса, а осенью поручил своему послу в Берлине Юзефу Липскому передать фюреру предложение заключить двусторонний договор. Беседа Липского с Гитлером прошла 15 ноября 1933 года, а уже 25 ноября германский посол в Варшаве Ганс-Адольф фон Мольтке вручил самому Пилсудскому проект совместного соглашения. Ещё через два месяца в Берлине состоялось подписание «Декларации о неприменении силы между Германией и Польшей». Двухмесячное промедление, пояснял впоследствии польский посол, было вызвано тем, что «Пилсудский лично занимался этой проблемой и не намеревался подписать пакт с Германией, прежде чем ещё раз не прозондирует Париж на тему совместной решающей акции против Гитлера». Этим же был вызван его приказ «всё держать в абсолютной тайне». Свои автографы под текстом соглашения поставили Юзеф Липский и министр иностранных дел рейха Константин фон Нейрат.

Как было заявлено в первом пункте, «польское правительство и германское правительство считают, что наступил момент, чтобы путём непосредственного соглашения между государствами начать новую фазу в политических отношениях между Польшей и Германией. Поэтому они решили настоящей декларацией заложить основы будущей организации этих отношений». По сути, это означало, что руководство обеих стран на будущее предпочло ориентироваться не на многосторонние соглашения под эгидой Лиги Наций, а идти своим путём. Самым главным пунктом декларации стал четвёртый, в котором расшифровывалось, что «оба правительства заявляют о своём намерении непосредственно договариваться обо всех вопросах, касающихся их обоюдных отношений, какого бы рода они ни были». И если возникнет проблема, неразрешимая даже «непосредственными переговорами», они всё равно «будут искать решения другими мирными средствами», в том числе «предусмотренными в других решениях», но только «действующих между ними». Так ещё раз подчёркивалась ставка на то, что во всём они будут разбираться сами. Стороны заявили также, что «ни при каких обстоятельствах они не будут прибегать к силе для разрешения спорных вопросов», но фактически такое обещание было односторонним, только польским, так как у Гитлера сил, особенно военных, ещё почти не было.

Появление декларации для многих в Европе и Польше, особенно для военных, стало шоком. Один из самых известных польских генералов Ю. Халлер заявлял о своём убеждении, что между Германией и Польшей существует и тайный договор, направленный против СССР, что Пилсудский не придаёт особого значения границам Польши на западе, для него куда важнее возможные территориальные приращения на востоке. Такого же мнения придерживались бывшие премьеры И. Падеревский и В. Витос, а В. Сикорский даже обратился к президенту И. Мосьцицкому с предложением подвергнуть острой критике пронемецкую ориентацию министра иностранных дел Ю. Бека, с чем тот не согласился, понимая, что это будет критика самого Пилсудского.

Не добавляло оптимизма и то, что подписанный документ назывался декларацией, а не договором. В наше время в некоторых публикациях на берегах Вислы, например, у историка Войцеха Матерского, можно встретить суждения, подводящие к тому, что «опускание» пакта до декларации было для польских политиков полезным, поскольку снизило накал европейских обвинений в предательстве. Но тогда перед многими – и не только в Польше – в полный рост вставал вопрос, в чём будут состоять польские выгоды, из чего они произрастут. Всех пытались успокоить, что опытный Пилсудский обведёт вокруг пальца молодого, ещё не искушенного в политике Гитлера. Не исключено, что такой нюанс, в самом деле, присутствовал. Начальник Речи Посполитой о себе имел весьма высокое мнение, даже жаловался, что ему не повезло с поляками, что, будь он руководителем другого народа, то добился бы куда более значимых успехов, так как «поляки – народ прекрасный, только люди – курвы».

А погудка о секретном соглашении стала распространяться не только в Польше. Пресса Берна, Парижа, Лондона тоже заговорила, что есть именно тайные договоренности. Левые издания в лоб ставили вопрос, «сколько получила банда Пилсудского». Сначала в Англии, Франции, Швейцарии, а 20 апреля и советские «Правда» и «Известия» со ссылкой на французскую газету «Bourbonnais republicain» напечатали текст секретного приложения к пакту между Германией и Польшей, который, по словам издания, был

предоставлен бывшим министром труда Шотаном Люсьеном Лямурё. В нём говорилось:

1. Высокие договаривающиеся стороны обязуются договариваться по всем вопросам, могущим повлечь для той и другой стороны международные обязательства, и проводить постоянную политику действенного сотрудничества.

2. Польша в её внешних отношениях обязуется не принимать никаких решений без согласования с германским правительством, а также соблюдать при всех обстоятельствах интересы этого правительства.

3. В случае возникновения международных событий, угрожающих статус-кво, высокие договаривающиеся стороны обязуются снестись друг с другом, чтобы договориться о мерах, которые они сочтут полезным предпринять.

4. Высокие договаривающиеся стороны обязуются объединить их военные, экономические и финансовые силы, чтобы отразить всякое неспровоцированное нападение и оказывать поддержку в случае, если одна из сторон подвергнется нападению.

5. Польское правительство обязуется обеспечить свободное прохождение германских войск по своей территории в случае, если эти войска будут призваны отразить провокацию с востока или с северо-востока.

6. Германское правительство обязуется гарантировать всеми средствами, которыми оно располагает, нерушимость польских границ против всякой агрессии.

7. Высокие договаривающиеся стороны обязуются принять все меры экономического характера, могущие представить общие и частные интересы и способные усилить эффективность их общих оборонительных средств. . .”

Наиболее “звучными”, конечно же, были второй и пятый пункты, обязывавшие Польшу не принимать никаких решений без ведома рейха, а также пропускать германские войска через свою территорию. При этом вполне однозначно уточнялось, что речь идёт о возможном столкновении с советскими войсками. Звонко, но обтекаемо был сформулирован шестой пункт, которым рейх принимал на себя обязательство гарантировать нерушимость польских рубежей против внешней агрессии, однако в нём тоже не было даже намёка на неизменность межгосударственных границ между Германией и Польшей. Оригинальный текст этого приложения пока не обнаружен, но оно часто упоминается в различных публикациях, да и последующие действия польского руководства показывают, что они шли в русле приведённых положений, особенно в контексте согласования действий внешнеполитического характера.

Почему Гитлер пошёл на подписание декларации? Довольно откровенно, хотя и осторожно, об этом говорит уже упоминавшийся польский профессор Войцех Матерский, работающий в Институте политических исследований Польской академии наук и посвятивший взаимоотношения межвоенной Польши с СССР и другими соседями почти восьмисотстраничную книгу “*Na widese. II Rzeczpospolita wobec Sowietow 1918–1943* (В дозоре. Вторая Речь Посполитая в отношениях с Советами 1918–1943)”. Её название основано на многовековом представлении поляков о том, что они стоят на страже рубежей западной цивилизации, которым постоянно грозят “восточные варвары”. Тем не менее, книга является весьма основательным исследованием действий руководства Речи Посполитой между первой и второй мировыми войнами, в целом ситуации в Европе, что даёт основание ссылаться именно на неё в поисках ответа на поставленный вопрос. По словам Матерского, “для Германии соглашение с Польшей имело, прежде всего, характер прецедента. . . Отсюда тот темп, который был придан исползованию польской инициативы, направленной на политическое сближение”. Если отбросить словесные экивоки, то для Гитлера это был прорыв политической блокады, в которой рейх очутился после ухода из Лиги Наций и с Женевской конференции по сокращению и ограничению вооружений, созванной Советом Лиги Наций. Но не только. Как вспоминал личный переводчик фюрера, Гитлер после беседы с послом Ю. Липским пустился в пляс. Ведь одна из сторон клещей, сжимавших Германию, отваливалась. И не просто отваливалась. Силы, которые были главной угрозой на востоке, предлагали сотрудничество и взаимопонимание, вчерашний недруг превращался в приятеля. Декларация значительно ослабляла французские возможности воздействия на Третий рейх, так как клещи, ради которых Франция положила столько усилий, ломались. Фактически военный союз Франции и Польши приказывал долго жить, о чём польский министр

Юзеф Бек в присутствии известной журналистки Женеьевы Табуи сообщил своему парижскому коллеге Барту, заявив: “Вы нам больше не нужны”.

После подписания декларации польская пресса день за днём публиковала сообщения о том, как политики и общественность Европы отреагировали на такой поворот в отношениях Варшавы и Берлина. Они очень интересны по сегодняшнему дню не только ёмкостью характеристик случившегося, но и предположениями, намёками, ибо помогают понять, что всё-таки произошло, что из него проистекало, притом не только для подписантов. “Kurjer Warszawski” в последние дни января 1934 года цитировал британское издание “Observer”, в котором констатировано несколько важных нюансов. Во-первых, “польза для Германии... неопределима. Теперь, будучи свободной от наихудшей опасности пребывания меж двух огней, Третий рейх может спокойно выстраивать свою мощь”. Во-вторых, “Польша игнорирует... Лигу Наций, чем вряд ли будет довольна Франция”. В-третьих, “польско-германский трактат о ненападении означает фундаментальные изменения в европейской ситуации”.

Парижский корреспондент этого ежедневника сообщал, что французские авторы в публикациях о договоре “подчёркивают главным образом пользу для Германии, полностью умалчивая о польских выгодах”. Затем процитировал вывод “L’Oeuvre”, гласящий, что, “благодаря соглашению с Польшей, Гитлер сообщил Европе о возможности “смело обходиться без Лиги Наций, которая была краеугольным камнем внешней политики Франции”. Той самой Франции, которая являлась союзником Польши. Обозреватель “Le Journal”, поразмыслив “над делами, связанными с разоружением”, пришёл к выводу, что “над этим вопросом Польша, похоже, глубоко не задумывалась, когда подписывала пакт от 26 января”. Опубликовала парижская пресса и вывод чехословацких “Lidowuch Nowin” о том, что “немецкий успех не подлежит сомнению... Гитлер, разорвал цепь, изолирующую Германию”, добился, что в договоре нет даже намёка на “арбитражные и иные структуры, действующие под эгидой Лиги Наций”, да и Польша предпочла “акции, не связанные с солидарной международной политикой”. Бельгийская националистическая “La Nation Belge” выразила убеждение, что это манёвр, единственная цель которого – оказать давление на Францию, сделавшую ставку на коллективные усилия в обеспечении мира.

Ещё более примечательны суждения немецких политиков. Уже в день подписания декларации собственный корреспондент “Kurjera...” в Берлине сообщал в редакцию, что в германских политических кругах подписание польско-немецкого пакта “понимается как успех национал-социалистического правительства”, который “поспособствует укреплению престижа Гитлера не только внутри государства, но и на международном уровне”. Он станет для канцлера “эффективным козырем” во время выступления в рейхстаге 30 января, когда исполнится год пребывания Гитлера в должности канцлера, тем более что это “единственная, пожалуй, положительная позиция в общем-то негативном балансе его заграничной политики”. В то же время в политических и дипломатических кругах в Берлине “нет недостатка и в голосах, выражающих удивление тем, что “Польша помогает Гитлеру в усилиях вырвать Третий рейх из “изящной” изоляции”. Однако буквально через три дня берлинская пресса уже подчёркивала “внутреннюю консолидацию и стабилизацию национал-социалистического режима”. Более того, заметил польский корреспондент, “намёка на польско-германский договор, одно из изданий констатирует: то, что год назад казалось невозможным, стало сегодня свершившимся фактом”, а это “является наилучшим доводом в пользу того, что временный период, как поначалу трактовалось правительство Гитлера, закончился”. Польско-германский договор “стал изумляющим и ошеломляющим завершением первого года правления Гитлера”. Говоря иначе, подписание пакта Липского-Нейрата помогло фюреру, на которого смотрели, как на фигуру преходящую, удержаться у власти.

Любопытны в этом смысле и противоположные, на первый взгляд, отклики бельгийской социалистической газеты “Peuple” и германской “Tag”, которую издавал министр экономики, сельского хозяйства и продовольствия в первом нацистском правительстве Альфред Гугенберг. “Peuple” полагала, что почвы для пакта нет, маршал Пилсудский и Гитлер “отдают себе отчёт в том, что он не стоит даже бумаги, на которой написан, так как национальные антагонизмы обеих стран становятся всё сильнее и, в конце концов, при-

ведут к выразительному взрыву”. Однако “Таг” пояснила, как он стал возможен. В публикации под заголовком “Два вождя при деле”, сообщал берлинский корреспондент варшавского “Kurjera...”, газета “возносит личные заслуги маршала Пилсудского и канцлера Гитлера в реализации соглашения. Только у таких людей, подчёркивает немецкое издание, могло получиться то, что никогда не сподобятся реализовать дипломаты”. Почему? Потому что профессиональные дипломаты предпочитают руководствоваться политической логикой? Так “отныне их влияние на ход польско-германских отношений исключено”. Иными словами, два амбициозных лидера сделали ставку на собственное видение того, что и как следует делать. Так в Европе начинался период, когда каждому следовало рассчитывать на себя, на собственную изворотливость.

Гитлер сразу начал резко наращивать военные расходы. Если в предшествующем польско-германскому соглашению году они составляли четыре процента государственного бюджета, то в год подписания — уже восемнадцать, через два года — уже тридцать девять, через четыре — половину. Ещё через год он громогласно заявил, что вообще прекращает соблюдение статей Версальского договора, которые ограничивают Германию во всём, что касается её вооружённых сил. И сообщил, что увеличивает армию сразу в пять раз, что намерен восстановить военно-воздушные, военно-морские силы, тяжёлую артиллерию. Рейхсфер был переименован в вермахт. Спустя год Гитлер ввёл свои войска в демилитаризованную по условиям Версальского мира Рейнскую область, что, как утверждают многие историки, и стало прологом второй мировой войны.

Отвести беду от себя на других?..

Почему Польша пошла на подписание той декларации? Нынешние польские историки стараются утверждать, что заключение пакта с Гитлером якобы стало результатом не только правильной оценки текущих европейских реалий, но и серьёзного стратегического предвидения, даром которого обладал Ю. Пилсудский. В том, что касается реалий, из которых исходил маршал, то, по мнению В. Матерского, “для Польши подписание совместного соглашения о ненападении существенным способом выровняло бы ослабление безопасности границ с Германией, вызванное её выходом из Лиги Наций. Заодно возвратило бы пошатнувшееся состояние равновесия между восточным и западным соседями”. Об уходе из Лиги Наций в рейхе было заявлено по результатам референдума, состоявшегося незадолго до визита польского посла Ю. Липского к фюреру. Надо полагать, в Варшаве это было истолковано так, что Гитлер не намерен “молиться” на международные соглашения, потому зыбкость границы, не признанной рейхом, возрастает. Отсюда — продемонстрированная быстрота польских решений.

Если же вести речь о предвидении, то Варшаве мнилось следующее: “международное неприятие Гитлера и Третьего рейха могло оказаться преходящим, что и подтвердил дальнейший ход событий, и если бы польский МИД не смог довести дело до подписания декларации, такая возможность была бы отодвинута на целые годы”. Сказанное означает, что Польше пришлось бы догонять не только Англию с Италией, но даже Литву с Эстонией и Латвией, которые впоследствии тоже подписывали договоры с нацистской Германией. Потому, “базируя безопасность государства на договорной дипломатии... Речь Посполитая не могла позволить себе подобный риск”. И проявила инициативу. Если следовать такой линии дальше, то получается, что Сталин был совсем плохо соображающим в политике персонажем, так как на заключение с рейхом договора о ненападении пошёл самым последним.

И всё-таки Войцех Матерский признаёт, что главные польские ожидания не оправдались. Подписанная декларация означала не усиление, а “ослабление безопасности границ с Германией”, поскольку в ней не оказалось как раз того, “что для польской дипломатии было самым важным” — признания их нерушимости. В таком случае, почему маршал Пилсудский, не видя в тексте столь нужного пункта, всё же пошёл на её принятие? Чем он предпочёл руководствоваться, единолично определяя внутреннюю и внешнюю политику второй Речи Посполитой, лишь изредка советуясь с соответствующими комиссиями сейма, так как “огромный авторитет и созданная после мая 1926 года система

власти позволяли ему действовать автономно”? Действительно, совершив государственный переворот и установив собственную диктатуру, маршал, не будучи ни президентом, ни премьером, а только министром по военным делам, стал самым главным в стране. Понимал ли он, какое лихо для Польши и всей Европы может принести Гитлер? Скорее всего, понимал, и предложение Франции атаковать Германию с обеих сторон, чтобы убрать из её руководства столь одиозную фигуру и стоящую за ней силу, только подтверждает это. Тогда что для него стало определяющим моментом?

Политика фюрера, конечно же, требовала действий, другое дело, каких и в союзе с кем. В таком случае, не был ли призыв немедленно ударить по Германии своеобразной “проверкой на вшивость” для французов? И не подтолкнул ли польского маршала отказ, полученный из Парижа, к действиям иного порядка? Тем более что его неудовлетворённость союзником нарастала: ещё в 1932 году из Польши была удалена французская военная миссия. Кроме того, вряд ли ему не было известно мнение Фердинанда Фоша о том, что Германия неизбежно постарается вернуть потерянное в первой мировой войне, а заключённый в Версале мир является лишь перемирием. Но если возобновление военного противоборства неизбежно, то резонен вопрос, что при подобном повороте событий светит Польше, да ещё и в условиях, когда к ней не очень-то прислушивается главный союзник. И какой тогда резон ставить только на него? Эта проблема Пилсудского не могла не тревожить, он не был глупым человеком, а замеченная за ним склонность к авантюризму как раз не отвергает наличия многообразных талантов. И Пилсудский, похоже, счёл более выгодным делом пособить Гитлеру, на чём выиграть кое-что себе, полагая, что победитель обижать помогающего не станет, а вознаградит. Помочь в чём? Прежде всего, в выборе пути. Так вызревала его идея: на случай возобновления большой драки подтолкнуть нацистского фюрера к избранию военного маршрута, на котором не будет Польши.

Развороту в сторону Германии, а также предположению, что Гитлер предпочтёт именно такой вектор приложения своих усилий, способствовали и другие соображения. Пилсудский объяснял своим подчинённым, что фюрер нацистов менее опасен для Польши, нежели предшествующие немецкие руководители, потому что он австриец, а не прусак, значит, не питает к полякам традиционной ненависти. Ему будет интереснее южное и юго-восточное направление, он сконцентрирует свои намерения на Австрии, Чехословакии, Румынии, Болгарии, а далее – на Турции. Польшу его гнев на этом этапе минует. То, что возрождение немецких appetitов может принести серьёзные проблемы и опасности для перчисленных соседей, в расчёт не принималось. Да и с какой стати ему было переживать за Чехословакию, если её польский маршал называл *искусственным детищем Версаля*. Кстати, о том, что Гитлер изберёт именно “южный маршрут”, подумывали и в других странах. Узнав о подписании польско-германской декларации, в Италии тоже сочли, что “пакт подтверждает бóльшую заинтересованность рейха делами на южном направлении, нежели на северо-востоке”.

Сыграли свою роль и русофобские настроения Начальника. И не только у него, а и у реализаторов его политики. Сразу после подписания польско-германской декларации во время беседы с французским министром иностранных дел Луи Барту, свидетелем которой была Женеви́ева Табуи, Юзеф Бек выразился более чем откровенно: “...Что касается России, то я не нахожу достаточно эпитетов, чтобы охарактеризовать ненависть, какую у нас питают к ней!” Пилсудский на эту тему высказался ещё раньше: “Когда возьму Москву, прикажу написать на стенах Кремля, что по-русски разговаривать запрещается”.

Но был и ещё один момент, сыгравший весьма важную роль в отвороте от Франции. Принимая в Варшаве Луи Барту, Начальник Речи Посполитой не стал скрывать своего недовольства, что “на всём протяжении истории французы никогда не испытывали достаточного уважения к польской нации”. Тем самым давал понять, что нахождение на второстепенных ролях его не устраивает. Затем добавил: “Мы восхищены нашими первыми соглашениями с Гитлером”. И в том восхищении, без сомнения, не могло не быть пожелания успехов новому партнёру, а также надежды, что за оказанную услугу он проявит больше почтения и благодарения, нежели прежний.

За декларацией о ненападении последовали соглашения, касающиеся взаимодействия двух стран в экономике, торговле, армейском, полицейском

деле, даже между средствами массовой информации. Как недавно подчеркнул в своем интервью portalу “wPolityce” автор книги “Танец с Гитлером. Польско-германские контакты 1930–1939” Радослав Голец, отношения Варшавы и Берлина, до этого ограничивавшиеся беседами дипломатов, “распространились на многие сферы жизни”. По инициативе Гиммлера была создана совместная группа для борьбы с коммунистами и украинскими террористами, в состав которой вошли офицеры гестапо и польского министерства внутренних дел. Активными стали контакты главного коменданта польской государственной полиции Кордиана Заморского с шефом германской полиции порядка Куртом Далюге. Кордиан Заморский приглашался на ежегодные “партайтаги” в Нюрнберге, где вручал высоким чинам рейха приглашения на охоту. Он же в феврале 1939 года сопровождал рейхсфюрера Генриха Гиммлера, посещавшего Польшу. Создавались польско-германские рабочие группы для сближения правовых кодексов двух государств. С польской стороны эти усилия координировал большой почитатель Гитлера, что тоже подчёркивает Радослав Голец, министр юстиции Витольд Грабовский, с германской – Ганс Франк, которому потом предстояло возглавить созданное на оккупированных гитлеровцами польских землях генерал-губернаторство с центром в Кракове. Есть в книге этого автора и эпизод, посвящённый тому, как польский атташе Витольд Мечиславский вместе Гиммлером посещал концлагерь Дахау. Надо полагать, тоже в рамках обмена опытом, так как к тому времени уже действовал польский концлагерь в Берёзе-Картузской.

Обменивались визитами высокопоставленные военные. Генерал Тадеуш Кутшеба, будущий командующий армией “Познань”, которому 28 сентября 1939 года придётся подписывать условия капитуляции Варшавы, уже в 1935 году поприисутствовал на маневрах вермахта. Польские эсминцы “Вихрь” и “Буря” совершали визиты вежливости в немецкие порты. Армейские и флотские контакты регулярно и широко освещала польская пресса, подчёркивая их теплоту. Даже предназначенный для провинциального читателя “Dziennik kresowy”, издававшийся в Гродно, 4 июля 1935 года на первой странице поместил снимок Гитлера, мило беседующего с группой польских морских офицеров, случайно встреченных им, так гласит подпись, в берлинском аэропорту. В рамках культурного обмена состоялась выставка польского искусства, побывавшая почти в двух десятках немецких городов. Многие польские актёры театра и кино, например, знаменитые Ян Кекур и Пола Негри, такой псевдоним был у Аполонии Халупец, делали активную карьеру и в рейхе. Когда Йозеф Геббельс запретил привлекать Полу Негри по подозрению, что у неё еврейские корни, в дело вмешался сам фюрер, которому она очень нравилась, снял все вопросы, и актриса до начала войны успела сняться ещё в десятке фильмов. По настоянию властей обеих стран, отмечает Радослав Голец, всё делалось для того, чтобы “переломить многовековую недоброжелательность поляков к немцам и наоборот”.

Яркой картинкой к тому, какие настроения, касающиеся западного соседа, поощрялись в польских государственных структурах, стали появившиеся в польской печати сообщения о владельце одного из варшавских складов аптечных изделий Нухиме Хальберштадте, обвинённом в “оскорблении канцлера Германской Империи использованием оскорбительных выражений”. Проступок Хальберштадта состоял в том, что на конверте, в котором ему по почте пришло предложение о сотрудничестве от известной немецкой фирмы “Электроденталь-Фишер”, владелец склада написал: “Множество раз просил господ не беспокоить меня своими посланиями. Поскольку существует гитлеровский строй, не буду принимать никаких предложений, пока Гитлер со своими голодранцами правит в Германии, и ни один порядочный человек не станет поддерживать отношений с вами”. И отправил назад.

Почтовые службы рейха переслали письмо в польское министерство почт и телеграфа, “следствие выяснило, что надпись на конверте учинил именно Хальберштадт”, и польская “прокуратура привлекла Хальберштадта к уголовной ответственности по ст. 111 УК, которая предусматривает наказание до 3 лет заключения”. Вскоре “Dziennik Narodowy” в публикации под заголовком “За оскорбление Гитлера”, сообщил, что Нухим Хальберштадт 26 сентября 1935 года получил восемь месяцев тюрьмы “без отсрочки от исполнения наказания”. Приговор мог быть и жёстче, так как вина Хальберштадта усугублялась тем, что “он оскорбил руководителя государства, с которым Польшу

соединяют дружественные отношения”, однако “был принят во внимание возраст обвиняемого”.

Сами с усами...

Польский вклад в создание в Европе ситуации, приведшей ко второй мировой войне, состоял не только в том, что Речь Посполитая сломала столь нежелательные для рейха военные “клещи”, стала активнее с ним торговать, проводить совместные военные учения, демонстрировать своё расположение к Берлину иными доступными средствами. Не менее значимыми для фюрера были польские старания, направленные на то, чтобы не возродилась система коллективной европейской безопасности. Польша делала настолько сильный акцент на двусторонних, билатеральных, как тогда говорили, связях с соседями и не только соседями, что “обязательства польско-французские и польско-румынские” ставила куда выше многосторонних. Даже в “ключевых для безопасности страны польско-французских отношениях маршал стремился к тому, чтобы альянс с Францией делать независимым от ослабляющих его эффективность третьих факторов, в особенности от Совета Лиги Наций”. Коллективную безопасность он считал иллюзией, подчёркивает Матерский. Добавим к сказанному историком, что Гитлеру тоже вовсе не нужен был коллективный фронт государств, противостоящих его реваншистским устремлениям. Для подтверждения совпадения и представлений, и стараний продолжим ссылаться на этого автора, который, разумеется, в своей книге защищал позицию польских властей, но ничего не мог поделать с фактами, являющимися, как известно, упрямой вещью.

Начнём с так называемого Восточного пакта, попытки заключить который предпринимались в течение трёх лет. Суть его состояла в том, чтобы ограничить возможности затеянного нацистами реванша путём усиления статус-кво, созданного Версальским миром. Идею договора осенью 1933 года выдвинул французский министр иностранных дел Жозеф Поль-Бонкур. Предполагалось, что его подпишут Германия, Латвия, Литва, Польша, СССР, Финляндия, Чехословакия и дадут обязательство не нападать друг на друга. Кроме того, Франция и СССР должны будут прийти друг другу на помощь в случае агрессии. Скорее всего, подразумевалось, что атаковать Францию может Германия, а СССР — Польша. Впервые тезисы будущего договора Поль-Бонкур изложил в беседе с полпредом СССР Валерианом Довгалецким, который, как утверждает Войцех Матерский, сразу же предложил распространить его действие и на дальневосточный регион, где советские границы уже подвергались проверке на прочность Японией, однако Поль-Бонкур такое дополнение отверг. Тем не менее, к концу декабря советский МИД сообщил, что “СССР выражает согласие на участие в том договоре Бельгии, Франции, Чехословакии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии, а также некоторых других государств, но с обязательным участием Франции и Польши”. Франция, в свою очередь, стремилась включить в пакт Германию, поскольку без неё “возникнут сложности с уже имевшейся соглашением с Берлином Варшавой”, в котором поляки видели “безопасность Речи Посполитой”, напоминает Матерский.

Германия отвергла идею пакта, о чём её министр иностранных дел фон Нейрат проинформировал посла Польши Липского в беседе, состоявшейся 13 июля 1934 года. В тот же день и польский министр Бек сказал немецкому послу фон Мольтке, что и “для польской внешней политики более важной является польско-германская декларация, нежели иллюзорно укрепляющий её безопасность Восточный пакт. Потому правительство РП (Речи Посполитой — **Я. А.**) не намерено участвовать в сомнительных комбинациях нарывать на рискованную пользу, которая из них вытекает”. Притом это было уже не первое такое обозначение польской позиции. Ещё 4 июня во время встречи в Женеве новый французский министр иностранных дел Луи Барту информировал Юзефа Бека о задуманном пакте, “включающем как Польшу, так и Германию, а также об одобрении того замысла Литвиновым”. С Литвиновым, который был наркомом иностранных дел СССР, Беку предстояло встречаться на следующий день. Однако и в беседе с Барту, и во время разговора с Литвиновым польский министр “очень сдержанно отреагировал на согласованный за его спиной замысел”, ограничившись выражением сомнения в том, что “Берлин согласится войти в такого рода комбинацию”, пишет Войцех Матерский.

При этом, подчёркивает он, Бек опять “не скрывал своего разочарования тем, что Париж маргинализирует роль Польши в системе союзов для Восточной Европы”.

Польский историк поясняет, что в предложенном пакте руководство польского МИДа усмотрело только видимость пользы от того, что в случае угрозы для Польши на помощь поспешат “все государства региона на основе автоматизма обязательств”. В Варшаве виделось, что он не только “ослаблял с таким трудом достигнутую разрядку в отношениях с СССР и Германией”, но и создавал фундамент для “вмешательства окрестных стран в польские внутренние дела”. Особая опасность виделась в Красной армии, которая, продолжим цитирование названного автора, “в случае каких-либо замешательств в балтийских странах или в Чехословакии, “неся им помощь”, вступила бы на польскую территорию и, возможно, навсегда”. Так же могли поступить и немецкие войска. И тогда “роль Польши в европейской политике подверглась бы полной маргинализации и была бы приравнена к роли Литвы”. Подобное приравнение для варшавских политиков было просто оскорбительным, с миниатюрной Литвой у Польши не было даже дипломатических отношений из-за отнятого у литовцев Вильнюса. Повод для беспокойства виделся и в том, что “в случае конфликта с Германией... французские гарантии заменились бы гарантиями СССР. А это расценивалось, скорее, как угроза, нежели польза”.

Такое понимание ситуации исходило, прежде всего, от маршала Пилсудского, чему Войцех Матерский тоже даёт довольно подробное пояснение. Дело в том, что как раз перед предложением подписать Восточный пакт – в мае 1934 года – “тайный коллектив генерала Фабрыцы”, который был первым заместителем военного министра, то есть самого Пилсудского, под криптонимом “Лаборатория” провёл среди высших польских военных специальное исследование угроз “на линии N–R (Niemcy–Rosja)”, то есть Германия – Россия. Семьдесят процентов военных в заполненных анкетах назвали Германию как “самую близкую по времени угрозу для безопасности польского государства”. Однако Пилсудский не согласился с полученным результатом: “маршал настойчиво указывал, прежде всего, на опасность с восточной стороны”. Генерал дивизии Казимеж Фабрыца был освобождён от занимаемой должности и отправлен инспектором во Львов. По убеждению “Пилсудского и Бека, вся французская концепция основывалась на полном незнании большевиков и коммунистической доктрины, на наивной вере, что СССР можно рассматривать как государство, приближенное к стандартам цивилизации”.

В то же время Бек об идее Восточного пакта чётко высказывался только в беседах с германским послом фон Мольтке, а во время встреч с дипломатами других стран он “лабирировал, избегал ясных деклараций, особенно с французами. Он не желал брать на себя неприянь за перечёркивание концепции, признанной Парижем панацеей от всех угроз мира в Центральной и Восточной Европе”. И так “в Париже, похоже, господствовало убеждение, что Бек вступил в разговор с Гитлером и вместе они ведут игру воображений, чтобы убить идею пакта”. Французский посол в Польше Жюль Ларош “дошёл до угроз, что под нажимом общественного мнения французское правительство может пойти на денонсацию военного союза с Польшей”. Не подействовало. В сентябре последовало сразу три возражения против подписания пакта: одно – от рейха, два – от Польши. В Берлине “отвергли возможность подписания какого-либо многостороннего договора о взаимной помощи в условиях, как подчёркнуто, когда Германия по-прежнему дискриминируется в сфере вооружений”. В Варшаве высказались против “участия Чехословакии и Литвы в предложенном соглашении, а также поставили под сомнение всё задуманное, если в нём не будет участвовать Германия”.

Не поспособствовало делу и подключение Лондона, предложившего несколько видоизмененную формулу пакта. Ради этого министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден съездил в Москву, куда английские руководители такого ранга после революции не наведывались ни разу, затем побывал в Берлине и Варшаве. В Москве ему удалось убедить Сталина в том, что взаимопомощь, предусмотренная пактом, должна носить не автоматический, а “факультативный” характер, то есть оказываться после дополнительных консультаций, а вот из Берлина и Варшавы пришлось уехать ни с чем. Лондонское предложение там не было принято, поскольку оно “угрожало “растворением”

польско-германской декларации в массе подобных соглашений о ненападении". Пилсудский и Идена "старался переубедить, что советская Россия представляет собой значительно большую угрозу для европейского мира, нежели Германия". Даже соглашаясь с утверждением, что Советский Союз является слабым государством, "маршал акцентировал иррациональность (истеричность) поведения советских властей в сфере отношений с границей, что – по его мнению – создаёт для Польши серьёзную опасность, большую, нежели со стороны куда больше обличаемого Третьего рейха". После отъезда британского министра Юзеф Бек пришёл к выводу, что "практически Восточный пакт можно считать похороненным".

Впоследствии не поддержало польское руководство и проект Западного пакта, подписантами которого собирались стать Франция, Англия, Бельгия, намереваясь распространить его действие и на Польшу с Чехословакией. Главная цель договора состояла в том, чтобы гарантировать "нерушимость территорий и границ". Но в Варшаве не желали гарантий внешних рубежей Чехословакии. Отвергнут был и тот вариант Западного пакта, который предполагал включение в число его участников и Польши, и Германии. Притом отвергнут несмотря на то, что, по мысли Войцеха Матерского, заключение договора "было равнозначно признанию роли Речи Посполитой как великой державы, государством, равным по значению, политическому и военному потенциалу остальным подписантам возможного пакта". На это требовалось согласие Германии, куда специально завернул Юзеф Бек по пути из Женевы в январе 1937 года. Однако "результат проведённого в столице Третьего рейха зондажа не был ободряющим". Почему? Не потому ли, что рейх как раз не нуждался в Польше, от которой могло что-то зависеть? Тем не менее, не поддержали в Варшаве и советское предложение сделать санкции Лиги Наций обязательными для исполнения. Войцех Матерский отмечает, что польский министр не "считал возможным дать Лиге прерогативы, непосильные для исполнения".

А теперь обратимся к результатам "билатеральных" отношений Польши с Германией и СССР в контексте официально провозглашавшегося равновесия. Для характеристики того, как они складывались, в какую сторону клонилась чаша, приведём ещё несколько высказываний Войцеха Матерского. Оказывается, несмотря на благозвучные заявления, в реальности "министр Бек охотно видел бы ограниченное сотрудничество с советской федерацией", притом "настолько ограниченное, чтобы оно не портило достигнутый уровень отношений второй Речи Посполитой с Германией". Выполнивший его установкой посол Польши в Москве Вацлав Гжибовский тоже исходил из того, что надо продолжать политику "видимости улучшения отношений с Советами". Всё это означало только одно: равновесие в отношениях Польши с западным и восточным соседями предполагалось только на словах, поскольку, "согласно неписаному "завещанию" маршала Пилсудского, наиважнейшим для польской внешней политики было противодействие угрозам с востока".

Как складывались отношения Польши с другими соседями? Ответ Матерского краток и конкретен: "Пилсудский, а затем и Бек действительно игнорировали чехословацкий фактор... Отношения с Чехословакией оставались плохими, с Литвой – фатальными. Опять обострился вопрос вольного города Гданьска... Охладели отношения Польши с балтийскими республиками, появилась неполезная тенденция в позиции традиционной дружественной Польше Румынии". В Бухаресте даже начали предостерегать Польшу от "возрастания германского влияния, которое уже проникает и во внутренние отношения и может со временем стать вредным для союза с Румынией". Тем не менее, в польской внешней политике ничего не менялось, министр Бек был "осознанно убеждён", что "её основы, установленные маршалом, можно продолжать, подбирая только тактические средства, в меру воспринимаемые обычными людьми, чтобы не совершить опасной ошибки". По словам Матерского, именно так министр сформулировал свою задачу перед президентом, премьером, коллегами по правительству, что было всеми ими воспринято с полным пониманием. Его позиция значила многое, так как тогда было "трудно ставить под сомнение практически беспорную роль полковника Бека как креатора польской внешней политики". Фактически Пилсудский, даже мёртвый, продолжал руководить Польшей. В происходивших событиях пытались найти подтверждение верности пути, избранного покойным маршалом и упорно реализуемого

его министром иностранных дел. Занятие Гитлером демилитаризованной зоны на Рейне в начале марта 1936 года было истолковано как подтверждение правильности суждений Пилсудского о неэффективности многосторонних договоров.

Никаких возражений по поводу ремилитаризации рейнской зоны Польша не высказала. Как отметил Юзеф Бек в беседе со своим заместителем Яном Шембеком, “в случае возможного нарушения Германией демилитаризованной Рейнской сферы... это можно будет интерпретировать так, что то нарушение не создаёт для нас так называемый *casus foederis* в рамках польско-французского альянса”. Иными словами, оно не рассматривалось как повод для вступления в силу обязательств по союзному договору с Францией. Такое своё толкование обязательств Бек изложил и в беседе с новым французским послом Ноелем, добавляет Матерский, делая при этом весьма важное уточнение: “Польская пресса в комментариях на эту тему в целом разделяла немецкую аргументацию”. Настолько разделяла, что “её тон вызвал возмущение французского дипломата”, у которого сложилось впечатление, будто “сам министр Бек редактировал распространённое полуофициальным агентством “Искра” коммюнике по вопросу Рейна, уделив главное внимание сохранению спокойной, правильной атмосферы в отношениях с Берлином”. При этом польский историк признаёт, что “введя войска в демилитаризованную Рейнскую область, Третий рейх нарушил... прежде всего, Версальский договор, являющийся основой мирного устройства на континенте”.

Не вызвало возражений Варшавы и вступление вермахта в Австрию в марте 1938 года, хотя оно стало более “болезненным ударом по версальскому миру”. Кроме того, оказывается, польский министр иностранных дел ещё в начале года был уверен, что такое случится, о чём сказал Бенито Муссолини во время визита в Италию. Дуче был весьма удивлён. А ещё Юзеф Бек предвидел, что следующей жертвой рейха станет Чехословакия, потому, сообщает Войцех Матерский, предложил и венгерскому лидеру Миклошу Хорти, приезжавшему в феврале в Варшаву, предусмотреть “польско-венгерское взаимодействие... , прежде всего, на территории Словакии и так называемой Руси Подкарпатской”. Министр исходил из того же убеждения, что и маршал Пилсудский: “Поворот немецкой экспансии на юг отвратит заинтересованность Берлина в восточном направлении”.

Кстати, польский военный историк полковник Ян Цялович полагал, что авторство аншлюса Австрии – речь об идее – принадлежит именно Пилсудскому, утверждавшему, что он даже знает цену, за которую эту страну можно присоединить к Германии. Правда, саму цену маршал не называл, но польские аналитики полагают, что возможной платой он считал присоединение Восточной Пруссии к Польше. Не исключено, что именно поэтому к поглощению Австрии и расчленению Чехословакии в Варшаве подготовились куда лучше, чем к ремилитаризации Рейнской зоны. Нет, о получении части Австрии или Пруссии речь не шла. В прессе Речи Посполитой, на уличных митингах раздались призывы “На Ковно!” – Каунас тогда был литовской столицей, заговорили о “польском аншлюсе”. Через пять дней после вступления вермахта в Вену “вице-министр Шембек направил литовским властям ультиматум с требованием в течение 24 часов установить с Польшей дипломатические отношения без всяких предварительных условий”. На границе с Литвой была сконцентрирована 100-тысячная армия. Соседей понуждали официально отказать от отторгнутого Вильнюсского края. Литовские власти вынуждены были обратиться за помощью в Париж, Лондон, Москву. В Париже польская акция была охарактеризована как “грубое выступление”, которое “указывает на существование какого-то тайного соглашения Варшавы с Германией”. В Москве послу Гжибовскому заявили, что “возможная акция Польши против Литвы вызовет серьёзные осложнения”. Получив поддержку, каунасское правительство поступило по-своему: дипломатические отношения с Варшавой установило, но признавать аннексию своих земель не стало.

Ещё более активно Речь Посполитая действовала в “чехословацком вопросе”. За полторы недели до мюнхенского сговора, по условиям которого главы Франции, Великобритании, Италии дали добро Гитлеру на раздел Чехословакии, Варшава через своего посла Казимежа Папее 21 сентября 1938 года предъявила Праге требование отдать Польше ту часть Тешинской Силезии, которая в 1920 году была включена в состав Чехословакии решением

международного арбитража. В тот же день генеральный инспектор польских вооружённых сил маршал Э. Рыдз-Смиглый приказал сформировать специальную оперативную группу “Силезия” под командованием генерала Владислава Бортновского для вторжения на территорию южных соседей. И 1 октября оно случилось, что в Речи Посполитой было воспринято как “огромный успех польской внешней политики”. В ответ на советские протесты и обещание военной помощи чехословакам Геринг и Риббентроп заверили Бека, что их правительство “в случае польско-советского конфликта пойдёт дальше, чем доброжелательное отношение”. Польское участие в демонтаже общего дома чехов и словаков проходило при полной поддержке Берлина.

Первый звонок...

Тем не менее, в то же самое время прозвучали весьма тревожные для Польши звонки. Первый раздался ещё в Мюнхене, где решалась судьба Чехословакии. И решалась без участия Польши: “Речь Посполитая оказалась вне коллегии, определяющей европейскую политику”. Констатировав это, Войцех Матерский походя обозначил ещё один момент, опровергающий тех, кто твердит, будто намерение напасть на Польшу возникло у Гитлера только после подписания пакта Риббентропа–Молотова. Атака на Речь Посполитую, оказывается, была задумана фюрером ещё в 1938 году, потому-то “в Берлине решено было втянуть её в раздел Чехословакии и тем самым заблокировать предполагаемую возможность “взаимодействия Варшавы и Праги на антинемецкой платформе”. Польша обладала одной из самых больших армий в Европе, а Чехословакия была лучше всех вооружённой, их взаимодействие могло сломать все реваншистские планы Гитлера. Именно так трактовал ситуацию советник германского посольства в Варшаве Рудольф фон Шелина, работавший, как потом выяснилось, не только на рейх, но и на одну из западных разведок. А 24 октября 1938 года ударил колокол: “Риббентроп заявил послу Липскому, что пришла пора увенчать дело двух великих политиков – Гитлера и Пилсудского – комплексным урегулированием взаимных отношений”. Польша предлагалось отдать рейху “вольный город Гданьск” и согласиться на экстерриториальную железнодорожную линию, соединяющую основные территории Германии с Восточной Пруссией, бывшей тогда анклавом. Взамен ей было обещано доброжелательное соседство и продление с 10 до 25 лет действия той самой декларации о ненападении, которую Липский подписывал четыре года назад.

Вскоре Речь Посполитая получила и предложение “присоединиться к антикоминтерновскому пакту, что на практике было равнозначно военному союзу”, пишет Войцех Матерский. А Пётр Гурштын уточняет, что “5 января Юзеф Бек прибыл в альпийскую резиденцию Гитлера в Берхтесгаден. Возвращаясь из отпуска на Лазурном берегу, он использовал эту оказию для очередных переговоров с Германией. Фюрер принял его чрезвычайно галантно, но содержание его предложений встревожило Бека”. Глава рейха не только повторил “предложение от октября 1938 года, которое касалась Вольного города Гданьска, экстерриториального транзита и присоединения к антикоминтерновскому пакту”, но поставил ещё одну точку над “i”, заявив Беку, что “общность интересов Германии и Польши в том, что касается России, является полной: для Германии Россия, что царская, что большевистская, является одинаково опасной. В этом смысле сильная Польша просто необходима для Германии”. И расшифровал главную суть обозначенной необходимости, добавив, что “каждая польская дивизия, использованная против России, сохранит немецкую дивизию”. На следующий день Бек разговаривал с Риббентропом и “тоже вышел с предчувствием, что речь идёт не только о Гданьске и “коридоре”... Реальной же его целью была вассализация Польши. Бек это почувствовал сразу”.

Так ли уж сразу? По мнению того же Матерского, “канцлер Гитлер с самого начала не скрывал, что трактует декларацию от января 1934 года как выражение единства против совместного врага – Советского Союза и международного коммунизма”. А ведь даже у некоторых МИДовцев Речи Посполитой, к примеру, у заместителя министра Яна Шембека, возник вопрос, “не фикцией ли является вся немецкая политика добрососедства, вытекающая из пакта 1934 года”, а на самом деле “отношение Германии к нам опирается на

тезис... что в будущем немецко-российском конфликте Польша будет естественным союзником Германии". Сам Бек "был готов к переговорам и уступкам в гданьских и транзитных делах", отмечает и Гурштын, но не "настолько далеко, чтобы они уменьшили суверенность Речи Посполитой", потому его всё больше "бесила настырность Гитлера и Риббентропа". Получается, глава МИДа так и не смог за все годы контактов с фюрером и его министрами понять, что Польша нужна рейху не как союзник, а как послушный исполнитель, и не больше. Бек стал чуть ли не последним, до кого дошло, что коготок польской птички увяз весьма основательно, ей предстояло или стать немецкой, или пропасть, если она не согласится.

Прозевал глава польского МИДа и ещё один чрезвычайно важный для его страны аспект. Юзеф Бек "несмотря ни на что не мог себе представить, что ради тактической пользы Гитлер сочтёт возможным протянуть руку Сталину". А ведь фюрер буквально через неделю после встречи с Беким сделал довольно прозрачный намёк, что подобное не исключено. На традиционном новогоднем дипломатическом приёме, состоявшемся 12 января, Гитлер, который "на такого рода мероприятиях демонстративно игнорировал советских представителей", вдруг "посвятил много времени сердечной беседе с послом Алексеем Мерекаловым". Министр, "находясь под впечатлением антикоммунистической риторики политиков Третьего рейха... не допускал даже мысли о возможной констелляции "R + N"... не реагировал на раздающиеся в то время в кругах пилсудчиков голоса, предостерегающие от угрозы соглашения между Всероссией и Всегерманией". Бек не воспринял предупреждений своего заместителя о том, что "Берлин ищет сближения с Москвой", больше доверял своему послу в СССР Гжибовскому, который пребывал в уверенности, что Шмебек заблуждается.

А ведь были и другие сигналы. В тот же день, добавляет Пётр Гурштын, "посол Речи Посполитой в Финляндии Генрик Сокольниковский направил в Варшаву депешу о своей беседе с командующим финской авиацией Ярлом Фрильофом Лундквистом, который рассказал ему о разговоре с одним из французских генералов: "Тот генерал предложил пари ген. Л., что к осени 1939 г. состоится четвёртый раздел Польши, притом Франция не пожелает и не сможет вмешаться с целью защитить Польшу". Акцент в депеше делался на то, что Франция не пожелает. В тот самый день, подчёркивает Гурштын, и "американский военный атташе в Варшаве Уильям Кольберн направил в Вашингтон рапорт со своими выводами". Их было три. Первый – судьба Польши "зависит от её союзов, и если те союзы будут низведены до нуля в течение весны или лета нынешнего года, то было бы удивительным, если бы Германия не пожелала возврата Силезии, Познани..." Второй – "если Германия сосредоточится на войне с Польшей, то не будет сомнений в том, чем она завершится... ни один польский офицер не верит, что Польша сама сможет дать отпор немецкому численному и техническому превосходству". Третий – определяющая ценность военного союза Польши с Германией состоит в том, что "в таком случае Германии не надо было бы воевать за доступ к российской границе". И как только немцы "достигнут своих целей в России", они заберут и Поморье, ибо такой союз им нужен только временно. Но вступив в него, "Польша отрёклась бы от долговременного союза с Францией". То есть катастрофа Речи Посполитой и американцу виделась неминуемой.

Ограниченность польских возможностей для политического маневра была очевидна даже для более удалённого наблюдателя, чем американский атташе в польской столице. Ещё в конце 1938 года Уинстон Черчилль в одном из писем своей жене Клементине предсказал, что следующей реальной целью Гитлера станет именно Польша, а не Румыния, как многие полагали, в том числе в Варшаве. Пётр Гурштын подчёркивает, что Черчилль, который, кстати, тогда ещё не был британским премьер-министром, ошибся только в том, что касалось даты атаки на Речь Посполитую, поскольку предполагал, что это случится в феврале или марте 1939 года.

Приведённые примеры взяты из книги Гурштына, которой автор дал красноречивое название: "Ribbentrop-Beck. Czy pakt Polska-Niemcy był możliwy? (Риббентроп-Бек. Возможен ли был пакт между Польшей и Германией)". Отрывок из неё недавно опубликовал польский портал *histmag.pl* с не менее интригующим заголовком: "С дьяволом или против дьявола". Вопрос, с кем и против кого, в самом деле, в те дни в полный рост стоял перед польскими политиками,

и не только перед политиками, не упомянуть о чём попросту нельзя. Как констатировал в одной из своих публикаций и известный польский аналитик Станислав Жерко, тогда в Речи Посполитой было много людей, руководствовавшихся побуждением “хоть с дьяволом, но против русских”. И, как потом оказалось, то были не просто побуждения. По подсчётам профессора Силезского университета Рышарда Качмарека, на стороне Гитлера воевало более четырёхсот тысяч граждан довоенной Речи Посполитой, о чём он и написал в своей книге с красноречивым названием “Поляки в вермахте”. Уже в мае 1941 года соотечественники автора были в числе германских десантников, захватывавших Крит. Во время битвы под Монте-Кассино, утверждает он, погибли родные братья, но похоронены они на разных кладбищах, так как воевали по разные стороны фронта.

Есть “любопытные” факты и иного порядка, о которых тоже не принято было вспоминать в социалистические времена. В частности, о том, что во время первого боя с гитлеровцами сформированной в СССР польской пехотной дивизии имени Костюшко, который состоялся в октябре 1943 года около белорусского посёлка Ленино на Могилёвщине, полякам противостояли не только немцы, но и их земляки, служившие в вермахте. Более того, воспользовавшись общим языком, те в первую же ночь проникли на позиции костюшковцев и нанесли им серьёзные потери. Не менее интересные в этом смысле детали содержит и хранящаяся в Национальном архиве Республики Беларусь расшифровка стенографической записи ежедневных устных докладов по спецсвязи члена Военного совета Первого Белорусского фронта генерал-лейтенанта К. Ф. Телегина заместителю начальника Главного политического управления РККА генерал-лейтенанту И. В. Шикину о боях за восставшую против гитлеровцев Варшаву в сентябре-октябре 1944 года. Участвовала в них и та самая первая польская пехотная дивизия. Во время дерзкой атаки на немецкие позиции, которая состоялась 10 сентября, костюшковцами были захвачены пленные. Выяснилось, сообщил К. Ф. Телегин, что это поляки, и “солдаты первой дивизии и тут же на поле боя основательно избили их”. Теперь на родине профессора Качмарека, по его же оценкам, проживает несколько миллионов родственников тех, кто дрался за дело фюрера.

Но летом 1939 года у Польши всё-таки ещё был шанс выступить против дьявола со свастикой. Оставалась возможность, “поднять советскую карту”, которая лежала на столе переговоров, отмечает Матерский. Однако Бек продолжал придерживаться прежней точки зрения. Похоже, при оценке ситуации решающую роль играло неприятие “любой России”. Возможность каких-либо политических соглашений с Советским Союзом им трактовалась только в смысле “ненужного провоцирования Гитлера”. Появление польской подписи рядом с советской под любой декларацией, по его мнению, означало бы “присоединение к антинемецкому фронту”, на что “естественной реакцией Берлина был бы удар по Польше”. А “вхождение в союзнические отношения с восточным соседом только ускорило бы немецкую агрессию”. Именно так в марте 1939 года он и ответил на предложение Лондона о подписании “Великобританией, Францией, СССР и Польшей документа о совместных гарантиях стабильности в Центральной Европе... к которому могли присоединиться и другие государства”. Матерский уточняет, что Бек даже “отказался от личных контактов с руководством советского посольства”.

Такие его настроения подкреплялись позицией посла в СССР Гжибовского. В беседе с новым главой советского наркомата иностранных дел В. М. Молотовым, состоявшейся 9 мая 1939 года, Гжибовский вновь подтвердил то, что говорил и М. М. Литвинову: Польша “не примет никаких советских гарантий и не намерена подписывать никакого нового двустороннего соглашения политического характера”. Он самоуверенно повторял, что его страна “сама попросит помощи у СССР, если в этом появится потребность”. И однажды получил ответ, что она “может обратиться тогда, когда будет уже поздно”. Излагая в своей книге эти нюансы, Войцех Матерский задался вопросом, не получилось ли так, что “в момент, исключительно трудный для второй Речи Посполитой, московской площадкой руководил не человек, соответствующий времени, а, скорее, фантаст, чем реалист”. Но только ли для “московской площадки” польской дипломатии такое было характерно? Увы! Польские военные во время контактов с французскими и британскими коллегами тоже твердили “о ненужности каких-либо советских гарантий для Польши на случай угрозы или открытого конфликта с Третьим рейхом”.

Последним вкладом в недопущение коллективного фронта против Гитлера стали польские усилия, направленные на срыв англо-франко-советских переговоров в Москве в августе 1939 года. На них из уст советского маршала Ворошилова многократно звучал вопрос, сможет ли Красная армия, “выполняя пункты готовящегося соглашения, пройти через территорию Польши или Румынии”. От ответа зависел смысл дальнейших дискуссий. Но “несмотря на нажим Лондона и Парижа, министр Бек по-прежнему отвергал принятие трёхсторонних гарантий”. Ему достаточно было английских и французских, которые уже были даны. Польский публицист Дариуш Балишевский, ссылаясь на французские документы, напоминает, что, когда французы спросили, как без помощи русских поляки намерены “организовать вооружённый отпор на случай возможной немецкой агрессии”, 19 августа 1939 года получили ответ от министра Бека: “Это для нас дело принципа. У нас нет военного соглашения с СССР и нет желания его иметь!”

Сразу после заключения проклинаемого поляками договора Риббентроп–Молотов, советская газета “Известия” в номере за 27 августа 1939 года, разумеется, не только от своего имени, поставила вот какую точку в ситуации: “Не потому прервались военные переговоры с Англией и Францией, что СССР заключил пакт о ненападении с Германией, а наоборот, СССР заключил пакт о ненападении с Германией в результате, между прочим, того обстоятельства, что военные переговоры с Францией и Англией зашли в тупик в силу непреодолимых разногласий”. Центральным пунктом тех разногласий стала внешняя политика Польши, главным “креатором” которой был Юзеф Бек. Признать такое на берегах Вислы не могут доселе. Даже для историка, а не политика Войцеха Матерского в тех трёхсторонних переговорах нынче “существенным является выдвигание на первый план одного момента, указывающего на цинизм советской стороны”. Оказывается, это Москва “создавала себе алиби, стараясь убедить мир, что это Париж и Лондон виноваты в надвигающейся катастрофе”, это “Сталину нужен был срыв переговоров, но сделанный западными странами”.

Нежеланию Речи Посполитой получить гарантии Советского Союза есть более правдоподобное объяснение, данное польским послом Ю. Лукасевичем французскому министру иностранных дел Ж. Бонне: “Бек никогда не позволит русским занять те территории, которые мы забрали у них в 1921 г.”. Опасение базировалось на том, что, вступив на эти земли, советские войска оттуда уже не уйдут. И они были не безосновательны, ведь ни белорусы, ни украинцы, ни литовцы, пребывавшие под польской властью, отнюдь не излучали от этого счастья. Как потом вынужден был признать польский аналитик Богдан Скарадзинский, уходивших в 1939 году поляков никто не провожал со слезами на глазах. А вот красноармейцев встречали по-братски. Уинстон Черчилль сказал полякам коротко и ясно: у вас забрали то, что вам и не должно было принадлежать.

Говоря о пакте Риббентропа–Молотова, после которого состоялось то, что на Висле называется четвёртым разделом Польши, желательно всё-таки обозначить ещё один важный нюанс, который, как правило, тоже остаётся в дискуссионной тени. И даже провести историческую аналогию. По большому счёту, советскому руководству и Сталину в 1939 году пришлось решать ту же проблему, что и императрице Екатерине Великой. Суть её вновь была не только в том, чтобы вернуть своё, и Сталин, конечно же, был не против такого возврата, но та задача не являлась единственно приоритетной. Вряд ли в СССР были в неведении об уже подготовленном германским генштабом плане нападения на Речь Посполитую под криптонимом “Вайс”. И вряд ли были сомнения, что Польша не устоит. Но если всю её отдать рейху, то граница с Германией окажется рядом с Минском, всего в семистах километрах от Москвы. Ещё ближе – к Ленинграду. А сразу за ней – готовые к атаке корпуса вермахта. Мог ли здравый политик отказаться от попытки отодвинуть такой рубеж на три-четыре сотни километров? Чёткий ответ на этот вопрос дал Черчилль, заявивший, что “. . . Советскому Союзу было жизненно необходимо отодвинуть как можно дальше на запад исходные позиции германской армии с тем, чтобы русские получили время и могли собрать силы со всех концов своей колоссальной империи. . . Если их политика и была холодно расчётливой, то она была в тот момент также в высокой степени реалистичной”. Очень интересно на сей счёт выразился и Дариуш Балишевский в журнале “Впрост”. В публикации “Странная польско-советская война” он предположил, что только

после 17 сентября “польское правительство и польское главное командование поняло советскую агрессию как стратегическое желание ограничить пространство немецкой оккупации Польши, как замысел отодвинуть немецкую границу на 300–350 километров на запад”. Потому-то польская сторона “в событиях 17 сентября не усмотрела состояния войны” и не объявляла её Советскому Союзу. И это “факт капитального значения для понимания того, что тогда случилось”. Впрочем, констатирует Балишевский, на тот момент “в реальности польское государство и правительство уже не существовали... начиная с 6 сентября... никто не управлял и не отдавал приказов”.

В этой связи невозможно обойти и ещё один нюанс, касающийся того договора и его трактовки в самой Польше. Ведь то, что в Варшаве говорится о нём сейчас, абсолютно противоречит характеристикам, звучавшим на Висле сразу после его подписания. В те дни в Речи Посполитой он был воспринят с оттенком явного пренебрежения. Современный польский автор Славомир Ценцкевич считает, что договор в Польше просто проигнорировали. Польское правительство заявило, что это “мы первые заключили с СССР пакт о неагрессии”, что “Берлин получил от СССР только то, что мы уже имеем давно”. Варшавские газеты писали о нём, как о дешёвой сенсации, которая не будет иметь практического значения. Уже упоминавшийся “Dziennik Narodowy” 25 августа 1939 года в материале под заголовком “Ничего не изменилось” сообщал, что пакт “не вызвал впечатления, которого от него ожидали”, хотя предполагалось, что “он ослабит союзнические отношения между западными сверхдержавами и Польшей”. Наоборот, “Англия и Франция не только подтвердили свою верность союзам”, но и дали понять, что “выступят немедленно и активно, если Польша сочтёт это необходимым”. На следующий день та же газета на фоне всё заметнее ухудшающихся отношений с Германией подчёркивала, что “у польского народа героическая позиция”, что агрессор “будет стёрт в порошок”, что союзники Польши никогда ещё не испытывали такого вдохновения перед боем, так как “от свободы и жизни Польши зависит судьба других государств Европы”. “Kurier Warszawski” тоже констатировал, что весь мир с удивлением и уважением смотрит на польское спокойствие, сплочённость и готовность к борьбе. Верховный главнокомандующий маршал Эдвард Рыдз-Смиглый твердил, что “не отдадим даже пуговицы”, хотя самое ценное имущество, жену и прислугу он приказал эвакуировать из дома, в котором жил в столице, ещё до начала войны, с горечью напоминает Мариуш Новик в польском издании журнала “Newsweek”. Начальник генерального штаба Вацлав Стахевич тоже уверял сограждан, что “разобьём немцев сами”. Да и Юзеф Бек, исходивший из возможности “получать пользу от захватов Гитлера, не давая ему никаких официальных обязательств”, то есть попросту обводить его вокруг политического пальца, полагал, что польская армия сильна и “в случае чего быстро его проучит”, напоминает современный польский публицист Рафал Земкевич. А его коллега Богдан Пентка цитирует “Ilustrowany Kurier Codzienny”, который 31 августа утверждал, что “немецкий солдат драть-ся с поляками не желает и удирает за границу”, более того, “первый же час войны станет призывом к революции в III рейхе”. Однако уже 8 сентября 16-й танковый корпус вермахта достиг предместий Варшавы.

По словам Мацеревича, к той войне “польский солдат был подготовлен”, и если бы не советский удар в спину... Однако, что было в реальности? В книге Войцеха Матерского сказано, что в начале 1939 года “специалисты третьего отдела Главного штаба Войска Польского под руководством полковника Юзефа Яклича представили план “Восток” – единственный после 1918 года детально завершённый оперативный план Войска Польского на случай войны”. Основные его положения “предусматривали, что вторая Речь Посполитая будет вести войну с СССР в союзе с Румынией”. Так о какой готовности к немецкому удару можно говорить, если не было даже плана отпора? И не потому ли в польском генералитете в первую же неделю немецкого наступления, ещё до “удара в спину”, началось нечто трудно вообразимое для хорошо организованных вооружённых сил. Командующий группой войск “Пруссия” генерал Стефан Домб-Бернацкий, увидев, что ситуация складывается не лучшим образом, переоделся в гражданский костюм и покинул не только поле сражения, но и страну. Командующий армией “Лодзь” генерал Юлиуш Руммель на шестой день войны после бомбардировки его штаба немецкой авиацией поспешно убыл в неизвестном для подчинённых направлении. Как потом выяснилось,

в Варшаву. Уже упоминавшийся генерал Казимеж Фабрыцы, назначенный 12 сентября командовать армией “Малопольша”, предпочёл податься в Румынию.

Насколько готовы были к войне польская экономика и общество? Так, промышленное производство в стране не достигло уровня 1913 года. О переживающем спад сельском хозяйстве вице-премьер Е. Квятковский говорил в 1935 году в сейме, что “польская деревня в XX веке почти вернулась в натуральное хозяйство”, в крестьянских домах “спички делятся на части, возвращается лучина”. Характеризуя общественные настроения в той Речи Посполитой, британский историк Норман Дэвис сделал вывод, что в ней “господствовала единственная в своём роде атмосфера сладости, перемешанной с горечью. С одной стороны, её характеризовали гордость и оптимизм, вытекающие из независимости, с другой – грустное ощущение, что поражающих проблем нищеты, политики и опасностей не получится решить, опираясь на существующие возможности... Правительственная элита сияла радостью... Буржуазия роскошествовала... Но рабочий класс был неспокоен. Евреи – полны опасений. Интеллектуалисты – открыто критичны... В течение 1939 года состояние Польши ухудшалось от тяжёлого к смертельному”.

Получив британские гарантии, о которых впервые было заявлено ещё в последний день марта 1939 года, варшавская политическая верхушка – и не только она – пребывала в состоянии, которая характеризуется польской поговоркой “быть у Бога за печкой”, что соответствует русскому “у Бога за пазухой”. Насколько это соответствовало внешнеполитическим реалиям? Вот что о тех гарантиях пишет Норман Дэвис: “Чемберлен “полностью отдавал себе отчёт, что практически помочь Польше нельзя ничем. Делая тот жест, он... хотел не столько помочь Польше, сколько устроить Гитлера. Понимал, что британские силы для этого не располагают ни людьми, ни кораблями, ни самолётами”. И ставит точку: “Вторая Речь Посполитая была приговорена к смерти”.

Конкретизирует политическую картину тех лет и то, как британские государственные люди смотрели на Речь Посполитую, которая ожидала от них помощи. Вот какие “характеристики” приводит в своём двухтомнике Норман Дэвис. Дэвид Ллойд Джордж говорил о Польше, как о “дефекте истории”, исходил из того, что она “являет собой хронологию исторической неудачи” и всегда будет “примером коллапса”. Историк, политолог, дипломат Эдуард Карр называл Польшу фарсом. Для теоретика современного капитализма Джона Кейнса она была “экономической невозможностью, единственным промыслом которой является жидожорство”. Сильно отличаются эти суждения от тех времён, когда Речь Посполитую называли европейским кабаком и борделем? Способствовали они выполнению провозглашённых гарантий? Положительный ответ не вытекает из этих суждений, тем паче, что были утверждения и покрепче, например, что Польша просто патологична. К слову, Норман Дэвис свой труд, посвящённый истории этой страны, тоже назвал весьма красноречиво: “Божье игрище”.

Теперь в Европе часто повторяются слова Молотова, что Польша является уродливым детищем Версальского мира, что она к 17 сентября 1939 года перестала существовать. Однако уточним два момента. Во-первых, Молотов продублировал то, что Пилсудский говорил о Чехословакии. И этим советский нарком давал понять польским политикам, что они напоролись на то, за что боролись, что падение их страны является результатом их собственных усилий, притом с весьма быстрым результатом: “...никто не мог думать, что Польское государство обнаружит такое бессилие и такой быстрый развал”. Фактически он повторил вывод Ллойда Джорджа, который тогда же сказал, что “Польша заслужила свою судьбу”. Во-вторых, что не менее важно, “проклятые москали” никогда не опускались до столь оскорбительных характеристик в отношении своего соседа, подобных тем, какие озвучивали высокие представители государства-союзника, на словах гарантировавшего суверенитет Речи Посполитой.

Но есть и ещё один момент. Тот же Норман Дэвис задаётся вопросом, почему Юзеф Бек “наивно верил в искренность гарантий государств-союзников”. Как полагают некоторые современные польские историки, он строил свою игру с Гитлером ещё и на том, что союз Польши с Великобританией оставит его, заставит сохранить хорошие отношения с Польшей, а Польша

продолжит балансирование уже между Берлином и Лондоном. Но та игра лишь разозлила фюрера. Однако Войцех Матерский считает, что гарантии были последней соломинкой, за которую можно было ухватиться в поисках спасения. Ситуация дошла до того, что “возможности базировать безопасность Речи Посполитой на политике равновесия себя исчерпали. Германское предложение было отвергнуто, подчинение доминированию СССР не входило в расчёты, Лига Наций фактически была уже мёртвым созданием, констелляция Межморья или третьей силы оказалась нереальной. Оставалась борьба за расширение сферы британских и французских обязательств”. Но желали ли расширения своих обязательств ради Речи Посполитой в Лондоне и Париже? Ответ давно известен. Польше протянули не руку, а именно соломинку. Даже не протянули, а только показали. Уже 12 сентября, менее чем через две недели после гитлеровского нападения на Речь Посполитую, высшие военные советы Великобритании и Франции в присутствии премьер-министров обеих стран приняли решение о немедленном прекращении военных действий против Германии. Польские историки Ян Карский и Лех Выщельский выяснили, что ещё 4 мая 1939 года генеральные штабы Франции и Великобритании приняли решение “о неказании военной помощи Польше во время её войны с Германией”, придав этому “гриф секретности”.

В принципе, произошло то, чего в глубине души опасался ещё Пилсудский, идя на подписание декларации с Германией и тем самым ослабляя отношения с Францией. Как утверждал Ян Цялович, в беседе с одним из своих генералов маршал заметил: “Мы сидим на двух стульях, но это не может продолжаться долго. Нам только нужно знать, с какого мы упадём сначала”. Результат получился таким, что свалились с обоих.

Набат

Поначалу “в Берлине попросту не могли поверить, что Варшава предположила угрозу конфликта с Германией, а не пользу, вытекающую из сотрудничества с нею”. Ведь “канцлер Гитлер с самого начала не скрывал, что декларация от января 1934 года он трактует как выражение единства в отношении общего врага – Советского Союза и международного коммунизма”, напоминает Матерский. И когда заявлял об общности интересов Германии и Польши в отношении СССР, для него вряд ли было тайной то, что говорилось в докладе второго отдела главного штаба Войска Польского в декабре 1938 года: “Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке”, важно только “кто будет принимать участие в разделе”, но “Польша не должна остаться пассивной в этот замечательный исторический момент”. О совместном походе на восток не раз говорил польским военным и Герман Геринг во время своих приездов на охоту. Намекал он Беку и на получение выхода Польши к Чёрному морю, добавляя при этом, что оно не хуже Балтийского. И не получал возражений, наоборот, Бек не скрывал, что его страна заинтересована в приращении своих территорий за счёт украинских земель. Короче, было пять лет взаимопонимания и активного сотрудничества, и вдруг... В Берлине даже предположили, что причиной варшавского разворота является растущий экспансионизм самой Речи Посполитой, констатирует Матерский.

Тем не менее, “приближался решающий момент в безоглядной игре, жертвой которой могла стать Польша...” Он наступил 26 июля. В тот день “заведующий восточноевропейской референтурой политико-экономического отдела МИД Германии К. Шнурре пригласил на ужин двух советских дипломатов и открыто предложил политическое сотрудничество...” Ровно через неделю советского полпреда Георгия Астахова вызвал уже министр Риббентроп. Он заявил, что между двумя государствами не существует конфликтных вопросов, “по всем проблемам, касающимся территорий от Балтийского до Чёрного морей, можно без труда договориться”. Советские власти ответа не дали, заметил по этому поводу Матерский, полагая, что нарком иностранных дел В. М. Молотов таким образом “набивал цену”. Но “12 августа состоялась вторая встреча с Астаховым. Через декаду германо-советский договор был подписан”.

Польша окончательно выпала из игры. “Мавр сделал своё дело...” О том, что оно значило для рейха и для фюрера лично, свидетельствует реакция Гитлера на смерть Начальника Польши в мае 1935 года. Тогда вождь нацистов направил в Речь Посполитую два соболезнования. Одно адресовалось

президенту Польши И. Мосьцицкому, и в нём были такие слова: “Я глубоко тронут известием о смерти маршала Пилсудского и выражаю Вашему Превосходительству и польскому правительству мои искренние соболезнования... Вместе с польским народом и немецкий народ оплакивает смерть этого великого патриота, который через своё полное сотрудничество с немцами оказал большую услугу не только нашим странам, но и оказал неоценимую помощь в успокоении Европы”. Другое получила жена Пилсудского Александра: “... Печальная весть о смерти супруга, Его Превосходительства маршала Пилсудского, ранила очень глубоко... Образ умершего я навечно сохранила в своей благодарной памяти”. Главная в рейхе газета “Völkischer Beobachter” на первой странице писала, что “Новая Германия склоняет свои флаги и штандарты перед гробом этого великого государственного деятеля, который впервые имел мужество открытого доверия и полного союза с национал-социалистическим рейхом”.

В берлинском кафедральном соборе Святой Ядвиги по распоряжению Гитлера 18 мая 1935 года состоялась специальная месса с участием самого фюрера, в ходе которой фюрер сидел у символического гроба польского маршала, а рядом стоял почётный караул. Многие авторы констатируют, что это было последнее богослужение, на котором присутствовал вождь нацистов. Был объявлен общегерманский траур, что в последующие годы делалось только дважды: после сокрушительного разгрома вермахта под Сталинградом и после казни белорусскими подпольщиками гитлеровского наместника гауляйтера Вильгельма Кубе, взорванного прямо в спальне, в доме, в котором он обитал, исполняя свою должность в Минске.

В Варшаву на похороны польского маршала приезжал Генрих Геринг, которого называли вторым человеком в рейхе. Во время отпевания Пилсудского он сидел сразу за вдовой покойного. Польские источники пишут, что после занятия Кракова гитлеровскими войсками 6 сентября 1939 года “по приказу Гитлера германский командующий генерал Вернер Кёнитц отправился в бывший королевский замок на Вавель и возложил венок к гробу маршала Пилсудского в крипте под башней Серебряных колоколов. Затем пред криптой был выставлен немецкий почётный караул”.

В июне 1944 года в ещё оккупированном гитлеровцами Бухаресте с воинскими почестями, с участием королевской гвардии был похоронен Юзеф Бек, живший до этого на пригородной вилле вместе с женой и прислугой и писавший мемуары. После смерти маршала Пилсудского первый свой зарубежный визит он совершил именно в Берлин. По итогам двухчасовой беседы с фюрером, сообщила польская пресса тех дней, польский министр тогда заявил немецким журналистам, что “пожелания канцлера, касающиеся прочности польско-немецкого пакта, нашли сильный отклик в Польше и что с польской стороны существует искреннее желание дальнейшего углубления соседских отношений с Германией”. “Kurjer warszaski” подчёркивал, что все беседы в Берлине “имели цель дать понять Германии и Европе, что зарубежная политика Польши после смерти маршала Пилсудского не подлежит изменению”. “Dziennik kresowy” 5 июля 1935 года цитировал заголовки немецких изданий: “Польша будет держаться политической традиции Пилсудского” – “Deutsche Allgemeine Zeitung”, “Политика Пилсудского будет продолжаться и далее” – “Berliner Lokal Anzeiger”. “Пребывание одного из ближайших сотрудников маршала Пилсудского во всех смыслах будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между Польшей и Германией”, утверждала и “Völkischer Beobachter”. Вернувшись в Варшаву, пишет Войцех Матерский, Бек выразил убеждение “в искренности уверений Гитлера в том, что касалось мирных намерений его политики по отношению к Польше”. Надо полагать, в Берлине и в 1944 году помнили об этом, иначе сидела бы румынская гвардия в своих казармах.

Доныне трудно однозначно сказать, почему Речь Посполитая отказалась тогда принять предложение рейха и открыто стать на его сторону, о чём, кстати, многие в современной Польше сожалеют. Опросы, опубликованные в июне 2017 года на сайте superhistoria.pl, свидетельствуют, что до 60 процентов поляков полагают, что требования Гитлера следовало выполнить и даже пойти на союз с Германией. Возможно, Гитлер сделал ошибку, предложив кое-что отдать и подчиниться? Ему самому следовало передать Польше Восточную Пруссию, о чём мечтал Пилсудский, а не пудрить польские мозги туманным

обещанием черноморского побережья! Плюс назвать её главным своим партнёром, объявив, что судьбу Европы Берлин и Варшава будут решать совместно, результаты похода на восток будут распределены поровну! Некоторые варшавские аналитики доныне твердят, что в таком случае Советы удара не выдержали бы. Правда, кое-кто из них допускает, что потом полякам по велению нацистов всё равно пришлось бы пасти овец где-то за Уралом и ждать, когда их вызволят западные союзники. Только вряд ли те стали бы подвергать себя риску ради пастухов, оказавшихся в столь далёких и холодных краях. И многие в Польше это понимают. Как заметил Богдан Пентка, “если бы Польша в 1939 г. начала мировую войну в качестве сателлита III рейха, то в 1945 г. не имела бы не только восточных земель, но и западных, а, возможно, её и вовсе не было бы”.

Начав войну против Польши, Гитлер, как утверждают, обронил фразу, что она бы не случилась, если бы жив был Пилсудский. Надо полагать, он исходил из того, что Речь Посполитая действовала бы заодно с рейхом. В таком случае, не только Европе, но и самому Пилсудскому повезло, что он умер в мае 1935 года. Проживи маршал ещё несколько лет, не исключено, что теперь он стоял бы в одном ряду с итальянским дуче Муссолини, венгерским диктатором Хорти, румынским кондукэтором Антонеску. И, скорее всего, стоял бы в нём первым. Ведь тот же Муссолини лишь в 1939 году приступил к союзу с рейхом, поначалу не соглашаясь с аншлюсом Австрии, называя Германию страной варваров, а Гитлера – свирепым и жестоким существом, напоминающим предводителя гуннов Атилу. Первой и твёрдой опорой фюрера в Европе стал польский Начальник с верной ему командой. А если так, то не приходится удивляться, что вопрос о возмещении убытков, причинённых войной, вдруг будет поставлен и перед Польшей, наследницей и правопреемницей той Речи Посполитой, во главе которой стоял маршал. Например, чехами и словаками, совместную страну которых разрушить помогала фюреру именно та Речь Посполитая. Вспомнят давние обиды литовцы. За Вильнюс. Да белорусы, у которых была отнята почти половина земель. И в этом случае не поможет ссылка на Рижский мир, поскольку тот договор представители белорусского государства не подписывали. А пламя второй мировой войны, к которой вольно или невольно вела политика государственных мужей в Варшаве, поглотило почти треть населения их республики. Разумеется, есть основания для таких претензий у украинцев, у других народов бывшего СССР и уж, тем паче, у русских, вынесших главную тяжесть борьбы с гитлеризмом.

А вообще-то, используя польскую методику определения ущерба, предъявить претензии могут даже немцы, заявив, что, не будь польской поддержки, Гитлер не смог бы удержаться у власти, значит, Германия не покрыла бы себя несмываемым позором нацизма. В нынешней Польше из уст того же Маджера звучали слова, что нюрнбергский приговор “является неполным”, так как вторую мировую войну “сделал возможной пакт Риббентропа-Молотова”. Вот только что будет, пан Антоний, если “Нюрнберг-2” сначала займётся теми, кто первым начал гладить и подкармливать сидящего в клетке тигра со свастикой? Да оценивать, взломал бы он клетку без той подпитки и натворил бы столько? Дошло бы дело до проклинаемого пакта без той подкормки? .

ВИКТОР СЕНЧА

ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ БАГРАТИОНА

*О, как велик, велик На-поле-он!
Он хитр, и быстр, и твёрд во брани;
Но дрогнул, как к нему простёр в бой длани
С штыком Бог-рати-он.*

Г. Державин

... Когда в Тарутинском лагере под Калугой фельдмаршал Кутузов готовил свою армию к предстоящим боям с полчищами Наполеона, во владимирской глубинке тихо умирал раненный на подступах к Москве генерал от инфантерии Пётр Иванович Багратион. Сражение при Бородине историки назовут не генеральным, а *генеральским*. И в какой-то мере такое определение окажется справедливым: в Бородинской битве погибли и были ранены 49 наполеоновских и почти тридцать русских генералов.

В тот день, 26 августа (7 сентября) 1812 года, армия Бонапарта безвозвратно потеряла четырнадцать генералов, семеро из которых были убиты наповал. Дивизионный генерал Огюст Коленкур погиб от шальной пули в голову; генерала Плезонна сразил штуцер русского егеря. Не вышли из боя Годен, Ле Гран, Федерик, Марион. Был убит начальник генерального штаба корпуса маршала Даву генерал Ромене... Таких потерь "Великая армия" ещё не знала.

Из восьми погибших русских генералов лишь двое получили смертельные ранения на поле сражения: начальник артиллерии 1-й армии 26-летний Александр Кутайсов был убит ядром, командир пехотной бригады Александр Тучков 4-й – сражён картечью (Тучкову было 34 года). Остальные шестеро позже скончались от ран.

Среди них оказался и **Пётр Иванович Багратион**. Однако в случае с этим военачальником не всё так просто. Вопреки расхожему мнению, Багратион во время боя за Семёновские флеши был серьёзно ранен, но вовсе не *смертельно*. Подтверждением тому, что ранение прославленного генерала было не смертельным, является хотя бы тот факт, что Багратион скончался лишь *на семнадцатый день* после случившегося. Его рана совсем не предвещала гибельного исхода, самым худшим вариантом которого могло стать разве что лишение конечности (ноги) вследствие хирургической ампутации. Однако ничего подобного не произошло. Военные доктора будто нарочно тянули время, не решаясь на ампутацию. Они раз за разом удаляли из раны инородные тела, в том числе осколки гранаты; чистили и промывали место ранения, пока не дотянули до "гнилой горячки" (сепсиса) и "антонова огня" (гангрены).

И это при том, что эта самая рана, как показала операция, оказалась “*весьма глубокою*”...

Позже (даже в наши дни) докторов, лечивших прославленного генерала, будут обвинять в том, что смерть генерала стала следствием неправильно поставленного первичного диагноза. Но вряд ли так было на самом деле. Обвинять лекарей в данной ситуации можно только в одном: в том, что они по какой-то причине не решились пойти на радикальную операцию, связанную с ампутацией. И вот он, главный вопрос: не решились или им это *было не велено*? Например, самим Багратионом. То есть раненый, возможно, *сознательно* отказался от сложной операции, подвергнув себя в игре на выживание смертельному риску. И в этом противостоянии оказался проигравшим...

* * *

Во время генерального сражения при Бородино армия Багратиона составляла левое крыло боевого порядка русских войск, по которому Наполеон (опять по какому-то роковому стечению обстоятельств) нанёс основной удар. Семёновские, или Багратионовы флешы утюжили четыреста французских пушек; укрепления несколько раз переходили из рук в руки. Несмотря на то, что защитниками флешей было отбито несколько атак противника, натиск французов оказался слишком силён. Остановить неприятеля не могли ни огонь пушек, ни мужество русских солдат. Понимая это, Багратион ближе к полудню возглавил всеобщую контратаку левого крыла, в результате которой стороны сошлись в жесточайшей рукопашной схватке, продолжавшейся более часа.

В пылу боя никто не заметил, как рядом с Багратионом взметнулась земля. Металлический осколок сферической гранаты раздробил генералу ногу. Какое-то время командующий мужественно силился скрыть от подчинённых свою рану, но сильное кровотечение его обессилило. Повалившегося с коня Багратиона подхватил офицер Александр Олсуфьев и осторожно положил на землю. Потом генерала быстро унесли. Лекарь лейб-гвардии Литовского полка Яков Говоров отметил, что князь “*ранен в переднюю часть... берцовой кости черепком чиненого ядра*”¹. *Осколок угодил в “берцовую кость” ниже колена.*

Случившееся с Багратионом потрясло армию, из которой, говоря словами очевидца, “*душа как будто отлетела*”. Весть о ранении любимого генерала мгновенно разнеслась по рядам русских войск, повлияв не самым лучшим образом на моральный дух защитников флешей: не выдержав натиска французов, солдаты стали постепенно отходить. Ординарец Багратиона кирасир Адрианов подбежал к носилкам и со слезами в голосе сказал:

— Ваше сиятельство, вас увозят на лечение, выздоравливайте. Ну, а мне уж нет никакой надобности быть при вас... Прощайте!..

С этими словами он побежал к передней линии дерущихся, где, врезавшись в самую гущу неприятеля, принялся рубить саблей направо и налево. С саблей в руках и погиб...

* * *

К сожалению, князь Пётр Иванович Багратион ранен пулей в левую ногу.

Из рапорта М. И. Кутузова императору Александру I

А теперь по порядку. Поняв, что он серьёзно ранен, Багратион пришёл в отчаяние: коварный осколок ударил именно в тот момент, когда его 2-я кирасирская дивизия пошла в атаку. Лишь после того, как генерал убедился в успехе своих кирасиров, он оставил поле битвы.

Следует заметить, с первых же минут после ранения начались серьёзные проблемы, связанные с оказанием Багратиону медицинской помощи. Дело в том, что первая медицинская помощь командующему была оказана не сразу.

¹ Говоров Я. И. Последние дни жизни князя Петра Ивановича Багратиона. С-Петербург, Морская типография, 1815. С. 3. (Далее — Последние дни жизни Багратиона.)

Личным врачом князя был доктор Иван Иванович Гангарт, возглавлявший организацию медицинской помощи 2-й армии. Однако незадолго до ранения своего начальника он, упав с убитой ядром во время боя лошади, получил контузию головы и множественные ушибы, по причине чего был отправлен в госпиталь, располагавшийся в Можайске, в 12 верстах от района боевых действий.

Контузия главного лекаря явилась большой неожиданностью для всех: на какое-то время штаб 2-й армии оказался без врача. С этим и было связано досадное промедление с оказанием командующему медицинской помощи.

Так что Багратиону ничего не оставалось, как лишь наблюдать в подзорную трубу за атакой русских кирасиров. Однако рана вызывала нестерпимую боль и сильно кровоточила. Вскоре князя вынесли на восточную сторону Семёновского оврага (южнее одноимённой деревни), к так называемой подшве Семёновской высоты. Именно там Багратиона впервые осмотрел доктор. Им оказался старший полковой лекарь Литовского лейб-гвардии полка Яков Говоров.

Выпускник Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, до войны Говоров служил в столичном военно-сухопутном госпитале. Став доктором медицины, он был назначен в Кексгольмский пехотный полк (впоследствии был переименован в лейб-гвардии Московский). С 1811 года – старший лекарь Литовского лейб-гвардии полка.

После Отечественной войны 1812 года Яков Иванович Говоров опубликовал несколько научных трудов, среди которых оказалась и книга *“Последние дни жизни князя Петра Ивановича Багратиона”* (Санкт-Петербург, 1815). В контексте нашего повествования данная книга чрезвычайно важна, ибо к строкам этих воспоминаний мы обратимся не раз. Уникальное сочинение явилось, по сути, развёрнутой историей болезни именитого генерала, что для исследователей чрезвычайно важно, тем более что лечение князя Багратиона закончилось трагически.

* * *

Пока адъютанты в растерянности бегали вокруг раненого Багратиона, Кузцов, обеспокоенный ситуацией на левом фланге, ввёл в бой гвардию. В сторону Семёновской выдвинулись лейб-гвардии Измайловский, Литовский и Финляндский полки из 5-го гвардейского пехотного корпуса генерал-лейтенанта Лаврова (потому-то лекарь, впервые осмотревший Багратиона, оказался из одного из них, Литовского).

Говоров металлическим зондом исследовал глубину и ширину раны, произведя раненому *первую перевязку*. Однако во время этой манипуляции лекарю не удалось добиться главного: распознать перелом. Решив, что рана *пулевая*, военный доктор наложил *“простую повязку”* и назначил консервативную терапию.

Ошибку полкового лекаря наверняка должны были заметить более именитые доктора. Но этого не случилось. Врачом, который повторно обследовал Багратиона, был главный медицинский инспектор, или начальник медицинской службы русской армии, Яков Васильевич Виллие. Главный лекарь осмотрел князя уже в *развозном госпитале*, располагавшемся в санитарных палатках в районе Псарёвского леса, куда в коляске был доставлен раненый.

В прифронтовом госпитале творилось несусветное. Офицер Ольферьев, сопровождавший Багратиона, позже писал своей сестре: *“... Легче пробыть шесть часов в бою, нежели шесть минут на перевязочном пункте. Кругом лужи крови, то красной тёплой, то чёрной и уже застывающей. Тысячи стонов подымаются к небу. Лекари работают, сбросив сюртуки, подвязав передники и засучив рукава до локтей”*¹.

Ещё при первом осмотре Яков Говоров определил, что рана была *“сопряжена с повреждением берцовой кости”*. А что же Виллие? Он повторно прозондировал рану и, расширив её, сумел извлечь небольшой отломок кости.

А теперь внимание: костный отломок – явное свидетельство огнестрельного оскольчатого перелома. Тем не менее, складывается впечатление, что

¹ С. А. Сушков с соавт. “Трудный пациент. Ранение Петра Ивановича Багратиона”. // “История хирургии”. 2013. Т. 21, №2. С. 6.

даже такой именитый эксперт, как Яков Виллие, отнёсся к ранению князя несколько поверхностно: чиновник от медицины принял точку зрения Говорова, предположив, что маленькая рана, скорее всего, была произведена пулей, но никак не осколком гранаты или ядра. Мысль о том, что глубоко в тканях мог застрять *металлический осколок*, Якову Васильевичу почему-то даже не пришла в голову. Видимо, именно поэтому он распорядился лекарю Говорову отправляться обратно в полк, а Багратиону разрешил (наверное, по просьбе самого генерала) уехать на лечение в Москву. После этого Яков Виллие спешно вернулся к исполнению своих обязанностей в воюющей армии, а князя Багратиона он больше не видел и не осматривал.

* * *

В письме императору Александру I от 27 августа Багратион писал, что он *“довольно нелегко ранен в левую ногу пулею с раздроблением кости”*.

Лекарь Говоров не мог не знать, что *раздробление кости* и есть **перелом**. Таким образом, ранение русского генерала изначально было **сложным**. Достаточно сказать, что уже в первые минуты после случившегося Багратион потерял *до полутора литров крови*, то есть до четверти объёма циркулирующей в теле крови.

Самонадеянность докторов дорого обошлась раненому. В пути Багратион уже в первые сутки почувствовал себя плохо; не желая беспокоить медицинское начальство, генерал приказал послать за полковым лекарем Говоровым. Яков Иванович догнал коляску с князем уже за Можайском, найдя его истерзанным сильнейшими болями, в лихорадке: *“Лихорадка открылась жестокая, колючие боли в ране беспрестанно мучили, аппетит пропал, и первая ночь проведена была в бессоннице”*¹.

Доктору стало ясно, что рана Багратиона достаточно серьёзна, следовательно, оставлять князя один на один с его бедой было никак нельзя. С этого момента и до самой кончины князя Говоров находился при Багратионе.

Вечером 26 августа (7 сентября) князя Багратиона привезли в Можайск, где раненого разместили в подвижном госпитале 8-го пехотного корпуса, развёрнутом в одном из городских трактиров.

Утром 9-го числа французы, ударив по русскому арьергарду атамана Платова, прикрывавшего отступавшие части, вынудили казаков спешно отступить. В результате, в Можайске, по разным оценкам, было оставлено от 7 до 10 тысяч раненых русских солдат, которых не успели эвакуировать.

К счастью, раненого Багратиона вывезли из Можайска накануне сдачи города, 8 сентября...

* * *

Путь до Москвы занял трое суток. К этому времени рядом с Багратионом находилось двое лекарей: уже известный нам Яков Говоров и срочно прибывший после излечения в госпитале главный врач 2-й армии и личный доктор генерала барон Иван Иванович Гангарт.

Езда по тряской дороге приносила Багратиону неопишуемые страдания, однако князь мужественно переносил все испытания, выпавшие на его долю; о его мучениях можно было судить лишь по крепко сжатым обескровленным губам и бледному лицу. Дабы облегчить состояние раненого, доктора ежедневно перевязывали его рану; с целью профилактики воспаления накладывали смягчительные припарки, а для снижения температуры давали пить хинный порошок. Князь терпеливо выполнял все указания лекарей, продолжая при этом неизменно страдать.

Странно, военные лекари – и тот и другой, – будто сговорившись, с какой-то непоколебимой методичностью продолжали пичкать раненого хиной и прикладывать припарки, словно забыв о самом главном – *иммобилизации* повреждённой конечности. Если бы на поражённую голень был наложен простой

¹ Последние дни жизни Багратиона. С. 4-5.

лубок¹, он наверняка предотвратил бы смещение костных отломков, чем удалось бы избежать излишней травматизации окружающих тканей, а также близлежащих кровеносных сосудов и нервных пучков. Но этого, увы, сделано не было. Рана сильно болела и быстро нагнаивалась.

Данное обстоятельство подтверждает только одно: оба врача по непонятной причине были убеждены, что по-прежнему имеют дело лишь с так называемым “простым” ранением. И это заблуждение явилось первым звеном в трагической цепочке событий общей драмы.

Вообще, тот факт, что после осмотра главного военного инспектора Багратиону не была проведена иммобилизация раненой конечности, объяснить чем-либо трудно. Иммобилизация должна была быть выполнена по определению: костный отломок, обнаруженный доктором Виллие в ране, говорил сам за себя, подтверждая перелом кости. Кто знает, возможно, лекарем руководили совсем другие соображения: отломок отломком, но перелом (по крайней мере, “истинный перелом”) должен сопровождаться определённой симптоматикой – так называемыми *косвенными признаками* перелома. Видимо, это и подвело главного инспектора.

Не обнаружив ни патологической подвижности конечности, ни её деформации и изменения длины, Виллие пришёл к выводу, что имеет дело с “неполным переломом”. И в этом заключалась ошибка Якова Виллие: *при любом переломе конечности необходима иммобилизация!*

* * *

Интересный нюанс – вернее, два. Первый: изучение документов, связанных с ранением генерала Багратиона, вносит существенную путаницу относительно главного вопроса: а в какую, собственно, ногу был ранен князь – в правую или в левую? Хотя, на первый взгляд, разночтений быть не должно.

Итак, читаем письмо Багратиона императору Александру: “...Я довольно нелегко ранен в левую ногу пулею с раздроблением кости”.

Из донесения Кутузова на Высочайшее имя: “...Князь Пётр Иванович Багратион ранен пулею в левую ногу”. Вот и в рапорте начальника штаба 2-й армии Сен-При говорится о “жестокой ране в левую ногу”. Какие, извините, ещё требуются доказательства?

Однако не будем спешить. Особенно после прочтения воспоминаний Якова Говорова, который чёрным по белому пишет о ранении “в переднюю часть правой берцовой кости черепком чиненого ядра”. Возможно, полковой лекарь просто-напросто сделал описку. Пусть так, бывает. Другое дело, что в таком случае эта самая описка в остальной части исторического документа (я о воспоминаниях) уж точно не должна повториться. И она *не повторилась*. Внимательно пролистав книгу, мне остаётся только развести руками: автор лишь раз упомянул *правую ногу*. И это единственное несоответствие с остальными доказательствами. Таким образом, будем считать, что Багратион всё-таки был ранен **в левую ногу**.

Теперь второй нюанс. То ли по чистой случайности, то ли по другой какой причине лекари будто под копирку писали одно и то же – о повреждении берцовой кости. И всё бы ничего, если бы не одно обстоятельство: этих самых берцовых костей *две*. Так какая из них? Парадокс: ни в одном документе, ни в воспоминаниях современников не указано, о какой из костей идёт речь – о большеберцовой или малоберцовой.

Общепринято считать, что у князя Багратиона была повреждена именно большеберцовая кость. По крайней мере, так утверждают некоторые современные исследователи². Однако очевидцами об этом не было сказано ни слова.

¹ При переломах конечностей в русской армии предписывалось производить иммобилизацию лубками – тоненькими дощечками, обшитыми холстиной. Лубки уменьшали боль и предотвращали смещение отломков кости, что способствовало заживлению. В каждом полку медперсоналу для оказания неотложной медицинской помощи придавался стандартный набор лубков.

² См.: Будко Д. Ю. “К вопросу о ранении и смерти П. И. Багратиона. // Материалы X Всероссийской научной конференции (Бородино, 3–5 сентября 2001). М., Калита, 2002. С. 58. А также: Давыдов М. И. Была ли рана смертельной? // Наука и жизнь. 2012. №9. С. 26–33.

Следовательно, нет никакого сомнения, что уже позже кто-то из исследователей взял на себя смелость написать о ранении большеберцовой кости.

Хотя факты говорят об обратном: доктор Виллие, распознавший характер ранения, не стал производить иммобилизацию конечности. Не потому ли, что перелом не сопровождался смещением и видимой деформацией голени? Такая клиническая картина бывает характерна при переломе малоберцовой кости: в подобных случаях неповреждённая большеберцовая кость выполняет роль своего рода *иммобилизатора*, предотвращающего смещение костных отломков.

И с этим можно было бы согласиться, если б не одно обстоятельство. В своих воспоминаниях Яков Говоров достаточно точно указал область ранения: *“в переднюю часть... берцовой кости”*. И это говорит о многом. Анатомия голени такова, что малоберцовая кость расположена несколько позади большеберцовой; именно поэтому ранение даже в её переднюю часть оказалось бы *латеральным*, то есть *боковым*. В таком случае лекарь никоим образом не констатировал бы повреждение *“в переднюю часть”* кости, речь бы шла о *латеральной* ране. Таким образом, можно с достаточной долей уверенности говорить о ранении именно **большеберцовой кости**.

Нагноение раны, обусловленное подвижными костными отломками, вызвало резкое ухудшение общего состояния раненого. Уже через несколько дней у князя появился сильный жар. 28 августа Багратиону была сделана очередная перевязка.

Из воспоминаний Якова Говорова: *“Рана найдена ещё воспалённою, лихорадка продолжалась, хотя боли несколько поутихли от смягчительных припарок”*. Однако на следующий день, как следует из записей Говорова, *“...при перевязке открылось нарочитое количество гною в ране. Края оной показали распухшими”*¹.

* * *

30 августа Багратиона, наконец, привозят в Москву. 31-го назначается медицинский консилиум. На сей раз к раненому приглашают профессора Фёдора Андреевича Гильдебрандта, заведующего кафедрой хирургии в Московском университете. Вызванный по настоянию московского генерал-губернатора графа Ростопчина (именно в его доме проходил консилиум), Гильдебрандт делает третью попытку прозондировать рану металлическим зондом. (Напомню, инструменты в то время не стерилизовались; об асептике и антисептике тогдашние медикусы не имели никакого представления!)

Профессор нашёл, что наружное отверстие раны узкое, а сама она довольно глубокая: *“...Вошел в состояние болезни и всех припадков, предположили, что лихорадка происходит от скрывающегося в ране инородного тела, а может быть, перелома самой кости. Общие наши догадки, наконец, подтвердились самым опытом. Надобно было приступить к большому разрезу раны”*².

Тем не менее, Гильдебрандт успокоил как самого князя, так и лекарей, заявив раненому: *“...Пользовали Вас до сих таким лекарствами, какие только благоразумие и опытность могут употреблять”*³. Таким образом, профессор всем дал понять: *лечение проводится правильно*.

Если Говоров и Виллие, недооценившие тяжесть ранения пациента, ограничились всего лишь осмотром раны, её ревизией и наложением “простых” повязок (не посчитав нужным произвести иммобилизацию раненой конечности), то уважаемый медицинским сообществом профессор Гильдебрандт ошибся в другом — он не сделал главного: *не рассёк и не расширил рану, а также её не дренировал*.

И это, пожалуй, было главной ошибкой лекарей. Будучи виртуозными “раздателями”, они, тем не менее, выбрали консервативный метод лечения раненого, в котором (и это очевидно) не особенно разбирались. Доктора невольно подписали Багратиону смертный приговор...

¹ Последние дни жизни Багратиона. С. 5.

² Малышева А. Д., Логинова Е. А. Ранение и смерть генерала П. И. Багратиона. // Советская медицина. 1954, №6. С. 41–43.

³ Последние дни жизни Багратиона. С. 9.

Надежды на то, что Москву удастся-таки отстоять, не оправдались. 1 (13) сентября части русской армии заняли позиции в излучине Москвы-реки и на Воробьёвых горах, выполняя тем самым указания диспозиции, составленной генералом от инфантерии Леонтием Беннигсенем. В районе Поклонной горы предполагалось дать французам сражение. Однако после совета высшего командного состава в Филях стало ясно, что Москва будет оставлена. (И вновь, как и в Можайске, в Первопрестольной на милость победителя были брошены 9 тысяч русских раненых, многие из которых позже погибли).

Между тем, состояние Багратиона после очередного медицинского вмешательства значительно ухудшилось. Кроме того, узнав о предстоящей сдаче «матушки-Москвы», князь едва не лишился чувств.

Яков Говоров: *“... Он от душевных огорчений впал в род некоторого оцепенения чувств и, мало занимаясь физическими своими страданиями, думал, кажется, об одном только благоденствии дражайшего Отечества... Князь во весь сей день не хотел принимать лекарств. Он совсем, казалось, забыл тогда о своём болезненном состоянии. Душа его страдала. Сердце, которое уповалось только надеждою обрести спокойствие в столице, замирало от ужасного предчувствия бедствий, угрожавших матери русских городов”¹.*

2 (14) сентября раненого в четырёхместной карете везут по Владимирской дороге. На сей раз его сопровождают сразу трое докторов – Говоров, Гангарт и профессор Гильдебрандт.

Вообще, вся эта затея Багратиона с поездкой в имение тётки во Владимирскую губернию оказалась не самой лучшей, если не сказать больше – роковой. Достаточно сказать, что путь до имения Голицыных, куда направлялся кортеж с раненым, с учётом бездорожья должен был занять не менее 4-5 дней. И отправься князь по другой дороге, скажем, не на север, а на юг, по Рязанскому тракту, возможно, всё закончилось бы иначе. На Рязань уходила армия Кутузова. Именно поэтому раненого генерала уже через сутки-двое наверняка прооперировали бы в одном из военно-полевых госпиталей.

На неразумность выбранного маршрута указывает и другое: командующий 2-й русской армией рисковал реально оказаться во вражеском плену. Если Тверская и Ярославские дороги ещё худо-бедно прикрывали части Отдельного летучего кавалерийского отряда генерала Винценгероде, то Владимирский тракт почти не охранялся (не считая одного казачьего поста); дорога для французов была открыта. Но знал ли об этом сам князь? Вряд ли.

Доехав до Сергиева Посада, лекари собирают новый консилиум. Багратиону была сделана перевязка, в ходе которой докторам стало ясно, что они до сих пор в характере ранения серьёзно ошибались: налицо был *огнестрельный перелом одной из берцовых костей*.

Говоров: *“Вечеру при перевязке раны ощутительно было зловоние. Самый гной в качестве своём изменился. Берцовая кость на самой середине показалась косвенно повреждённою. Такое состояние раны заставило нас подумывать о решительном пособии – об операции отнятия голени”².*

4 сентября лекарь объявил князю:

– Ваша светлость, необходима срочная операция. Промедление опасно, есть вероятность развития “антонова огня”. Начинается горячка...

Багратион помрачнел. Было видно, что такой исход развития событий в его планы никак не входил.

– Операция?! – возмущённо воскликнул он. – Я очень хорошо знаю это средство, к которому вы обыкновенно прибегаете, когда не умеет одолеть болезнь лекарствами. Теперь ли помышлять об операции, после которой потребуются долговременное с вашей стороны старание, чтобы привести меня в состояние быть полезным угнетаемому Отечеству?..

Князь находился в крайнем возбуждении. Говорову пришлось дать Багратиону успокоительных капель. Немного успокоившись, генерал продолжил:

– Надеюсь, ваша медицина не так бедна лекарствами для моей болезни, – с гневом в голосе ответил он врачу. – Я твёрдо в том уверен, поэтому считаю, мне можно обойтись и без операции...

¹ Последние дни жизни Багратиона. С. 10-11.

² Последние дни жизни Багратиона. С. 13.

Говоров лишь пожал плечами.

В своём дневнике лекарь записал: *“Общий наш медицинский консилиум после таковых решительных ответов князя заключил, что соглашение его на операцию есть дело невозможное и что надобно действовать на его болезнь заблаговременно всеми нужными врачебными пособиями для отвращения пагубных последствий обнаружившейся горячки со всеми припадками, показывающими гнилое растворение соков”¹.*

* * *

И здесь хотелось бы отметить одну деталь, связанную с полномочиями лекарей – как Говорова, так и Виллие. Так вот, старший полковой лекарь Яков Говоров даже при всём своём желании не мог бы выполнить такую сложную операцию, как ампутация. Не то чтобы не умел – умел, и даже виртуозно оперировал. Но *не имел на то права*. Ибо в ходе реальных боевых действий серьёзная хирургическая операция, каковой считается ампутация, не входила в его функциональные обязанности. Главной задачей возглавлявшего медицинскую службу полка лекаря являлась грамотная организация эвакуации. Вынос раненых из-под огня, первичная перевязка ран, остановка кровотечений – всё это лежало на плечах полковых лекарей. Впрочем, как и иммобилизация конечности при переломе.

А вот ампутация – прерогатива исключительно госпитальных докторов. Полковой лекарь Говоров мог произвести эту операцию лишь в единственном случае – если бы речь шла, скажем, о так называемой травматической ампутации, когда перерубленная осколком конечность висела на кожном лоскуте. Вот этот кожный лоскут полковой лекарь не только мог, но и был обязан срезать. Он *должен был* это сделать!

В случае с Багратионом ситуация была иная, причём сопряжённая с трудностями диагностики. Именно поэтому обвинять в чём-то доктора Говорова, в общем-то, не приходится, так как нет на это никаких веских оснований. Старший полковой лекарь, оказывая первую врачебную помощь раненному генералу, не нарушил ни одного из предписаний должностной инструкции. Он сделал всё, что мог, в рамках своей компетенции.

С Виллие сложнее. Главный медицинский инспектор в отношении раненого предпринял, скажем прямо, *minimum minimumum* – минимум из того минимального, что мог сделать: ну, разве что организовал быструю эвакуацию подальше от района боевых действий. Как говорится, и на том спасибо. Оказавшись рядом с раненым Багратионом, знаменитый лейб-хирург российского императорского двора и президент Медико-хирургической академии ни одной из своих научных рекомендаций *не выполнил*. Виллие ограничился всего лишь *повторной перевязкой*, будто начисто забыв о рекомендуемых им для хирургов “противоотверстиях” и ранней профилактике “антонова огня”...

* * *

День 4 сентября следует отметить особо: именно тогда генерал Багратион на предложение докторов ампутировать повреждённую конечность **впервые ответил решительным отказом**. Однако медики после того, как поняли, что дали маху (вовремя не обнаружили огнестрельный перелом), чувствовали себя не в своей тарелке. И понять нервозность лекарей можно.

Яков Говоров: *“5-го сентября я осмелился сделать новое предложение. Жар моего усердия быть полезным князю увлекал меня от самолюбия, часто понуждающего молчать истину, чтобы не навлечь оною на себя неудовольствия. Но на предложение ему, чтобы позволил, по крайней мере, сделать расширение раны для удобного истечения гноя, для обнаружения в оной как черепка ядра, так и поврежденной кости, для изъятия из полости раны скрывавшихся, может быть, некоторых инородных тел, решительный ответ состоял в прекословии на самое минутное терпение от маловажной операции до*

¹ Последние дни жизни Багратиона. С. 16.

приезда в село Симы, принадлежащее князю Б. А. Голицыну, в котором он располагался отдохнуть несколько дней”¹.

Таким образом, 5 сентября, как следует из воспоминаний врача, Багратион вновь категорически отказывается от операции.

Говоров: “6-е и 7-е числа сентября проведены были в дороге, в продолжении которой князь чувствовал жестокою и нестерпимую колючую боль в ране. Часто он принуждён был останавливаться среди полей, часто появлялись на лице его судорожные движения, часто, казалось мне, он готов был расстаться с жизнью, столь для него мучительною. Видя все сии страдания и бывши у него в качестве доверенного и близкого врача, я сам столько же морально, сколько он физически, страдал. Сердце моё разрывалось от сострадания к жалкой его участи. . .

При всём помянутом состоянии князя я не опасался за жизнь его. Страдания его увеличивались более от поездки. Биение пульса совсем не походило на биение пульса умирающего. Лицо ничуть не было, как говорят медики, иппократическое, то есть смертное. Дыхание и прочие телесные отправления шли своим порядком”².

Под вечер 7 сентября карета с раненым прибыла в село Сима – конечный пункт назначения³.

* * *

Внешний вид раны князя менялся буквально на глазах: нога сильно распухла, из-под корпии исходило ужасное зловоние, появились видимые очаги некроза. Врачам ничего не оставалось, как пойти на операцию.

“8-го числа сделана была предполагаемая операция расширения раны, – пишет Яков Говоров. – Знатным разрезом мягких частей около раны открыт в ней совершенный перелом и раздробление берцовой кости, которой острые и неровные концы вместе с черепком ядра, глубоко вонзившимся в мясистые части, неоспоримо, причиняли во всё время болезни жестокою и нестерпимую боль, о которой я столько раз упоминал. . . Рана представилась на взгляд весьма глубокою с повреждением важных кровеносных сосудов и чувственных нервов.

Признаюсь чистосердечно, что я такового повреждения кости и других частей никак не предполагал, будучи свидетелем раны на поле сражения и в продолжение стольких дней. Несовершенный перелом кости был и прежде замечен. Итак, невыгодное положение князя в раскладной карете, из которой выносили его вечером и в которую поутру опять вносили, затруднительные проезды, негладкие просёлочные дороги и тряска в карете были содействующими причинами к совершенному перелому кости. Сие должно было случиться 6-го или 7-го числа сентября. В течение сих дней, как известно, князь страдал ужаснейшим образом”⁴.

– Ну вот, я и операцию вашу вытерпел, – сказал после всех мучений доктору князь.

– Эта операция убедительно доказала, что отсрочка была невозможна, – ответил Говоров. – Мы, доктора, знаем, что порой упущение всего одного дня способно повлечь за собою пагубные последствия для больного. . .

– По крайней мере, теперь я чувствую себя значительно лучше. Действие ваших орудий в сравнении с той адской болью, которую я прежде терпел, намного сноснее. . .

– Зато сейчас, Ваша светлость, вы освободились от скопившейся в ране злокачественной материи, которая, будучи едкой, причиняла вам столь долгое время неопишуемые страдания. . .

– Однако, доктор, скажите мне откровенно, возможно ли, чтобы я, перенесши в моей жизни столько походов и тягостных трудов, столько огорчений

¹ Последние дни жизни Багратиона. С. 17.

² Последние дни жизни Багратиона. С. 17-18.

³ В селе Сима Владимирской губернии находилось имение мужа тётушки Багратиона Анны Александровны Голицыной (ур. княжны Грузинской) князя Александра Борисовича Голицына.

⁴ Последние дни жизни Багратиона. С. 18-20.

и неприятностей, столько болезней разного рода, мог тешить себя надеждою вылечиться? — устало повернул голову в сторону Говорова князь. — Я так ослаб! Да и нынешняя операция приведёт ли в лучшее состояние мою рану?

— Теперь вы ослабли от недостатка аппетита, от беспокойств дороги, от раны и душевных огорчений, — поспешил успокоить Багратиона лекарь. — Мы все надеемся на перемены к лучшему, а там и всякая опасность минует. Что же касается раны, то в случае, если сегодняшняя наша операция не принесёт пользы, вы, Ваша светлость, надеюсь, всё же позволите нам сделать другую? Хотя не сомневаюсь: за успех сей последней можно ручаться!..

Багратион грустно посмотрел на Говорова, тот отвёл глаза. В этот момент оба они — и раненый, и доктор, — подумали об одном и том же: отныне судьба Багратиона в руках Всевышнего...

* * *

Вечером раненого мучила сильная жажда. Пришлось снова посылать за лекарем. Говоров явился в покои князя незамедлительно.

— Доктор, не найдётся ли у вас для утоления жажды лучшего питья, нежели то, которым вы меня до сих пор потчевали? — спросил Багратион врача.

— Можно, к слову, выпить мадеры... Правда, предварительно вино следует развести водою.

— Да-да, вино! Приятная кислота шампанского мне некогда уже помогала в утолении жажды, — радостно кивнул князь.

— Насчёт шампанского не возражаю. Сие вино могу смело вам рекомендовать и сейчас...

В эту ночь Багратион впервые за долгое время хорошо спал...

Разговор князя с доктором наводит на очень важную мысль: **Багратион до последнего хотел сохранить повреждённую конечность, ни в коем случае не желая оказаться без ноги и стать калекой.** Ампутация в его глазах теперь представлялась страшнее той гранаты, осколком которой была перебита кость. Однако обстоятельства требовали решительных действий.

Яков Говоров: *“9-го числа поутру рано собрались мы к князю для перевязки раны. Зловоние оной было столь велико, столь несносно, что без курения уксусом с Ло де Колон нельзя было простоять при нём одной минуты. Опытнейший практик доктор Гильдебрандт часто говаривал мне, что он никогда ещё не видал столь гнилого растворения соков, какое примечено было у князя...*

Отмочив бинты и компрессы тёплой водою и отделив оные от раны, вынимал я потом из полости оной корпейные связочки, напиткиваемые обыкновенно врачевными снадобьями. После сего употреблялось шпринцевание раны декоктом хины с чаем бараньей травы и потребным количеством настоек иногда мирры, а иногда вонючей камеди смешанными. Наконец, после некоторых нужных сноровок, полость раны выполнялась корпейными связочками, намачиваемыми тем же декоктом или осыпаемыми мельчайшим порошком хины, мирры, стираксы, ирного корня и другими ароматическими растениями, из которых каждое приновлялось к обстоятельствам раны”¹.

То была гангрена...

* * *

Прошел ещё один день. И вновь — ни слова об операции. В беседах с Говоровым Багратион всячески уводил разговор от опасной для него темы: хоть что, любые лекарства, но только не ампутация!

И вот наступило 10 сентября. Накануне в зловонной ране появились тёмные пятна некроза. Сомнений не осталось: “антонов огонь”, гангрена.

Из дневника Якова Говорова:

“10 числа сентября князь был мрачен. Положение всех обстоятельств его болезни было очень худо. Спасительная помощь природы, столь благодетельная в молодости, явным образом отказывалась помогать согбенной и изнеможенной

¹ Последние дни жизни Багратиона. С. 23-24.

старости. Князь был не что иное, как скелет, едва покрытый сморщенной и сухою кожей, сквозь которую видны были кости. Члены едва двигались, и черви, предтечи всеобщего разрушения, гнездились в глубокой ране. Князь, однако же, не переставал заниматься некоторыми делами по службе”¹.

— Мне несносно терпеть то состояние, в котором я с давнего времени нахожусь, — сказал после перевязки Говорову князь. — В своей жизни я ничего не боюсь, да и страдать уже привык. Но моя праздная и бездеятельная жизнь, особенно в теперешнее время, мне становится самым тяжёлым и несносным бременем. Дайте мне какие-нибудь другие лекарства, которые бы скорее поставили меня на ноги. Уж сколько времени прошло без всякой надежды к лучшей перемене моего здоровья!..

— Был бы рад дать Вашей светлости такие лекарства, но у нас их, к крайнему сожалению, нет, — развёл руками Говоров.

— Что ж, остаётся только уповать на одного Бога. И я вверяю себя только одному святому Его Промыслу!..

Ночь прошла тревожно. Рядом с Багратионом постоянно находился доктор Говоров, который также страдал, слыша частые молитвенные вздохи своего пациента и видя, что князь мечется в лихорадке. Сомнений не оставалось: раненый умирал... .

Ранним утром 11 сентября Багратион позвал к себе адъютанта Брежинского и долго с ним беседовал. Подполковнику Семёну Брежинскому князь доверял. Поговорив, генерал и его старший адъютант принялись за дело. Брежинский поднёс Багратиону для подписания важные бумаги, приготовленные для отправки в Санкт-Петербург, после чего князь сделал некоторые распоряжения. Потом к раненому были приглашены лекари.

К сожалению, драгоценное время было упущено. Несмотря на лечение хиной и настоякой купоросного эфира, состояние Багратиона ухудшалось буквально на глазах. Ничего удивительного, что в этот день князь, измученный тяжёлым ранением, объявил докторам о своём категоричном решении “оставить принимать лекарства”.

— Доктор, с сегодняшнего дня я намерен прекратить принимать лекарства, — со вздохом сказал Говорову Багратион. — Довольно! Вы сделали всё, что только могли. А теперь... Теперь оставьте меня на промысел Всевышнего...

Всё было кончено. Врачи понимали, что надежд спасти князя не осталось. Прекрасно понимал это и сам Багратион, принявший роковое решение. Тем не менее, генерал повёл себя очень мужественно: подписав служебные бумаги для отправки в Петербург, он, помимо прочего, продиктовал завещание, в котором, к слову, не забыл и трёх докторов, завещав им крупные суммы золотыми червонцами. После беседы со священником Багратион как будто даже успокоился. Этот человек полностью отдавал себе отчёт в том, что умирает, но на его лице не было и тени сомнения или страха.

Яков Говоров: “...Равнодушное спокойствие в ожидании последней минуты жизни озарило, так сказать, все черты страдальческого лица князя, и он как будто с удовольствием и нетерпением желал сложить с себя брэнную одежду и одеться в нетленную.

В 9 вечера князь исполнил последний долг христианина. Мертвенная слабость прерывала движение его языка. Ночь вся протекла в ужасных страданиях... .

12 числа сентября еще поутру летарг совершенно почти убил все чувства князя. В первом часу пополудни он тихо скончался... ”².

Земной путь генерала Багратиона был закончен... .

* * *

Итак, 26 августа (7 сентября) князь Багратион, участвуя в Бородинском сражении, получил тяжёлое осколочное ранение **левой голени** с повреждением, как уже было сказано, **большеберцовой кости**. Через семнадцать дней он умер.

¹ Последние дни жизни Багратиона. С. 26-27.

² Там же. С. 31-32.

Мучительная смерть раненого на Бородинском поле русского генерала уже в первые дни после его кончины послужила поводом для разного рода пересудов. И причин для шепотков было, как минимум, несколько.

Во-первых, в отличие от генерала Кутайсова или Тучкова-четвёртого, рану Багратиона ни в коей мере нельзя было назвать смертельной. По крайней мере, своевременная ампутация конечности продлила бы жизнь военачальника на многие годы.

Во-вторых, многие, не скрывая своего возмущения, открыто называли докторов, лечивших князя, виновниками его гибели. Действительно, почему обычное по тем временам осколочное ранение конечности, при котором военно-полевые хирурги, проведя ампутацию, спасали от гангрены и смерти сотни солдатских жизней, явилось причиной гибели полководца? **Всё сводилось к тому, что произошла врачебная ошибка: не сочтя ранение опасным, лекари долгое время бездействовали.**

Вообще, обвинение во врачебной ошибке всегда серьёзно. Тем не менее, в случае с Багратионом она, несомненно, имела место быть. Первоначально – со стороны доктора Говорова. Лекарь лейб-гвардии Литовского полка, осмотрев рану в первый раз, не счёл ранение серьёзным, решив, что оно пулевое. В своих воспоминаниях Говоров, надо отдать ему должное, оправдывался: *“Рана, полученная князем на поле сражения при Бородине, с первого взгляда казалась не столько тяжёлою, поелику небольшое отверстие оной и окривавление скрывали повреждение берцовой кости”*¹.

В немалой степени этому способствовал тот факт, что осколок гранаты перебил только большеберцовую кость, а малая берцовая была цела. Именно поэтому повреждённая голень *не висела* (так было бы в случае перелома обеих костей), вследствие чего создавалось ложное впечатление целостности обеих костей.

Главный медицинский инспектор Виллие наступил на те же грабли: осмотрев раненого, он полностью согласился с Говоровым. Ошибку военно-полевых хирургов мог исправить профессор Гильдебрандт, но и он, судя по всему, оказался не на высоте. Хотя именно тогда, в Москве, ситуацию можно было взять под контроль. Позже один из лекарей, доктор Гангарт, признается, что тяжесть состояния генерала была недооценена: *“В Москве рана была весьма хороша и обещала спасение. Говоров и Гильдебрандт имели надежду на выздоровление”*².

В-третьих, эта самая врачебная ошибка, в общем-то, оказалась вполне закономерной. Будь подобное у кого другого, раненый, вне всякого сомнения, был бы спасён. Его бы перевязали, а потом, иммобилизовав повреждённую конечность, препроводили в ближайший военно-полевой госпиталь, где (опять же, вне всякого сомнения!) хирурги, не раздумывая, произвели бы ампутацию. Однако в данном случае роковую роль сыграл так называемый феномен большого начальника.

Сколько их, командиров и начальников, за своё высокое положение заплатили жизнью! Иметь дело с “большим человеком” всегда не только хлопотно, но и опасно: малейшая ошибка чревата для доктора серьёзными последствиями. В подобной ситуации вступает в силу другой феномен – *перестраховка*.

Осмотрев раненого, опытный лекарь Говоров в отсутствие непосредственного начальника (доктора Гангарта, возглавлявшего медицинскую службу 2-й армии) поостерегся пойти на крайние меры, в частности, на операцию и послал за главным инспектором, доктором Виллие. Прибыв к князю, доктор Виллие ограничился осмотром раны и небольшим её расширением. Потом Багратиона перевязали и отправили в тыл. Ничего удивительного, что о точной постановке диагноза в данной ситуации не могло быть и речи: осмотр и первичная перевязка – лишь первые шаги к точной диагностике.

Итак, Яков Виллие, будучи опытным службистом, достаточно быстро избавился от важного пациента, отправив того не в ближайший госпиталь, где Багратиону непременно была бы оказана надлежащая медицинская помощь, а в Москву, где, по его мнению, уровень московских светил был намного

¹ Последние дни жизни Багратиона. С. 33.

² Гангарт И. И. Кончина князя Багратиона. // *Сын Отечества*, 1813. Часть 4, №11. 13 марта. С. 227-228.

выше — по крайней мере, достаточный для того, чтобы окончательно разобраться и определиться с лечением.

Травматический шок, сопровождавшийся большой кровопотерей, и *неадекватное* хирургическое вмешательство в первые 48 часов после случившегося серьёзно осложнили как общее состояние раненого, так и характер раны. Сформировалась так называемая *околораневая флегмона голени*. Однако и она не была вовремя вскрыта. Как результат — распространение гнилостной инфекции. Вопрос об ампутации витал в воздухе...

И вот на сцене наконец-то появляется тот, кто должен был, в конце концов, поставить точный диагноз, — профессор Гильдебрандт. Но и он, судя по записям Говорова, повёл себя, скажем прямо, достаточно робко; ибо и он (сам Гильдебрандт!) не сумел окончательно пролить свет на характер ранения. Кончилось тем, что *“совершенный перелом”* и раздробление кости были распознаны лишь 8 сентября во время операции по расширению раны, за четыре дня до смерти вконец измученного раненого. Окажись князь-батюшка на операционном столе безымянного военно-полевого хирурга Иванова-Петрова-Сидорова, кто знает, быть может, и жил бы. Хотя — без всяких “бы”: точно жил! Так называемая *ранняя ампутация голени* решила бы исход дела в пользу князя.

Но случилось — как случилось: лекарь Говоров мягко переложил всю вину на *“тряскую дорогу и причинённые ей беспокойства”*, вследствие чего оказалось невозможно *“строго выдержать во время переездов план лечения”*. Ну, и как апогей сказанному: *“Я даже сомневаюсь, — писал он, — могла ли быть полезна для князя операция отнятия голени, рано или поздно предпринятая”*¹.

При всей симпатии к лекарю, Говоров здесь явно лукавит: **князь не был обречён...**

* * *

И, наконец, четвёртое. Считается, что 10 сентября, видя свою обречённость, генерал Багратион дал-таки согласие на ампутацию. Другое дело, что на этот раз заупрямились уже сами лекари: *“сильная гнилая горячка, крайнее изнеможение сил и нервные припадки служили уже явными противопоказаниями к предприятю отнятия ноги”*. Всё так — сильная горячка, крайнее изнеможение и нервные припадки... Было всё, кроме одного: согласия Багратиона на ампутацию.

Так вот, согласия раненого на операцию **не было**. По крайней мере, ни в одном из источников подтверждения этому мне найти не удалось. Хотя следует заметить, этих самых воспоминаний об оказании медицинской помощи князю Багратиону не так уж и много, а если быть совсем точным, всего два. Генерал от медицины Яков Виллие не оставил о последних днях Багратиона никаких дневников; столь же молчалив оказался и профессор Гильдебрандт. Не успел написать мемуаров и старший адъютант Багратиона Семён Брежинский, дослужившийся до генерал-майора и умерший в Курске в тридцать семь лет. Не оставил воспоминаний и бывший начальник Главного Штаба 2-й Западной армии генерал-адъютант Эммануэль Сен-При: во время боя под Реймсом весной 1814 года он получил тяжёлое ранение ядром, после чего, несмотря на усилия врачей, спустя 16 дней скончался от гангрены и сепсиса (точно так же, как и Багратион).

Тем не менее, об известных событиях сумели рассказать те, кто был ближе всего к князю, — Яков Говоров (*“Последние дни жизни князя Петра Ивановича Багратиона”*, 1815) и Иван Гангарт (*“Кончина князя Багратиона”*, 1813). Если где-то и можно найти подтверждение согласия Багратиона на ампутацию, то только в этих воспоминаниях.

Я лихорадочно листаю пожелтевшие листы — Говоров... Гангарт... Тщетно! У очевидцев событий об этом не сказано ни слова: умирающий генерал ни единожды **не давал согласия на ампутацию!**

Из уст князя в те дни исходило только одно:

— Дайте мне любые, пусть какие-нибудь другие лекарства, которые бы поставили меня на ноги!..

¹ Последние дни жизни Багратиона. С. 33-34.

* * *

И вот мы подошли к последнему и, пожалуй, самому главному. У князя Багратиона имелись все шансы выжить. Тем не менее, он погиб. В чём же причина фатального исхода (и, главное, в ком!)? В этом-то мы и попытаемся разобраться...

Не нужно быть дипломированным врачом, чтобы понять: при явлениях начавшейся гангрены показано единственное — срочная хирургическая операция. В данном случае — ампутация конечности. Хотя бы частичная. Её могли сделать по распоряжению главного медицинского инспектора русской армии Якова Виллие, причём в первые же сутки-другие. Но такого распоряжения не последовало. Не пошёл на серьёзную операцию и профессор Гильдебрандт: скорее всего, он не захотел рисковать ни жизнью пациента, ни своей репутацией.

Но лучше было бы, если б медикусы, потерявшие драгоценное время, решились-таки на кардинальное вмешательство в виде ампутации всей конечности с резекцией бедренной кости в верхней трети. Быть может, именно это и спасло бы жизнь Багратиону; по крайней мере, имелся какой-то шанс. Однако чуда не случилось. Вопрос — почему?

Кто знает, возможно, для этого имелись более серьёзные причины, нежели те, которые лежат на поверхности. Быть может, искать следует в другом месте — в личной жизни полководца?

* * *

Пётр Иванович Багратион был несчастен в браке. Причём, надо заметить, несчастен дважды. Во-первых, он был женат не по любви. А во-вторых, его брак оказался бездетным и мучительным. Впрочем, всё по порядку...

Швейцарский поход русской армии во главе с генералиссимусом Суворовым принёс России громкую славу. На гребне этой славы оказались многие офицеры и генералы, ставшие в высшем свете чрезвычайно популярными. Первым среди равных считался молодой генерал Пётр Багратион. Когда князя заметили при Дворе, император Павел взял лично присмотреть ему хорошенькую невесту. И вскоре Багратиону была представлена восемнадцатилетняя фрейлина императрицы Марии Фёдоровны графиня Екатерина Павловна Скавронская. Багратион был явно смущён, однако что-либо возразить царю, несмотря на всё своё мужество, не решился.

Смущение князя понять было можно: брак изначально был обречён стать мorganатическим. Несмотря на то, что Багратион вёл род от грузинской царской династии Багратидов и даже успел зарекомендовать себя блестящим полководцем, в глазах Двора “милашка” Скавронская была знатнее. Хотя бы потому что происходила из тех самых Скавронских, что и дражайшая супруга Петра Великого, императрица Екатерина Первая. Не из Рюриковичей, конечно (куда там!), но для Багратиона — великолепная партия. Рядом с увальнем-генералом Катрин смотрелась словно левретка придворная: вся такая милая, с белыми кудряшками, будто белый избалованный котёнок... Этаким ангелочек с острыми когтями. Вот пусть сердце грузинского солдафона и растопит, усмехался про себя Павел...

Уже в сентябре 1800 года в церкви гатчинского дворца состоялось венчание молодых, а потом сыграли пышную свадьбу.

“Ангелочек” Катенька была дочерью графа Павла Мартыновича Скавронского, русского посланника в Неаполе, экзальтированного и слегка неуравновешенного человека, и Екатерины Васильевны Энгельгард, племянницы и одновременно фаворитки светлейшего князя Григория Потёмкина. Многие в своём характере Катрин приобрела именно от родителей — нервозность и взбалмошность папеньки и распущенность маменьки.

Возможно, многое в семье Багратионов сложилось бы по-другому, если б не постоянное отсутствие в военных походах главы семьи и своеобразный нрав генеральской супруги. А нрав “ангела красоты” Екатерины Павловны оказался властным, строптивым и непредсказуемым. Кто знает, быть может, приснопамятному Петру Великому именно поэтому и приглянулась посудомойка Скавронская, что слишком была своенравной? Когда же кровь Скавронских смешалась с кровью Потёмкина, получилась поистине “гремучая смесь”.

И “ангелочек” Катрин Скавронская-Багратион явилась именно той огненной смесью, способной сжечь всё на своём пути...

Семейная жизнь Багратионов не задалась с самого начала. Через какое-то время супружеской жизни Катрин уехала в Европу, где затмила всех тамошних красавиц, причём не только красотой, но и необычными загульными кутежами. За своё чрезмерное пристрастие к прозрачным платьям мадам Багратион в Европе совсем не случайно прозвали “*мадам неглиже*”; однако за безмерную любвеобильность и чувственность к влиятельным вельможам Катрин всё чаще стали именовать по-другому — “*белокурой кошечкой*”.

О бурных романах “кошечки” шептались во всех великосветских салонах Европы: и об отношениях с дипломатами — русским Андреем Разумовским и саксонским Фридрихом фон Шуленбургом; и о связи с принцем Людвигом Прусским. И это в то время, когда её муж проливал кровь на европейских полях сражений!

В конце концов, тернистый путь свёл Катрин с “неутомимым ловеласом” Европы, австрийским канцлером князем Клеменсом Меттернихом. На сей раз интрижка вышла за обычные рамки любовных походов, превратившись в прочную, почти семейную связь. Всё дело в том, что, не сумев обзавестись ребёнком в законном браке, ветренная Катрин родила от любовника, который подарил ей дочь, названную Клементиной. Неслыханный скандал! Но и тогда супруг оказался верен себе и княжеской чести: он признал Клементину своей дочерью. И в этом был весь Багратион...

* * *

Однако в сердце Багратиона была ещё одна женщина — великая княгиня Екатерина Павловна, дочь императора Павла I. Они познакомились ещё в ту пору, когда молодой генерал-майор являлся шефом придворного лейб-гвардии Егерского батальона, а Катрин была подростком.

Повзрослев, сестра Александра I окончательно увлеклась Багратионом. Однако тот был женат. Искромётные взгляды черноволосяго военного с орлиным носом и великой княжны не остались незамеченными. Катрин следовало побыстрее выдать замуж. Тем более, что от женихов не было отбоя. Претендентами на её руку были, к слову, австрийский император Франц и даже Наполеон Бонапарт... В 1809 году великую княжну выдали замуж за принца Ольденбургского¹. Впрочем, поговаривали, она продолжала любить Багратиона.

Увлечение сестры князем раздражало императора Александра, поэтому он решил отдалить Багратиона от царского дворца.

“Ему не дали передышки не столько из-за трудностей в борьбе с турками, сколько в силу привходящих обстоятельств, — писал известный историк Николай Ковалевский. — Знаменитым “генералом-орлом” увлеклась молодая великая княжна Екатерина Павловна (сестра Александра I), и члены императорской фамилии сочли необходимым побыстрее удалить от неё Багратиона”².

Незадолго до Отечественной войны генерал впал в немилость императора.

* * *

Иногда в той, довоенной, жизни великая княгиня писала ему письма. Послания влюблённой женщины всегда пахли чем-то едва уловимым, особенным. Тогда этот запах просто приятно будоражил, вызывая непроизвольно улыбку. Лишь позже он понял, что в них, этих письмах, содержалось послание судьбы, которая, испытывая его, дарила истинное счастье, ради которого и стоило жить.

¹ Первым мужем Екатерины Павловны (1809–1812) был Пётр-Фридрих Ольденбургский, вторым (1816–1819) — король Вильгельм Вюртембергский. В ноябре 1812 года генерал от кавалерии принц Ольденбургский при посещении созданного его супругой госпиталя в Твери, заразившись от больного, скоропостижно скончался “от горячки”. Брак великой княгини с королём Вюртембергским также продлится недолго: три года спустя она скончалась от сепсиса (изначальная причина — “язвочка на губе”).

² Ковалевский Н. Ф. История государства Российского. Жизнеописания знаменитых военных деятелей XVIII — начала XX века. М., Книжная палата, 1997. С. 189.

Заграничные выкрутасы жены удручали Багратиона. Негодуя и сгорая от ревности, генерал не находил себе места. Не раз и не два в голову приходили каверзные мысли героически умереть на поле сражения, чтобы одним махом покончить с позором именоваться “мужем-рогоносцем”. Однако пули и ядра каким-то странным образом обходили князя стороной. Когда всё же случались ранения, бальзамом опять же были думы о той, которую он давно тайно любил.

Со временем письма великой княгини становились откровеннее. Её сурового батюшки уже не было в живых, а брат Александр, ставший императором, относился к семейной жизни сестры с лёгкой прохладцей. Узнав, что брак князя Багратиона трещит по швам, Катрин пыталась исправить роковую ошибку, произошедшую в её жизни. В своих письмах к князю она давала понять, что по-прежнему влюблена в него; кроме того, очень надеется, что её любовь, возможно, не останется без ответа¹.

Что писал в ответ княгине Багратион, история не сохранила. Однако тот факт, что эти двое были серьёзно увлечены друг другом, не вызывал у современников никакого сомнения...

* * *

“С горестным сокрушением сердца осмеливаюсь донести Вашему Императорскому Величеству, что главнокомандующий 2-й Западной армией генерал от инфантерии князь Багратион после полученной им 26-го минувшего августа на поле сражения у деревни Семёновской жестокой раны в левую ногу волею Божию сего сентября 12-го числа пополудни в 1-м часу скончался Владимирской губернии в селе Симах, принадлежащем генерал-лейтенанту Борису Голицыну...” – доносил в своём рапорте императору начальник штаба 2-й Западной армии генерал-лейтенант Эммануэль Сен-При.

Между тем наполеоновские полчища вошли в Москву, намереваясь разгромить русскую армию и покорить огромную Империю. Однако генеральное сражение при Бородино показало, что русских так просто не сломить. Упрямые москвиты погибали, но не сдавались! К сожалению, для князя Багратиона та битва оказалась последней.

После падения Москвы князь Багратион пришёл к неутешительному умозаключению, что *жить не стоит вовсе!* К чему земная юдоль для обречённого на унижения калеки?! Все эти вздохи и сопереживания отнюдь не для него, грузинского князя! Если нельзя жить горным орлом, стоит ли бороться за жалкое существование?! И это ощущение собственной никчёмности угнетало Багратиона больше всего.

Согласиться на ампутацию, понимал князь, – изначально обречь себя на унизительную жизнь инвалида. Калека не нужен ни ветреной жене, ни многочисленным родственникам, которые привыкли видеть князя исключительно в ореоле воинской славы... Да и смог ли бы он предстать перед великой княгиней Екатериной Павловной с жалкой деревянной культишкой!? Никогда! Уж лучше мучительная смерть, чем убогое прозябание...

Герой Отечественной войны 1812 года генерал Пётр Иванович Багратион умирал в одиночестве. Вокруг него, как и положено, сновали опытные медики, приближённые, челядь и даже дальние родственники... Но не было той, кому надлежало в тот момент быть рядом, – его супруги. Ангелочек-кошечка была занята другим: находясь далеко за границей, она занималась там весёлым времяпрепровождением и устройством собственной беспутной жизни. Естественно, на деньги, присылаемые из охваченной войной России. Позже вдова будет горько сожалеть о своей ветрености, но то будет позже. Но когда её муж умирал, в жизни Катрин Багратион будут только балы, любовники и развлечения.

А ведь всё могло закончиться иначе. Если бы, к примеру, где-то рядом, буквально за его спиной, находился родной и близкий человек. Преданная супруга, как бы генерал к ней ни относился, могла всё разом изменить и даже вернуть его к жизни. И Багратион это прекрасно понимал, как и то, что *любимой жены* у него фактически нет. Всего лишь одна видимость, обман, недосказанность. Катрин-ангелочек *давно не его*. По сути, это совсем чужая ему

¹ Впоследствии все письма Екатерины Павловны к князю Багратиону и полученные ею от генерала были уничтожены.

женщина. Семейная жизнь не принесла ни радости, ни счастья – одно разочарование. Семья оказалась для Багратиона безжизненной пустыней.

Люди считали, что князь обожал свою жену. Возможно, так оно и было. Однако, вне всякого сомнения, недолго: ветреная супруга рано или поздно становится невозможной, и тогда любовь постепенно иссыкает, как ручей в засушливое лето. Страсть должна быть взаимной...

Багратион отходил. “Всё кончено. И, быть может, к лучшему”, – вертелось в его голове. Жизнь, когда златоглавая Москва сдана на поругание завоевателей, ничего не стоит. Особенно, если из-за собственной беспомощности нельзя что-либо изменить. Его место в строю. Только там, среди своих солдат, боевой генерал способен защитить родную землю. Одиночество – страшная и убийственная пытка. Невозможность в скорбную минуту послужить своей армии и родному Отечеству – куда уж убийственней! Стоит ли бороться за такую жизнь? Какова её цена?!

Нет, не только ошибка лекарей привела к трагедии, у этой драмы имелись и более глубокие причины. Оставление Москвы неприятелю повергло раненого генерала в глубочайшую депрессию. В случившееся просто не хотелось верить! Будь рядом семья, она непременно смогла бы облегчить тяжесть огромного горя. Но рядом никого не было, разве что тётушка. Только сейчас князь осознал, насколько он одинок: у него не было ни преданной жены, ни детей... А русскую землю топчет иноземный сапог. Оставшись один на один со своим несчастьем, князь оказался во власти безысходности...

В скорбной предсмертной улыбке Багратиона крылось отчаяние. Он никак не ожидал, что может умереть от обычного, на первый взгляд, ранения в ногу... Боязнь оказаться беспомощным инвалидом сыграла с князем злую шутку: раз за разом он отказывался от ампутации, которую ему предлагали доктора. Нежелание жить побеждённым оказалось сильнее. Багратион очень любил жизнь. Но перспектива жить калекой и побитым генералом угнетала его. Багратионы всегда были победителями – сильными, волевыми, неустрашимыми. Многие из них погибли от боевых ран. А потому жизнь калеки – не для него. И если лекари этого так и не поняли, убеждать их не стоит: каждому своё. А он, генерал от инфантерии Багратион, умрёт достойно – от боевого ранения, сохранив генеральскую честь...

В полдень 12 (24) сентября 1812 года князь Пётр Иванович Багратион скончался¹...

Прекрасной эпитафией погибшему военачальнику, на мой взгляд, стали бы слова Ивана Ивановича Гангарта: *“Во всё время болезни, до последнего часа, днём и ночью я находился при одре его. Он чувствовал от раны жестокую боль, ужасную тоску и страдал иными мучительными припадками, но не изрёк ни малейшего сетования на судьбу и страдания свои, снося их, как истинный герой; не ужасаясь смерти, ожидал приближения её с тем же спокойствием духа, с которым готов был встретить её и среди ярости сражения...”*².

В приложении к рапорту о гибели генерала Багратиона на имя императора Александра I из штаба 2-й Западной армии находилось *врачебное донесение* о лечении князя, подписанное докторами Говоровым, Гангартом и Гильдебрандтом. В нём врачи уведомляли монарха, что рана командующего была смертельной, а они сделали всё возможное для спасения его жизни...

Не прав будет тот, кто назовёт смерть князя самоубийством. Нежелание мириться с действительностью не есть самоубийство. Отважный не способен лишиться последней надежды – это прерогатива слабого. **Багратион боролся до последнего.** Даже тогда, когда он терял сознание, спальню князя оглашали крики приказов и распоряжений: генерал продолжал воевать!

Свою смерть князь Багратион принял спокойно, со свойственным ему хладнокровием. Его последними словами были: “Боже! Спаси Отечество!” Затем закрыл глаза. Навсегда. Впрочем, возможно, окружающим это только казалось: на самом деле он был не так уж далёк от них, ведя своих кирасир в очередную атаку...

И его трагическая гибель стала ещё одним **подвигом**, который совершил этот боевой генерал...

¹ 17 сентября Багратиона похоронили в церкви св. Димитрия Солунского в Симе. Яков Говоров: “Тело его положено в самой церкви, в каменном склепе”. В 1839 году по инициативе поэта-партизана Дениса Давыдова прах князя Багратиона был перезахоронен в Курганной высоте у подножия памятника героям на Бородинское поле.

² Гангарт И. И. Кончина князя Багратиона. // *Сын Отечества*, 1813. Часть 4, №11. 13 марта. С. 227-228.

“С КЕМ ВЫ — МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ?”

Отклики на статью Станислава Куняева “Съезд победителей” идут в наш журнал до сих пор. Уж очень взволновала читателей острая тема противостояния в писательском мире, что так явно обозначилась на том злосчастном съезде. Читатели выражают сочувствие и поддержку безусловному лидеру современной русской литературы Станиславу Юрьевичу Куняеву, но главный вопрос читательских писем — это всё-таки не междоусобная борьба в писательской среде, а состояние дел в нашей отечественной литературе как в оплоте духовности и культуры всего русского народа. Недаром же давно известно, что литература — лишь зеркало, отражающее жизнь народа, и если зеркало тускло, то и современная наша народная жизнь нехороша. Однако зеркало это создают конкретные авторы, реальные люди, на них лежит огромная моральная ответственность за всё, сказанное ими, за каждую их изречённую мысль. И тут главный вопрос — это известная фраза Максима Горького: “С кем вы — мастера культуры?” Что несёте вы людям: Добро или Зло? С кем Правда и Победа? Глас народный отвечает на этот вопрос.

“ВАШ ЖУРНАЛ БУДУ ВЫПИСЫВАТЬ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ”

Здравствуйте, уважаемый Станислав Юрьевич!

Давно хотела Вам написать, но приболела, направляли в Киров, а чтобы болеть у нас — нужно иметь здоровые железобетонные. Вот не пойму, почему наши кировские авторы часто называют город Киров — Вяткой? И Хлынов (древнее название), и Вятка, и Киров — это наша история, она нам дорога. Зачем переименовывать устоявшиеся, принятые народом имена городов? Не думают такие авторы, чем обернётся такое переименование для простых людей, и так живущих в нынешнем капиталистическом “раю” на одних серых макаронах — самом дешёвом продукте. Если вы настоящие писатели и денежки у вас водятся на всякие переименования — так выписывайте лучше журнал “Наш современник”, поддержите лучший журнал страны! Стыд и позор: многие о журнале только слышали ещё с советских времён, а о съезде писателей не знают. Конечно, многие встанут в очередь в библиотеке за журналом, тем более, если это единственный экземпляр на всю округу! А самим подписаться — денег жалко. Вот тут и вспомнишь горьковское: “С кем вы — мастера культуры?”

Несмотря на сложные нынешние времена, во время редких встреч писателей с читателями надо бы всей писательской гвардии, какая ещё осталась, грудью встать против болота пошленьких детективов, против литературы, пропагандирующей низменные инстинкты, болезненные извращения, воспитывающей злобу к стране и её прошлому. Литература должна учить настоящему русскому языку, а не тюремному жаргону. Как говорил Пётр Проскурин: “Пробудить в человеке зверя нетрудно, а вот высветить в нём Бога...” Вообще, надо больше читать настоящей классики, думать, работать, несмотря ни на что.

Когда я читала многочисленные поздравления в честь Вашего юбилея, Станислав Юрьевич, то искренне радовалась: какие слова! Какая любовь и преклонение! Какое счастье, что я читаю книги, написанные и присланные Вами!

А вот статью Вашу “Съезд победителей”, в третьем номере “Нашего современника” за этот год читала с горечью и отчаянием. Имена некоторых литераторов, упомянутых в ней, мне знакомы: кто-то дарил мне свои книги, с кем-то встречалась лично. Сборник стихов Мирошниченко стоит на моей полке. Один из упомянутых Вами поэтов полвека назад подарил мне томик стихов авторов 18 века с надписью: “Не потрясения и перевероты для новой жизни очищают путь...” — не подписал, что стихи Пастернака, может, думал выдать за свои: откуда костромской девчонке знать Пастернака? Вроде мелочь, а человека характеризует. Мне думается, что подобные ему Вас и гнобили.

Не хочется мне читать современных авторов, читаю Вашего “Сергея Есенина”, публицистику в “Нашем современнике”. “Наш современник” и газету “Завтра” Проханова в Котельничском районе выписывают всего 3 человека, в их числе я. Грустно и обидно за наш потерявший духовные скрепы, одичавший народ. Ваш журнал и газету “Завтра” буду выписывать до последней возможности, чтобы совсем “не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома”.

Всего доброго Вам и Вашим родным. С уважением и признательностью

Галина Леонидовна Бабенко
г. Котельнич Кировской области

“КОГДА ПЕРЕСТАНУТ УБИВАТЬ РУССКИХ ПОЭТОВ?”

Уважаемая редакция, писатели и читатели журнала!

Утешать Куняева после его “поражения” на съезде — это всё равно, что утешать боксёра, что с достоинством провёл поединок на ринге, но победа была присуждена не ему. Да и махание кулаками после драки вредно для любого бойца. Уймись все, желающие “утереть его слёзы”. Не такой человек Станислав Юрьевич, чтобы сдаваться! За одного битого двух небитых дают. Если бы мы создали партию или Союз писателей “Наш современник”, то нам и в гости к этим “московским писателям”, которых знать никто не знает, ходить было бы не надо! Но мы бездействовали, не объединялись, вот и проиграли. Теперь анализируйте, собирайте информацию, тренируйтесь, действуйте и живите! Вы ожидали великих поступков от этих “московских писателей”? А вы вспомните судьбу наших великих поэтов — Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Кондратия Рылеева, Сергея Есенина, Николая Клюева, Павла Васильева, Николая Рубцова, Игоря Талькова и многих других. Все они были убиты, а убийцы не наказаны. Кто вступился за поэтов, за славу России? Никто. Почему? Боялись убийц и преследования властей, с согласия которых всё это и вершилось. Вспомните, как хоронили Пушкина. Гроб с его телом тайно отправили в Святые Горы в сопровождении жандарма и там сначала даже могилу не смогли выкопать, была зима, и заморозили его в снегу, во льду до весны. А весной потом спешно зарыли в песок, словно прятали следы преступления. Не так ли и сейчас поступает наша власть с русской литературой, словно вымораживает её, не даёт возможности существовать?.. На памятнике Пушкину в Святых Горах нет надписи, что он был убит, умер от огнестрельного ранения, так и на памятнике всей русской литературе не напишут, кто был её палачом, хотя эти имена всем известны. Как-то, давая интервью “Радио России”, Игорь Тальков незадолго до своей трагической гибели сказал, что **русских поэтов тогда перестанут убивать, когда изменится наше русское общество**. Вспомните судьбу писателя Петра Петрова из Иркутска. После его ареста народ безмолвствовал, кто-то из товарищей оказался негодяем, а оставшиеся на свободе иркутские писатели поручиться за него не захотели. Вот такие мы, великие русские люди!..

Наша главная встреча, наш главный съезд впереди. Московский съезд — это грязь и хлам. Место ему — свалка. Будем жить, работать, молиться, верить, любить, прощать, творить и объединяться!

С уважением
Анатолий Петрович Ерохин
г. Улан-Удэ (Верхнеудинск)

“ВЕРЮ, ЧТО ЭТО – ВАША БЕЗУСЛОВНАЯ ПОБЕДА”

Станислав Юрьевич, здравствуйте!

Прочитал Вашу статью “Съезд победителей”, большое спасибо Вам за **Правду**, которую Вы выстрадали, защитили и показали народу.

Вы тот, кого сохранил Господь, чтобы честные и простые люди видели пример и поныне живущих в народе добродетелей: мужества, благородства и невозмутимости перед никчёмной обволакивающей ложью.

Вот мне, ежедневно справляющему утреннее и вечернее правило, молящемуся в течение дня, постоянно исповедующему грехи и делающему это ради Христа, ради спасения души, порой с трудом удаётся оставаться на высоте добродетельной жизни, потому что лезу во всяческие разборки... А Вы – молодец!

В этот год знакового столетнего юбилея страшной трагедии 1918 года не могло не произойти размежевания, вскрытия давно назревшего нарыва – кому кто служит: Добру или злу, истине или лжи, Народу или своему Я.

Вам, Станислав Юрьевич, в тактическом плане сегодня не удалось удержать Союз от падения, ибо у противников не нашлось ни единого евангельского Никодима, который бы попытался вразумить топающих членов “синедриона” словами: “Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?”

Если Николаю Иванову, по всему видно, невдомёк мыслить, что всякое служение Правде есть служение Богу, то ему хочется изолировать в Вашем лице свободу “Божией дудочки”, чтобы узаконить серость и выдать её за конечный идеал. Подобные процессы идут на всех “фронтах” и, прежде всего, в Русской Православной Церкви, где младостарцы хотят лишить народ Богом данной свободы.

В будущем же, я верю, что это – Ваша безусловная Победа, ибо самость Николая Фёдоровича Иванова и его легковверных сподвижников уже не отмоешь ничем, кроме как покаянием и служением русскому делу. Но способны ли такие люди на перерождение?

Вы ради высшей справедливости претерпели до конца ситуацию подлого предательства, подчиняясь закону Христа: “По делам их узнаете их”. Долго терпели многих беснующихся, хотя и высокопарно говорящих в патриотической риторике, но не помышляющих об ответственности за сказанное слово.

Хотел было обобщённо писать об этих несерьёзных людях, подобных Боброву и Мирошниченко, но подумал, зачем засорять добрый материал о Человеке чем-то лишним. Эти людишки есть в любой среде человеческой деятельности. Они употребляют высокие слова, а на поверку ошибаются, потому что произволение их сердца не ищет Истины.

А в это же самое время народ России живёт очень тяжело, трудно. Он несёт, может быть, и не всегда осознанно Крест Христов. А эти – подставили ли они плечо своему кормильцу? Нет, они заняты другим. Читаем: “А. Бобров возглавляет компанию травли и шельмования Куняева”. Несправедливость есть особый вид греха, потому что невозможно оценить его пагубные последствия.

Нелицеприятно читать им Вашу статью, но правильно описан в ней грядущий итог этой битвы: “Вы (комсомольцы) вообще не нужны народу, понимаете? Можно прекрасно прожить и без вас”. Действительно, приходит время, и балласт сбрасывают... И если они совершили покаяние на убийство, то тем хуже для них, ибо бумеранг к ним непременно вернётся.

Положение дел вынудило Вас, настоящего патриота земли Русской, быть столь откровенным, прямым и точным. А нам и радость от этой честности, что Святая Русь по-прежнему жива, так как есть ещё писатели, которые живут на “территории Совесть”.

С большой победой Вас, Станислав Юрьевич, над пеной дорошенок и огрызковых на Русском праведном пути, ибо не официальные лица в креслах вдохновляют народ на Победу, а люди-символы, которые живут с Богом в сердце и по совести. Низкий поклон Вам от меня – простого русского человека.

Многая и Благая Вам лета, родная для Русского народа душа!

Михаил Рубцов,
руководитель Крестного хода “Память благодарных потомков”
г. Нижний Новгород

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

Здравствуйтесь, Станислав Юрьевич!

Недавно прочёл Вашу книгу “Умом Россию не понять: от маркиза де Кюстина до Иосифа Бродского”. Заинтересовался. И вслед за ней последовала Ваша книга “Терновый венец России: от Есенина до Рубцова”.

Особую грусть вызвала у меня глава о Викторе Астафьеве и его трагическом финале. А ведь я рекомендую его произведения зарубежным друзьям, изучающим русскую литературу и русскую культуру как один из примеров самобытного и неповторимого языка.

Хочу выразить Вам глубочайшую признательность за ту героическую работу, которую Вы продолжаете вести самостоятельно и как руководитель журнала “Наш современник”. Благодаря Вашим усилиям ещё есть надежда, что живой ручей русской литературы сохранится в фальшивом и конъюнктурном мире имитации литературного процесса.

Благодаря Вам сделал ряд неутешительных открытий касательно собственного языкового развития. Речь идёт о тех, кто формировал ориентиры в моём детстве и юности. С горечью приходится признать, что это сплошь русскоязычные, но не русские люди, которым до России и дела нет. Теперь они уже не прячутся, а открыто хвастаются иностранными гражданствами, цинично высмеивая происходящее в республиках бывшего СССР.

“Вам есть, где жить, а нам – где умирать...” – очень ясная черта, разделяющая для меня теперь людей на своих и чужих. Есть ощущение некоторой беспомощности от понимания того, что вокруг сплошная ложь и рыночное угодничество.

Обращаюсь к Вам с просьбой помочь ликвидировать “языковую инвалидность”, которая слишком очевидна. Вопросы получилось три.

1. Кто из русских писателей и поэтов XIX века, которых теперь относят к классике, видится Вам проводником вредных идей?

2. Кого из писателей XX века Вы бы рекомендовали в первую очередь подрастающему поколению, дабы заложить здоровый фундамент литературных представлений?

3. Как быть с детской литературой, где сплошное царство Маршака, Корнейчуков, Барто и им подобных? Есть ли настоящая детская литература?

Последний вопрос наиболее болезненный, так как не хотелось бы передать детям собственную литературную неполноценность.

Желаю Вам крепкого здоровья и стойкости в неравной борьбе за русское слово и русскую литературу.

С уважением,

Ндуго Ба

г. Черкассы, Украина

“ЖУРНАЛ “НАШ СОВРЕМЕННОК” СТАЛ ЧАСТЬЮ МОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ”

Уважаемый Станислав Юрьевич, здравствуйтесь!

Буду краткой, чтобы не отнимать много Вашего времени. Высылаю Вам снимок. Это вид на тот склон и лес за ним, где Ваша матушка во время войны думала укрыться, если придут немцы. Вид из моего окна тоже на этот лес, и я часто смотрю на эти “дальние дали”.

Журнал “Наш современник” на второе полугодие я выписала, как и говорила, в качестве подарка от моей снохи.

В № 4 журнала две замечательные статьи: В. Штырова “Арктика” и А. Смолко “Учиться и ещё раз учиться”. Даже выписала кое-что себе в блокнот. С болью, но и с радостью, что столько у Вас сторонников, читала об итогах съезда.

Скажу, что мне одного журнала в месяц не хватает, и я читаю старые номера. Вот прочла в 3–6 номерах за 2013 год публикацию Тимура Пулатова “Младобухарец против младотроцкистов” о событиях 1991 года. Даже спустя столько лет и на расстоянии от Москвы душа кипит. А Вы-то были в эпицентре этой криминальной революции!

Иногда думаю: может, мне не надо читать, и это материал для литературных историков? И тут же говорю себе: “Нет, надо!” После таких материалов чётко понимаешь, кто есть кто, фамилии-то все знакомые...

Читала в старых номерах исследование Вашего сына Сергея о Николае Клюеве и Александра Казинцева “Поезд убирается в тупик”. Мой большой им обоим поклон. Ещё многое из их исследований и размышлений хочу прочесть.

Нашла на своей полке сборник “День поэзии”, точнее, два сборника – за 1966 и 1976 год, объединённых под одной обложкой. Давно, ещё в 1977 году у нас в редакции побывал поэт В. Ф. Ромашов из Москвы и спустя некоторое время прислал мне этот сборник. В номере за 1976 год есть Ваши стихи, а вот Рубцова нет.

Недавно мой знакомый, бывший председатель колхоза, сказал, что послал Вам районную газету с моим материалом о Вас. И, пожалуй, больше огорчил меня, чем обрадовал. Редакция газеты вычеркнула одно слово, касающееся национального вопроса, и смысл предложения испортила. Я сказала редактору, что у газеты ныне позиция трусливая.

Кто-то из ваших читателей написал, что журнал “Наш современник” стал частью его существования. Вот и моего тоже. Недавно с моей приятельницей, тоже читательницей и поклонницей журнала и Вашего творчества, пришла к выводу: насколько были бы мы беднее, если бы всего этого не читали!

Вспоминаю нашу встречу в редакции и думаю: не слишком ли много я говорила, надо было бы Вас слушать да слушать, коль представилась возможность. Так что мысль Амвросия Оптинского про сказанное и неслезанное слово мне надо вспоминать почаще. Простите меня!

Здоровья Вам и благополучия!

С уважением
Галина Старкова
село Пыщуг Костромской области

СТАЛИНСКИЕ РОЗЫ

Здравствуйтесь, дорогой Станислав Юрьевич!

Не так давно услышал я одну любопытную историю из послевоенного времени, случившуюся у нас здесь в Сочи, в районе Мацесты, где, как известно, была дача Сталина. История эта так потрясла меня, что я написал рассказ, где героиней является простая девушка Алька (Алевтина), а поведала мне эту историю её дочь. Рассказ я назвал “Розы с клумбы Сталина”.

Шматова Алевтина Трофимовна, да попросту – Алька, родом из города Валуйки Белгородской области, в 1947 году, будучи ещё восемнадцатилетней девчонкой, завербовалась в Сочи на работу, связанную с укреплением морских и речных берегов. Вербованных поселили в районе стадиона в бараке. Как-то в выходной подружки-девчонки в лесу за Мацестой забрели в заброшенный грушевый сад. Ловкая, худощавая Алька быстро взобралась на самую верхушку грушевого дерева. Груш было мало, и висели они на концах веток. Приходилось с трудом тряссти эти ветки. Плоды были мелкие и твёрдые.

“Ой, зуб заломило!” – вскрикнула Алькина подружка Лена, надкусив грушу. Худенькая, бледная, она несуетливо, но упорно раздвигала колючие кусты и шарила в жёсткой траве. “Что-то я плохо себя чувствую”, – пожаловалась она.

– Ещё бы! Вчера наишачились. Колобок грёбаный! – выругалась Алька. – Голодом морит. Бригадир называется. Сам брюхо отпустил, щёки, как у хомяка!

– Алька, сейчас бы картошечки горячей!

– А у меня блинчики перед глазами! – захохотала Алька. – Что это мы с тобой нюни распустили? В нашем возрасте, Ленка, о любви мечтать нужно, а мы о жратве. – И она пропела частушку: – Две старушки без зубов толковали про любовь. Мы с тобою влюблены: ты – в картошку, я – в блины!

И вдруг Алька с ловкостью белки соскочила с дерева, очень возбуждённая, подбежала к подружке, схватила её за руку и потащила через кусты к ка-

кой-то ограде. Сквозь щель в голубом заборе они стали любоваться розами – красными, жёлтыми, белыми – и вдыхать неповторимый аромат.

– Как пахнут! – Алька просунула пальцы в щель, дёрнула, и доска поддалась, внизу отошла. Они прошмыгнули за ограду и оказались у клумбы. Но не успели сорвать и три розы, как услышали громкий окрик: “Встать! Пройдёмте!”

Перед ними стояли два молодых человека в форме, вооружённые. Один из них показывал, куда идти. Опустив головы, подружки шли по аллее. У Лены ещё бледнее стало лицо, и навернулись слёзы. Алька, хоть внутренне дрожала, но виду не подавала, бодрилась. В конце аллеи стоял невысокого роста пожилой мужчина с усиками. Один из охранников подбежал к нему, вытянулся, отдал честь и стал что-то негромко говорить.

– Какой-то начальник, держись, Ленка! – горячо прошептала Алька подружке. Рябоватое лицо “начальника” было строгим, глаза смотрели пристально.

– Как вы, барышни, попали сюда? – спросил он, выговаривая слова с грузинским акцентом. – Кто вы? Рассказывайте. А ты, – кивнул охраннику, – записывай.

– Дядечка, не наказывайте нас, – взмолилась Алька. – Мы собирали груши, дичку, увидели у Вас за оградой розы, таких роз нам никто не дарил, и мы пролезли в щель. Мы вербованные. Укрепляем морские берега, работа тяжёлая, бетонируем, таскаем вёдра с раствором. Горячие обеды перестали подвозить и зарплату задерживают. Я-то сильная, и с отбойным молотком работала, и с кувалдой могу. А Лена слабенькая, надорвалась...

Начальник перевёл взгляд на подругу. Остроглазая Алька уловила в его лице сочувствие и осмелела:

– Приезжайте к нам на Мацесту, посмотрите, как мы работаем. Это около ванного здания. Бригадир у нас строгий, может накричать, но вы не бойтесь, он кричит только на безответных. Меня он не обижает, знает мой характер. Угостим Вас крепким чаем. Правда, хлеб у нас чёрный, но вкусный,

Строгость на лице начальника исчезла. Он улынулся:

– Вы говорите, что вам такие розы никто не дарил?

– Никто, никто!

– А я подарю. Возьмите их!

Он обернулся к охраннику:

– Проводи их.

– Спасибо, спасибо! – обрадовались подружки, схватили розы и сумки с дичкой и устремились к выходу. За воротами смеющийся охранник спросил:

– Девчата, а вы знаете, кто с вами говорил?

– Не знаем, – поспешила Алька с ответом. – Но дядечка хороший, дай ему Бог здоровья!

Военный захохотал:

– Дядечка! С вами говорил сам Иосиф Виссарионович Сталин!

Алька толкнула в бок подругу:

– Ленка, ну и влипши мы с тобой в историю!

Охранник остановил проезжавшую мимо легковую машину “Победа” и выглянувшему в окно испуганному шоферу сказал:

– Подбрось девчонок, куда скажут.

Водитель с облегчением выдохнул и распахнул дверцу. На весёлых радостных девчат в бараке накинута подружки, угощались грушами; любовались розами, расспрашивали и не верили, что цветы подарил сам Сталин.

На следующий день бригада укрепляла, как обычно, берег реки Мацеста. Появился красный, как варёный рак, очень возбуждённый бригадир Колобок, сильно смахивающий своей пузатой фигурой на Никиту Сергеевича Хрущёва, и заорал визгливо:

– Мокрохвостки! Жаловаться на бригадира?! Я вам покажу кузькину мать!

Алька упёрла руки в бока:

– Сергеич, что ты расхотелся, как горячий самовар? Кузькиной матерью нас не пугай, мы тебе не американские империалисты. Я сказала правду, как она есть: зарплату нам задерживаете, горячие обеды не возите, голодом морите.

Неожиданно к обеду подкатила полевая кухня. Бригада окружила прямо пахнущий, обдающий паром котёл, уселась вокруг. Все получили по целой порции наваристой каши и по большому куску мяса, уписывали за обе щеки, налегали на вкусный белый хлеб, запивая густым какао, восторгу бригады не было предела. Смеялись:

— Алька, ты Сталину пожалуйся, чтобы зарплату нам выдали.

И зарплату им выдали в конце рабочего дня. Один из парней, обращаясь к Ленке, выпалил частушку:

— Мы с моею ненаглядной целовались горячо: она мне сломала шею, я ей вывернул плечо!

Алька дёрнула за рукав повеселевшую подружку:

— Смотри, отъелся, его уже на любовь потянуло! Девчонки, сегодня пойдём на танцы в санаторий, ура!

На следующий день к работающим подкатил чёрный “воронок”. Лена задрожала и спряталась за спину подруги:

— Ох, загребут нас!

Знакомый охранник подошёл к сколоченному из досок трапу — спуску к реке — и крикнул: “Шматова Алевтина и Кобзева Елена, на выход! Поднимитесь!”

Алька тряхнула головой:

— Чему быть, того не миновать! — и ловко взбежала на набережную. За ней робко плелась Лена. От души отлегло, когда увидела доброжелательную улыбку военного. Он протянул им по свёртку: “Держите, это вам от Иосифа Виссарионовича! А это его телефон, смотри, не потеряй номерок! Если будут проблемы — звоните”.

Ликующая Алька услышала обрывки его речи, обращённой к толстому бригадиру:

— Всё поставлено на учёт самим... Имей в виду... Будут неприятности.

Перед бригадой, сбившейся в кучу, подруги развернули свёртки и завизжали от радости:

— Какая прелесть!

Это был ситец, белый с голубым горошком, в те годы самый модный.

— Ура! Сошьём сарафаны!

Кто-то сказал:

— Алька, попроси Сталина, чтобы нас из барака переселили.

Все засмеялись:

— Губа не дура!

Телефоном Алька не воспользовалась: не привыкла жаловаться. Из барака их переселили в благоустроенное общежитие, а позже она получила комнату в малосемейке. К ней приехали мать с сестрой, а сама Алька устроилась на завод железобетонных изделий. Как-то раз она купалась в море, да заплывала далеко, и её спас пограничник Гена, а потом и замуж позвал.

В завершении этой истории Алевтина Трофимовна, со слов её дочери, добавила: “Сегодня ругают Сталина. Но при нём к каждому празднику объявляли о понижении цен и понижали, а зарплату повышали. И на пенсию женщины выходили в 55 лет, а мужчины в 60. И на пенсию можно было жить, а не нищенствовать, как на сегодняшнюю путинскую. Никто и не думал, что будет иначе. Вот вам и плохой Сталин! А нынешние-то что?”

Вот такая история. Дай Вам Бог здоровья и силы!

Николай Иванович Ситников

г. Сочи

ВЛАДИМИР ЕВДОКИМОВ

ПРООБРАЗ ТРЕУГОЛЬНИКА ИЗ “АННЫ КАРЕНИНОЙ”: “КАРЕНИН–АННА–ВРОНСКИЙ”

Автобиографическая повесть Льва Мечникова

В 1873 году в журнале “Русский вестник” началась публикация романа Льва Толстого “Анна Каренина”. Довольно быстро он получил признание, стал знаменит. К настоящему времени он переведён на все литературные языки мира, по всеобщему мнению, является лучшим романом Толстого и самым читаемым русским романом вообще. По нему ставят спектакли, снимают фильмы, новые поколения читателей следят за чередующимися событиями, переживая за судьбы персонажей. Вокруг романа создалась своя литература, исследования его не прекращаются ни в России, ни за границей.

О чём роман? В нём фактически рассказаны две переплетающиеся друг с другом истории: история отношений Левина и Кити и история отношений Каренина, Анны и Вронского. Его главная интрига – любовный треугольник “Каренин–Анна–Вронский”. Считается, что прототипы героев романа уже так хорошо известны, что и дискуссий на эту тему нет. Но вот вопрос о том, какой реальный любовный треугольник послужил Льву Толстому образцом для создания треугольника “Каренин–Анна–Вронский”, никогда не ставился. А почему?

1

Между тем, такой “треугольник-образец” существует. Эта история изложена в повести Льва Мечникова “Смелый шаг”.

Повесть Мечникова (подписана “Леон Бранди”) “Смелый шаг” была опубликована в 1863 году в журнале “Современник” [1]. В том же году в “Современнике” появился и роман Н. Г. Чернышевского “Что делать?”. В центре внимания этих литературных произведений находился самый важный и обсуждаемый вопрос общественной жизни в России того времени – эмансипация женщины. Впечатление они произвели серьёзное – эти публикации “Современника” послужили причиной временной приостановки его издания. Дальнейшая судьба их различна. Роман “Что делать?” имел большой успех, в СССР многократно переиздавался, изучался в школе на уроках литературы. Повесть “Смелый шаг” со временем забылась, и даже вездливому современному читателю

неизвестна. Конечно, она оказалась хотя и в паре, но “в тени” романа Чернышевского, она несравнима с ним ни в художественном плане, ни по степени раскрытия темы. Надо также понимать, что XIX век — золотой век русской литературы — представлен настолько великими литературными произведениями, что и роман “Что делать?” в этом наследии стоит не в первом ряду. Однако же удивительным образом маленькая повесть Мечникова (50 страниц) в этот первый ряд “просочилась”, да так неожиданно и сильно, что остаётся только руками развести и для восстановления равновесия вспомнить банальную, но всегда неожиданную истину — в литературе возможно всё!

Что именно в данном случае?

2

Действие повести “Смелый шаг” разворачивается в Петербурге, в 1857–1858 годах примерно на протяжении года. Её содержание в своём отзыве лаконично изложил член Совета по делам книгопечатания, писатель И. А. Гончаров: “Молодая женщина, жена умного, честного и благородного человека, сначала любила или думала, что любит мужа, потом на его глазах и с его согласия стала сближаться с кругом молодых людей; увлеклась студентом и после некоторой борьбы ушла к нему. И осталась у него жить. Муж с презрением махнул на неё рукой. Тут всё содержание” [4]. Так и есть. И вот главные герои повести:

Николай Сергеевич Стретнев. Серьёзный человек. Ему тридцать лет. Десять последних лет он прожил в провинции, составил себе порядочное состояние, добился общественного положения и вернулся в столицу с молодой женой. Он человек строгих правил, реалист, англоман. “Мне платят, — говорил он, — я должен, насколько хватит сил, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, и это уже нелегко для человека, который серьёзно смотрит на дело”. Стретнев своё возрастное и умственное превосходство относительно жены вполне ощущал, иногда подтрунивал над нею, полагал, что ей необходимо общаться с молодёжью, хотя молодёжи не любил. Быть “полезным была цель его жизни, мерка всему” — вот что он любил.

Лизавета Григорьевна Стретнева. Провинциальная барышня, которая в своём “губернском захолустье” “с детства привыкла считать фатальной необходимостью выход замуж”, два года назад вышла замуж за Стретнева и переехала с мужем в Петербург. Она хорошенькая, у неё большие глаза и длинные шелковистые ресницы, маленькая, немного сухая ручка. Она туманно хотела счастья, жила вполне по инерции и “боялась ума своего мужа”. Единственным её желанием, выходящим за рамки повседневности, было организовать “домик для студентов” — небольшой домик, в котором поселить неимущих студентов и помогать им. Что делать ещё и ради чего, она не знала. У неё собирается молодёжь: “шумно говорили, горячо спорили, пили холодный чай”.

Богдан Спотаренко. Студент, учится в университете. Он сын степного помещика. Лошадник — первый визит на дачу Стретневых в Охте он делает на взятой напрокат “у берейтора на Галерной” лошади. Ему примерно 20 лет, он художник и герой повести именно в этом качестве. “Живописью он занимался с жаром и с успехом...”, “Работал он далеко не хорошо, но у него было много вкуса”. Родители, от которых он зависит материально, не разрешают ему оставить университет ради учёныя в Академии художеств. Он жаждет продолжать занятия живописью и мечтает уехать в Италию. Для этого он пытается живописью зарабатывать на жизнь...

Между Богданом и Лизаветой Григорьевной завязывается роман. Она старше него и страшится своего чувства. Стретнев ведёт себя благородно, полностью доверяя жене. Он делит дом на две половины, позволяя Лизавете Григорьевне принимать любых гостей для интересного общения. Узнав о её измене, он с негодованием её отвергает. Отвергает и возможную дуэль. Лиза и Богдан соединяются. “У нас есть роскошь жизни нищего — любовь. А остальное как-нибудь, да будет”.

“Тем повесть “Смелый шаг” и кончается, — пишет И. А. Гончаров. — Я даже сомневаюсь, конец ли тут: надо бы было осведомиться в редакции “Современника”, нет ли в виду второй части, прежде, нежели допустить повесть в печать” [4]. Гончаров прав: повесть скорее не кончается, а останавливается.

А что “треугольник” “Каренин–Анна–Вронский”, описанный в романе Льва Толстого [6]?

Алексей Александрович Каренин. Серьёзный мужчина примерно сорока пяти лет. Государственный деятель консервативных взглядов, очень занятой, служит в министерстве. Человек известный, благородный и твёрдый в действиях, “он держался строжайшей аккуратности. “Без поспешности и без отдыха” – было его девизом”. Восемь лет назад он женился на девице Анне Облонской где-то в провинции. Значительно старше жены. Относится к ней вежливо и уважительно, хотя и подшучивает иногда. Вечером пьёт чай и на сон читает серьёзную литературу. Богат, есть свой дом в Петербурге, дача в Петергофе. Вращается в высшем обществе, и для него чрезвычайно важно соблюдение его обычаев и сохранение того положения, которое существует.

Анна Аркадьевна Каренина (урождённая Облонская). Ей примерно двадцать шесть лет. Она красива – “блестящие, казавшиеся тёмными от густых ресниц, серые глаза”, “подвижное лицо”, “румяные губы”, чёрные, везде вьющиеся волосы. У неё маленькая, сухая рука, быстрая походка и “довольно полное тело”. Есть сын Серёжа восьми лет. Жизнь её легка, понятна, протекает между визитами, театром и иными местами, где бывает высшее общество Петербурга и Москвы, и, конечно, семьёй. “Кроме ума, грации и красоты, в ней была правдивость”. Стремлений, кроме сохранения своего положения, то есть сохранения родственных связей и высокого мнения высшего света о её соответствии принятым нормам, нет. Только в имении Вронского увлеклась сельским хозяйством, “устройство больницы тоже занимало её”. Своё положение воспринимает тяжело, нервничает, принимает морфий.

Алексей Кириллович Вронский. Граф. Флигель-адъютант. Ротмистр, затем полковник. Возраст – примерно 23 года. “Преждевременно начал плешиветь”, имеет усы. Любитель и знаток лошадей, “до которых он был страстный охотник”. Хороший товарищ. Довольно честолюбив, хотел бы сделать карьеру. Художник-любитель. “У него была способность понимать искусство и верно, со вкусом подражать искусству, и он подумал, что у него есть то самое, что нужно для художника...”

Характеристики сторон “треугольников” “Стретнев–Лизанька–Богдан” и “Каренин–Анна–Вронский” вполне определены и чрезвычайно сходны.

Чувство Вронского к Анне зарождается медленно, но любовь к Анне Карениной овладевает им и заставляет действовать. Чувство это взаимно. Анна “встречала Вронского и испытывала волнующую радость при этих встречах”. В свою очередь, “Вронский был везде, где только мог встречать Анну, и говорил ей, когда мог, о своей любви”. Каренин что-то понимает, но откровенный разговор с Анной ни к чему не приводит, а вскоре Анна и Вронский становятся любовниками. Во время скачек, когда Вронский с лошадей падает, Анна выдаёт себя волнением. С этого начинается новая жизнь героев.

Для решения ситуации Каренин рассматривает несколько вариантов, начиная с дуэли, “хотя вперёд знал, что он ни в каком случае не будет драться”. Испытывает “презрительное равнодушие к жене”. Требуя от неё, чтобы их отношения были “такие, какие они всегда были”. Анна хочет получить развод, но оставить себе сына, в чём Каренин ей категорически отказывает.

Анна и Вронский влюблены, даже счастливы. Они путешествуют по Италии, живут в деревне. У них рождается дочь, но большой радости родителям она не приносит. Напряжённость жизни возрастает – Анна начинает принимать морфий, её страшит возможность охлаждения к ней Вронского, её посещают мысли о самоубийстве. Во время одной из размолвок она направляется к нему на подмосковную дачу, но на железнодорожной станции бросается под поезд. Вронский убит горем: “Постаревшее и выразившее страдание лицо его казалось окаменелым” – и отправляется в Сербию воевать против турок.

В романе очевидно сильное развитие истории “треугольника”. Эта сила и определила величие романа “Анна Каренина”.

“Смелый шаг” – повесть автобиографическая, и она художественным образом запечатлела разрыв прежнего и создание нового сердечного союза, которые произошли в Италии, в городе Флоренция в 1862 году.

Флоренция была тишайшим городом, но после 1860 года – года успешного гарибальдийского похода и начала объединения Италии – оказалась как бы на культурно-географическом перекрёстке итальянской жизни. Она ожила, приобрела столичный дух, сюда устремились и гости Италии, и итальянцы. В русской культуре Флоренция 1860-х годов сыграла примечательную роль.

Здесь, в кругу русских художников, сформировавшемся на piazza della Indipendenza вокруг гостеприимной семьи пенсионера Академии художеств Н. Н. Ге (Г. Г. Мясоедов, П. П. Забелло, А. А. Бакунин, И. П. Трутнев, А. В. Даль, И. В. Штром, М. И. Железнов, А. К. Григорьев, И. П. Прянишников и др.), зародились и развились новые идеи живописи. “Спорили много, спорили с пеной у рта, не жалели ни слов, ни порицаний, ни восторгов, но всё это, не выходя из области пожеланий, кончалось мирным поглощением русского чая”, – так, по словам Мясоедова, проходили вечера в семье Ге [5]. Идеи оформились к 1870 году созданием Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ), сыгравшего громадную роль в русской живописи и культуре в целом.

Вот там, во Флоренции, и находились прототипы героев повести “Смелый шаг”.

Это *Владимир Дмитриевич Скарятин*, представитель известной русской фамилии. Первоначально, как и его братья, морской офицер. Затем вышел в отставку и уехал в Сибирь. Человек педантичный, деловой, увлекался социальными вопросами, политэкономией. Англоман. Служил в Иркутске при губернаторе Енисейской губернии Н. Н. Муравьёве-Амурском, затем в Красноярске. Службу оставил и в связи с бурным развитием добычи золота в Восточной Сибири в середине XIX века заделался золотопромышленником, сколотил приличный капитал и вернулся в Петербург богатым человеком. В 1860 году издал “Записки золотопромышленника”, составившие ему известность, постепенно вошёл в журналистские круги Петербурга, сотрудничал с “Современной летописью”, “Русским богатством”. С 1862 году стал пайщиком и соредактором “Русского листка”, занял в нём главенствующее положение, переименовал через год в “Весть” и прославился: получил славу “крепостника” и “реакционера”, поскольку не разделял эйфории по поводу освобождения крестьян, а приводил практические резоны. С начала 1860-х годов жил во Флоренции, воссоединившись с женой и дочерью.

Ольга Ростиславовна Скарятин (урождённая *Столбовская*). Дочь Красноярского обер-полицмейстера Р. З. Столбовского. Именно там она и вышла замуж за Скарятин. В 1856 году у Скарятиных родилась дочь Надежда. Был и сын, но умер в первые годы жизни. Отношения с мужем складывались неровно: охлаждения сменялись примирениями, в 1860 году они, как тогда говорили, “разорвали”, и Ольга Ростиславовна со смутными мыслями о медицинском образовании отправилась в Италию. В 1860 году ей исполнилось 26 лет, путешествие отнюдь её не развеяло, Италия не способствовала никакому энтузиазму, наивные сибирские идеалы тихо исчезали, она была одна, далеко и пришла к простой мысли – лишить себя жизни из-за её никчёмности. Провидение, однако, вложило в её руку перо, она написала в Лондон А. И. Герцену и, держа про запас в шкатулке коробочку с морфием, стала ждать ответа.

Слово Герцена в те времена значило очень много. Герцен ответил:

“... Жизнь – вещь случайная, дайте ей случайно окончиться. Речь идёт не о праве человека убивать себя или нет. Этот вопрос разрешается ясно из всего воззрения моего, – а вы его знаете, иначе не стали бы писать ко мне, – но это поступок слабый, без достаточных причин. Вы искали человека; люди, встречавшиеся вам, далеко не подходили к тому искомому вашего сердца, о котором вы мечтали; вы колебались, страдали и рассердились за то, что вы спрашивали больше, чем встретившиеся люди могли дать. Вам надо было встретить энергию и ум, которые бы вас подавили, натуру сильную и изящную, которая бы вас вела... Вместо этого вы постоянно играли приму, вам это опротивело, и вы хотите оставить дочь... Вы этого не сделаете, я уверен...” [3].

Переписка продолжалась недолго, но помогла: “Теперь я чувствую в себе новый прилив сил и энергии. Опять мне кажется, что я многое, многое сделаю”, – так писала Ольга Ростиславовна Герцену [3]. О своём намерении “самоубиться” она, конечно, забыла. Тем более, что события в Италии следовали одно за другим, появлялись новые люди, менялись настроения, наладились отношения с приехавшим во Флоренцию мужем.

Лев Ильич Мечников. В 1862 году ему было 24 года. Он рано начал лысеть, ходил с костылём, слыл отчаянным лошадиником. В русских кругах Флоренции он имел не только репутацию гарибальдийского офицера, вдобавок раненного в битве при Вольтурно, – он был художником, блестяще и разносторонне образованным человеком, не знал проблем в разноязычном общении и был весьма активен, в том числе и в конспиративной деятельности. “Собеседник он был крайне приятный: запас его разговора был неистощим. Он переходил от предмета к предмету с чрезвычайной лёгкостью и в данную минуту горячо отстаивал свои мнения. Мнения его менялись, как волны, одно набегало на другое, одно уносило другое, но всё же в ту минуту, когда он высказывал их, он говорил с большим убеждением. Была у него ещё одна характеристическая особенность: он находил во всём, даже в печальных и несчастных случаях жизни, комическую сторону. Он смеялся и над собой, и над другими”, – так, с лёгкой долей иронии, свидетельствовала о Мечникове (выведенном ею под именем Кречетова) Н. И. Утина-Орсини (А. Урбан) в своём романе-фельетоне “Людоедка” [7].

Мечников, обосновавшийся после выхода в отставку в Сиене, активно участвовавший там в жизни “Сиенского комитета за объединение Италии”, издававший одно время газету, регулярно навещавший во Флоренцию и принимал живейшее участие в жизни русской эмиграции. Во Флоренции и состоялось его знакомство с супружеской четой Владимира Дмитриевича и Ольги Ростиславовны Скарятиных.

Там, хотя и не сразу, но довольно быстро сложился треугольник “Скарятин–Ольга–Мечников”.

6

Снисходительно и внимательно относясь к жене, полагая, что ей необходимо своё, со своим кругом знакомых, общение, Скарятин разделил дом на две половины, уступив одну Ольге Ростиславовне, другую оставив себе. Ольга Ростиславовна принимала гостей, встречи были приятны, круг обсуждаемых вопросов широк. Ольга Ростиславовна была красива, пользовалась успехом у молодых людей. Чего она хотела? Чего-то, отличного от того, что давала ей размеренная замужняя жизнь.

Наиболее активным гостем оказался Мечников. Он влюбился сразу и бесповоротно. Ольга же Ростиславовна никаких оснований для взаимности не ощущала, разве что побаивалась и вида, и манер Мечникова, позаимствованных им на Ближнем Востоке и в Италии, в том числе у неаполитанской коморры. Ну, а о том, что Мечников и есть та самая “энергия и ум”, “натура сильная и изящная”, Ольга Ростиславовна ещё не догадывалась. Однако, когда боязнь проходила, полагала это рисовкой молодого человека, коего она, умудрённая опытом женщина, жалела от всей души, относясь к нему тепло и заботливо. Мечникову же тепла и заботы было мало, он влюбился и не только показывал это, но и решительно объяснился! Объяснения были отвергнуты. Он не унимался. Перелом их отношений произошёл на нервном возбуждении – в один из вечеров у Ольги Ростиславовны было несколько гостей, в том числе Мечников, и она сделала то, от чего её отговаривал Герцен, – приняла морфий. Умереть ей, конечно, не дали, воспользовавшись ситуацией, Мечников красноречиво её убедил в том, что этим поступком она покончила с прошлым, с мужем должна разойтись окончательно и соединиться с ним! А вот как это сделать, то есть какие для этого предпринять действия? “И вот тогда, – вспоминала Ольга Ростиславовна, – милый и нелепый Бакунин [Александр, художник, старший брат великого бунтаря, М. А. Бакунина. – **В. Е.**] придумал что-то такое, что мне даже трудно формулировать. Что теперь кажется невообразимо диким, но что тогда все мы нашли вполне разумным и естественным” [2]. Что – так и осталось неизвестным. Известным яв-

ляется результат: Лев Ильич и Ольга Ростиславовна вместе с дочерью Надеждой стали жить вместе: Флоренция, via Barbaano, 2.

Через год в “Современнике” вышла автобиографическая повесть Мечникова “Смелый шаг”.

7

Параллели между треугольником “Стретнев–Лизанька–Богдан” и “Каренин–Анна–Вронский” очевидны и многочисленны: по возрастному соотношению, месту действия (Петербург, дача, Италия), по последовательности и содержанию событий. Муж – солидный, уважаемый, богатый человек, умный и консервативный, ведёт себя по отношению к жене благородно, заботливо, требует соблюдать правила, принятые в обществе, не ограничивает её, доверяет беспрекословно, содержит жену. Не любит молодёжи, пьёт вечером чай, не приемлет дуэли как способа разрешения конфликтов. Узнав об измене жены, презирает её. Жена – красивая, много моложе мужа, вышедшая за него замуж в провинции потому, что так было принято, не имеющая стремлений, томится от этого, хочет любви, но от мужа её не видит. Встречает необычного, талантливого молодого человека, отдаётся чувству, страдает. Любовник – молодой, энергичный, художник, лошадиник, честолюбивый, стремится достичь...

Откуда эти параллели?

О Скарятине Толстой, конечно, слышал, о треугольнике “Скарятин–Ольга–Мечников” наверняка знал. Слой образованных людей в России был очень тонок, сведения друг о друге передавались в нём быстро, общих знакомых можно было найти легко. Например, в осаждённом Севастополе начинающий писатель Лев Толстой читал “Севастопольские рассказы” маститому литератору Ег. П. Ковалевскому, пятнадцатилетний племянник которого, гимназист Лев Мечников, в это время сбежал из Харькова “на войну”. Хорошо знал Толстой старшего брата Мечникова, Ивана Ильича, ставшего прототипом героя рассказа “Смерть Ивана Ильича”. В рассказе при описании семьи Ивана Ильича упоминается и его брат: “Третий сын был неудачник. Он в разных местах напортил себе”. Это о Льве Ильиче, который в молодые годы нигде не мог задержаться: ни в гимназии, ни в Харьковском университете, ни в миссии по святым местам Б. П. Мансурова, ни в Русском обществе пароходства и торговли и пр.

В Италии Толстой побывал в 1857 году – в Турине и в 1860–1861 годах – во Флоренции, Ливорно, Неаполе, Риме. Здесь познакомился со многими русскими, в том числе с художником Н. Н. Ге, декабристом С. Г. Волконским, филологом А. Н. Веселовским и др. Описание им жизни Анны и Вронского в Италии предельно достоверно, а в художнике Михайлове легко угадывается Ге.

В 1862 году Толстой женился на С. А. Берс, а это значит, что вопросы создания семьи, её обустройство, особенно в начале, Толстого волновали постоянно.

Читал ли Толстой повесть Мечникова? Разумеется, читал. Не так уж много было в России литературных журналов, чтобы пропускать такой знаменитый, как “Современник”, и повесть с такой животрепещущей темой. И схема описанного в романе Толстого “Анна Каренина” “любовного треугольника” оттуда, и особенности имеет те же, что и “треугольник” в повести “Смелый шаг”: интеллектуальная деятельность мужа, его полезность обществу, холодность и спокойствие, с которым он решает проблемы “треугольника”; легкомыслие жены, испытывающей страх перед умом мужа, ищущей занятий и отдающейся чувству, и не знающей, как ей быть; молодость, энергия и напор любовника.

8

Повесть “Смелый шаг” оказала влияние не только на Льва Толстого, но и на других русских писателей 1860-х годов. Критикой этот вопрос почти не исследован, потому хотя бы, что не ставился.

Есть только одно упоминание. Давая характеристику творчества И. А. Гончарова, его биограф А. Г. Цейтлин отметил: “Оценивая появивший-

ся в 1863 г. в “Современнике” (1863, № 11) роман Леона Бранди (Л. И. Мечникова) “Смелый шаг”, в котором женщина ушла от мужа, Гончаров писал, что автор “изобразил картину увлечения, скрыв трагические последствия; а от уравнивания этих обеих сторон только и может подобный *смелый шаг* явиться в истинном свете. Если бы автор дал себе труд или сумел взглянуть поглубже в сердце этой женщины в дальнейшей её участи, в новом её положении, то, конечно, нашёл бы там достойный приговор её поступку”.

Легко увидеть здесь будущие мотивы “Обрыва” [опубликован в 1869 году. — В. Е.]. В отличие от Л. Бранди, Гончаров не скрывает “трагических последствий” смелого шага своей героини; всматриваясь “поглубже в сердце этой женщины”, он стремится изображением переживаний Веры осудить её поступок. Однако Гончаров не в силах наметить такой жизненный идеал, который был бы достоин его героини” [8].

Явно существуют и иные параллели — пытливому исследователю русской литературы XIX века, несомненно, доставит большое удовольствие их обнаружить.

9

Если треугольник “Каренин–Анна–Вронский” после завершения действия романа продолжения не имеет, то треугольник “Скарятин–Ольга–Мечников” с очевидностью имеет его.

Сначала о том, как сложилась судьба Льва Ильича и Ольги Ростиславовны после 1862 года? Каков был, говоря словами И. А. Гончарова, “достойный приговор её поступку”? Глядя из нынешнего времени, нельзя не поразиться вознаграждённой смелости Ольги Ростиславовны, во-первых, и поразительному дару предвидения А. И. Герцена, во-вторых: четверть века она была рядом с тем, кого Герцен (впоследствии лично знавший Мечникова и высоко его ценивший) в письме к ней назвал “энергия и ум”, “натура сильная и изящная”.

До 1864 года Мечников постоянно в движении. Он объездил всю Италию, написал и опубликовал множество статей. А так как он был республиканцем, “красным”, то монархическую Италию в конце 1864 года молодой семье пришлось покинуть и переехать в Швейцарию. Ольгу Ростиславовну и Льва Ильича теперь ждало всякое, но оба они были счастливы друг другом. Бесконечные мечниковские конспирации, поездки по Европе и Африке, кругосветное путешествие, постоянное писание, создание статей, докладов, работ географических, социологических, этнографических, исторических, в том числе этапных для науки и культуры монографий (написаны по-французски) “Японская империя” (на русский не переведена) и “Цивилизация и великие исторические реки” (два перевода на русский язык, шесть изданий в дореволюционной, советской и нынешней России); чтение лекций, в том числе с “волшебным фонарём” (по-нынешнему — “презентаций”), писание стихов, повестей и всегда — на клочке бумаги, на холсте, на картонке — рисование. И рядом та, с которой единственно и было возможным всё это сделать и для которой это и делалось. Та, которая помогала, заботилась о нём и была Мечникову верным другом.

Как считала она? “Оба мы были больные, ненормальные, всю жизнь мы терзали друг друга, и вся наша жизнь была горькой, бесконечной маятой. Отчего эта маята была для нас счастьем? Отчего мы были так безгранично дороги один другому? Отчего наши жизни так слились и срослись? Отчего без этой маяты для меня весь мир опустел?” [2]... Что тут добавить?

Мечников умер в Швейцарии, в Монтрё, в 1888 году от эмфиземы лёгких. Ему было всего 50 лет. Похоронен на Кларанском кладбище, могила упразднена. В настоящее время имя и труды этого великого русского учёного, “отца” русской геополитики, постепенно, но уверенно возвращаются в русскую науку и культуру.

После его смерти Ольга Ростиславовна с дочерью и внучкой Олей переехала в Париж. Дочь, Надежда Владимировна Кончевская, повторила судьбу матери: к тому времени она с мужем разошлась, жила в гражданском браке с Леонидом Эммануиловичем Шишко, человеком очень ярким, интересным — народником, одним из руководителей партии социалистов-революционеров.

А что Скарятин? К тому времени он, потратив силы и средства на издание

газеты и пропаганду своих взглядов на реформы, в этом не преуспел: в 1870 году газета “Весть” прекратила своё существование. Ушло и богатство. Что происходило с ним далее – неизвестно, но в итоге он также оказался в Париже. Известный русский литератор Л. Н. Пантелеев сообщал о нём: “В 90-х гг. Скарятин перебрался к Кончевской и, таким образом, опять очутился под одной кровлей со своей первой женой. Оставаясь прежним Скарятиным, он, однако, крайне привязался к Шишко, так, что за обедом и чаем их всегда вместе садили” [9].

Так и закончилась история “треугольника” “Скарятин–Ольга–Мечников”.

А началась она с того, что в 1862 году в славном городе Флоренции Ольга Ростиславовна Скарятинна, жена богатого издателя Владимира Дмитриевича Скарятинна, сделала “смелый шаг” навстречу влюблённому в неё Льву Ильичу Мечникову.

А затем история проросла в великий роман, опубликованный 145 лет назад.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бранди Леон. Смелый шаг. // Современник. Спб, 1863. № 11. С. 5–56.
2. Воспоминания О. Р. Мечниковой о муже Л. И. Мечникове. ГАРФ, ф. 6753, оп. 1, ед. хр. 88.
3. Герцен А. И. Собрание сочинений. Т. 27. М., Наука, 1965. С. 94–96.
4. Евгеньев-Максимов В. Е. Последние годы “Современника”. Л., Художественная литература. 1939.
5. Мясоедов Г. Г. Письма. Документы. Воспоминания, М., 1972.
6. Толстой Л. Н. Анна Каренина. М., Правда, 1962.
7. Урбан А. Любоедка. Очерк о русских, празднующихся за границей. // Дело. № 9, 10. 1874.
8. Цейтлин А. Г. И. А. Гончаров. М., АН СССР. 1950.
9. Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958.

ВАЛЕНТИН ОСИПОВ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ: “ЧУВСТВУЮ БЛИЗОСТЬ СМЕРТИ, МНЕ ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ...”

Из малоизвестных и забытых “индийских” фактов

Мы можем принять или не принять все его взгляды и теории, но если будем думать о них, частичка его мудрости и величия сойдёт на нас.

Дж. Неру, на торжественном вечере в память Толстого

Лев Толстой... Всяк в мире чтит нашего творца-мыслителя. Но многие ли знают о его особых увлечениях Индией? За все времена толстоведения лишь две научных книги и всего-то несколько такого рода статей, но ничего для массового читателя.

РАЗДЕЛ I. О 63-летней ИНДИЙСКОЙ ХРОНИКЕ Л. ТОЛСТОГО

За два месяца до смерти, то есть 7 сентября 1910 года из тульской деревни Кочеты, где Толстой коротко пожил у дочери Татьяны, от него в Индию ушло многостраничное письмо с изложением очень важных для двух стран взглядов на жизнь и политику.

Индия напечатала письмо вскоре, но тогда, когда уже не стало Толстого.

Его сердце чуяло кончину – в самом начале письма шло то, что я претворил в заголовок своего очерка.

Так что же хотел он сказать индийцам, а в России – своим соотечественникам об Индии?

ВЕХИ: СТРОЧКА ПЕРВАЯ – СТРОЧКА ПОСЛЕДНЯЯ

Очень захотелось мне узнать, когда внимание Л. Толстого впервые обратилось к Индии. Столь же интересным было узнать, нашлось ли ей место в самом последнем году его жизни. Тогда бы получилось измерить его индийские пристрастия на полную длину.

1851. Строчка от Толстого первая! Самое первое упоминание Индии из-под пера Толстого сыскал я в самом первом – вот же как! – томе знаменитого 90-томника его сочинений.

“Индостан” – вывел он, когда переводил “Сентиментальное путешествие” англичанина Стерна. Газеты тогда сообщали, что Британия продолжала расширять свои колониальные владения.

Когда же Толстой-просветитель стал приобщать к Индии своих соотечественников? Это 1855 год, статьи “О народном образовании” и “Прогресс и определение образования”. Здесь Индия представлена и как великая древняя цивилизация, и как страна, которую завоевала Британия.

Откровения в письмах. Переписка Толстого... Самое первое письмо пришло из Индии к Толстому в совестливом порыве получить совет, как дальше жить, – выделю – от офицера-англичанина, одного из 200 тысяч охранителей колонизаторского режима.

Индия ещё только искала политические и нравственные дороги к освобождению. Как и в России, здесь многое шло от писателей. Тагор утверждал с прискорбием: “Какая же всё-таки несчастная, Богом забытая наша страна, где не хватает простой воли к действию! Истоцилась способность мыслить, чувствовать, ослабли страсти...”

И вот ответ Толстого англичанину: “Наша жизнь так коротка, и сила разума, которая в нас, так велика, что не стоит жить, поступая неправильно...” Толстой знал, что в тот год Британия захватила Читрал и подавила восстание в Манипуре.

Писано письмо из Индии потому, что Толстой – духовный пастырь многих. Уже давно читаемы и почитаемы “Война и мир”, “Анна Каренина” или, например, “Плоды просвещения”, “Крейцера соната” и очищающая совесть публицистика: “Так что же нам делать?” и “Чем люди живы”...

Тема “индийских” писем Толстого прозвучит у меня ещё не раз.

Дневники. Объявляю с особым чувством: Индия прописана в дневниках Толстого на постоянное жительство. В них многие десятки раз что-то в связи с индийским чувствами-переживаниями их автора. Всего “индийского” из дневников для моего очерка не вычерпать. Я выбираю наугад 1895 год. Запись 21 февраля – здесь мысль, что нельзя быть солидарным с Англией, которая угнетает Индию. Или в следующем году (31 июля): “Было письмо от индуса Тода и прелестная книга индийской мудрости”. Речь шла о труде прославленного Свами Вивекананды “Философия йога. Лекция о раджа-йоге, или Овладение внутренней природой” (издана в США); но я обязан и такое обнародовать – в 1908 году в дневнике появилось: “Вивекананда мало удовлетворяет. Дуже умён”.

Новый век – запись: “1 января 1901 г. Москва. Пишу утром/.../ Читал “Six systems of Indian Philosophy”. И остаюсь равнодушен”. Речь о книге немца М. Мюллера “Шесть систем индийской философии”. 1905 год – эхом разгрома Японией русской эскадры в дневнике (19 мая) строчки о том, что только “преимуществом технических военных усовершенствований” была побеждена (колонизована) Индия. 3 июля 1906 года: “Индусы покорены англичанами: они могут жить без англичан, а англичане не могут жить без них”... Какая же с ходу заставляющая задуматься мысль великого стратегического обогащения! 20 октября он восхищается архитектурой индийских храмов и поэзией, затем выделил “искусство слова” Будды наравне с Христом. 29 декабря – снова восхищение духовным миром этого народа, на этот раз “браминской мудростью”. Он видит её на вершине мировой духовности в одном ряду – внимание! – “с мудростью Китая, буддизма, стоицизма, Сократа, христианства” (всё это можно всячески оспорить, однако надо знать об этих размышлениях). Или 9 марта 1909 года запись о своих творческих планах: “1) Очерк Индия, её истории и теперешнего положения, 2) Легенды Кришны и 3) Изречения Кришны”.

Не всё, однако, удаётся разгадать в дневниках. Вот запись: “Храм в Индии строит Яков, врач”. Жаль, что нет к этой строчке никакого комментария.

Тема “индийских” дневников Толстого прозвучит ещё не раз.

Что публицистика? Выделю: Индия не раз становится активным “действующим лицом” в статьях Толстого, и быть этой теме далее многожды. Сейчас заявлю для “затравки” то, что меня поразило с особой силой: как в одно связывал-увязывал Толстой беды своего народа и индийского. “О жизни” – философский трактат 1888 года (замечу: более 130 книжных страниц) – так здесь

пять раз объясняется отношение к понятию “жизнь” в индийской религиозной философии. Следующий год: статья “Пора опомниться”. Она бурлит и клокочет озабоченностью страданиями русского человека от голода и лишений. И тут же отсыл к индийцам с их “горстью риса”. И вдруг обличение того, что сословия “господ” и “мужиков” в таком же социальном противопоставлении, как в Индии касты “кшатриев и париев” (поясню: кшатрии высшая военная знать, парии – бесправные, угнетённые). И обличения Британии: “кормится колониями”. 1901: статья “Голод или не голод?” Публицистика потрясающей взрывчатой силы: российская власть не может и даже порой не хочет спасти крестьянство от голода. И Толстой тут же напомнил о голоде в Индии: “Болезни, смерть”.

Что в великой прозе? В ней тоже эхо индийской увлечённости Толстого и явно желания напоминать читателям об этой стране. “Из записок князя Неклюдова. Люцерн”. Здесь монолог при упоминании Индии с обличением тех “цивилизованных”, кто “проливает кровь” и “совершает преступления”. Рассказ “Суратская кофейная” и начинается – то со строки “Была в индийском городе Сурате кофейная...” “Крейцера соната” в страстных рассуждениях о смысле жить вдруг поминает буддизм (критически: “неверие в возможности достижения счастья”), тут же и о том, что весьма сходны обычаи устройства браков родителями в России и Индии, есть и о совпадении нравственных устоев. “Сказка об Иване-дураке и его двух братьях...” В ней причудливый сказ чертенёнка о том, как он поспособствовал, чтобы один брат попросился у своего царя “завоевать индийского царя”, да осечка вышла: тот же чертенёнок сделал всё, чтобы “победил индийский царь”. Читателям было раздолье искать “мораль сей сказки”.

Выделю “Войну и мир”. В этом бездонном романе идут в сценах начала войны 1812 года реплики французской солдатни, что Наполеон, покорив Россию, покорит Индию.

ОСОБЫЙ АПРЕЛЬ В ГОД СМЕРТИ

Индия в завершающих дневниках. Здесь то и дело: “Пока жив”, “Жив, тоскливо”, “Жив, но плох” и ещё, ещё подобное при не раз выписанном сокращении “е. б. ж.” – “если буду жив”.

На этом фоне осталось ли желание приобщаться к Индии? Осталось, и в избытке. Вот запись “12 февраля: “Написал плохо письмо Буланже о Будде”. Речь о предисловии Толстого к статье этого известного тогда индолога о Будде; попутно замечу, что этот знаток Индии упомянут в этом последнем дневнике более 10 раз. 17 февраля этот же сюжет в записи 7-8 марта: “Я слаб бываю нервами. Всё хотелось плакать/.../ при чтении Будды”. 12 марта: “Прочёл письмо своё Индусу и очень одобрил”. 16 сентября: запись “Перевод Ганди”, увы, никаких пояснений, но и того достаточно, что упомянут великий вождь индийского антиколониального движения. 23 сентября: “Читал Макса Мюллера “Индийская философия”. Какая пустая книга”.

Октябрь. Последний месяц жизни. Выделю: он прожит, судя по дневнику, в немалых размышлениях об Индии. Например, мысли о бесконечности смены поколений всего сущего на земле увязаны с традициями Индии.

Завершающая запись в “Дневнике для одного себя” (17 октября). Толстой упоминает о книге древнеиндийского философа и писателя: “Читал Шри Шанкара...” Этой строчке предшествовало: “Чувствую себя нравственно хорошо. Помню, кто я”. Но на следующий день в дневнике иное: “Всё то же тяжёлое отношение страха и чуждости”.

До кончины оставалось всего – то 20 дней.

Но не только дневником запечатлены завершающие у него индийские интересы-запросы.

Журнал. Самый последний – завершающий! – факт “индийской” биографии Толстого... Если побывать в его яснополянском рабочем кабинете, а он сохранён в том виде, в каком навсегда прощался со своим хозяином, можно разглядеть на полке – она над письменным столом – среди всяких разных изданий один индийский журнал. И он был читан. Да с похвалой...

Записки Душана Маровицкого. Увы, не рассказать обо всём, что числится в завершающем годе “индийской” жизни Толстого. Это займёт десятки страниц. Решаю так: изберу лишь один какой-либо месяц, например, апрель.

“Индийские” факты этого месяца я заимствую из “Яснополянских записок” в 4-х томах замечательного словака **Маковицкого** (1866–1921), секретаря Толстого. Этот чужеземец догадался, как много потеряет человечество без “стенографирования” жизни нашего гения, и потому приехал в Россию на 6 лет. И день за днём, а то порой час к часу не расставался с карандашиком, да при этом всячески скрывал эти свои намерения.

Первая “индийская” его запись в последнем для жизни Толстого апреле – 3-е число. Толстой провёл беседу о Будде, о секте джеилистов, о браминах и о современном мыслителе Рамакришне. О нём отзывался так: “Изречения его хорошие”.

С кем беседа? С приехавшим в гости знатоком Индии Павлом Буланже.

Наиважное признание. Приобщимся к “индийским” событиям 11-12 апреля. Идёт письмо единомышленнику В. Черткову: “Занимаюсь немного подготовлением народных книг об Индии и Китае...” Это он перечитывал, как разъяснено в комментариях, “Священные книги Востока”. Догадываюсь: задумана некая просветительская хрестоматия. Жаль, не успел.

18 апреля. Из записок Маковицкого: “Л. Н. рассказал про второй номер еженедельной индийской газеты “The Garlylean”, сегодня полученной. Там две статьи его и сочувственное сопровождение к одной из них”.

“От Индуса”: **Махатма Ганди!** 19 апреля. Читаю: “От Индуса и книга, и письмо, выражающее понимание всех недостатков европ<ейской> цивилизации, даже всей негодности её”.

Это – о Ганди! Кто же этот Ганди, что стал для Толстого столь прочной душевной потребностью в общении? Однажды Толстой признался: “Очень близкий нам, мне человек”. Он мыслитель и идеолог борьбы за свободу Индии от колонизаторов, и будет своим народом коронован именем Махатма, что значит Великая Душа, впрочем, как узнаем дальше, и Толстого именно так будут величать в Индии.

Итак, Маковицкий запечатлел особый интерес нашего великого мыслителя к книге индийского великого мыслителя: “Л. Н. прочёл вслух отдельные места из книжки...” (Внимание, читатели: в этой записи, подчиняясь нехитрому сюжету – хронике, – я лишь упоминаю о факте. Как эти два мыслителя обогащали друг друга, тому должен быть посвящён специальный раздел).

Снова Ганди – неоднократно. 20 апреля. Книга Ганди не отложена. Маковицкий запомнил: “Л. Н. сказал мне об этой книжке: “Прочтите её, Душан Петрович”. Я всю исчеркал. Интересно”.

21 апреля. Толстой снова размышляет о книге Ганди: “Л. Н. хвалил и рекомендовал перевести книгу, и сказал, что напишет предисловие к переводу”. Увы, не дано было свершиться столь нужному для России замыслу.

22 апреля. Маковицкий: “За обедом Л. Н. рассказывал про книгу Ганди: “Как Ганди описывает, что, когда он был мал, его заставляли мясо есть. А мать ему внушала не курить, не пить и от половой жизни воздерживаться. Это у них было ухарством – есть мясо, чтобы показаться цивилизованным. Ганди – религиозный, высокорелигиозного понимания жизни. Он не брамин, а из купцов. В Англии презрительно относились к нему как к жёлтому и требовали тюрбан снимать. Это книга о нём как о знаменитом руководителе революции, борьбы непротравления против Англии. Я нынче всё утро читал”.

25 апреля. Напомню: в дневнике Толстого рассказано о том, что пишет письмо для Ганди – подписал: “Ваш друг и брат Л. Толстой”.

Наиважное: в последние 300 с небольшим дней своей жизни Толстой сто с лишним раз обращается к Индии.

ВСТРЕЧИ, БЕСЕДЫ, ПИСЬМА...

Не миновать вопроса – откуда Толстой черпал свои познания об Индии. Там он, как известно, не был.

Общение с учёными. О добрых отношениях Толстого с Буланже я уже писал. Лев Николаевич был знаком с индологом Минаевым. Минаев считал себя последователем Толстого. Прочтём же, как первая встреча происходила: “В тот же день Лев Николаевич пешком прошёл из Ясной Поляны (в Тулу. – **В. О.**) и всё остальное время – часов 5-ть-6-ть – провёл в номере гостиницы, где останавливался Иван Павлович... Толстой ставил Ивану Павловичу целый ряд актуальных вопросов”. Минаев снабдил своего духовного наставника книгами об Индии, в том числе своего авторства.

Ещё один выдающийся индолог (тогда говорили: “индианист”) оказался причастным к насыщению Толстого индийскими знаниями – Сергей Ольденбург. К этому времени он и один из лучших знатоков фольклора Индии, и руководитель издания “Собрания оригинальных и переводных буддийских текстов” в 26 (!) томах.

Ещё факт: в 1909-м некая москвичка Л. Б. Хавкина-Гамбургер переслала Толстому свою книгу “Индия”. В ответ – письмо с благодарствиями.

Общение с журналистами (индийскими) Мне досталась книга Д. Джекмантана “Там, за Гималаями”. “Среди корреспондентов, поддерживающих регулярную переписку с Ясной Поляной, – пишет автор, – можно назвать Мухамеда Садыка, редактора лахорского издания “Ревью оф релиджен”; Сурендранатха Муккерджи, редактора издаваемого в США журнала “Лайф оф Индия”; Д. Гопала Четти, редактора мадрасского журнала “Нью реформер”; профессора Рамадевана, редактора “Веянта саньситей” на тамильском языке; Абдуллы Чакраварти, редактора издававшегося в Лондоне журнала “Лайф оф ворд”.

Стоит заметить, что все они переписывались с Толстым задолго до того, как Ганди проложил свою почтовую дорожку в Ясную Поляну.

Рассказы путешественников. Жаден был Толстой познавать современную ему Индию. Путешественники по Индии отчитывались перед Толстым, и он от них набирался живых впечатлений. От Минаева многое получил. Приезжал в Ясную Поляну даже бывший консул в Бомбее. Приехал некто Матвеев. Уж не знаю, как и что он рассказывал об Индии, но Толстой назвал его в дневнике “скучный господин”. Зато когда пожаловал А. Корсини, Толстой созвал крестьян. Позаботился, чтобы и они послушали о диковинной стране.

ГИМН ЯСНОПОЛЯНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Будем знать весьма примечательное признание Толстого (в одном из писем): “С большим интересом и пользой для моей духовной жизни прочёл я все встретившиеся мне браминские религиозные книги”.

Всех жанров и направлений! Мне посчастливилось побывать в яснополянской библиотеке. Бродил меж полок – и сколько же книг об Индии и из Индии!

Художественная литература, к примеру, проза “Свет Азии” Э. Арнольда, стихи “Нирвана” П. Каруса, поэма П. Калионова “Будда”.

Множество политических книг, например, “Управление Ост-Индской компании” Д. В. Кэя. Познавательная литература – это “Страна Вед” Г. Персивака и Д. Дюбуа “Описание характера, поведения и обычаев народов Индии”.

Буддизм. Он представлял Толстому во многообразии. Тут тебе авторы Индии: Средневековья, к примеру, Шри Шанкара; из современников – С. Бхикшу “Буддийский катехизис для введения в учение Будды Готама” и книги Рамакришна Парамаханса и его ученика Свами Вивекананда. Здесь же труды немцев Г. Ольденберга “Будда, его жизнь, умение и община”, М. Мюллера “Шесть систем индийской философии” и две книги Б. Фрейданка “Малый буддийский катехизис” и “Буддийская незабудка”, есть и книга американца Л. Хэрна “Зёрна, подобранные на нивах буддизма”.

Улавливаю, что он стремится знать народное творчество Индии. Получил книгу Минаева “Сказки и легенды, собранные в Камаоне” и живо откликнулся: “Очень благодарен”. Сергей Ольденбург об этом узнал и тоже одарил томом индийских сказок в своём переводе.

Выделю выдающиеся эпосы “Махабхарату” и “Рамаяну”. Да не просто читал, но как-то даже самолюбиво вступился сам за себя, чтобы отвергнуть упрёк одного индийского учёного, что-де он, Толстой, не приемлет идей “Махабхараты”: “Мне жалко было заметить, что вы думаете, будто я не согласен с основными положениями Бхагават-Гиты о том, что человек должен направлять все свои духовные силы на исполнение долга”.

И он ничуть не ошибся в таком утверждении. Сравним: “Это призыв к действию, необходимому для выполнения обязанностей и долга, всегда имея, однако, в виду духовную основу”. Это высказывание первого руководителя освободившейся от колонизаторов Индии Дж. Неру. Между прочим, он и такое заметил в своей книге “Открытие Индии”: истинная оценка эпоса не сразу была найдена даже на родине.

Толстой читал и “Сакунталу” великого поэта Калидаса. Да ещё как внимательно! Об этом рассказал Маковицкий. Но не ждите благости – Толстой сказал:

– Нам непонятно. Это всё очень трудно<...> Не производит впечатления.

Я осознанно пропустил одну фразу, пометив многоточием, – для обострения сюжета. Так в пропущенном высказывании, как уразумел, ключ – сугубо профессиональный! – к тому пониманию, почему же не понравилось: “Думаешь, – может быть, дурно переведено”.

Книги с оценками. Поклон советскому исследователю А. Шифману – он десятилетиями был единственным, кто изучал тему “Толстой и Индия”. Так, он собрал даже пометки Толстого на прочитанных им книгах.

“Удивительные изречения!.. Мудрец замечательный”. Это о подаренной ему книге П. Сергеенко “Изречения Шри Рамакришны Парамахансы”. Ещё записи: “Хорошая и интересная”, “Прелестная книга индийской мудрости”. “Книгу брамина, пожалуйста, пришлите. Чтение таких книг – больше, чем удовольствие, это расширение души” и ещё, ещё подобное.

Как не выделить: он прочитал сразу несколько брошюр Свами Абхедананды и на каждой оставил следы наивнимательного чтения, а на обложке одной из них даже выставил отметку: “Превосходно”. Узнаём же, какие темы рассматривались в этих брошюрах: “Религия индийцев”, “Почему индеец отвергает новую церковность, хотя он и признаёт Христа?”, “Слово и крест в старой Индии”, “Почему индийцы – вегетарианцы”, “Божественная общность”, “Путь к блаженству”, “Философия добра и зла”, “Кто является спасителем душ?”, “Существует ли душа после смерти?” Толстой прочитал ещё одну книгу этого автора – “Философия Веданты, божественная истина человека” – и записал в дневнике: “Вечер читал книги об индусской вере. Одна превосходная книга о смысле жизни”.

Немало книг он рекомендовал прочитать своим добрым знакомым, к примеру, Максиму Горькому, и тот стал приобщаться к Индии.

Не надо, однако, думать, что всё, Толстым прочитанное, вызывало у него только восторги. Он пишет о книге одного знаменитого философа, да как своеобразно сопоставил со своими взглядами: “Основная метафизическая мысль о сущности жизни хороша, но всё учение – путаница, хуже моей”. Каково! Ещё запись по прочтении другого философа: “Читаю индуса. Очень остроумно, многословно и пусто...”

Книги, затребовавшие перевода. То, что особенно нравилось, Толстой намеревался переводить и издавать для России. Вот прочитал книгу философа Рамакришны и выбрал около ста его изречений и притч для перевода. Вот в издательство “Посредник” ушла просьба издать на русском некоторые брошюры Абхедананды. Или прочитал труды выдающегося мыслителя Вивекананды и сообщил одному востоковеду: “Мы готовим издание избранных мыслей Вивекананды, которого я очень ценю”. Кстати сказать, есть предположения, что этот самый Вивекананда намеревался посетить Ясную Поляну. Увы, не доехал. Классик французской литературы Ромен Роллан узнал об этом и выразил сожаление, что не случилось знакомства этих двух “ясновидящих религиозных гениев Европы и Азии”.

Не скрою: порядком удивился присутствию книги Елены Блаватской “Глас безмолвия” с отрывками из индийской “Книги золотых правил”. Да с надписью: “Графу Льву Николаевичу Толстому, одному из немногих, от автора Е. Блаватской”. Напомню: эта теософка, немало лет прожившая в Индии, также автор книги “Из пещер и дебрей Индустана”. Надо знать и о её попытках сблизиться с Толстым и том, что память о ней до сих пор в жерновах и славы, и поругания.

Пресса. В библиотеке 200 разных номеров газет и журналов из Индии. В том числе и газета, которую редактировал Ганди. Большинство из них так или иначе читаны. Маковицкий сохранил, к примеру, такой отзыв: “Л. Н. хвалил индийский журнал “New Reformer”...”

Все они стекались сюда в течение полутора десятков лет, с 1896 года. Но особо велико пополнение с 1906-го. Так, во всяком случае, установил библиовед Н. Гольберг – он первым исследовал фонд периодики этой библиотеки.

Для детей Ясной Поляны. Мне очень повезло: узнал, что толстовед Дм. Бурда разыскал в записных книжках Толстого мая 1907 года драгоценную для индоведов запись: “Читал об Индии. Нужна история детям”.

Что побудило? То, что Толстой стал получать индийский “Ведийский журнал”. И выявил немало для себя неожиданного. К примеру, что в древней Индии уже знали то, что ныне стало “теоремой Пифагора”. И отнёсся к этому с большим уважением. Писал: “Я покажу вам, как брамины доказывали Пифагорову теорему за сотни лет до Пифагора”. Не только писал. В мае 1910 года к нему пожаловали почти два десятка учащихся Тульского реального училища. Осталось от тех дней свидетельство: “Лев Николаевич поговорил с нами, показал Пифагорову теорему *“по-брамински”* и раздал свои книжки на память”. Ещё воспоминания: “Вечером пришёл С. Д. Николаев с двумя сыновьями, мальчиками тринадцати и девяти лет, удивительно милыми ребятами. Лев Николаевич объяснял им Пифагорову теорему *по-брамински”*”.

ТРИ СОВРЕМЕННОКА ОБ “ИНДИЙСКОМ” ТОЛСТОМ

Интересно познавать, что, оказывается, увлечённость Толстого Индией откликнулась у собратьев по перу.

Иван Бунин, будущий лауреат Нобелевской премии. Он в своём очерке “Освобождение Толстого” тему Индии так и начинает: “Вскоре после смерти Толстого я был в индийских тропиках...” В 1925 году печатает рассказ “Ночь”. В нём трижды воссоединяет в своих размышлениях имена Будды, Соломона и Толстого. Расценивает их “святыми” и “гениями”, однако же вдруг жестокая тирада: “Все Соломоны и Будды сперва с великой жадностью приемлют мир, затем с великой страстностью кланут его соблазны. Все они сперва великие грешники, потом великие враги греха, сперва великие стяжатели, потом великие расточители...”

Александр Куприн. И он тоже с необычным: “Я рассказал Льву Николаевичу случай с одной моей знакомой: медленно, верно и бесповоротно она губила себя, сама валила себя в могилу, чтобы удержать от падения свою подругу, всё равно обречённую жизнью. Рассказал я этот случай в наивном предположении, что он особенно будет близок душе Толстого, ведь он с таким умилением пересказывает легенду, как Будда своим телом накормил умирающую от голода тигрицу с детёнышами. И вдруг я увидел: лицо Толстого нетерпеливо и почти страдальчески сморщилось, как будто ему нечем стало дышать. Я был в полном недоумении. Но одно мне стало ясно: если бы в жизни Толстой увидел упадочника-индуса, отдающего себя на корм голодной тигрице, он почувствовал бы в этом величайшее поругание жизни, и ему стало бы душно, как в гробу под землёй”.

Константин Леонтьев. Он тоже проникся “индийскими” взглядами Толстого, но своеобразно. Не столько итогом научного осмысления, сколько чувствами. Прочтём же этот отзыв без купюр — он многословен, но выразителен: “Когда Тургенев (по свидетельству г-на П. Боборыкина) говорил так основательно и благородно, что его талант нельзя равнять с дарованием Толстого и что “Лёвушка Толстой — это слон”, то мне всё кажется — он думал в эту минуту особенно о “Войне и мире”. Именно — слон! Или <, если > хотите, ещё чудовищнее, — это ископаемый сиватериум во плоти, которого огромные черепа хранятся в Индии, в храмах бога Сивы (Шива. — **В. О.**). И хобот, и громадность, и клыки, и сверх клыков ещё рога, словно вопреки всем зоологическим законам. Или ещё можно уподобить “Войну и мир” индийскому же идолу — три головы или четыре лица и шесть рук! И размеры огромные, и драгоценный материал, и глаза из рубинов и бриллиантов, не только подо лбом, но и на лбу!! И выдержка общего плана, и до тяжеловесности даже неиссякаемые подробности...”

РАЗДЕЛ II. ПОЧЕМУ ИНДИЯ ЧТИТ ТОЛСТОГО?

Не часто сообщается у нас, что Толстому присваивают звание Махатмы. Да обоснованно! Это засвидетельствовал ученик прославленного философа Вивекананды и сам авторитетный учёный Б. П. Бхарати: “И таковым вы являетесь... Вы единственно подлинно великий человек в этом ослеплённом своим могуществом, высокомерном материалистическом Западе”.

Но почему Слово нашего творца нужно Индии как Дело? Далее два высказывания, которые я выбрал из множества, доказывают это. “Несколько ободорящих слов...” для Индии — об этом просит Толстого видный общественный

деятель А. Рамазесхан ещё в 1901 году. С этим же обращается в Ясную Поляну простой школьный учитель Г. Д. Кумар: “Умоляю от имени моих соотечественников помочь им”. Перед этим шли признания в почитании: “Вы родились русским, но Вам принадлежит весь мир. Вы великий человек, и Ваше величие проявляется в заботах об обездоленных”. И такое читал Толстой от этого учителя: “Народы Индии ещё более угнетены, чем русский народ”.

Лев Толстой не смог молчать-отмалчиваться.

Особое письмо. И ещё пример. 1908 год. Пришло в Ясную Поляну письмо Таракнатха Даса, редактора радикального издания “Фри Хиндустан” (“Свободная Индия”).

У письма потрясающая биография: и ответ пришёл, и был напечатан, и даже поначалу – как же интересно! – был запрещён. И – выделю! – обратил на себя внимание самого Ганди. Он этот ответ Толстого перепечатывает, явно желая преумножить число его учеников. Замечу: этот ответ числится в истории Индии в своде особо значимых документов.

Читаем: “Вы доставили величайшее благодеяние вашими литературными произведениями, посвящёнными России...”

Продолжение с просьбой: “Мы просим вас, если у вас есть время, написать хотя бы статью об Индии и этим выразить ваши взгляды на Индию...”

Шло обоснование: “Именем голодающих миллионов взываю к вашему христианскому чувству – возьмитесь за это...”

Британия предстаёт в этом письме: “Вы ненавидите войну, но голод в Индии страшнее всякой войны. Он происходит там не из-за недостатка продовольствия, а вызван ограблением народа и опустошением страны британским правительством. Разве это не позор, что миллионы людей в Индии голодают, а английские торговцы вывозят оттуда тысячи тонн риса и других продуктов питания?! Политика Британии представляет собой угрозу всей христианской цивилизации”.

Как писался ответ? “Письмо к индусу” – просто и обобщенно назвал Толстой свой ответ редактору “Фри Хиндустана” Дасу.

Поразило, с каким не просто воодушевлением, но и старанием взялся за ответ 80-летний старец – будто помолодел, готовясь разговаривать с Индией.

Громадное письмо: 13 страниц ёмкого в собрании сочинений шрифта. Писал полгода! Выходит, писал ответ не по наитию. О том, как он давался – нелегко! – записано несколько раз в дневнике. Например, 10 июня 1908 года: “Начал письмо к индусу, да запнулся”. Точка проставлена 14 декабря. То-то же в итоге – 413 страниц черновиков и исправлений по машинописным копиям! Любопытна такая запись в тот день, когда работал с переводом письма на английский: “Вечером картины Индии...” и “С индийскими картинами...” И оценка: “Очень хорошо”. Это ему показали диапозитивы одного путешественника.

Жил ответом не только за письменным столом. Маковицкий увековечил одну из бесед в те дни, когда Толстой работал над письмом: “Англичане как мучают индусов! Там сообщается, как англичане секли Вивекананду до крови...”

Что же в “Письме к индусу”? Здесь не только преклонение перед талантливейшим народом.

Наиглавное: он поддержал его стремления к свободе от англичан, да не вообще, а представил Индии свою необычную программу гражданского неповиновения: “Не противьтесь злу, но и сами не участвуйте во зле, в насилиях администрации, судов, сборов податей и, главное, войска, и никто в мире не поработит вас”.

Этот наказ стал одним из стержневых в той политике, которая привела Индию к свободе.

...Толстой давно был подготовлен воспринимать страдания индийцев под игом колонизаторов. Я разыскал тому доказательства. Спасибо Душану Маковицкому. Он запечатлевает один осенний, 1906 года толстовский монолог: “Я прочёл об Индии (в Лексиконе), что там делается, как англичане мошенничают! Раньше была в войске одна десятая англичан, теперь – треть. Сипай обходился в четыреста рублей, английский солдат – в две тысячи рублей в год. Земля принадлежала царькам, теперь – англичанам. Ни один индус не имеет земли. Должен за неё платить англичанам”.

Ещё запись столь же наиважная: “Л. Н. рассказывал, что компания английских торговцев покорила 250 миллионов людей. Как это могло случиться? Только так, что раджи и другие покорили тоже...”

Был у меня соблазн объяснить эту взволнованность всплеском старческой прочувственности.

Но отринул я этот домысел. У Толстого хватило знаний на самое серьёзное осмысление правления Англии. В 1900 году он написал статью “Рабство нашего времени”. Житель Ясной Поляны мыслит вселенскими масштабами: “Живут рабочие люди во всём мире не как люди, а как рабочий скот, которого заставляют всю жизнь делать то, что нужно не ему, а его угнетателям. И так живёт большинство людей во всём мире, не в одной России, а и во Франции, и в Германии, и в Англии, и в Китае, и в Индии, и в Африке – везде”. Как видим, без Индии не обошлось.

Однако же когда он осознал зло для Индии от колонизаторов? Весна 1857 года – восстание сипаев. За кого Толстой? Записная книжка за март 1858 года. Запись – как выстрел: “бесчеловечье англичан”. Новая запись: “спокойно расстреляли” восставших.

Критика из Индии. Упрёком до сих пор – спустя многие десятилетия! – звучит мнение личного секретаря Тагора, авторитетного в Индии мыслителя и писателя Кришна Крипалани: “Я беру на себя смелость утверждать, что Индия более динамично вобрала в себя моральные принципы Толстого, чем любая другая страна мира, и даже родина писателя”.

Недавно выслушал продолжение от одного индийского учёного. Отлично знает нашу литературу. Учился в Москве. Ему рассказали о моих толстовско-индийских штудиях. Встретились – спрашивает:

– Так почему Толстой так интересовался Индией?

Сам же и ответил:

– Он стремился лучше понимать Индию, ибо искал истоки своего толстовского учения не только в России.

Соглашаюсь с ним. Он тогда:

– Так почему же в вашей стране мало пропагандируется эта связь?

И в самом деле: почему?

РАЗДЕЛ III. МАХАТМА ГАНДИ – МАХАТМА ТОЛСТОЙ

Он начальник партии, борющейся против Англии. Он сидел в тюрьме...

Из высказываний Толстого о Ганди

Я усиленно изучал произведения Толстого...

Из высказываний Ганди о Толстом

Итак, случилась переписка двух корифеев. Об этом охотно сообщается одной-двумя строчками-фразами по поводам, праздничным для межгосударственных отношений наших стран. Однако таковые упоминания невольно привели к благостности, к упрощениям: один-де изрекал мудрые советы – другой их мудро воспринимал.

А противопоставить нечего. Многие ли читали саму переписку? Замалчивание начинается уже со школы.

КОГДА ГАНДИ УЗНАЛ ТОЛСТОГО?

Не внезапной стала тяга Ганди к общению с Толстым. Позже он вспоминал, что первый раз взялся его читать в молодости, студентом. Толстой узнал об этом: “Он мне пишет, что был со мной в отношениях, когда учился в Лондоне”.

Однажды у него спросили – для печати, – как он относится к Толстому? Последовал ответ: “Отношения преданного почитателя, который обязан ему многим в жизни”.

Что же потянуло для начала? Обзавожусь книгой Ганди “Моя жизнь”. Здесь не раз упомянуто имя Толстого. Есть и такое признание: “Его книги произвели на меня сильное впечатление. Я всё глубже понимал безграничные возможности всеобъемлющей любви”.

А сколь трогательно признание: “Когда я переживал тяжелейший приступ скептицизма и сомнений, я прочитал книгу Толстого “Царство Божие внутри нас”, и она произвела на меня глубочайшее впечатление. В то время я был поборником насилия, книга Толстого излечила меня от скептицизма”.

Индологи выявили, что же читал Ганди из Толстого. Это, помимо названного, ещё немалое число сочинений. И “Много ли человеку земли нужно?”, — как выразился Ганди, “о всеобщей любви”, он даже перевёл этот рассказ. И “Бог правду видит, да не скоро скажет” (Ганди и это перевёл и издал со своим предисловием). И “Что такое искусство?”, “Краткое Евангелие”, “Так что же нам делать?”, “Письмо к русским либералам”, “О жизни”, “Исповедь” и ещё несколько. Читал даже статьи о вегетарианстве “Первая ступень” и о вреде курения и пьянства “Зачем люди одурманиваются?”

Три принципа. Что же стало для Ганди лекарством для избавления от скептицизма?

— Великая идея Толстого — “труд ради хлеба насущного”, “каждый в поте лица зарабатывает свой хлеб”;

— Толстой полагал лицемерием и мошенничеством все проекты по облегчению жизни бедствующих масс за счёт филантропии богатых, наслаждающихся роскошью и праздностью; пусть слезут с хребта бедняков, говорил он;

— С Запада в нашу страну хлынул поток литературы, заражённый вирусом потакания человеческим слабостям, она преподносится в броской привлекательной форме, поэтому наша молодёжь должна быть начеку, как никогда... Важнее всего, чтобы для молодёжи, особенно индийской, стало примером самоограничение Толстого...

ПИСЬМА ОТ ГАНДИ

Чем Ганди выразил себя в самом первом своём письме Толстому 1 октября 1909 года? Полным доверием: “Я, абсолютно не известный вам человек, осмеливаюсь обратиться к вам с этим письмом ради истины и с целью услышать ваш совет относительно тех вопросов, решение которых вы сделали задачей вашей жизни”.

Главная тема первого письма. Ганди выбрал для заочной беседы с Толстым самое насущное для тогдашней Индии — как быть, если сопротивление Англии не даёт результата: “Мы поняли, что борьба затягивается в зависимости от нашей слабости”.

Толстой откликнулся: “Ганди говорит англичанам: “Вы с нами ничего не сможете сделать, если мы вам не будем помогать”.

Каким же был главный совет? Толстовским: “Та же борьба мягкого против жёсткого, смирения и любви против гордости и насилия с каждым днём всё более проявляются и у нас”.

Ганди заявляет желание напечатать “Письмо к Индусу” огромным по тем временам тиражом — 20 000. Толстой — за: “Переводу на индусский язык своего письма и распространению могу только радоваться”.

Дописал: “Помогай Бог нашим дорогим братьям и сотрудникам...”

Второе письмо Ганди. Напомню, что оно пришло в Ясную Поляну в апреле 1910 года вместе с книгой самого автора.

Ганди предупредил: “Правительство Индии конфисковало книгу”. Так Толстой становится хранителем нелегальщины, крамолы.

Ещё строчки: “Посылаю вам также несколько копий с вашего письма к индусу, которое вы разрешили опубликовать”. Выходит, что не медлил Ганди с напечатанием послания Толстого. До этого оно ходило в Индии лишь переписанным от руки. Как было встречено — чуть попозже.

Толстой усаживается за ответ: “Я прочёл вашу книгу с величайшим интересом, так как я думаю, что вопрос, который вы в ней обсуждаете, — пассивное сопротивление — вопрос величайшей важности не только для Индии, но и для всего человечества”.

Третье обращение Ганди. В новом письме сообщение: “Очень благодарен вам за ваше ободряющее и сердечное письмо... Я весьма ценю ваш общий отзыв о моей брошюре “Indian Home Rule” (“Самоуправление в Индии”, — В. О.) и буду у ожидать, что, когда у вас найдётся время, вы выскажетесь о моей работе более подробно, как вы были столь добры обещать мне это сделать в своём письме”.

И третий ответ Толстого Индии последовал, но недоумеваю — отчего о нём в наши времена почти не сообщается. Ответ в следующей главе.

НЕОЖИДАННЫЙ ВЕРДИКТ ТОЛСТОГО

Яснополянец продолжал познавать учение Ганди: “Читал книгу о Gandhi. Оч^{чень} важная. Надо написать ему...” Это из дневника “индийского” апреля 1910 года.

Отклик на третье письмо Ганди. Напомню: это о нём я сообщал в предыдущей главе.

Выделю: этот ответ заметно отличается от первых посланий к Ганди. Чем? Непреложностью выводов, может, даже ультимативностью. Будто и не Толстой — “непротивленец” — писал: “Вопрос теперь стоит очевидно так: одно из двух — либо признать то, что мы не признаём никаких религиозно-нравственных учений и руководствуемся в устройстве нашей жизни одной властью сильного, или то, что все наши, насилуем собираемые подати, судебные учреждения и, главное, войска должны быть уничтожены...”

В статье “Рабство нашего времени” так же: “Улучшение положения людей возможно только при уничтожении насилия”.

Что отложилось главным? Письма и книга от Ганди позволили Толстому уловить суть учения Ганди. Написал: “Глубокое осуждение, с точки зрения религиозного индуса, всей европейской цивилизации... Его презрение к отношению белых к цветным людям. Кроме того, он проповедует, что самое действительное противодействие — это пассивное... В Индии происходит борьба с владычеством английским, указывает на своё моральное превосходство...”

Он соглашается с Ганди: “Высокоодарённый и духовными, и телесными силами народ находится во власти совершенно чуждого ему небольшого кружка людей, стоящих в религиозно-нравственном отношении неизмеримо ниже тех людей, над которыми они властвуют”.

Он недоумевает, когда прочитывает одно из наблюдений Ганди: “Говорит, что англичане прекрасные люди, не надо бороться с ними, но отвратительна цивилизация, которой они исполнители”.

Он против англоненавистничества как такового: “Следует помогать им (англичанам. — **В. О.**) во всём, что ведёт к цивилизации вашего народа”.

Он советует бороться с отжившими взглядами: “Мне кажется, что долг каждого образованного индуса состоит в том, чтобы уничтожить все старые суеверия”.

Делится наиважным наставлением: “Социализм, коммунизм, анархизм, армия спасения, увеличивающаяся преступность, безработность населения, увеличивающаяся безумная роскошь богатых и нищета бедных, страшно увеличивающееся число самоубийств — всё это признаки того внутреннего противоречия, которое должно и не может быть разрешено”.

НИСПРОВЕРЖЕНИЕ КУМИРА?

Ганди давно уже отнюдь не ученик начальной школы, чтобы зазубривать наставления Толстого. Ценит, но и оценивает...

Агитация за Толстого. Индийский собеседник Толстого полон желанием вербовать в своей стране новых учеников русского мудреца: “Критики Толстого писали порой о том, что он потерпел в жизни крах, что он так и не осуществил свой идеал — не нашёл таинственной зелёной палочки, которую искал всю жизнь. Я не согласен...”

Есть и такое обобщающее высказывание о том, как и чем оказывал Толстой свое влияние на Индию: “Россия дала в лице Толстого учителя, который подвёл убедительный базис под мой ненасильственный метод. Толстой благословил моё движение в Южной Африке, когда оно было в зачатии, и удивительные возможности которого я ещё должен был изучить. Именно он предсказал в письме ко мне, что я руковожу движением, которому суждено выразить надежды угнетённых народов мира”.

После таких цитат вроде бы неминуем порыв бить в торжествующие литавры — вот, мол, каковы плоды содружества двух махатм.

Однако же — повторю — их воззрения не втискиваются в придуманные для праздников лозунговые умозаключения. О чём речь?

Неожиданный вывод. Ганди в своей книге “Моя жизнь” 1921 года вывел: “Толстой сам писал о своих неудачах. Но это лишь подтверждает его величие. Возможно, Толстой так и не осуществил своей мечты, но такова участь человека”.

Дальше – больше: “Толстой часто оказывался непоследовательным потому, что ему было тесно в рамках собственного Учения. О его неудачах знали все, о его душевных муках и победах над собой – он один”.

Ганди заявил даже, что не является последователем политических идей своего наставника.

Не станем, однако, пугаться этого отзыва. Он ничуть не противоречит всем ранее высказанным восторженным оценкам, да это и не отступничество. В нём – логика освободительного движения. Ганди становится лидером партии Национальный конгресс. И его левое крыло во главе с будущим премьер-министром Дж. Неру требовало начинать борьбу не только с манифестами на устах, но и с оружием в руках.

И разве могло быть иначе? Толстой остался духовным апостолом идей освобождения – Ганди становится руководителем освободительного движения.

Итак, Толстой для Индии, как я выяснил, не икона, но, однако, и не крышка на гроб забвения. Есть у Ганди такое заявление о Толстом: “Он был велик даже в своих заблуждениях, и они являются критерием не тщетности его идеалов, а его успехов”.

РАЗДЕЛ IV. СОВЕТЫ ВНУКА ТОЛСТОГО

Уж почти к 30 лет, как взялся я за тему “Толстой и Индия”. Но как новичку без поддержки именитых? В их числе был внук Толстого.

Илья Толстой (1930–1997), профессор-филолог МГУ. Прямой потомок творца. В 1991-м я отправил ему в Ясную Поляну на рецензию первый вариант этого очерка. Наслышан был не только о его знаниях-эрудиции, но и придирчивости. Он не терпел искажений наследия своего предка. В ответ отзыв: “Автор сделает достоинством читателя один из интересных аспектов деятельности Л. Н. Толстого. Автор справедливо отмечает малую изученность темы “Толстой и Индия” и убедительно доказывает необходимость обращения к ней...”

Мечтания об особой книге. Продолжу тему из предисловия: доступен ли ныне “индийский” Толстой своим соотечественникам?

Перебираю библиографические карточки в каталоге главной нашей библиотеки – Ленинки. Сколько же книг о Толстом биографических с географическими замыслами: “Толстой и Украина”, и далее, далее – Болгария, США, Япония, Китай, Германия и ещё, ещё, ещё. Немало книг в конструкции “Толстой и Москва” и далее Петербург, Тула, Чечня и Ингушетия, Орёл и ещё, ещё. Много сулит каталог по знакомству с такими темами, как, например, Толстой и шахматы, или охота, или царская власть, или музыка, медицина, педагогика, войны, христианская этика и духоборство. Ясное дело, есть издания “Толстой и вегетарианство” и даже “Толстой и пьянство”.

А сколько книг о том, что значили друг для друга Толстой и Индия. Ни одной для массового читателя! Учёным повезло – две книги для них, как уже писал. Это “Толстой и Индия” А. Шифмана и “Зеркало русского индуизма, неизвестный Лев Толстой” Д. Бурбы. И даже статей в научных изданиях всего-то, если не ошибаюсь, можно обойтись счётом пальцев на одной руке. Очень интересны исследования И. Серебрякова и А. Соколовского. В 2000-м вышло пополнение: Е. Петрова защитила кандидатскую диссертацию “Российско-индийские исторические связи...” Писала по фондам архивов Толстого и музея-усадьбы “Ясная Поляна”. А как не выделить раздел “2.3. Толстой в Индии” в книге “Образ России...” Т. Загородниковой, В. Кашина и Т. Шаумян? Но, увы, тираж её 200 (!) экземпляров.

Не припомню чего-либо привлекательного на ТВ или в массовых газетах-журналах по этой теме...

Как же недостаёт России книги-антологии “Толстой и Индия”! Вот бы собрать все его статьи, переписку, переводы, любые высказывания об Индии и её духовном мире! Появилась бы впечатляющая хрестоматия дальноразоркой – на века! – мудрости нашего творца, решившего стать посредником меж двумя великими народами. Умный комментарий тем более сделает такую книгу выдающимся просветительским событием, и не только для России и Индии.

ТАТЬЯНА ГАДОМСКАЯ

ГРАНИЦЫ И ГРАНИ “ХУННСКИХ ПОВЕСТЕЙ” НИКОЛАЯ ЛУГИНОВА

В основе художественного творчества Николая Лугинова лежит пограничная ситуация, когда всё – образы, сюжет – с математической точностью выстраивается в концептуальную формулу, призванную стать универсальным законом. Так думала я, читая “Хуннские повести”. Мне это было близко как экономисту, работающему в “оборонке”, но в то же время человеку, не чуждому музыке и литературе. Каково же было моё удивление, когда в одном из интервью писателя я прочла: “В историю я пришёл как математик. Состоялся в ней, наверное, тоже как математик. До сих пор у меня так – всё строго иерархично. Всё основано на точных подсчётах. Для меня важнее истина, опирающаяся на незыблемые аксиомы. Выбираю бесспорное. Что касается гуманитарных наук – их отличает субъективность. На строгий взгляд эта субъективность слишком велика. В их восприятии мира много произвола. Гуманитарий не складывает историю из фактов, не доказывает её, а вначале вырабатывает какую-то интересную лично для себя идею восприятия мира и истории, и только потом начинает собирать подходящие под неё факты. Только те, которые подходят под его идею. А про те, которые не подходят, он может даже не упоминать. Он не сталкивает лбами факты, как бы сделал здоровый исследователь-технарь...”

В данной статье мы попробуем разобраться на составляющие уравнение, с помощью которого автор “Хуннских повестей” на примере жизни китайской пограничной заставы Саньгуань времён династии Чжоу даёт читателю расшифровку понимания ДАО.

Тяготение к “пограничной” тематике прозорливый критик Владимир Бондаренко заметил в творчестве Николая Лугинова задолго до появления этого цикла повестей, рассматривая ранние произведения якутского писателя, ещё в 2007 году: “Его проза – это **пограничное** (выделено мною. – Т. Г.) сражение с обвивающей мировое земное пространство глобализацией всего и вся. Он ведёт сражение за каждый погибающий улус, за каждый брошенный дом, он вызывает к жизни давно забытые тени древних духов и мифических существ. Он – как якутский богатырь, вбивающий небесный гвоздь на Северном полюсе и сражающийся с ледяными быками. Когда слова уже замерзают на лету, он разжигает вполне земной костёр из сухой хвои и стреляет в метель и в стужу, в тьму и в забытьё, в гниющие амбары и размытые дороги так же метко, как на охоте на лету подбивает птицу. Он – охотник

слова, сияние которого греет душу народа. Его литературный дом, его алас столь же реален, как реальные его охотничьи трофеи, как реальные якутский омуль и якутские караси, запечённые им лично по древнему якутскому способу. Может быть, “верхние люди” во время сна будят его и нащёптывают писателю таинственные образы, которые затем претворяются в “Балладу о Чёрном Вороне” или в “Легенду об Илдэгисе”.

В переводе на китайский “Хуннские повести” вышли под названием “Граница”, указывая на основной смысл произведения. В Пекине состоялось обсуждение этой книги видными учёными-гуманитариями страны. Любопытно описывает писатель Владимир Карпов, как накануне город был погружён в тяжёлый смог и туман, а в день обсуждения произошло чудесное преобразование погоды: “С утра ещё в окно гостиницы проклюнуло ясное, доброе, округлое китайское солнце. Местные русскоговорящие люди сообщали по пути в Российской культурный центр, что таких солнечных дней в Пекине даже летом бывает раз-два – и обчёлся!” Карпов также отмечает историчность и в то же время крайнюю современность темы “границы”, особенно понятной в странах бывшего социалистического лагеря: “Мы, как казалось, жили страхом перед чёткими гранями системы, а там, за границей, была для нас иная жизнь, запретная, сладкая. И вот её нет, прежней границы, а... страха не убавилось. Наоборот. Стираются грани между добром и злом, можно и нельзя и, как любит приводить пример Николай Лугинов, объясняя свой замысел, – грани между мужчиной и женщиной... Граница в его творениях – символ нашей жизни. Ибо мы везде, во всём живём в пограничной ситуации. Война привычно уживается с миром, нищета – с сытостью, развал – с видимостью активной деятельности. Человек, призванный по долгу службы “охранять”, становится “нарушителем”. Именно на пограничье наук в двадцатом столетии сделаны величайшие открытия.

“Без пограничника нет контрабандиста, – философски рассуждает Николай Лугинов. – Но и без контрабандиста нет пограничника”. Именно на пограничной заставе Лао Цзы и сформулировал идеи даосизма”.

Заостряя внимание на следующем сообщении: “Китайские литературные профессора, доктора наук, литературоведы, один за другим выходя к трибуне для доклада, утверждали, что давно не читали книги с таким проникновением в даосизм и образ Лао Цзы”. Именно эти строки, воспринятые мной с недоверием, вызвали желание прочитать “Хуннские повести” и “поверить гармонию алгебры”.

Автора мало волнуют житейские интриги, обычно призванные завлечь читателя. На примере трёх поколений развивается сюжет изменения отношения к пониманию “границы” во всём объёме этого слова: между государствами, “забытым прошлым и возможным будущим”, миром видимым и незримым...

На древней заставе Саньгуань появляются юные новобранцы. Среди них рослый сильный паренёк Дин Хун и невысокий ушастый Ли Эр. В “тёмной комнате” неведомый голос предрекает им высокую судьбу. Один станет “большим человеком”, генералом, прославит своё имя, а другой – “великим”, да и не человеком даже, “Учителем”.

“Ли Эр” – данное от роду имя того, кого мир называет Лао Цзы. Имя это переводят как “Старый Учитель”, “Старый Мудрец”, а также “Старый ребёнок”, ибо он, согласно легенде, родился с седыми волосами. Также из легенд известно, что свой трактат “Дао де Цзин” он сформулировал, находясь на пограничной заставе уже в преклонном возрасте.

В произведении Лугинова Лао Цзы “появляется” на заставе Саньгуань дважды: в самом начале, где он юн, и ближе к завершению повествования, где ему под сто. При этом незримо присутствует здесь постоянно, иногда вступая в разговоры с местными пограничниками.

С тех же времён, когда появились новобранцы, здесь обитает контрабандист Чжань Чжень, также ставший по-своему великим, несметно богатым и влиятельным.

Генерал Дин Хун и контрабандист Чжань Чжень проживают жизнь “бок о бок”. Один ловит, охраняет, другой нарушает, “устанавливает межгосударственные связи”.

Писатель Николай Стародымов в статье “Хуннские повести” пишет: “Основной сюжетный конфликт развивается в противостоянии Старого Пограничника и Старого Контрабандиста, в противоборстве их отношения к жизни.

Однако конфликт этот, согласно сюжету, носит скорее моральный характер, философский, а не криминально-остросюжетный, как можно бы ожидать, в этом своеобразии романа. Всю жизнь первый ловит второго, и всю жизнь второй, отбыв в заключении определённый ему судом срок, возвращается в родные края и продолжает свою криминальную деятельность. В конце концов, они оба уходят на заслуженный отдых (понятно, что в одном случае слово “заслуженный” следует понимать в прямом смысле, а в другом – в переносном). И волею автора они оказываются соседями, соответственно, нравственное их противостояние продолжается до самого конца их жизненного пути”. К этому следует добавить, что некий жизненный ритм у Дин Хуна и Чжань Чжень просто как у братьев близнецов: примерно в одно и то же время отмечается их юбилей. Старый Пограничник получает правительственные награды, а у Старого Контрабандиста представители власти просто бывают на пышном празднестве. Чжань Чжень селится неподалёку от Заставы, выкупив и переоборудовав здание тюрьмы, где в иные годы отбывал срок наказания. Пограничник Дин Хун заболевает, и Контрабандист, на ту пору уже почитаемый в обществе богатый торговец, начинает лично... ухаживать за бывшим главным врагом и соперником: так “сроднила” их жизнь! На них обоих словно нисходит понимание вечной и неподвластной воле человека зависимости друг от друга. “По ночам же Чжань Чжень уговаривал идти спать. И опять сидел, иногда задрёмывая, слушал бормотание и всплески бреда – чаще всего о том, что с той, вражеской стороны идёт огромное войско или что прокрались через границу какие-то нарушители...”.

Пограничник и Контрабандист жили бок о бок и “неразлучными” ушли в вечность: “Старого генерала, согласно его завещанию, похоронили у дороги, поставили большой необработанный камень из красноватого гранита с синими разводами, чем-то напоминающий грубоватый облик самого покойного. Надпись на нём гласила: “Всё имеет свой предел, границу – там, где кончается одно и начинается другое. Но её надо охранять, чтобы не смешалось своё с чужим. Я посвятил всю свою жизнь охране границы и не жалею об этом. Сохраните границу!...”

И через некоторое время совсем вдруг неожиданно умер и Чжань Чжень, хотя до самого последнего дня был вроде ещё крепенький, и если чем и болел, то какой-то тоской; а в одно утро не проснулся, чем удивил, сам того, конечно, не желая, многих. Его похоронили здесь же, но только по правую сторону старого тракта, да так, что эти могилы оказалась напротив друг друга, а между ними, как граница, пролегла вымощенная кремнистыми булыжниками дорога. Памятник старому контрабандисту соорудили дорогой, из тёмного отшлифованного мрамора, специально привезённого издалека. Надпись на нём словно спорила с извечным, пока живы были, противником. Она гласила: “Всю жизнь я перемещал ценности через закрытые границы. И тем, я думаю, обогатил обе стороны. Я познал свободу без границ, и неволя не могла омрачить это. И потому ухожу довольный прожитой жизнью...”

Можно согласиться с Н. Стародымовым относительно развития “сюжетного конфликта” в противостоянии Пограничника и Контрабандиста. С той поправкой, что в более значительной и многомерной форме сюжет строится вокруг противоречия между Пограничником и Великим Учителем, будь тот ещё неизвестным юношей, прозванным Ли Эром, или почитаемым, подобно Богу, старцем Лао Цзы. Причём даже тогда, когда Мудреца физически нет на Заставе. Потому что как для Пограничника, так и для Контрабандиста граница между государствами – это абсолютная незыблемая величина. А для Старого Мудреца существует иная граница – между видимым и незримым, вечным и временным, мнимым и подлинным, да и эта подвижна, текуча, ведь, по его толкованию, всё, что объяснено, уже не является ДАО.

Как может страж границы, не раз принимавший бой, видевший гибель близких от руки врага, принять слова друга юности, пусть и называет его весь Китай Великим Учителем: “Хорошее войско – причина бед”?! Или того краше: “Прославлять победителей – радоваться убийству... Победе подобает похоронный ритуал”?! Вот оно, пожизненное терзание для сильного, убеждённо-го, истово служащего своему делу Пограничника.

На смену Дин Хуну приходит другой. Инь Си также становится генералом. Тоже сильным, верным службе. Но генерал Инь Синь – представитель поколения, воспитанного на идеях Лао Цзы, – считает себя учеником двух учителей:

Старого Пограничника и Старого Мудреца. А значит, и в его сознании возможно хотя бы предположение, что граница — явление условное.

Наряду с этими титанами на заставе живёт и Старый денщик, который служит Дин Хуну, потом Инь Синю, не “хватает звёзд с небес”, но живёт долго и счастливо. Ему всё едино: есть граница, нет её, существует только реальность видимая, или есть что-то незримое. И в то же время он со всем согласен, что есть всё — видимое ли, незримое, — как начальство прикажет. Он также истовый служака и верен своему призванию.

Каждый образ, поворот истории у Николая Лугинова “заряжен” выверенной смысловой нагрузкой. Настолько, что иногда и хочется, чтобы повествование ушло вправо или влево, погуляло, разлилось, как это бывало в произведениях сибиряка Виктора Астафьева. Нет, это иной художник, со своим внутренним лекалом.

Лао Цзы вновь появляется на Заставе, когда его друга юности Дин Хуна уже давно нет в живых, и генерал Инь Си в зрелых годах. Но почти столетний Учитель лёгок, быстр, так что Инь Синь едва поспевает за ним. Зачем он пожаловал сюда? Уйти на Запад? “Уйти на запад” в восточной мифологии — это уйти в иной мир, умереть. Зачем же потребовалось Лао Цзы это сделать в буквальном смысле? И почему путь его пролёг через заставу Саньгуань, где прошла его юность?

Обратимся к тексту “Хуннских повестей”, которые неспроста в Китае вышли под названием “Граница”. Из главы “Хуннские корни”: “Каждый, кто хоть сколько-нибудь имеет в своем происхождении хуннские корни, довольно болезненно чувствует их. А вернее сказать, ему не дают забыть о них, так или иначе высокомерно напоминая, попрекая ими, ибо в неведомые глубины веков простираются непростые взаимоотношения кочевников с оседлым Китаем.

Вообще же, Китай изначально был многонациональным и за долгие века сравнительно спокойно и естественно сложился, постепенно слился в единую бытность, различия в которой если и были заметны, то не по национальному происхождению, а по условиям жизни в разных местностях... И только хуннское наследие в течение многих веков продолжало неостановимо кровоточить, болезненно отзываться во всех взаимоотношениях людей, беспокоить и нить болью и безысходной, поистине волчьей тоской... Весь кочевой уклад хуннов полностью зависел от причуд природы-погоды: будет в степи травяное и прочее изобилие — у них наладится привольная, без особых тревог, жизнь; а будет засуха, джунт-бескормица, племенная рознь или случится другая какая напасть — надо спастись и искать лучшие кормные места, где можно пережить худые, голодные времена.

Но главная беда состояла в том, что они время от времени вторгались в Китай и грабили напропалую — поначалу от нужды, от безысходности, а затем, привыкнув к таким дармовым, считай, доходам, — уже и по расчёту.

И на них у такого могучего вроде бы Китая с внушительной по численности, но пешей армией не было никакой управы, ибо она никак не могла угнаться за поголовно конными и очень подвижными хуннами... Но китайцы нашли умный и простой выход из положения. Они договорились с ближними хуннскими родами, выделили им на пользование землю и за очень солидную плату поселили вдоль своих границ — с обязательством их охраны, разумеется. Пограничным хуннам это ничего особо не стоило, кроме стычек со своими соплеменниками, по-прежнему промышлявшими грабежом... Удивительным же для хитроумных, но никогда особо не соблюдавших договоров китайцев было то, что хунны-пограничники проявляли железную стойкость и верность принятым обязательствам...”

Из хуннов в произведении Н. Лугинова был генерал Инь Синь, Дин Хун также из хуннов. Писатель впрямую не говорит о том, что Лао Цзы, который подростком вместе с Дин Хуном оказался на пересыльном пункте, имел хуннское происхождение, но вывод напрашивается без объяснений. Даже ситуация, по которой их “рекрутировали”, одинакова: их семьи не выплатили положенные налоги, поэтому “расплатились” сыновьями, подходящими возрастом.

Это многое объясняет. Саму природу зарождения мировоззрения, где представления человека о границах подвергаются сомнению. Большеголовый юноша Ли Эр начинает службу на границе, по обе стороны которой... родные люди! Да, для Дин Хуна — такое же положение. Но Дин Хун, прежде всего,

воин. А Ли Эр — Лао Цзы — поэт. И поэтому с первых же служебных шагов у них возникает разногласие: для одного поиманный контрабандист — враг, а значит, зверь, а для другого — человек со своей судьбой, пусть и душещипательные рассказы его о помощи сплошь больному семейству оказываются выдумкой.

Юный Ли Эр усомнится в незыблемости границы между странами, чтобы потом усомниться в границах общепринятых “мирских” ценностей. И, став Лао Цзы, скажет:

Высшее совершенство

Кажется ущербностью...

Также и под старость, которую, как видим из повествования, он совсем не чувствовал на физическом уровне, Лао Цзы появляется на Пограничье не столь потому, что пришло время отправиться “на Запад” — упокоиться. Видно, звало то, что сильнее границ, выше понимания, что всю жизнь “ныло болью и безысходной, поистине волчьей тоской. . .” Там, на Западе, хунны — родовые корни. А с ними и то, без чего, может быть, нет постижения ДАО.

В разговоре о древнем китайском способе охраны земель и организации приграничных территорий напрашивается аналогия с Россией XIX–XX веков. Когда Николай Лугинов говорит о чувствах “хуннов” (читай инородцев), живущих в “многонациональной” стране с разными условиями жизни, он говорит и о собственном опыте. Процитируем ещё раз В. Бондаренко: “Сам Николай Лугинов родился в Кобяйском улусе в августе 1948 года. Как и все мы, увлечённый всеобщей технизацией державы и романтическими призывами о преобразовании родины, нарушил своё предначертанное свыше гуманитарное Дао, пошёл учиться на физико-математический факультет Якутского университета. Но, думаю, писателю любой опыт идёт на пользу. Я заметил его как критик, когда Николай уже преодолел этап блужданий по студенческой жизни и индустриальных новаций, уже нашёл самого себя в “Песне белых журавлей”, в “Каменном мысе”, в “Балладе о Чёрном Вороне”. Потом последовали пятнадцать лет каторжной работы на Чингисхана. Знал ли восточный властитель, что и спустя тысячелетие он будет заставлять на себя работать пленённые им и соединённые воедино в джучиев улус народы? А джучиев улус — это и есть нынешняя Россия, и потому её судьба всегда будет отличаться от судеб иных европейских наций. Но и разделиться ему не дано — навеки. . .”

Так что при всей “математической” определённости сюжета, его исторической отдалённости, автор, по существу, исповедален.

И уже не приходится удивляться, почему китайские профессора видели в произведении далёкого россиянина, при этом якутского писателя, редчайшее, а то и в наш прагматический век небывалое постижение образа Лао Цзы. Свежее дуновение российского Севера, далёкого Кобяйского улуса, который находится в трёхстах километрах к северу от Якутска, где пока не ведают, что такое техногенный смог. Подвижность границ сколь опасное явление, столь, в иных случаях, и чудесное.

Старый денщик умирает, но генерал Инь Си, “ученик двух учителей” — Дин Хуна и Лао Цзы — истолковывает его “перемещение” как назначение на иную должность. Инь Си готовит себе замену, а ему самому, теперь уже тоже старому генералу, начинает сниться навязчивый сон. Якобы он — человек — каменеет и стоит века на рубеже границ, не в силах оглянуться назад, глядя строго вперёд, на Запад, на действия возможного врага, коим был и остаётся родной его народ хунны. При этом сердце в каменном истукане остаётся живым, человеческим, с нестерпимой “волчьей тоской”, а волки, по поверью, древние предки хуннов. Он видит, как хунны, подвижные высшими целями, отправляются на Запад исправлять развевную истлевшую мораль, не зная, что “Запад — это такая затягивающая бездна, что ушедшие туда не возвращаются никогда”. “Вечный стражник”, как стали звать его люди, ещё питает надежду, что можно что-то исправить, остановить их, но голос Великого Наставника предрекает, что ничего уже не поделаешь.

Каменный Страж Николая Лугинова “смотрит лишь в одну сторону заката солнца”. Ему ведомо:

“Настали иные времена, пересматривающие вековые устои, не признающие, пренебрегающие границами. . . с размытием границ разрушаются все

устои, морально-нравственные и государственные. Исчезает граница между правдой и ложью, законом и произволом, добродетелью и грехом, подвигом и преступлением, верностью и предательством...

Случилось только одно хорошее дело: куда-то исчезли контрабандисты. Говорят, что это они ныне правят миром, а все остальные служат им...” В экономике сегодня это называется “конвергенция” – сближение. И “дивергенция” – расхождение.

Вечный Страж задаётся вопросом: неужели и “впрямь возможно в грядущем время, когда между людьми, народами не останется никаких границ... И тогда, может быть, исполнится затаённая, глубоко запрятанная где-то в дебрях подсознания мечта каждого из них, ныне с оружием в руках стерегущих Пашню от Степи, – стать Последним Пограничником”.

Он думает так, стоя в дозоре на самой кромке перевала, подмываемого невзгодами, всеми силами стараясь не свалиться назад или вперёд, дабы не отступить и не напасть. А если и доведётся, то падать надо на правый бок. Вдоль. Вровень с границей.